

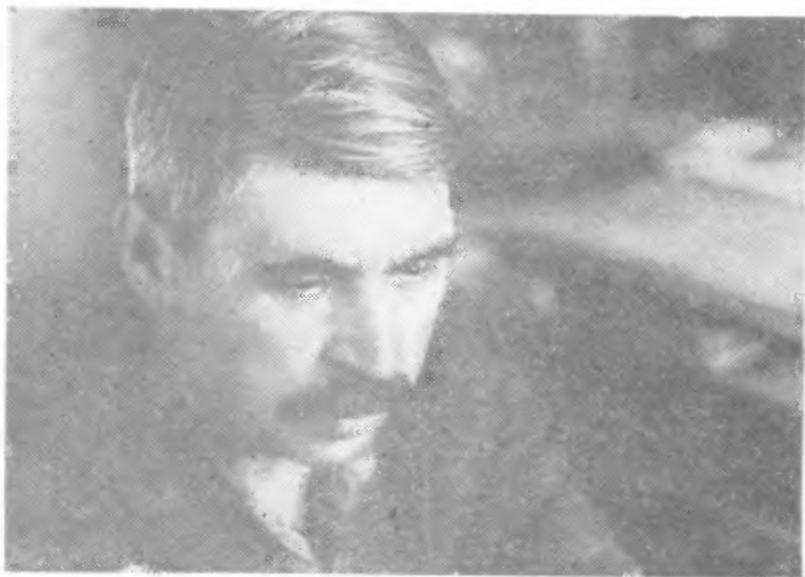
В. Клипель \* ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ

*В. Клипель*  
**ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ**



*Бойцам, командирам, политра-  
ботникам 119 — 17-й гвардей-  
ской стрелковой дивизии*

**П О С В Я Щ А Ю**



ВКЛЮЧЕНЫ



*В. Клипель*  
**ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ**

*роман*



ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1977

**Клипель В. И.**

**К 49** Испытание на верность. Хабаровск, Кн. изд., 1977.

400 с.

В первые же дни Великой Отечественной войны ушли на фронт сибиряки-красноярцы, а в пору осеннего наступления гитлеровских войск на Москву они оказались в самой крутоверти событий.

В основу романа лег фактический материал из боевого пути 17-й гвардейской стрелковой дивизии.

В центре повествования — образы солдат, командиров, политработников, мужество и отвага которых позволили дивизии завоевать звание гвардейской.

К 70302-38  
М160(03)-77

P 2



**часть 1**  
**ЗАРНИЦЫ**



## Глава первая

Эшелон шел на восток уже третью неделю. На крупных станциях менялись паровозы, а вагоны оставались те самые, которые были поданы под погрузку, — обыкновенные товарные, крашенные железным суриком теплушки. Они мало чем отличались от тех тряских вагонов, в которых возили войска еще в первую мировую войну.

Эшелон изгибался на поворотах буро-красной грохочущей змеей и с веселым посвистом мчался мимо полустанков, казарм, путевых обходчиков, провожавших его поднятым грязно-желтым флажком.

Стоял апрель. Пригорки с желтеющими полосками стерпи подсыхали, и березовые рошцы — колки, там и сям разбросанные среди обширных полей, были окутаны переливчатым маревом испарений. Солнце ослепительно, по-весеннему радостно сияло в безоблачном небе и тысячамп зайчиков отражалось в беспокойной ряби ручейков, в разливах полой воды по низинам. Среди густых зарослей ельничка, ольхи, мелкого березника и по лесным опушкам млели синие, пахитавшиеся влагой сугробы.

Солнечное тепло пропикало в теплушки эшелона через открытые настежь дверные проемы, обогревая бойцов, подставлявших

лучам руки, плечи, радостные обветренные лица. Рядом с молодежью были люди и пожилые, из так называемого приписного состава, призванные в армию по случаю войны с Финляндией. Теперь война осталась позади. Одни ехали дослуживать положенный срок, другие с нетерпением ждали дня, когда им разрешат вернуться домой. Вот почему настроение у всех было веселое, приподнятое.

В седьмой по счету теплушке ехали бойцы пулеметного взвода четвертой стрелковой роты. На двухъярусных нарах лежали только те, кто был поближе к открытым оконным люкам, а все остальные жались к толстому деревянному бруску, которым закладывают дверной проем, чтобы кто-нибудь не вывалился из теплушки на ходу.

На бойцах заношенные за зиму, потемневшие гимнастерки, ватные брюки и вместо привычных островерхих шлемов — шапки-ушанки. Бойцы в этих косматых шапках выглядели необычно головастыми.

Поезд приближался к станции Листвянная. Что за станция? Каково там будет служить? Если бы служить оставалось месяц-два — куда ни шло, но впереди еще полтора года. В Красноярске — музей, кинотеатры, красивый Енисей, есть где провести денек, когда дадут увольнительную. А что в Листвянной?

Крутов, плотно зажатый плечами товарищей, стоял, облокотившись на брус, и задумчивым взглядом провожал уплывающие дали. Мелькали краястые березы у полотна железной дороги, разомлевшие от тепла, с ниспадающими к земле тонкими ветками. Весна повсюду пробуждала дремлющие силы, дружно освобождала землю от снегового покрова, и Крутову даже не верилось, что Сибирь может быть такой приветливой. Это голубое небо, девственно-чистые березы, дорожка, убегающая в низинку, живо напомнили ему, что он художник, пусть пока не по мастерству, а только по призванию, по мечте.

— Ты в кого это нацелился? — толкнул Крутова в бок сосед — рослый голубоглазый боец с широкими плечами, бессменный правофланговый роты — Лихачев.

— А знаешь, мне эти места по душе. Родина Сурикова...

— Кто такой? Что-то слышал про него, а не вспомню.

— О, это большой художник! Он сибиряк, пешком пришел в Петербург, чтобы только поступить учиться. В Третьяковке возле его картин всегда полно. Особенно «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»... Ты должен помнить, мы же ходили в красноярский музей, там была его палитра с засохшими красками...

— Припоминаю. Эта баба на возу и есть его боярыня?

— Чудак человек, ты же видел только репродукцию, а сама картина хранится в Третьяковке, она в полстены, ей цены нет.

— О чем разговор? — навалился им на плечи Сумароков. Здоровяк, с глубоко посаженными черными глазами и влажными мясистыми губами, всегда резкий, он из-за своих постоянных злых насмешек почти ни с кем не сошелся по-дружески, хотя обладал и умом и силой и готов был прийти на выручку товарищу.

— Вот, говорю Лихачеву, — обернулся к нему Крутов, — что, мол, если тут жил и работал такой человек, как Суриков, то и мы не пропадем...

— При твоём Сурикове хлеба небось было вдоволь.

— При чем здесь хлеб?

— Ха, при чем... Разве не видишь? Как посадят на одну баланду, не то запоешь...

Крутов не раз задумывался над причинами такой резкой перемены: когда уезжали на фронт, в каждом киоске можно было купить что угодно — хлеб, печенье, колбасу, а сейчас — как подмело. Однако вслух своих раздумий не высказывал: к чему? Разговорами делу не поможешь.

— Станция какая-то, — кивнул Лихачев. — Уж не та ли самая Листвянная?

Паровоз свистнул и стал замедлять ход. Разрешения на выход из вагонов не давали. Судя по всему, на этом полустанке задерживать эшелон не собирались.

К вагону робко приблизилась молодая женщина:

— С вами ачинские не едут, ребятушки?

— А кто у вас? — охотно откликнулся рыжий, могучего сложения боец лет сорока — Грачев. — Муж, брат? Где призывали?

— Муж. Когда война началась, мы в Ачинске жили, там его и забрали, а я сразу сюда перебралась, к матери. Теперь вот болтают, что ачинских-то здорово побили. Верь не верь, а душа болит. И от него, непутевого, ни словечка...

— Мало ли что болтают, — сурово заметил Грачев. — Ачинские где-то еще, слышь, едут, так что никуда он не денется. Как мужа звать? — деловито осведомился он.

— Трынев Никита...

— Нет, не слыхал про такого. Я-то сам аярский...

— Эй, тетка! — окликнул женщину Сумароков. — Там знаешь какие карелочки были — рыженькие, кровь с молоком. Твой Никита давно себе другую подцепил, а ты по нему сохнешь. Выбирай другого, пока не поздно.

— Типун тебе на язык, зубоскал!

— Что, схватил? — засмеялись бойцы.

Темные глаза Сумарокова зло блеснули из-под мохнатых широких бровей. Он оглянулся, отыскивая, с кем бы схлестнуться. Взгляд его остановился на щуплом бойце Мальцеве, продолжавшем смеяться.

— Ты что, по роже захотел? — схватил его за грудки Сумароков. — Придавлю и не пикнешь. Вятская немочь...

— Сумароков, брось! — потянул его к себе Лихачев. — Хочется схватиться, так берись за меня или за Пашку, мы же тоже смеялись...

Вагон дернулся, поплыл. На ходу в теплушку вскочил старший сержант Газин и зычно, весело скомандовал:

— Приготовиться к выгрузке!

Все засуетились...

\* \* \*

Колеса выстукивали: «Приехали, приехали!» Потом ритм их почему-то сменился, и они заговорили другое: «Не совсем, не совсем!» За широкой ложиной на яру показался довольно большой поселок, выстроившийся тремя улицами параллельно дороге. В центре поселка, по соседству со станцией и каменной водонапорной башней, стояло белое двухэтажное здание школы. В самом конце, где дымили трубы паровозного депо, высился элеватор.

К югу от станционных путей тоже толпились домишки, и, не давая им далеко разбежаться, их огибала бурливая, вздувавшаяся от полой воды речушка, за которой сразу начиналась невысокая гора с крутым северным склоном; среди кустарников там виднелись грязные залежалые сугробы.

На перроне безлюдно. Волоча за собой железную колодку, к служебным дверям вокзала прошел кондуктор, замечая пыль и лузгу полами длинного тулупа. В скверике коза жевала оберточную бумагу. Земля чернела от угольного шлака.

Грустным, унылым захолустьем повеяло на Крутова при виде этой картины.

Маневровый паровоз, гукнув, потащил эшелон к товарному двору, где была площадка для разгрузки тяжестей.

Сержант Коваль, командир пулеметного отделения, сердито хмурия светлые брови, приказал:

— Крутов, Кракбаев, Сумароков! Прибрать вагон и сдать его в полном порядке. Старшим назначаю Крутова.

— Приберем, — отозвался Крутов.

— Отставить! Повторите приказание, как положено.

— Есть прибрать вагон и сдать его в полном порядке!

— Выполняйте... Разболтались.

Бойцы усердно выскабливали грязь, сдлаблывали лед, накопившийся по углам вагона за долгую дорогу.

— Черт бы побрал эту дыру, — промолвил Сумароков, утирая рукавом взмокший лоб. — Здесь не найдешь ни пожрать, ни выпить.

— Ну, магазин-то здесь есть, станция вроде большая.

— Что толку? Куда ни заглянешь — пустые полки.

Крутов пожал плечами: что поделаешь.

— Послушай, Керим, — обратился он к киргизу Кракбаеву, — поищи кусок железного листа или какой-нибудь ящик. Не сбрасывать же мусор под колеса...

В вагон зашел пожилой щуплый железнодорожник в затасканной телогрейке, в растоптанных валенках, пересчитал доски на нарах и приказал сложить их в одно место, к стенке. Говорил он, мешая русские слова с украинскими.

— Приятель, скажи-ка, — обратился к нему Сумароков, — где тут достать выпить?

Тот поднял на него невыразительные бесцветные глаза:

— Мабуть, есть закурить, хлопцы?

— Самосад домашний, — протянул ему кисет Сумароков. — Ну?

— С тютюном дуже скверно, а горилка найдется. Спрашивай. Якова Знобыша, меня на станции знают. Я у тебе отсыплю завертки на три, добре?

Уже на выходе железнодорожник бросил через плечо:

— Дуже не вылизуйте, золу из грубки выгребете, да и гайда.

— Эй, приятель! — крикнул ему вслед Сумароков. — Тут что, казармы какие для нас?

— Хоромы славные, сами побачите.

— Значит, в воскресенье дунем? — предложил Сумароков.

— Может, еще увольнительных не дадут, — с сомнением сказал Крутов. — Видел, как на меня Коваль сегодня?

— Так я и стану дожидаться от него разрешения, — буркнул Сумароков. — Махну через забор — и с концом.

\* \* \*

В Листвянной никогда не было гарнизона, и для полка отвели группу обособленных деревянных зданий, совершенно не приспособленных под казармы. Лишь два батальона и специальные подразделения с превеликим трудом удалось втиснуть под крыши. Второй батальон отправили за три километра от станции в здание какого-то бывшего гаража, одиноко маячившее на бугре.

Единственное достоинство этого здания заключалось в том, что оно имело кирпичные обшарпанные стены, крышу да пол, за многие годы службы продырявленный, избитый, залитый мазутом. Прежде чем в нем жить, надо было отремонтировать это неудобное холодное помещение, построить нары в два яруса, поставить печь-временки. Вокруг гаража вырос палаточный городок. Хорошая солнечная погода побаловала еще несколько дней, а потом сорвалась метель, и полуметровый снег лег на землю. Сибирь такова: сегодня тепло, а завтра стужа.

Бойцов не надо было подгонять, они сами стремились поскорее попасть под крышу. Однако переизбыток рвения и рабочей силы не ускорял дела, а лишь вносил неразбериху. Один работал, а трое носились в поисках инструмента, досок, гвоздей.

Крутов находился в наряде у полевых кухонь, издали походивших на больших черных гусынь, выстроившихся в ряд. Кухни расстилали над палаточным поселением длинные шлейфы дыма.

— Товарищ боец! — окликнул Крутова Сумароков. — К командиру роты на полусогнутых.

— Зачем я ему понадобился? — спросил Крутов, стряхивая с шинели картофельные очистки.

В первую же неделю Сумарокова за хороший почерк взяли из отделения на должность ротного писаря. Это было сродни его прежней работе — до службы он секретарил в сельсовете и теперь держался выскомерно.

— Узнáешь. Топаи!

В палатке за небольшим столиком в шинелях и шапках сидели лейтенант Туров и младший политрук Кузенко. Туров — удивительно спокойный человек. За шесть месяцев службы Крутов не слышал от него ни единого грубого слова. К наказаниям он прибегал неохотно, и в роте поговаривали, что, будь на месте Турова кто другой, младшие командиры показали бы, почем фунт гребешков. Сухощавый, всегда подтянутый, командир роты исполнял свою службу без рывков, в одном размеренном, заранее рассчитанном темпе.

Кузенко лишь перед финской войной окончил краткосрочную школу политруков и приходился ровесником большинству кадровых бойцов роты, но, не в пример командиру, держался с нарочитой важностью.

— Крутов, — начал он с суровостью, едва тот опустил за собой полог палатки, — как вы смеее обращаться к полковому начальству через голову своих командиров?

— Я ни к кому и ни за чем не обращался, — сдержанно ответил Крутов, не понимая, чем он мог вызвать недовольство.

— Значит, это я за вас напророчил в клуб?

Туров не дал Крутову ответить:

— Полно... Крутов, возьмите у Сумарокова аттестат и сегодня же явитесь в распоряжение начальника клуба. Зачем вас туда вызывают, я пока не знаю, но приказ есть, и этого достаточно. Как только мы начнем регулярные занятия, я вас верну. Боец прежде всего должен быть бойцом, для этого он и служит, а все другое — второстепенно...

Через полчаса, недоумевая, Крутов уже шагал к станции. В полковом клубе он увидел низкорослого тщедушного бойца, возившегося с подрамниками. Его фигура показалась Крутову знакомой. Так и есть — Лаптев, художник, вместе учились, одним военкоматом призывались, в одном эшелоне ехали.

— Привет халтурщикам! — шутливо приветствовал его Крутов.

— Пашка! Привет! — встретил тот Крутова. — Наконец-то. Я едва выклянчил тебя у комиссара. Снимай шинель, работать будем.

— Погоди, Женька. Хоть мы с тобой и давно не виделись, но дай мне сперва доложить начальству, что прибыл.

— Брось! Начальника клуба сейчас нет, а придет, я сам ему доложу. Тут работы — уйма, клуб надо оформить к празднику. Комиссар на меня знает как жмет. Жить будем здесь, столовая рядом, деньгиат подхалтурим...

Крутов не особенно этому обрадовался: долгая отлучка вызовет отчуждение товарищей, выбьет из привычной колеи. «Ладно, лейтенант про меня не забудет», — сказал он сам себе и, несмотря на отговоры приятеля, подался в штаб полка, чтобы стать на довольствие. Он шел тротуаром, не спеша, подсчитывая удары каблучков. Внезапно сужие щелчки выстрелов привлекли его внимание.

За оградой, в школьном тире, группа старшекласников упражнялась в стрельбе. Крутов заинтересовался, перемахнул через забор, подошел:

— Не помешаю?

Паренек, руководивший стрельбой, неприязненно пожал плечами: мол, как хотите, так и понимайте. На огневом рубеже с винтовкой у плеча лежала девушка. Поставив локти на одну линию с винтовкой, отчего ее плечи казались по-детски узкими и слабыми, она прильнула щекой к прикладу и нацелилась.

Мелкокалиберная винтовка довольно тяжела, держать ее трудно, к тому же если стрелок неумелый, то меткости не достигнуть. Это Крутов усвоил еще до армии, когда был оsovнахи-мовским активистом и готовил ворошиловских стрелков. Сам он

стрелял хорошо, и ему принадлежала единственная в роте винтовка с оптическим прицелом. Ошибка девушки ему сразу стала понятна.

— Федя, у меня опять не получится, — взмолилась девушка.

— Ты всегда ноешь, Светлова. Не можешь — отдай винтовку другим, — с непреклонностью в голосе заявил паренек и тут же скомандовал: — Огонь!

Девушка откинула со лба выбившийся из-под берета локон и дернула за спусковой крючок. Крутову незачем было ходить к мишени, чтобы узнать, каков результат.

— Мазила, — сердито сказал паренек. — Сколько раз говорил, бери под яблочко, так нет... Учишь вас, учишь...

«Мазила» готова была расплакаться.

— Позвольте, я помогу девушке, — обратился Крутов к пареньку.

— Бесплезно...

— Наоборот, думаю, что это не сложно.

Крутов взял винтовку, подогнал ремень по руке девушки и, опустившись рядом с ней, объяснил, как надо ставить локти и держать оружие. По-видимому, это и в самом деле было не сложно; для убедительности он отвел одну руку девушки в сторону. Приклад остался плотно прижатым к плечу, и винтовка удерживалась одной рукой — левой.

— Ну, смотрите, не подводить! — Крутов ободряюще улыбнулся.

Паренек подал патроны. Крутов попросил девушку сделать несколько холостых щелчков, чтобы проследить, не будет ли она дергать за спусковой крючок.

— Порядок. Только не надо подолгу целиться. Огонь!

После первого выстрела Крутов сказал уверенно:

— Пуля в черном яблоке.

Когда все побежали смотреть мишень, «мазила» тоже не утерпела, кинулась влעד. Крутов один остался на месте. Он видел, как паренек зачеркивал пробоины.

— Сколько?

— Двадцать четыре. Не ожидал...

Крутов ухмыльнулся, словно это он сам выполнил упражнение, и отправился своей дорогой. И вовремя, потому что задержись он еще немного, и штаб был бы закрыт: конец дня.

Его зачислили па довольствие в комендантский взвод, а ночевать разрешили в клубе, потому что в казарме было не повернуться. Работы в клубе и в самом деле оказалось невпроворот, а в армии принято: нужно — хоть совсем не ложись спать, а сделай.

Служба в армии представлялась Крутову прямой и ясной дорогой, шел он на нее с большой охотой, с гордостью, не предполагая, что и на прямом пути можно вдруг сбиться с направления. Никогда не думал, что попадет под арест, и однако... шел людной улицей поселка, завернув руки назад. Без ремня, с растегнутым хлястиком шинели (как и полагалось по уставу при аресте), он шел под конвоем своего же бойца Мальцева — самого малорослого, слабосильного и незадачливого бойца в роте. Зевачи, которых в воскресенье было предостаточно, посмеивались: «Пат и Паташон!»

— Арестованный, короче шаг! — прикрикнул Мальцев.

Он шагал сзади с винтовкой наперевес, нести ее в таком положении было трудно, а тут еще приходилось рысать, чтобы не отстать от копвоируемого.

— Не ори! — не оборачиваясь бросил Крутов и примирительно спросил: — Тебя кто послал?

— Не разговаривать! — визгливо оборвал его Мальцев. Лишь миновав прохожих, он тихо, доверительно сказал: — Политрук приказал. Вечером, как позвонили, сразу и приказал...

Крутов вспомнил, как не хотел Кузенко отпускать его в клуб. Теперь, при случае, припомнит командиру, да и ему, Крутову, достанется. Стало обидно, больно. Докатился...

— Ну, рассказывай! — сказал лейтенант, когда Мальцев доложил и оставил Крутова в каморке командира роты. В голосе Турова ни иронии, ни издевки.

— Разнимал дерущихся, товарищ командир, — отвечал Крутов, потупясь. — Ну, немного и самому попало...

— Кто и с кем дрался?

— Какие-то гражданские били нашего. Поздно было, не разглядел кого, только знаю, что в шинели был.

— И задержали только вас?

— Только меня. Шапку сбили, искал...

— Значит, вас одного? — недоверчиво переспросил Туров.

— А я не виноват, чего мне было бежать! — с вызовом ответил Крутов.

— Но как же вы не подумали, что кладете пятно на всю роту? Не ожидал, честное слово. Двух недель не прошло, как вас отпустили, и такое... Выходит, прав был политрук, когда советовал держать в роте...

Ночью, в холодном караульном помещении, Крутов почти не спал. Он много передумал, ему казалось, что он сумеет оправдаться перед командиром, не уронив себя. А все выходит не так,

проще, и, кроме жуткой неловкости, стыда, в душе ничего нет. Конечно же, Туров прав, осуждая, по что поделаешь: не мог он отказать в выручке Сумарокову, видя, что того бьют! И рассказать об этом честно нельзя: выдашь товарища.

— Ну, так кто же все-таки с вами был?

— Я попался, вот меня и наказывайте, товарищ лейтенант.

— Что же мне с вами делать? — раздумчиво потер лоб Туров. — Ладно, подумаем! — Он глянул на Крутова, покачал головой: — Эх, как вас разделали. Идите в санчасть, что ли...

Понурясь, Крутов вышел из каморки. К нему тут же подошел Сумароков; глаза его беспокойно бегали.

— Не продал меня?

— Что я, не в состоянии ответить за себя сам?

— Ну, спасибо, коли так. Ты, кажись, настоящий кореш. Не робей, ничего они с тобой не сделают...

— Э-э, брось! — отмахнулся Крутов.

ЧП — чрезвычайное происшествие. После вечерней поверки Крутова поставили перед строем роты. Кузенко долго говорил о значении дисциплины. Он заранее готовился к этой беседе, перелистал подшивку «Красной звезды», проштудировал брошюру «О трех особенностях Красной Армии», потому что вопрос надо было поднять на принципиальную высоту. Кое-что он написал на бумажку, но в темноте не заглянешь в цитату. А собственная речь еще не отработана, сбивчива, и он собой недоволен: не сумел еще пропять бойцов словом, не всколыхнул. Он же видит: стоят, слушают, а дай команду — разбегутся и про все забудут. Разве позубоскалят...

Кузенко перевел дух и продолжал внушать:

— Красная Армия сильна не только духом интернационализма, но, главное, своей сознательной дисциплиной, готовностью отстаивать в бою Родину до конца. А что мы имеем вместо этого? У нас налицо позорнейший факт: красноармеец Крутов, посланный для выполнения важного задания, достучался до того, что был задержан как организатор драки. Мы не знаем, какие еще черные дела лежат на его совести, но факт налицо — перед нами неустойчивый боец — находка для врагов нашей Родины. Должен вам сказать, что в роте это не единичный случай. Посмотрите на Сумарокова. Как не стыдно бойцу ходить с такой, извините, мордой...

— Упал, товарищ политрук!..

— Это еще падо разобраться, где и когда вы могли упасть, товарищ Сумароков. Предупреждаю, если и вы думаете идти дорожкой Крутова, вам не миновать военного трибунала. Они из одного отделения, и, видимо, не случайно мы сегодня обсуждаем

этот тяжкий поступок. Все это — результат слабой дисциплины. Сержант Коваль распустил своих бойцов, не требует с них выполнения устава по всей строгости. Ставлю вам это на вид, товарищ Коваль, и приказываю: ежедневно, в течение месяца, докладывать мне о состоянии дисциплины в отделении...

Лейтенант Туров говорил мало: за нарушение дисциплины красноармейцу Крутову — трое суток ареста. Однако ввиду того, что гарнизонная гауптвахта еще недостроена, арест замещается лишением увольнительных на месяц.

Никогда еще Крутов не испытывал такого позора, как в эти полчаса, пока его отчитывали перед строем. Даже рубашка на нем взмокла.

— Р-рота, слушай мою команду! — раздался зычный голос Турова. — Напра-во! Ша-а-гом марш! Сумароков, песню!

На границе тучи ходят хмуро,  
Край суровый тишиной объят...

— Раз, два. Р-раз! Р-раз! — подсчитывал ногу лейтенант. Лихачев подтолкнул локтем Крутова, скороговоркой, между припевом, подбодрил:

— Не вешай головы, Пашка, па то и армия...

— Р-разговорчики! — прикрикнул лейтенант. — Раз-два. Тверже ногу! Р-раз, р-раз...

Весь уклад армейской жизни требовал тверже ступать по земле — хозяевами. Перед отбоем, когда сбились у бочки на перекур, Лихачев озорно подмигнул Крутову и спросил:

— Ты что это, Пашка, какому-нибудь иностранцу наподдавал?

— Нет, скорее тот ему! — захохотали вокруг.

— При чем здесь иностранец? — хмуро отозвался Крутов.

— Ну, как же... Чего бы тогда политрук насчет интернационализма распространялся?

— Политрук свое дело знает, — сказал Сумароков и, чтобы как-то загладить свою вину перед Крутовым, добавил: — Пашка кореш что надо...

## Глава вторая

Лагерь. Ровными шеренгами, как по шнуру, выстроились палатки. Перед главной линейкой, по которой никто, кроме командира полка, не ходит, расстилается обширная поляна — плац. На плацу происходят построения подразделений на вечернюю поверку и занятия по строевой подготовке. За палаточным

городком — темный сосновый лес, пронизанный желтыми стрелами аллей. Там, в глубине бора, размещается материальная часть полка — орудия, минометы, склады, а также различные мастерские, столовая, обоз.

По утрам, едва солнышко проклюнется над горизонтом, звонко играет побудку труба горниста. По всей линейке ей дружно, горласто вторят дневальные: «Па-а-ды-майсь!» Лагерь оживает.

Потом ротные колонны, поблескивая щетиной острых граненых штыков, уходят в поле на занятия тактикой, на стрельбы, и лагерь пустеет.

К полудню колонны возвращаются. Еще издали слышится песня. Солнце к этому времени палит нещадно. Бойцы, красные от загара, взопревшие, пропыленные и усталые, идут медленно, шаг у них тяжелый. Тут бы только-только дойти до палаток, скинуть с плеч противогазные сумки, отставить оружие, но командир требует песню, да погромче. Если рота не умеет хорошо петь, значит, неладно со строевой подготовкой и на инспекторской проверке снизят балл. Поэтому каждый командир роты и политрук следят строго, чтобы никто от песни не отлынивал.

Как только колонна вступает на плац, раздается команда: «Строевым!» Чеканя шаг, рота проходит к своим палаткам. И тут, почти тотчас же, слышится заливистая игра горна: «Бери ложку, бери бак...» — на обед. Эта команда — самая приятная бойцу.

Молодые, здоровые парни, набегавшись, потрудившись до седьмого пота на свежем воздухе, готовы съесть втрое, впятеро против того, что их ожидает в столовой. Во всяком случае, так каждый думает про себя. В столовую роту ведет старшина. На замешкавшегося шипят, бросают свирепые взгляды сами бойцы: «Какого черта копаешься?» Тут каждый и без команды стремится попасть в столовую побыстрей.

Дневальные уже подготовились: на столах стоят бачки с супом, хлеб нарезан.

Сумароков протиснулся на свое место, поставил перед собой миску и жадным нетерпеливым взглядом окинул стол. Сегодня необычный день: хлеб не лежит увесистыми порциями перед каждым, а нарезан небольшими ломтиками и горками сложен в широкие эмалированные миски.

— Эй, дневальный! — сердито окликнул Сумароков. — Где моя порция? Мух ловите...

Старшина не дал ему договорить:

— Р-рота! Слушай мою команду. Встать! Смир-р-но...

Столовая — это длинные, на столбиках, столы, выстроившие-

ся на площадке правильными рядами. Никакой крыши пад головой. Утром столы и скамейки мокры от росы, днем от выскобленных досок пышет жаром, зато вечером, когда сосны отбрасывают на землю длинные тени, за столами хорошо, прохладно.

Перед раздаточными окнами на возвышении появился комиссар полка — батальонный комиссар Матвеев.

— Товарищи! — Голос у него глухой, лицо худое, и гладко выбритая синева подбородка переходит в желтизну щек с нездоровыми пятнами румянца. Крутов, сколько ни приходилось ему встречаться с комиссаром, не видел его веселым. Кажется, что улыбка никогда не разравнивала глубоких складок на лбу, никогда веселые огоньки не загорались в темных запавших глазах.

Кое-кто шикает, и, когда воцаряется тишина, Матвеев говорит:

— Товарищи! Русский народ всегда уважительно относился к хлебу. Вспомните старинный народный обычай встречать дорогих гостей хлебом-солью, вспомните, как бережливо относились ваши отцы к каждой крошке. Бросить кусок считалось за грех. Мы, конечно, неверующие, но и нам не следует этого забывать. Партия и правительство, наш парод отдают все самое лучшее Красной Армии. Мы все обуты, одеты, прекрасно вооружены, каждому из нас положена здоровая, научно обоснованная норма продуктов. Социалистические преобразования в деревне дают право утверждать, что наши колхозы и совхозы и впредь будут обеспечивать растущие потребности страны в продуктах питания. Хлеб — наше золото, и мы обязаны бережно относиться к нему, не допускать расточительства. А оно есть. После вас ежедневно собирают куски, которые приходится потом выбрасывать. Этого не должно быть. С сегодняшнего дня вводится новый порядок: каждый пусть берет хлеба столько, сколько может съесть... Мало — добавят, осталось — пусть лежит в чашке, а не под столом...

— Выдумывают, — бубнил под нос Сумароков, когда комиссар кончил речь. — С меня сегодня семь потов вышло, пока добился окон, а тут останется... Держи карман.

— Ему стараются как лучше, а он бухтит. Вот человек! — Лихачев пожал плечами: — «Семь потов...» Привык в писарях бумагами шелестеть, вот и показалось небо с овчинку. У нас с Пашкой такая же глина попалась, а ничего, уложились в норму. Верно, Пашка?

— Само собой! — откликнулся Крутов. — Слышал девиз: учись владеть лопатой, как ложкой. Больше пота — меньше крова в бою.

— Сам придумал? — язвительно огрызнулся Сумароков. — Война то ли будет, то ли нет...

— Будет — не будет, а нарком требует. Ты что, газет не читаешь? — Лихачев раньше всех управился с первым — гороховым супом из концентрата — и ждал, когда дневальные понесут второе — кашу. — Пашка, проводи с ним разъяснительную работу. Видишь, темная деревня...

Лихачев раньше всех опростал и свою миску с кашей, облил ложку, сунул ее под обмотку и встал:

— Долго вы еще тут будете? Правду говорят, какие едоки, такие и работники.

— Осталось, — поднимаясь, хихикнул Сумароков и указал на пустые миски из-под хлеба.

— Мы — пехота, — спокойно заметил Лихачев. — У нас не осталось — у других останется. В целом, глядишь, выгода...

С обеда можно идти не торопясь. Зеленые кудлатые сосны млеют под пристальным солнечным взглядом, жарко горят их медно-красные стволы. От терпкого смолистого запаха немного кружится голова.

— Эх, сейчас бы окунуться, — мечтательно произнес Лихачев. Пилотка с белыми солевыми разводами, такими же, как и на коробом засохшей гимнастерке, надвинута у него на самую бровь, набекрень, голубые глаза смотрят вприщурку. — Холодная водичка — любо-дорого.

— Не успеем до мертвого часа...

— Ну и что? Подумаешь, час не поспим.

— Я не потому, — сказал Крутов. — Мне все равно не спать, а готовиться к беседе...

— Политрук тебя, наверное, в заместители метит толкнуть. Четыре треугольничка на воротник — и порядок.

— Нет. Замполитрука должен быть членом партии или кандидатом, а я только комсомолец...

— Вступишь...

— Зачем? Куда спешить? Присвоят звание — лишний год службы.

— Слышь, Пашка, а что там с Францией? — спросил Сумароков. — Политрук в прошлый раз говорил что-то насчет Франции, а я так ни черта и не понял.

— Что?.. Франция доигралась. Помнишь, наши не раз предлагали заключить договор о взаимопомощи на случай агрессии, а они тянули, тянули, а потом, во время финской, сообща с Англией экспедиционный корпус против нас стали сколачивать. Один генерал даже похвалялся как нож сквозь масло пройти до Баку...

— Силен... Где он сейчас?

— В Англии отирается, поддержки ищет. Вот и получается: лучше за границе пятки лизать, только бы не с нами заодно. Капиталисты все надеются, что Гитлер повернет на Восток. А у нас с Германией договор о ненападении и торговле...

— Ага, понятно, — сделал неожиданый вывод Сумароков. — Значит, теперь наш хлебушек пужный стал, чтобы «дружка» Гитлера подкормить. Поэтому и о бережливости заговорили...

— Почему «дружок» и «подкормить»? Речь идет о ненападении, а поставки обоюдные: они нам машины, оборудование, мы им хлеб, сырье... Это, брат, не бухты-барахты — политика. Не с нашим носом соваться...

— Знаешь, Пашка, французы и англичане нам пособниками никогда не были и не будут, но и Гитлеру я ни на грош не верю, — сказал Лихачев. — Конечно, наших министров ему не обмануть, но вот попомни мое слово, если нам придется воевать, так только с немцами. Это такой народец, что испокон веков на нашу землю зарится...

В голосе его звучала такая убежденность, что Крутов не стал спорить и лишь пожал плечами: поживем — увидим.

\* \* \*

Среди ночи, когда сон так сладок и крепок, тревожно заговорил горнист.

— Р-рота! В ружье! — раздался у палаток зычный голос Турова. Он был одет, при снаряжении и только поглядывал на часы. Кузенко рядом с ним.

Крутов подхватился как встрепанный: гимнастерку, брюки — на себя, ноги — в ботинки. Тут уже не до пуговиц, шнурочков, успеть бы выскочить вовремя, потому что если стрелкам винтовку в руки, да и был таков, то пулеметчикам надо еще до стеллажей бежать.

Рядом пыхтел Сумароков, довертывал обмотку, а Крутов уже охватил себя ремнем: подсумок с патронами, лопатка еще с вечера на ремне, шинель в скатке и приторочена к ранцу. Тревогу ведь заранее не объявляют, поэтому надо всегда быть готовым.

— Пулеметчики, за мной! — скомандовал Коваль. У него кирзовые сапоги, с ними быстрее управиться, а все равно к стеллажам бойцы подбежали с ним разом.

— Разбирай пулемет!

Лихачев — силач, пригнулся:

— Вали, братва, «максима» мне на спину целиком. Допру. Стрелковые взводы уже стояли в строю. Пулеметчики при-

строились сзади, и тут раздалась команда: «Батальон! Смирно!» — значит, вышло время, отведенное на сборы по тревоге.

В наступившей тишине слышался ляг повозок, цоканье копыт: ездовые рысью гнали к строю пулеметные повозки.

Низенький плотный комбат капитан Бородин шел вдоль строя. На нем с одного боку — командирская пухлая сумка, с другого — кобура с пистолетом, противогаз сдвинут за спину. На темном лице выделялись выгоревшие до белизны, светлые, как перезревший колос пшеницы, широкие кустистые брови.

Бородин появился в полку в декабре, когда батальон из многочисленной учебной команды был за два дня развернут до махины в несколько сот человек, по штатам военного времени.

Молодые бойцы тогда удивлялись, что пожилой, всеми своими повадками штатский человек вдруг заменил кадрового старшего лейтенанта — принял командование батальоном.

Поговаривали, что Бородин до призыва в армию работал учителем, но каким, где — никто толком не знал. Крутов не раз попадался ему на глаза на учениях, на стрельбище, будучи в нарядах, но разговаривать не приходилось.

Однако Бородин даже в темноте сразу узнал и Крутова и Лихачева.

— Ну как, пулеметчики, все в порядке?

— Так точно! — громко ответил за них Коваль и прищелкнул каблуками. — Пулеметное отделение готово!

Получилось это у него здорово — сухой, как выстрел, щелчок одновременно с отрывом руки от пилотки.

— Лейтенант Туров, доложите! — Голос комбата — густой, резкий — требовательно прозвучал на весь плац.

— Товарищ капитан, в строю сорок два, в наряде пять, заболевших двое. Докладывает лейтенант Туров! — откликнулся лейтенант с правого фланга роты.

— Четвертая рота, вольно! — Комбат пошел к другим подразделениям, а Крутов наклонился и стал шнуровать ботинки. Рядом другие застегивались, перематывали обмотки, поправляли на себе снаряжение.

Видимо, командиры рот знали задачу заранее, потому что батальон тут же выступил из лагеря. Форсированный марш. Комбат впереди. Он шагает пружинисто, легко, широко, словно ему не сорок лет, а много меньше. В ротных колоннах задние сразу же сбиваются на рысцу. В колонне задним всегда труднее: и пыль, и постоянные рывки, и подстегивания — «не растягиваться!».

Как только батальон вышел из лагеря на шоссе, последовали новые команды: «Газы!» и «Бегом, марш!»

В темноте искрят под ногами камешки, отяжелевшая от ночной сырости пыль нехотя цепляется за колеса повозок, плотной мучной мутью обволакивает ботинки бегущих, конские копыта. Взбиваемая пехотой, она поднимается все выше и выше и вскоре окутывает всю колонну удушливой липкой мутью. Хрюкают противогазы, с трудом пропуская через фильтры и клапаны воздух.

Застоявшиеся сытые лошади храпят и рвутся у ездового из рук: что для них пулеметы — каких-то сто пятьдесят килограммов! Ездовой едва не раздирает им удилами рот, не в силах сдерживать, а они того и гляди кого-нибудь стопчут.

На плечах у бойцов скатки, рапцы, в руках винтовки, бежать трудно. Хорошо бы придержаться рукой за повозку, но это не положено. Первый и второй номера должны бежать рядом с повозкой, не прикасаясь к ней, — так говорится в наставлении, и сержант зорко следит, чтоб никто не цеплялся. Служба не для того, чтобы отлынивать от ее тягот. На Ковале сейчас, как и на всех в батальоне, противогазная маска, которая всех делает похожими. Но у Коваля свое, особенное лицо с красноватой кожей, длинным носом и выпуклыми глазами. Он не красавец, это ему хорошо известно. Мать говорила, что в младенческом возрасте у него вились белые, как лен, кудряшки, но потом волосы стали жестче, лицо вытянулось, подурнело, брови и ресницы выгорели, глаза потеряли яркую синеву, уменьшились. Зато здоровье у него отличное.

Все украинское дорого ему, он гордится украинской щедрой землей, ее садами, рощами, гордится своим народом, самым красивейшим на земле, гордится тем, что Ковали родом от запорожских казаков. ◀

Стихи Тараса Шевченко — его любимые стихи. «Ще не вмерла Украина...» — любил он петь в школьном хоре по праздникам перед односельчанами. Во всех учебниках стихи Тараса рядом со стихами Пушкина, Лермонтова.

Далеко от Сибири Украина, а кажется, что ее тепло согревает и здесь душу сержанта. Ночами ему часто снятся милые сердцу картины: поля, высокие пирамидальные тополя, серебристые могучие ветлы и под ними хатки. Село, в котором он вырос, стоит в глубине области, поэтому на Днепре Коваль был только дважды: когда ездили всем классом на экскурсию, чтобы возложить венки на могилу Тараса, и полтора года назад, когда их, молодых призывников, в Киеве «гуртовали до эшелона».

Призыв в армию внес смятение в душу Коваля. Что делать, как быть? В жизни все так сложно: советская власть его учила, и если у него шесть классов, так потому, что сам отлынивал. Но

эта же советская власть загнала в Сибирь дядьку, а отец с матерью не могут забыть про свои десятины и смириться с колхозом...

— Ты меня слухай, — говорил отец, провожая. — Служи, старайся, чтоб самому легче было. На нас, стариков, не смотри. Мы землей жили, нам трудно себя переломить, а твое дело молодое... Молодые нынче до города клопаются. Про Украину, конечно, не забывай — то родина! Начальству не перечь — начальство службу любит, а до твоих думок им делов нема...

О многом хотелось бы порасспросить, да все это приходит в последнюю минуту, когда не до того. Уж больно страшился Коваль, что не сдюжит в Сибирь, не пересилит своей тоски по родине. Но оказалось, что морозы не так уж страшны, когда одет и сыт, что непосильной работы не задают. Когда ехал, теплилась надежда повстречать дядьку Панаса, который был не только «хозяином», как говаривал отец, но и махновцем в давние годы. Об этом проболтался в подгулявшей компании на проводах сосед. И взяли дядьку Панаса много лет спустя после гражданской войны как махновца, за давние грехи, а не как «хозяина». Но еще в пути Коваль понял, сколь несбыточны мечты встретить на таких обширных просторах своего человека.

К тому же, как понял Коваль, такие, как Папас, валили где-то тайгу дремучую, и лучше, чтоб никто про это родство в полку не прознал.

Полковая школа закалила здоровье Ковалья. Шесть месяцев жизни «бегом», в постоянном напряжении не прошли для него бесследно. К тому же рядом всегда были земляки — такие же, как он, курсанты, рядом всегда звучала родная речь, особенно по вечерам, когда собирался в курилку. Коваль получил звание сержанта, но два красных треугольничка в петлицы и хорошую характеристику за прилежание.

Вот и тянется он изо всех сил, чтобы его заметили, похвалили, но лейтенант почему-то к нему всегда холодеет, хотя сержантскую службу Коваль исполняет, как положено по уставу, поблажки подчиненным не дает. Даже вот сейчас, когда мокрая маска противогаза нестерпимо облепила и стянула все лицо, Коваль терпит. Терпит. Хотя в кармане всегда имеется карандаш, который можно незаметно подсунуть под клапан, и дыши тогда полной грудью свежим воздухом. Не делает этого сам и следит, чтобы кто другой из его отделения не вздумал схитрить, особенно Сумароков. Хватит того, что целый месяц ходил и докладывал политруку о состоянии дисциплины в отделении из-за Крутова.

Коваль обернулся, сквозь запотевшие очки оглядел бегущих за ним бойцов: не отстал ли кто? Не оттягивает ли кто маску на лице?

Бегут. Лопаты в чехлах болтаются и хлопают бойцов по ляжкам. У кого-то бренчит в котелке кружка — додумался же куда положить!

«Вот разгильдяй!» — хмурит брови Коваль, но потом до него доходит, что за стуком и лязгом повозки командир роты этого не услышит, и он успокаивается. Однако установить, кто этот разгильдяй, не мешает, и Коваль пропускает мимо себя бойцов.

«У Кракбаева, — берет он на заметку, — Проклятый киргиз. Не мог уложить как следует ранец...»

Кракбаев маленького роста, щуплый на вид, но цепкий, как клещ, и сильный. Однажды завелись бороться, и он так мотанул через себя рослого рязанца Домрачева, что тот еле отдышался. Коваль ничего против Кракбаева не имеет, да и распекать его бесполезно: уставится черными глазами и молчит. Что ругай его, что нет, один черт. «Не понимаю» — и весь ответ, хотя понимать — понимает, по всему видать.

С пулеметным отделением поравнялся Кузенко. Коваль узнал политрука по фигуре, ремням снаряжения, командирскому обмундированию. На рукаве гимнастерки вместо шевронов — напистая красная звезда. Младший политрук. Тоже — проверяет...

Коваль выставил палец — все на большой. Порядок! Политрук кивнул — понял.

Правду говорят, что нет худа без добра. Эти ежедневные рапорты о состоянии дисциплины сблизили Коваль с политруком. Тот не раз говорил, что они должны вывести четвертую роту в передовые, а для этого — на корню пресекать всякие нарушения дисциплины. А кто лучше знает, что замышляют бойцы, чем Коваль? Вот он и приоткрывает перед политруком вторую, скрытую от командирского глаза, сторону жизни бойцов.

Кое-кто за это на Коваль косится: как только он подходит, перестают разговаривать, а ему что — не ради своей пользы наушничают, а для дела...

Раньше, что ни случись, он ставил в известность Турова, но того не поймешь. Буркнет: «Хорошо, Коваль, идите...» — и думай как знаешь. А Кузенко это ценит.

Коротка летняя ночь. Вылиняло с одного края темное небо, поблекли звезды, и кусты обрисовались по обочинам дороги. Отбой химической тревоге.

Коваль с удовольствием утер платком мокрое лицо и на ходу стал протирать маску, чтобы уложить ее в сумку.

— Когда собаке делать печего... — задышливо бубнит Сумароков и ввертывает матерное словцо. — А нас в противогазах...

— Р-разговоры! — нарочито громко, чтобы слышал командир роты, одернул Сумарокова сержант.

На привале политрук подозвал Коваля:

— Слушай, надо отразить в «боевом листке», как прошла тревога. Мы должны добиться, чтобы рота поднималась как один человек, в момент. Агрессоры не будут ждать, пока мы раскачаемся, возьмем за оружие. Понял? Отрази, кто не оделся, не обулся как следует.

— Кракбаев не уложил с вечера ранец, брэнчала кружка...

— Вот видишь. Будь эта тревога не учебная, а боевая, такой боец выдал бы пас врагу раньше, чем мы успели б изготовиться. Задача такая: три минуты — и пулеметный взвод должен быть в строю. Итак, «листок» за тобой. Считай это поручением...

\* \* \*

Крутов задержался на реке. Малиновое разопревшее солнце уже наполовину скрылось за дальними холмами, когда он закончил стирку гимнастерки и портянок. Это учение порядком вымотало его, и он шел не торопясь, наслаждаясь вечерней тишиной. Досыхающая на нем гимнастерка приятно холодила тело. Резкий в Сибири все же климат: только что не знал, куда укрыться от палящего зноя, а начало смеркаться — в пору надевать шинель от холода.

Возле ленинской палатки толпились бойцы. Крутов глянул: «Ага, «боевой листок».

— Эй, Пашка, иди посмотри, как тебя намалевали! — крикнул ему Лихачев.

Крутов, поеживаясь от сырости, подошел. В самом деле, на пол-листа нарисована длинноногая уродина. Придерживая штаны, она бежит в развевающихся обмотках, а все остальное снаряжение двигается вдогонку самостоятельно. Нос, как водится, картошкой, в точности, как у всяких пройдох, которых рисуют в «Крокодиле». Внизу подпись: «Боец Крутов бежит в строй по тревоге».

— Что ж это меня одного? — пожал плечами Крутов, догадываясь, чья это работа.

А Лихачев ржет как лошадь, да и другие тоже:

— Нет, ты скажи по совести, здорово нарисовано?

— Если говорить прямо, так не совсем: сержанта здесь недостает.

— Эт-то еще почему? — сурово сдвинув брови, спросил Коваль.

— А потому, товарищ командир, что к стеллажам вы прибежали следом за нами, в строю вы так же, как и мы, доодевались. Признайтесь...

— Не имеешь права обсуждать командиров! — багровея, закричал Коваль. — Разболтался, разгильдяй этакий! Кру-у-гом!

— Не обзывайте. Я боец! — И Крутов повернулся совсем не по-военному, собираясь идти.

— Отставить! — крикнул сержант запальчиво. — Наряд вне очереди. Повторите.

— Вы не правы, и я ничего повторять не буду.

— Я тебя отучу вступать в пререкания! Второй наряд за неподчинение!

Крутов молча махнул рукой и пошел, провожаемый недоуменными взглядами. В самом деле, вместо того чтобы сообщая посмеяться, ни за что, ни про что схватил два наряда, когда после третьего, по новому уставу, можно прямым ходом загреметь в дисциплинарный батальон на полгода.

Лихачев досадовал: лучше бы он придержал язык. Но кто думал, что Коваль будет так реагировать. Шутка ли — два наряда. День в лагерях так заполнен, что от подъема до отбоя часу не выкроить на письмо, а тут еще и выходные дни отнимают. Ведь наряды вне очереди как раз на воскресенья и приходятся. И никому не пожалуешься: власть командиру отделения дана такая, что его наряд никто, кроме Народного Комиссара Обороны, отменить не может. Недаром бойцы шутят, что у командира отделения власти больше, чем у командира полка. А Коваль упрямый: сказал — так и будет.

На вечерней поверке политрук задержал роту:

— Товарищи! В нашей роте случилось чрезвычайное происшествие: красноармеец Крутов не выполнил приказа младшего командира. Новый Дисциплинарный устав дает право применять в таких случаях силу, вплоть до оружия. И это неспроста. Основа воинской дисциплины — беспрекословное повиновение. Наша Красная Армия, — продолжал Кузенко, — создана, чтобы защищать завоевания революции, защищать Родину. Потворства тем, кто пытается разлагать дисциплину, подрывать авторитет младшего командира, нет, не было и не будет. Запомните все это хорошенько. Сержант Коваль наказал Крутова всей полнотой своей власти, и правильно. Не сделай он этого, я наказал бы его самого по всей строгости...

Крутов слушал, мрачно глядя перед собой в одну точку. Все что говорит политрук, справедливо. Он это понимал, но

сил, чтобы прямо посмотреть в глаза товарищам, сказать: «Винovat. Ошибся», — нет. Нет сил перешагнуть через мелкую обиду, вызванную наскоком Ковалея.

Кузенко дал команду разойтись и пошел в свою палатку. Туров просматривал уставы, составляя программу боевой подготовки на неделю.

— Ну что? — не поднимая головы, спросил он, когда пламя свечи заколебалось при входе Кузенко.

— Поговорил. По-моему, Крутов зазнался, а мы, вместо того чтобы поставить его на место, либеральничаем...

— Ты считаешь, что двух нарядов недостаточно?

— Злостный нарушитель. Таких надо просто отдавать под суд.

— В чем же тогда будет заключаться твоя задача как политрука? — спокойным ровным голосом спросил Туров. Он был лет на десять старше Кузенко, опытнее и терпеливо старался внушить ему свои взгляды на воспитательную работу. Порой, наблюдая, как строго официально держится Кузенко с бойцами, он досадовал: «Дали помощника. Самого надо воспитывать да воспитывать...»

— Там, где не помогают убеждения, надо принуждать, — ответил Кузенко. — Мы поставлены, чтобы требовать...

— Значит, ты убеждал и Крутов не поддался? — Туров усмехнулся. — Знаешь, политрук, я почему-то уверен, что Крутов хочет честно служить Родине. Парень он неглупый, по боевой подготовке показатели у него хорошие, нам с тобой помогает: и беседы проводит, и ленкомнату оформил. Потом вспомни, во время финской войны, когда мы еще готовились, кто у нас из роты подавал рапорт, чтобы направили на передовую? Он и Лихачев первые...

— А теперь скатывается в болото. И все потому, что мы его переоценили, — упрямо проговорил Кузенко. — Я не понимаю причин твоей мягкотелости. Вместо того чтобы твердой рукой насаждать железную воинскую дисциплину, ты готов каждому потворствовать...

— Слушай, Кузенко, мы с тобой работаем уже больше чем полгода вместе, а все не договоримся. Оставим на время высокие слова. Они правильны, нет спору, по давай спустимся на землю. Нам с тобой доверили пятьдесят человек — неумелых, разношерстных, и мы обязаны из них сделать бойцов. Мы, а не кто-нибудь. Как хороший бондарь вяжет из разной клепки крепкую бочку, так и мы обязаны сколотить их в один боевой коллектив — роту. Понимаешь? В этом наша цель: научить, сколотить.

Научить и сколотить — не одно и то же. Я бы даже сказал, что первое легче, чем второе. Видишь, какая сложная перед нами задача. Каждый человек — два процента. Отдадим под суд Крутова, Сумарокова, еще кое-кого. С кем же пойдем воевать? С примерными только? С чистенькими? Эх, политрук, политрук, если бы наша задача состояла только в том, чтобы отсеивать неподходящее, так за что нас и хлебом кормить...

— Ты забываешь, командир, что примерно наказав одного, мы тем самым воспитываем других...

— И все ж таки давай договоримся: суд — дело крайнее, и ты в роте дело до этого не доводи. Я бы на твоём месте лучше присмотрелся к Ковалю. Лихачев утверждает, что он тут немного переусердствовал. А Лихачев рабочий парень, я ему верю.

— Дружок Крутова — не забывай!

— Ты хочешь сказать — друг? Что ж, дружба между бойцами — дело нужное. А Коваль мне не нравится. Дух не тот, понимаешь...

— Коваль — принципиальный, требовательный командир. Не в пример разболтанному Крутову.

— Плохо представляю, как ты согласишься принципиальность с угодничеством. Но это дело твоё. Я знаю другое: Крутов — боец грамотный, из рабочей семьи. По своему развитию стоит выше Ковалья, хотя тот и сержант. Что нет-нет да срывается? Не забывай, что его служба только начинается. Так что больше терпения, политрук. Воспитание — процесс трудный, я бы добавил — обоюдно болезненный. Ты пойми — бойцу не только строгость нужна, но и душевный разговор...

Туров прошелся по палатке, раздумчиво проговорил:

— Может, развести их по разным отделениям? Ладно, подумаю.

Считая разговор исчерпанным, он стал неторопливо раздеваться. Уже лежа в постели, сказал:

— Смотрел газеты. Прибрал Гитлер Францию, Нидерланды, взялся за Англию. Чертовски легко ему все дается...

— Пятая колонна помогает. А буржуазия боится дать оружие в руки пролетариата, — отозвался Кузенко и тут же спохватился, что ответил заученной казенной фразой, когда мог бы привести факты двурушничества буржуазии, которая, с одной стороны, не желала прихода гитлеровцев, а с другой, боялась, чтобы верх в стране не взяли левые силы. Примеров этому предостаточно. Мог бы, но он размышлял над другим — о каких еще душевных разговорах ведет речь командир роты? Политрук не нянька, на полсотни человек не разорвется. К тому же была

бы необходимость в таких разговорах. Что еще не хватало тому же Крутову? Есть приказ — исполняй, и никто большего не требует. Так нет, вступил в пререкания: вишь, оскорбился...

Кузенко хотел бы сравняться с Туровым, чтобы и с его голосом считались в роте так же, как с голосом командира. Хотелось, чтобы Туров говорил с ним, как со своим первым помощником, но между ними, как преграда, разница в годах, в жизненном опыте. Туров ждет, когда их опыт сравняется. Только и слышишь: это не так, другое не эдак. А как? Взял бы да научил! Так нет, ответ не понравился, отвернулся к стенке: что, мол, с тобой толковать...

Расстроенный Кузенко вышел из палатки подышать воздухом перед сном, подумать.

### Глава третья

У Крутова все валилось из рук. Было такое состояние, словно он погружается в какую-то вязкую трясину и нет сил выбраться. Своими нарядами он всю роту ставил на последнее место в батальоне, и от этого совестно было смотреть в глаза товарищам.

Без воодушевления стоял он под «грибком». Практически ему было даже легче, потому что, несмотря на воскресный день, вся рота в касках, со скатками, противогазами, при жаре уже третий час маршировала на плацу. Командир полка подполковник Сидорчук был охотником устранять смотры батальонам, учить их согласованным действиям, проверять строевую выучку. Но разве легче стоять, если душу гложет сознание вины? Не хотелось ни думать, ни мечтать. Даже вид марширующих колонн и музыка не радовали.

Друзья заметили в нем перемену, сначала подшучивали, а потом поняли, что дело неладно.

После обеда, когда Крутова подменил на посту другой дневальный, они отозвали его в сторонку.

— Пашка, — грубовато, но с искренним участием спросил Сумароков, — ну чего ты раскис?

— Так, не в духе...

— Нет, ты скажи, мы тебе кореша или нет? Хочешь, потолкуем с Ковалем, чтобы он от тебя отвязался? А то, знаешь, чем дальше, тем хуже. По-хорошему поговорим...

— А не поймет по-хорошему, то вот! — И Лихачев потряс здоровенным мослатым кулачищем. — Не бойся, рук пачкать не стану. Коваль — трус, только скажу ему пару ласковых слов — и будет шелковым...

— Нет, братцы, все это ни к чему. Отстою, что положено.

— Ну и дурак! Думаешь, так оп от тебя и отцепится, — сказал Сумароков. — А мы так обтяпали бы это дело — комар носа не подточит. Добра тебе желаем — поверь.

— Нет, — твердо сказал Крутов, — не нужно!

В очередное воскресенье, когда все ушли на завтрак, Крутов заправил постели, подмел в палатке, выровнял белые треугольники полотенец и, дождавшись подмены, тоже пошел в столовую. Возвращаясь, он еще издали услышал крик Ковалья:

— Дневальный! Где дневальный?

В палатке царил ералаш: одеяла сдернуты, матрасы вкривь и вкось, а посреди стоит Коваль и тычет пальцем в окурочок.

— Что это такое, я спрашиваю? Кто дневальный? Немедленно навести порядок!

Кто-то из бойцов курил ночью, а потом втопнул горячий окурочок в землю под крыло палатки. Естественно, что, прибирая, Крутов его не заметил.

— Я дневальный, но прибирать дважды не буду!

— Товарищ боец, встать смирно! Приказываю...

Крутов глянул на сержанта откровенно ненавидящим взглядом и, повернувшись, вышел. Коваль не выдержал и следом, опрометью, кинулся к командиру роты жаловаться.

Крутов понял, что дальше катиться некуда, дисциплинарного батальона не миновать. Неуверенной, словно бы слепой походкой он пошел в лес.

Его никто не догнал, не задержал.

На реке артиллеристы купали лошадей. Солнце взблескивало на сытых конских крупах, на мокрых плечах бойцов, рассыпалось ослепительными брызгами на мелкой волне. Веселые крики, ржанье лошадей звонко разносились над водой. Крутову припомнилась большая мажорная картина Пластова, изображавшая в таких же сочных тонах, с такою же сверкающей энергией армейские будни. Она и называлась «Купание коней».

Радостная, сияющая жизнь катится мимо, а для него все кончено.

Крутов забился в самую чащу прибрежного кустарника и лег. Какая-то пичужка щебетала вблизи. Благоухала сочная хвоя молодых сосенок. «Не для меня, — с отчаянием думал Крутов. — Конечно...» Ему стало жаль своей так несуразно загубленной жизни. В глазах, растекаясь, наплывая, сдвинулись зеленые, голубые, белые пятна. Крутов не утирал глаз. Пусть. Если бы можно было начать все сначала! Как часто нас губят самонадеянность, гордость, когда надо промолчать, просто, без мудрства-

ния исполнять то, что делают все, что давным-давно заведено и нерушимо.

Крутов не помнил, как заснул крепким освежающим сном, и спал долго, до самого вечера. Проснулся он потому, что вблизи кто-то ходил.

— Пашка! — донесся до него голос Лихачева. — Где ты?

Крутов откликнулся и встал. Что ж, пора расхлебывать кашу, которую по собственной глупости заварил. В конце концов, жизнь еще не кончена, и золотистое небо, это усталое раскрасневшееся солнце, что легло на фиолетовую даль холмов, не для одних счастливицков. Надо все пережить, перенести, не теряя достоинства.

— Командир роты тебя вызывает, — сказал Лихачев. — Мы там на тебя обед получили, ждали, ждали, а ты вон куда забился. Всем отделаемся ищем...

Лихачев не скрывал своей радости: он ждал худшего.

Удивительно спокойный, словно все, что должно произойти, уже произошло и осталось позади, вошел Крутов к командиру роты.

— По вашему приказанию красноармеец Крутов прибыл.

— Садитесь, Крутов, — пригласил Туров и озабоченно взглянул на него. — Кем вы хотели быть в армии, Крутов?

— Думал честно отслужить положенный срок рядовым, но, кажется, и этого у меня не получается.

— Только лишь рядовым? А вы помните, что говорил Нарком Обороны по поводу массового призыва в армию учащихсх средних и высших учебных заведений?

— Помню.

— Нет, видно, плохо помните. А сказал он вот что: большой контингент учащихсх, призываемый в армию, пополнит наши кадры командиров и политработников образованными, хорошо подготовленными людьми. А вы говорите «рядовым». Разве не таких, как вы, он имел в виду?

— Из меня никогда не получится командира, — пробормотал Крутов: ему чем дальше, тем больше становилось не по себе.

— Эх, Крутов, не хотелось бы повторять то, что давно избыто, но вынужден: плох тот солдат, который не думает стать генералом. Вы только вчитайтесь в газеты. Вокруг нас уже второй год война. Пробуют нашу силу на востоке японцы, пробуют на западе. Империалисты спят и видят, как бы втянуть нас в войну. Мы отодвигаем ее от наших границ, чтобы лишний день передышки получить, а она к нам все ближе. Может, вам это странно, но это так. Ведь партия разъяряла, почему мы пошли на договор о ненападении с Германией...

Туров отвернулся, некоторое время молчал. В палатке висла напряженная тишина.

— Недавно читал, как немцы в Бельгии воевали, — глухим голосом снова заговорил Туров. Длинные разговоры были ему не по душе, и он с трудом заставил себя вернуться к прерванной теме: — Восемьдесят парашютистов захватили сильнейшую крепость с подземными казематами, с запасами воды, продовольствия, боеприпасов, с тысячным гарнизоном. Восемьдесят! Вдумайтесь в это. Ослепили, задымили крепость, забросали входы тяжелыми гранатами и закупирили в казематах тысячу двести человек. Блестяще действовали, согласитесь. А доведись такое задание нам, нашей роте. Сумели бы? Не задумывались? То-то же... Фашизм — серьезный противник, Крутов.

Туров с удовольствием поручил бы этот разговор с подчиненным политруку, но этого полюбившегося ему парня надо было спасать, как-то сразу и навсегда поставить на верный путь. Вот почему, походив по палатке, Туров снова заговорил:

— Я представляю себе вашу службу так: вы должны готовиться к тому, чтобы в любую минуту могли заменить нас. Накапливать знания, практические навыки, потому что, когда они потребуются, приобретать их будет уже поздно. А вы... вы вместо этого междоусобицу с Ковалем затеяли. Как вам не стыдно? Ну, я решил: завтра вы отправитесь в полковую снайперскую команду. Я еще не потерял на вас надежды, Крутов. И запомните, из вас до тех пор не выйдет командира, пока вы сами не научитесь подчиняться. Идите, Крутов.

Глубоко растроганный, Крутов нашелся только ответить:

— Спасибо...

— Счастливо служить, Крутов.

\* \* \*

Подполковник Сидорчук приехал со стрельбища. Хоть и на лошади, а устал. К тому же — адская жара. И это называется Сибирь!

Отдав новодья ординарцу, он медленным шагом поднялся на крыльцо штаба. Дневальный четко поприветствовал его и вытянулся возле своей тумбочки с телефоном. Кабинет находился в дальнем конце здания, и шаги подполковника гулко отдавались в прохладном полутемном коридоре.

В кабинете на столе дожидалась его прихода пачка газет и журналов. Одной рукой утирая потное, темное от загара лицо и красную, будто выдубленную ветрами и злым летним зноем шею, он другой стал разворачивать поочередно газеты.

Прежде всего последние известия. Как там странная война, все еще продолжается? Ого, Гитлер всерьез взялся за Англию. Бомбит Лондон почему зря. Неужели оправдывается доктрина итальянца Дуэ и сопротивление англичан будет сломлено только лишь с помощью бомбардировок?

В последние годы мир так лихорадит, события разворачиваются столь стремительно, что порою невозможно за ними уследить. Одно подхлестывает другое, и по всему видно — быть скоро катастрофе. Со дня на день так и жди, что пламя мировой войны захлестнет землю. Тут поневоле заинтересуешься вопросами тактики, особенно если на твоих плечах лежит ответственность за подготовку полка — почти полутора тысяч бойцов и офицеров.

Сидорчук листал газеты, пробегая взглядом по второй и третьей страницам, где нет-нет да встречаются статьи интересующего его содержания.

В армейской газете статья на целый подвал о действиях артиллерии при прорыве линии Мажино. Интересно, как там воевали гитлеровцы?

Он отложил газету в сторону — прочесть потом, обстоятельно, поразмышлять. Как ни говори — опыт! Франция, одна из ведущих держав Европы, и так позорно проиграла войну.

«Дайте мне двенадцать мотомеханизированных дивизий, самолеты и я как пожар сквозь масло пройду до Баку!» — не столь давно хвастливо заявлял французский генерал. Сидорчук усмехнулся: как часто подводят людей преждевременные заявления! Замахивался на чужое, а коснулось защищать собственную землю, так за месяц-полтора отдали всю Францию. Куда и танки подевались, артиллерия...

В дверь постучали.

— Да. Входи! — крикнул Сидорчук. Увидев комиссара, он жестом пригласил его садиться. — Только со стрельбища вернулся, просматриваю, что нового. Завтра отправляю туда снайперскую команду. Ты не скажешь им напутственное слово?

— Можно, — кивнул Матвеев и, достав из кармана газету, хлопком расправил ее на руке и протянул Сидорчуку: — Ты этим интересуешься. Гудериан-танкист пишет...

Сидорчук достал с этажерки словарь, углубился в перевод статьи, обведенной красным карандашом. Статья на немецком языке, как откопал ее комиссар — непонятно. Городскую библиотеку запрашивал, что ли?

— Что ж, мечты этого танкиста, если считать применительно к Франции, — сбылись! — Сидорчук отложил статью. — Только я думаю, что там господа капиталисты сыграли с Гитлером

в поддавки. Лишь бы он поскорее объявил крестовый поход против СССР...

— Ну, Гитлеру сейчас не до нас, — заметил Матвеев. — По всему видно, решил сначала разделаться с Англией, тыл себе обеспечить...

— Ты так думаешь, комиссар?

— Не думаю, а убежден. Иначе ему не избежать войны па два фронта. Печальный опыт первой мировой войны. Нельзя не учитывать. К тому же я верю нашей партии, она не позволит застать страну врасплох. Если заключили договор о ненападении, значит, так надо. Иного решения не может быть. Ты сам посуди, не будь этого договора, мы бы уже были втянуты в войну. Будь спокоен, командир полка, если что и случится, так не столь скоро...

— Ты плохо знаешь немцев, а я с ними воевал еще в первую мировую. Тем более, когда у них Гитлер. Ты не пробовал анализировать действия Германии за последние годы? Зря. Любой договор для Гитлера — пфф! — пустая бумажка. Ну, ненападение еще куда ни шло, но торговать с фашистами я бы не согласился, пусть бы как хотели...

— Не забывай: благодаря этому договору мы получаем передышку, отодвинули на время войну. Для нас это важнее всего. Торговля — необходимая плата, понимаешь? Гитлер нуждается в хлебе, в сырье и будет считаться с договором. А за год-два мы многое успеем.

— Договор его не остановит.

— Может, и не остановит, партия не строит на этот счет иллюзий, но тогда симпатии всех народов будут на нашей стороне. Гитлер разоблачит себя как агрессор. Симпатии народов — огромная потенциальная сила...

— Германский фашизм — не Маннергейм, с ним не управиться за три месяца. Пока эти потенциальные силы придут в действие, он может натворить нам бед. Вот тут и подумай: не делаем ли мы ошибку, комиссар?..

— Говори, да не заговаривайся. Или для тебя решения партии не указ? — С этими словами Матвеев поднялся и раздраженно заходил по кабинету.

— Успокойся, комиссар. Слово партии и для меня закон. Я такой же рядовой партии, как и ты. Но могу я высказать тебе то, что меня тревожит? Ведь мы защищали советскую власть, когда она только родилась, возможно, не сегодня-завтра пойдем защищать ее снова. Может ли быть для меня что-нибудь важнее безопасности Родины, когда, куда ни глянь, повсюду тучи? Неужели ты упрекнешь меня в неверности только потому, что

я высказал тебе свои сомнения? Ты меня знаешь не один год, скажи...

— А ты считаешь, что сомнения укрепят твою веру и делают тебя более стойким?

— Нет, не считаю. Но если они напрашиваются, тогда как?

— Я вижу, — холодно произнес Матвеев, — что разъяснения, которые уже сделала партия по этому вопросу, тебя не устраивают.

— Нет у меня особого мнения, но я командир полка и просто хочу видеть более четко лицо своего завтрашнего неприятеля. Видеть сам, чтоб научить этому и своих подчиненных, подготовить их к испытаниям, которые, быть может, не за горами. А все эти разговоры о ненападении, поездки разных немецких делегаций по стране мне не по нутру. Ведь это же наши заклятые враги, они и едут к нам с одной лишь целью, чтобы выведать наши силы, шпионить. Не слишком ли это дорогая плата за передышку, которую мы и так имели бы? Ведь ты сам говоришь, что Гитлеру пока не до нас. Так, нет?

Доводы командира полка были не лишены убедительности, Матвеев это чувствовал. Можно было бы поспорить с ним, но это значило бы согласиться, что решения партии можно обсуждать. Сидорчук просто не отдает отчета в том, что говорит. Не можем мы быть в политике двуликими янусами: заключив договор о ненападении, вести речи о войне. С первых своих дней партия, советское государство стояли за честность в отношениях между народами, за точное соблюдение принятых обязательств. В этом сила нашей дипломатии, ее авторитет. Как же можно после этого отказывать в приеме тому же Розенбергу? Не пустить делегацию? В нынешний век ни одна страна не может жить в изоляции. А против шпионажа есть верное средство — бдительность народа.

Все это Матвеев мог бы высказать Сидорчуку, но ему претили общие беспредметные разговоры. В вопросах политики он держался раз и навсегда принятых убеждений и не желал даже с давним другом идти на компромисс со своей совестью. И он решил перевести разговор в иное русло.

— Фашизм — вот лицо нашего врага, — ответил он. — Или тебе этого недостаточно? — Неожиданно даже для себя, он предложил: — Пойдем в клуб. Там художник нарисовал групповой портрет маршалов, просил посмотреть, прежде чем вывешивать.

Сидорчук взглянул на часы:

— Согласен. Время как раз к обеду.

На плацу разговор у них продолжался.

— В эти годы, — говорил Сидорчук, — развелось столько

всяких теорий, военных доктрин, как блох на шелудивой собаке. Это естественно — идет пересмотр арсенала войны. Но зачем об этом столько шуметь, словно нет других важных проблем, как только мусолить во всех аспектах будущую бойню? Порой нет-нет, а думаю: не есть ли это вражеская психологическая диверсия, попытка принизить роль человека, морально обезоружить народы до того, как начнется война? Чтобы смирились люди со своей беззащитностью перед могучей военной техникой. Я много об этом думаю. Конечно, авиация, танки — серьезная сила. Но разве это значит, что простой солдат с винтовкой потерял уже значение?

— А что говорит по этому поводу наш устав? — осведомился Матвеев; ему не хотелось давать повода для разглагольствований, но и умолчать казалось неудобным.

— Наш устав. Устав говорит определенно. Не в нем соль...

— А в чем же? Чего ты еще хочешь?

— Твердой земли хочу под погами, комиссар. Ясности. Понял? Если учесть, что Боевой устав пехоты принят в 1938 году, да на его составление ушло годика два, так, возможно, и устарел он уже. Техника ведь шагает — ого! — не утонишься.

— Что ж, ты и в уставе сомневаешься?

— Ох и любишь ты подковырнуть. Ты пойми, не о нас с тобой речь. Мы стреляные воробьи, нас на хлопупку не возьмешь. Чего устав не доскажет, так мы сами своим умом дойдем. Доведись оказаться рядовым, окопался бы я как следует, взял винтовочку покрепче, и пусть меня попробовали бы скovyрнуть. Я-то сумел бы доказать, что этот пункт устава не устарел. Но ведь меня не сравнишь с ними, — Сидорчук кивнул на ряды палаток, в которых размещались стрелковые роты. — Разве они это понимают? На днях пришла партия автоматов, так что дети — дай каждому автомат и хоть умри. На винтовку уже и смотреть не хотят — устарела, мол... Хотя и не говорят этого вслух, но по глазам видно...

— А ты бы взял и доказал им, что это не так.

Сидорчук неожиданно весело рассмеялся:

— Знаешь, ты иногда подаешь дельные советы. Придется с тобой почаще спорить...

Довольный, подполковник зашагал легко, пружинисто, широко, забыв о своем болезненном спутнике. Горячий лихорадочный румянец играл на скулах Матвеева, ему не хватало воздуха, он рукой старался оттянуть ворот гимнастерки, тогда, казалось, станет легче дышать.

Художник Лаптев — щуплый, выпачканный краской, в мешковато сидящем на нем обмундировании, увидев начальство, по-

спешно вскочил со стула. Рядом с большим полотном, на котором сухой кистью взатирку изображались маршалы, он выглядел еще более неказистым.

Маршалы, затянутые в голубоватые мундиры с красной окантовкой, с расшитыми золотом поясами и со звездами в петлицах, на которых сверкали крупные алмазные зерна, были изображены стоящими лицом друг к другу. Знакомые по множеству фотографий черноусый лихой Буденный, подтянутый, с короткими светлыми усиками Ворошилов, чуть надменный бритоголовый Тимошенко, назначенный после финской войны на пост Наркома Обороны, и Шапошников...

Лаптев, с палитрой и журнальной репродукцией в руках, угодливо суетился вокруг комиссара и командира полка, ожидая, что они скажут.

Сидорчуку не нравился этот щуплый, какой-то беспомощный в практических вопросах боец. Как большинство физически крепких, энергичных людей, он не любил в людях разболтанности, развинченности, когда человек ходит, словно бы надломленный. Он бы давно отправил его в роту, хотя чувствовал, что и там будет мало проку от такого бойца, если бы не комиссар.

Чем занимается Лаптев в клубе, Сидорчук никогда не интересовался. Но тут, увидев большое полотно, он был приятно удивлен: смотри-ка, у этого невзрачного бойца умелые руки! Человек прямолинейный, Сидорчук всегда говорил, что думал, чувствовал в данную минуту. И он сказал:

— А что, подходящая картина, комиссар. Не ожидал, честно...

Комиссар придирчиво сличил, соответствует ли эта громадная копия репродукции, и лишь тогда согласился с командиром полка: «Недурно!»

Сидорчуку хотелось как-то отблагодарить бойца, так неожиданно поднявшегося в его глазах, и он спросил:

— Ну как, художник, всем обеспечен? Кисти, краски, олифа есть? Говори, что нужно, чтобы наш клуб выглядел не хуже дивизионного по наглядной агитации.

— Кисти, краски есть, товарищ подполковник. Вот спирту бы немного, — Лаптев ткнул кистью в полусохшие наплывы красок на палитре. — Жара, а олифа вязкая...

— Что ты выдумываешь! — перебил его Матвеев. — Небось, выпить захотел? А может, ты уже... А ну, дыхни! — пытливо глядя в плутоватые глаза художника, приказал он. — Может, лучше бензину?

— Что вы, товарищ батальонный комиссар! — срываясь на

визгливый фальцет, запротестовал Лаптев. — От бензина сразу желтые пятна...

— Не придирайся к нему, комиссар, — примирительно заметил Сидорчук, довольный тем, что в клубе будет такое красочное панно. — Не спорь. Ты свое дело знаешь, он свое. Молодец, художник. Скажешь начальнику санслужбы, пусть нальет поллитра. Мол, командир полка приказал...

— Есть! — козырнул лихо Лаптев.

— Смотри у меня! — пригрозил Матвеев, спускаясь со сцены. — Не вздумай напиться.

— Все будет в порядке! — обрадовался Лаптев, а когда начальство скрылось, он подмигнул показавшемуся заспанному киномеханику: — Вечером тяпнем! — и выразительно щелкнул себя по горлу.

\* \* \*

От стрелковой роты в снайперскую команду направили четверых. Помкомвзвода Газин скомандовал им «шагом марш!», и они пошли к штабу батальона. Крутов удивился, что Газин идет с ранцем, котелком, скаткой, как и остальные; значит, покидает роту надолго. Когда лагерь остался позади, он спросил:

— А вы разве тоже с нами?

— Как видишь. Буду у вас инструктором.

— В самом деле? Вот славно.

— Не радуйся, Крутов, — усмехнулся Газин. — Так вас зажду, почище чем Коваль.

— Дело ведь не в том, зажмете или нет, — серьезно сказал Крутов. — Командир обязан требовать, мы это понимаем. Но у Ковалья получается так, что он не столько требует, сколько старается унижить. А зачем это? Ведь мы все служим Родине, каждый на своем месте. Правильно я понимаю, товарищ командир?

Газин пожал плечами:

— Одного понятия еще мало. Надо приучить себя повиноваться. Это не сразу и не всем одинаково дается. Тут у каждого характер. Но если человек уважает дисциплину, он должен смирять и свой характер. Командир ведь тоже не девица, не может он каждому нравиться, а дело есть дело. Вот станешь сам командиром, поймешь...

На стрельбище вскоре появилось полковое начальство. Снайперской команде придавали большое значение. Увидев Сидорчука, все заулыбались: его в полку любили за то, что он умел говорить с бойцами по-простецки, порой грубовато, но без высокомерия, а просто, как человек старший по возрасту, больше понимающий в жизни.

Он никому не поручал командования полком на строевых смотрах. Начинал он обычно с обращения: «По-о-олк, слушай мою команду...» При этом его сильный голос, особенно по вечерам, был слышен не только на плацу, но и в соседних лагерях, и там это всегда вызывало добродушный смех: «Сидорчук командует, дает жизни своим».

Командир полка остановился перед строем, поздоровался, прошелся взад-вперед, прощупывая взглядом каждого. Комиссар поодаль отчужденно глядел в сторону, занятый какими-то своими невеселыми мыслями.

— Товарищи красноармейцы, — обратился Сидорчук. — Все вы помните, как много пришлось нам повозиться с такой небольшой армией, как финская. Конечно, глубокие снега, погода были не в нашу пользу, да и укрепления нельзя сбрасывать со счета, но нельзя умолчать и о том, что боевая выучка финского солдата оказалась выше, чем мы предполагали. Один автоматчик, снайпер порой задерживал целое наше подразделение. Если так могли воевать солдаты капиталистической армии, которым, как правило, чужды мотивы войны, то мы, советские бойцы, должны превзойти их в мастерстве, в стойкости. Надо сказать, что одного желанья стать хорошим бойцом мало. Мастерство, высокий боевой дух приходят не сами собой, а после долгой и упорной тренировки, вместе с уверенностью в своих силах. Вот мы вас и собрали здесь, чтобы за месяц-два обучить снайперскому делу. Кое-кто из вас думает, что винтовка устарела, поскольку на смену ей пришел автомат. Кто так думает — глубоко заблуждается, и я вам сейчас это докажу...

Сидорчук повернулся к автоматчикам, которые пришли одновременно с ним и теперь стояли поодаль, и командовал им выйти на линию огня. По его знаку над бруствером окопа возникли головные мишени, располагавшиеся двумя группами.

— Вам, автоматчики, левая группа мишеней, по одной на брата, а мне одному — правая. Патроны у вас есть, диски полные, поэтому стреляйте столько, сколько сочтете нужным для поражения цели. Ну, а мне трех патронов на три цели достаточно. Думаю, что условия в вашу пользу. А теперь посмотрим...

С этими словами он взял винтовку у ближнего к нему бойца. Винтовка была с оптическим прицелом, но он не стал снимать колпачков с прицела.

— Наш БУП\*, часть первая, говорит, что в обороне хладнокровный решительный боец, пока у него есть патроны, недоу-

\* БУП — Боевой устав пехоты.

пец для пехоты противника. Вот мы сейчас и посмотрим, может ли стрелок постоять за себя, — говорил он, заряжая винтовку. — Автоматчики, приготовились? Огонь!

Он даже не вышел на рубеж, с которого автоматчики лежали готовились к открытию огня, а где стоял, с руки, дал три выстрела. Пули автоматчиков еще пылили по брустверу, а он уже отстрелялся.

Когда принесли мишени, оказалось, что цели автоматчиков хотя и поражены, но пробойны располагались какая где, а на мишенях подполковника па всех одинаково — чуть в стороне от центра.

— Хорошая винтовочка, — ласково погладил он маслянисто поблескивающий приклад. Передавая оружие бойцу, строго сказал: — Береги ее, такой винтовке цены нет. Мушка сбита чуть влево, поправь. Понял?

— Ну вот вам и результат, — заговорил он снова. — Стрелок, вооруженный винтовкой, может управиться с врагом ничуть не хуже автоматчика. И это на короткой дистанции, где преимущество, конечно, за автоматом. А ну-тка, если до цели триста—пятьсот метров, да стрелять вы станете лучше меня, да с помощью оптики? Снайпер — это сверхметкий стрелок, умеющий поражать врага через глазок бойницы, это мастер ведения боя: он отлично маскируется, быстро окапывается, умеет наблюдать за врагом, обладает железной выдержкой, сообразительный, инициативный боец. Видите, сколько у него качеств. Снайпер действует при любой погоде, и даже чем она хуже, тем для него лучше. Наконец, он ни при каких обстоятельствах не теряется, не пицтит...

Крутов слушал подполковника, и глаза его горели жадным блеском: вот бы научиться так владеть оружием! Никакие доводы не подействовали бы на него так, как эти аккуратные пробойны в мишенях, сделанные с такой быстротой, легкостью, словно фокусником в цирке. Прав Туров: надо всерьез овладеть военным делом.

Сидорчук заложил руки за спину и прошелся перед строем:

— Вчера комиссар принес мне статью немецкого танкиста. Тот прямо млеет от восторга, такой радостной кажется ему перспектива войны. Я вам прочту: «В одну из ночей откроются двери авиационных ангаров и армейских автопарков, запюют моторы, и части устремятся вперед. Первым неожиданным ударом будут захвачены или разрушены атаками с воздуха важные промышленные и сырьевые районы врага и тем самым выключены из военного производства. Правительственные и военные центры противника будут парализованы, а его транспортная система

нарушена... За первой волной авиации и механизированных войск последуют моторизованные пехотные дивизии...» Видите, каким соловьем разливается? Для нас не секрет, за счет кого немецкие фашисты думают расширять свое жизненное пространство. Гитлер высказался определенно: за счет славянских народов, за счет СССР...

Матвеев при этих словах поморщился: ну зачем так прямолинейно, в лоб, так неосторожно! Такие речи не ко времени. Надо понимать момент...

— Учить вас станут лучшие командиры полка, — продолжал Сидорчук. — Патронов я вам жалеть не буду, потому что стрельба — дело такое: знать вроде бы и просто, а уметь — нелегко. Но к инспекторской проверке должны стрелять хотя бы как я. Ясно?

— Ясно! — гаркнули будущие снайперы.

Крутов был страшно доволен: наконец-то он настроится вволю. Он и не подозревал о маленькой хитрости командира полка: на второй, третий день от неумеренной, без привычки стрельбы вспухнет плечо, и не только стрелять — держать оружие станет невозможно. Вот почему на возглас, прозвучавший с таким воодушевлением, Сидорчук хитро усмехнулся и предупредил:

— Смотрите ж, уговор дороже денег. Денька через три проверю, как вы тут...

В заключение командир полка решил посмотреть, как ползают будущие снайперы. Расстояние было невелико, но бойцы не рассчитали своих сил, сразу потеряли строй, выдохлись. Надо было видеть, какие красные, вспотевшие лица были у них, когда они поднялись и вернулись на место.

— Да-а, дела. — Сидорчук укоризненно покачал головой. — А знаете ли вы, как должен ползать настоящий снайпер?

Он плюхнулся на землю и пополз, как заядлый пластун. Когда человек ползает мало или не умеет совсем, то у него при этом болтаются в воздухе поги, локти он поднимает выше плеч, и если прячет голову, то все остальное тело уязвимо для вражеского стрелка. Подполковник же полз артистически.

Сидорчук вернулся, отряхнул с одежды песок и, переведя дух, — все ж таки расстояние! — заключил:

— Снайпер должен ползать ужом, иначе ему нечего делать на поле боя... Надо будет присмотреться, комиссар, чему их учат командиры на занятиях тактикой, если они до сих пор не умеют ползать.

Матвеев согласно кивнул: надо!

— Мое вам задание: ежедневно двести метров ползком.

Осенью проверю. Нерадивым не поздоровится, так и знайте. Вы люди сознательные, должны понимать, что в час войны требуются не слова, не заверения в преданности, а умение держать оружие и разить врага метким выстрелом...

После небольшой напутственной речи комиссара дали приказ разойтись, чтобы устроиться на новом месте.

\* \* \*

Для Крутова началась нелегкая служба в спайперской команде. Стрельбище располагалось у подножия небольшого холма, на котором никогда не пасся скот. Красные флаги на вышках по сторонам давали знать каждому, что бродить по холму запрещено.

Поднимались с зорькой, бежали к ручью умыться, делали физзарядку. Сразу после этого начинались запытия. Стрелковые тренировки перемежались с уроками тактики, физической целенаправленной подготовкой и стрельбами, стрельбами, стрельбами. Упражнения отрабатывались самые различные: от стрельбы по пристрелочным прямоугольникам до ведения огня по «перископам» — узким черным полоскам, которые простым глазом и заметить-то было трудно. При этом получалось так, что чем бы ни занимались, а винтовку из рук не выпускали. К вечеру все тело деревенело от усталости. После ужина предстояло последнее — чистка оружия, и тут выкраивалось несколько свободных минут.

Дни стояли погожие, закат жарко пламенел над землей, растворяя в своем огненном сиянии четкие силуэты сосенок, еще не вырубленных близ поселка.

В это время особенно хороши бывали окрестности.

По соседству со стрельбищем пролежала железная дорога. Сразу за ней, к северу, расстилались в низине молодые сосняки, среди которых прятался лагерь. За лесом пологие увалы раскроены на полосы — там посева. Крутов живо представлял себе веселенькие трепетные березки, которых много оставалось по межам и закрайкам полей.

Железная дорога шла под уклон, чтобы затем резко взбежать на высокий ажурный мост. Речка небольшая, но ее поблескивающую поверхность хорошо видно со стрельбища. Река горит и плавится в закатном пламени, и, глядя на нее, трудно представить, что вода в ней студеная и через час-полтора с нее поползет вместе с туманом приятная после жаркого дня прохлада. Сразу за мостом город, небольшой, одноэтажный, со скудной растительностью и запыленными улицами. Рядовой сибирский

городок. Первые огоньки робко проклеиваются в пыльной дымке, обволакивающей дома.

Крутова каждый раз трогала эта простая, лаконичная, но такая выразительная красота. Словно бы вся земля, прокаленная солнцем, пропыленная, пропотевшая и усталая, как и он, тихо, умиротворенно готовилась ко сну, чтобы завтра с первыми лучами воспрянуть для новых дел.

Крутов медленно шел тропинкой к полотну железной дороги, чтобы встретить курьерский поезд. Он всегда проходил в одно и то же время с родной для него стороны, в вихрях теплого воздуха, поблескивая стеклами широких окон, за которыми пропосилась какая-то загадочная, незнакомая жизнь. Кто, куда, зачем стремится? Можно было думать, фантазировать на все лады. Пронзительный гудок паровоза, быстро замирающий вдаль, звучал для Крутова как ласковый привет с далекой родины. Он очень хорошо представлял огромность пространства, разделявшего его и Дальний Восток, — пять суток непрерывного бега паровоза.

А ведь Крутов не где-нибудь на окраине, а в центре страны. Можно после этого представить себе размеры всего государства. Ого!

Душа Крутова наполнялась гордостью за свою Родину, за ее величие, неповторимую красоту каждого ее уголка. Замирающий вдаль гул поезда словно бы напоминал ему каждый раз: «Не забывай, ради чего ты здесь служишь!»

Хотя необходимость службы с каждым днем все крепче въедалась в плоть и кровь, сердце его не мирилось с долгом и каждый раз тосковало. Грустным возвращался он к землянкам. «Хоть бы одним глазком взглянуть на родную сторонку, откуда выпорхнул таким самоуверенным, по еще глупым хлопцем!..»

После столкновения с Ковалем, когда на выручку пришел Туров, Крутов понял раз и навсегда, что нельзя без очень веских причин осложнять свои взаимоотношения с коллективом. Армия в данном случае не являлась исключением из этого правила. Горячим прилежанием он старался отблагодарить теперь тех, кто проявил к нему доверие в самую трудную минуту.

## Глава четвертая

Матвеев пришел домой в прескверном состоянии духа. Жаркий душный день сам по себе действовал на него удручающе, а тут еще никак не выходят из головы эти неуместные разговоры с подполковником. Спрашивается, чего человеку надо? Дове-

рили полк — это две с лишним тысячи человек в военное время — так служи, клади все силы, отдавай всего себя Отечеству и не суй нос, куда не просят. Нет, все не по душе ему, все надо переиначить. Не спросили его, какой политики придерживаться в отношении Германии...

Матвеев ходил из угла в угол. Половицы легкого дощатого домика поскрипывали под его тяжелым шагом, и это тоже действовало ему на нервы.

В приоткрывшуюся дверь заглянула обеспокоенная жена:

— Вася, что-нибудь случилось?

— А, ничего! Оставь меня, пожалуйста, в покое! — Матвеев плюхнулся на стул, торопливо достал папиросы, охлопал себя по карманам: как всегда, спичек не оказалось.

— Сейчас подам! — Жена исчезла и появилась вскоре с коробком спичек. — Только ради бога не кури много, ты же знаешь, как это тебе вредно...

— И тут не обойдется без правочений. Что я, ребенок, не понимаю?..

Жена часто, обиженно заморгала и отвернулась к столу. Не в пример ему, сухопарому, она кругла и упитанна, будто все, чего не хватает мужу, перешло к ней. Завидное здоровье, а вот духом слабовата. Может, поэтому и льнет к нему, чувствуя сильный характер. Матвеев видел, как ее руки что-то бесцельно там переставляют, перекаладывают, а голова клонится все ниже, ниже. За многолетнюю совместную жизнь он научился прекрасно понимать каждый ее жест и теперь догадывался: глаза ее наполняются слезами, он даже представил — будто она стояла лицом к нему, — как по щекам, оставляя мокрые дорожки, скатываются первые крупные, как горошины, капли, задерживаются на мгновенье перед морщинками возле носа...

Так и есть: жена торопливо что-то стерла на столе. Ему стало неловко за свою необоснованную резкость.

— Варя, обиделась? Не надо. Ты же знаешь, какая у меня сумасшедшая работа: к каждому ищи подход, уговаривай, а тут еще и тебя! — Он деланно засмеялся, притянул ее к себе и сильным усадил на колени. — Ну... Будь умницей, слышишь...

Она торопливо утирала фартуком глаза, отворачивалась, чтобы не встретиться с его ищущим, виноватым взглядом.

— Если я тебе так надоела, зачем сюда привез? Надо было не привозить, жила бы в Аяре...

— Не то, не то говоришь, Варенька. Сама видишь, как я тебе благодарен за уют...

Он понимал, что говорит совсем не те слова, которые могли

бы ее успокоить, по сейчас, когда в душе не унималась тревога, ничто другое на ум не приходило.

— Сидишь тут в этом лесу, в четырех стенах, целый день одна... В Аяре, по крайней мере, хоть станция...

— Ладно, ладно, Варя... Понимаю. Хочешь, пойдем сегодня в кино? Договорились? Ну и хорошо. Ты должна понять, Варя, — служба! И рад бы иногда поделиться, а нельзя. Вот и психуешь. А ты не обращай внимания, поняла? Перекипит, утрясется... У тебя что сегодня на обед? Огурцы свежие? О! Это отлично. Через военторговый киоск достала? Привезли, значит. Ну, ну, готовь на стол, я сейчас выйду...

Странно: уговаривая жену, Матвеев сам понемногу успокаивался. Черт с ним, с Сидорчуком. Не согласен с чем, пусть пишет докладную, разберем в партийном порядке. И никаких разговоров с глазу на глаз.

Жена хлопотала на кухне, и Матвеев мог спокойно поразмыслить минут пяток. Хорошо, что он не дал перерасти ее минутной обиде в затянувшуюся размолвку. К чему это им обоим? Чудак. Если ее душа для него — открытая книга, так и она с первого взгляда понимает, когда у него что-то не ладится. А он окрысился...

Ладно, с чего же все началось? Почему не дает покоя разговор недельной давности? Неужели причина только в том, что он не нашел общего языка, единого взгляда с командиром полка? Относительно договора с Германией партия дала исчерпывающие разъяснения. Тут не может быть иного мнения. Это отпадет. Теперь другое: ему неясно лицо будущего противника. Разве фашизм, на какую страпу он ни опирался бы, не конкретный противник? Партия разъяснила же, что цель договора — отдалить надвигающуюся угрозу войны, так нет, пазови ему, с кем придется воевать, с немцами или японцами. А если с теми и другими? Партия может из тактических соображений не указывать, а ты имей голову на плечах. Не боец — командир полка.

Если бы только этот разговор. Так нет, возвращаясь со стрельбища, высказал такое, что совсем непростительно командиру полка: японские солдаты-де лучше умеют ползать, чем наши красноармейцы, лучше применяются к местности, и вообще мастера действовать ночью... Насмотрелся, мол, на Халхин-Голе...

С таким пораженческим взглядом не полком командовать, а... Матвеев не досказал свою мысль и пожалел, что такие хорошие слова пришли ему на ум лишь сейчас, а тогда он сказал, что если так хорошо видны недостатки своих красноармейцев, так пусть берется и выправляет положение. Или ждать дядю?

«Эх, надо было отбриться так, чтобы раз и навсегда отвадить от болтовни, — запоздало корил себя Матвеев. — А то где ж там: выправлю, комиссар... Ты выправишь, держи карман...»

Так вот отчего беспокойство: все эти высказывания, даже отдельно взятые, попахивают большими неприятностями. Конечно, глупо куда-то об этом докладывать, но если Сидорчук говорит не только с ним? Если дойдет куда следует по другим каналам, то можно серьезно пострадать. Это главное. Отсюда и беспокойство.

Матвеев снова заходил по комнате. Как плохо, когда к служебным, ясным, как параграф устава, отношениям примешиваются личные. Прежние связи, знакомства, дружба — все, что дает право человеку заявлять: «Ты же меня знаешь...»

А может, не знаю. Ничего не знаю, кроме того, что ты Сидорчук, что в молодости спали с тобой бок о бок, ходили в одни походы, после которых у меня была академия Ленина, у тебя — служба в Монголии. Словом, целые годы пролегли, когда мы и слухом не слыхали друг о друге. Почему я должен теперь выслушивать твои разговоры, что-то спускать, поступаясь своими убеждениями?..

— Вася, обедать! — позвала жена.

— Спасибо, иду! — Матвеев вздохнул и только тут почувствовал, что все это время на нем тяжелая гимнастерка, которую давно пора снять. Он расстегнул воротник, стянул ее с влажных плеч, бросил на стул и пошел на кухню, с удовольствием ощущая прохладу летнего домика, запрятанного в гуще соснового бора. Белую с синеватыми прожилками кожу чуть пощипывало от пота, он провел ладонями по костлявым плечам, охлопал бицепсы.

За порогом домика, на табурете, грелась в эмалированном тазике вода. Варя ждала его с полотенцем. Матвеев радостно засмеялся, притянул к себе жену, чмокнул ее в губы:

— Ты у меня просто молодец, Варюша. Настоящая командирская жена!..

Кипо оказалось пустяковым, какая-то комедия, они опоздали, пропустили начало, но потом зато посмеялись вволю, и Варя осталась довольна.

Площадка дивизионного клуба находилась почти в двух километрах от их домика, если идти дорогой, но Матвеев повел жену напрямик через лес, тропкой. Сосновые ветки задевали за одежду, щекотали лицо, и тогда приходилось жмуриться, чтобы уберечь глаза. Разогретые за день деревья остро пахли смолой, молодой хвоей, под ногами шуршали шишки.

Варя радовалась неожиданной совместной прогулке, дурашливо висла у него на руке, пугалась всякого шороха и тут же смеялась, словно ей было не тридцать с лишним, а много меньше.

— Как ты видишь, куда идти? — удивлялась она. — Такая темень кругом, что я бы тут же заблудилась.

— Я тоже ничего не вижу, иду на ощупь. Воепный обязан уметь ходить ночью.

Над головами среди сосен проглядывали звезды, но их еще было мало, они высыплют за полночь, ближе к утру, когда небо напитается влагой. Тогда сразу похолодает, а звезды станут расплывчатыми и большими, словно приблизятся к земле на многие тысячи километров. Чаще всего видеть такие звезды тоже приходится военным: они не спят ночами, они стоят на постах, охраняют границу, чтобы все другие могли отдыхать спокойно.

— Хорошо как, верно, Вася? — словно угадывая его мысли, вздохнула Варя.

— Хорошо, — согласился Матвеев. — Мы не спим, это хорошо нам, хорошо и другим.

Она почувствовала, что за этими словами он держит какую-то другую, более значительную мысль, и не стала ничего спрашивать, чтобы не разрушить так неожиданно возникшей близости, понимания, когда человек становится виден как на ладони. Он таится, скрывает от нее свои огорчения, чтобы не выдать какой-то там служебной тайны, а ведь ей все-все становится известно от других командирских жен. Не ей объяснять, сколь трудна его работа — комиссар полка! Что ни случись — спрос с него. Бедный!

Она ласково погладила его большую руку с твердыми пальцами и взбугрившимися на тыльной стороне ладони венами. В такое беспокойное время быть комиссаром. Даже в гости иной раз захочется сходить — и не пойдешь. Случись что-нибудь — и выпитую рюмку поставят в вину.

К домику они подошли молча. Варя, не зажигая света, разделась и юркнула в постель, а он решил выкурить перед сном папиросу и сел у раскрытого окна. В это время зазуммерил телефон. Здесь, в лагерях, всему начальствующему составу были поставлены полевые телефоны.

— Да, Матвеев слушает.

— Матвеев? Это говорит полковник Зайнего... Знаешь? Ну вот и хорошо. Я тебя не разбудил?

Матвеев чувствовал, как рука, стискивающая трубку, покрывается испариной.

— Никак нет, товарищ полковник. Еще не ложился... — Ему стало противно от своего изменившегося глухого голоса. Почему,

когда звонят из особого отдела, ему всегда становится тревожно, словно он сам в чем-то виноват? Он кашлянул и более твердо произнес: — Слушаю!

— Ты давно знаешь Сидорчука? Говоришь, назначен на полк перед самой финской? Ну, это и я знаю не хуже тебя. А до этого? Тоже знал. Хорошо. Какого ты о нем мнения? Что он за человек? В двух словах трудно? Согласен. Изложи в письменном виде, где, когда с ним служил, словом, все, что считаешь нужным. Ты, конечно, понимаешь, какая сторона дела нас интересует. Поподробней...

— Что-нибудь разве случилось? — осторожно осведомился Матвеев.

— Пока ничего. На то мы и поставлены, чтоб не случилось. Кое-какие сигналы поступили, надо проверить. Передашь с моим человеком, я пришлю...

Зайнего положил трубку, Матвеев почувствовал это по внезапно наступившей тишине, пустой, глубокой.

— Кто звонил, Вася?

— Так, из политотдела. Срочно требуют характеристики. Ты меня не жди, я поработаю...

То, чего он больше всего опасался, — случилось. «Сигналы поступили...»

Чтобы не выдать волнения жепе, он вышел па цыпочках на кухню, плотно притворил за собой дверь, достал чистую тетрадь, карандаш.

Теперь никуда не денешься, раз сигналы поступили, придется писать обо всем. Писать честно, как коммунисту, невзирая на прежние личные отношения, слово в слово о спорах, разногласиях. В принципиальных вопросах у коммуниста не может быть тайн от своей партии.

А если по-человечески, честно: разве для него самого все и всегда ясно? Разве не мучается он порой сомнениями, не волнуется, стараясь проникнуть взглядом в будущее? Может, в том лишь и разница, что он находит в себе силы оставить мысли при себе, умеет считаться со своим положением, которое кое к чему его обязывает. А Сидорчук прямой — надо не надо режет в глаза то, о чем думает. Но опять же, кому в глаза? Своему однокласснику — ведь в самые грозные годы были вместе, воевали плечо к плечу. И теперь про все это писать?

Матвеев долго сидел над раскрытой тетрадью, пытаясь отыскать нить, которая помогла бы ему предопределить вину Сидорчука, внести ясность в основной вопрос: враг он или не враг? От этого зависела и его, Матвеева, судьба, и не грех было подумать и о себе, ведь даже ребенка понятно, что не станут дер-

жать комиссара, проглядевшего под своим носом врага. Но этой нити не находилось. Сидорчук всегда был таков, как сейчас: резкий порой, но честный.

«Э-э, что я ломаю голову? — подумал он. — У Зайнего есть доказательства, пусть он их и предъявит, а там посмотрим...»

Решив так, он принялся писать. К рассвету перед ним лежало несколько убористо исписанных страниц — скрупулезная биография тех периодов своей жизни, когда работал вместе с Сидорчуком. А споры... Если Сидорчук хочет выставить свою душу напоказ, пусть о них пишет своей, а не его, Матвеева, рукой.

Время шло. Сидорчук продолжал командовать полком, а тревога Матвеева не проходила. Он знал, что придет день, когда делу дадут ход, а сказать об этом даже другу не мог, не имел права и мучился вдвойне. Встречаясь по службе с ним, испытывал неловкость.

Сидорчук уловил эту возникшую между ними недоговоренность и, пристально глядя, задал прямой вопрос:

— Что случилось, комиссар? Ты что-то знаешь? Не мучайся, говори!

У Матвеева резче, чем обычно, выступили на щеках желтые пятна, но он пожал плечами:

— Что я могу знать... так, ломает всего, перед непогодой, что ли...

Сидорчука взяли через три дня.

«За что?..» — этот вопрос мучил Сидорчука, не давал ему спать, придавил, пригнул к земле, словно на плечи ему враз навалило глыбу.

Он подолгу лежал, уставившись пустым невидящим взором в грязные стены камеры. Смотрел вверх, а видел свою жизнь. Память выхватывала самые яркие страницы. Их было мало. Несколько лет службы в Монголии были унылы и однообразны, как зимняя степь. Но потом пришли бои с японцами. Безлюдные степи наводнены войсками. Пахнуло большой войной. Возможно, конфликт и перерос бы в войну, если б не сумели столь решительно разгромить все вражеские части, вторгшиеся в пределы Монголии. Японцы этого не ждали, и пришлось им идти на переговоры.

Для Сидорчука этот конфликт кончился тоже весьма неожиданно: его вызвали в Москву и там, в торжественной обстановке, Калинин вручил ему орден Красной Звезды. Впервые в жизни он видел так близко членов правительства, бродил в перерыв по Георгиевскому залу, восхищался его великолепием. Вот она — память народа о тех, кто не щадя себя постоял за Отечество.

Обласканный, полный радужных надежд, он выехал к семье, и это тоже было большой незабываемой радостью после долгой разлуки. В Монголию он больше не вернулся. Снова Москва, на этот раз деловая, энергичная. Их, бывалых комбатов, собрали на курсы. Месяца три напряженной учебы в такое бурное время не прошли без пользы. Лекции им читали видные знатоки военного дела. Анализировали ход кампаний на Востоке и Западе. Недостатка в примерах не было. Когда началась кампания в Финляндии, косвенно намекали, что это лишь прелюдия. Но с кем придется воевать, сказать было трудно. Прямо с курсов Сидорчук получил назначение в действующую армию командиром полка. Он принял сибирский полк, сразу нашел единую точку зрения с командиром дивизии на то, чему и как надо обучать личный состав.

Служба шла ровно, без рывков — и вдруг такой неожиданный финал. Будь у него недруги, мог бы сказать, что его оклеветали. Но сколько ни думал, не мог припомнить стычки с кем-либо.

Потолок чем-то напоминал ему почти безликую карту Монголии — такой же белый, как и лист, который ему, как комбату, вручили перед маршем. На нем почти не значилось каких-либо поселений, кроме редких, на десятки километров один от другого, колодцев, да тонкой голубой ленточки Халхин-Гола, извиристо пролегшей в самой восточной части карты. Не будь все это сверху перекрыто градусной сеткой, словно паутиной, даже не подумал бы, что есть на земле места столь ровные и пустынные.

Припомнив одно, он сразу обратился мыслями в прошлое, не столь уж и далекое, но такое значительное в его жизни.

Жаркое сухое лето 1939 года, ровные и однообразные, на первый взгляд, степные просторы с усыхающей пожелтевшей травой, солончаковые низины, покрытые растрескавшейся коркой белесого ила, пески, все источенные норками полевок и тарбаганов, на песках почти ничего не росло, кроме жалких кустиков полыни и стрелок дикого лука. Жаркое дыхание близкой пустыни Гоби иссушивало здесь всю растительность, и только ближе к Халхин-Голу полынь и лук уступали место широким степным разливам высоких луговых трав. Здесь же, ближе к реке, начинались и барханы, среди которых так отраднo было после многодневного марша вдруг увидеть полоску студеной воды.

Припомнилось многое: пыль, поднятая во время марша дивизии, жажда, перехватывавшая глотку настолько, что кусок хлеба не лез в горло, — в колодцах, отстоявших один от другого на десятки километров, не хватало на всех воды, — иссушающие

ветры, темные ночи, настолько темные, что, казалось, землю на ночь укутывают черным сукном. И еще там было множество звезд. Это запомнилось хорошо: нигде Сидорчуку не приходилось видеть их такое множество, как в Монголии. А потом были сухие щелчки выстрелов, которыми встретили дивизию японцы, было многое, чего не забыть.

Дивизия, в которой служил Сидорчук, подошла к месту сражения, когда судьба японского вторжения была уже фактически решена, когда они почти повсюду были выбиты со своих позиций, кроме высоты Ремизова. Батальон сходу форсировал довольно глубокий в этих местах Халхин-Гол и занял оборону на правом крыле Южной группы войск.

Сидорчук сразу же велел своим окопаться, и не зря; начались японские контратаки большими силами, только что подошедшими из Хайлара. Два полка четырнадцатой японской бригады вели наступление, чтобы прорваться к высоте Ремизова и спасти от разгрома остатки зажатых там своих войск.

В первый день наступала одна пехота. Когда ее отбили, японцы на помощь вызвали несколько эскадрилий. Батальон Сидорчука оборонялся тогда у Больших Песков, а японцы вели наступление из района Номон-Хан-Бурд-Обо...

В тот первый день, когда атаки были столь успешно отбиты и, как многим казалось, что теперь можно спать спокойно всю ночь, наблюдатели, не спускавшие глаз с противника, заметили, что у японцев происходит оживленное перемещение, и группами, и в одиночку. Они что-то явно замыслили. Сидорчук опасался, как бы не произошло ночного нападения. Ведь японцы слыли мастерами передвигаться ползком, бесшумно, под покровом темноты. А командир роты находился в полукилометре от своих взводов и даже не знал, сколько и где у него будет ночью постов. Сидорчук тогда, помнится, накричал на него и, раздосадованный, своей властью послал в секрет сержанта Бобриня — расторопного, смышленного сибиряка, на которого мог положиться в любом деле. Послал, потому что знал его очень хорошо, надеялся на его инициативу и смекалку. А надеяться не следовало, потому что в любой войне, любой противник, даже слабый, берет «языков». Так оно и оказалось: на секрет было совершенно нападение, бойца Завьялова убили, а сержант пропал без вести.

И теперь, год спустя, Сидорчук вдруг подумал, что виновен в гибели этих людей. Ведь это он их послал. А они, как и все другие, хотели жить. Выходит, что и он не безгрешен. Эта внезапная, какая-то нелепая мысль сбила его с наметившегося пути воспоминаний...

## Глава пятая

Несмотря на старание, снайперское дело давалось Крутову с трудом. Не получалось у него ровного движения вперед, частенько за кратковременными успехами следовали неудачи.

Он еще мирился с тем, что для меткой стрельбы надо правильно определить расстояние до цели, взять упреждение на ветер, точно навести винтовку в цель, плавно нажать на спуск. Так нет, оказалось, что трехлинейка, такая бесхитростная, в которой только и есть, что стebelь, гребень, рукоятка, такая невосприимчивая к невзгодам армейской жизни — и вдруг обладает отзывчивостью хорошей скрипки.

Данными, чтобы стать хорошим стрелком, Крутов располагал: у него цепкая зрительная память и точный глаз, сильные руки, он не «дергун». Он не ленился на тренировках, хотя и приходилось заниматься вроде бесполезным делом: прицел — щелчок, прицел — щелчок. Ему легче, чем другим, давалась техника вычислений поправок на превышение траектории, температуру, деривацию, на ветер. Он признавал, что при стрельбе надо считаться с ветрами; какие бы они ни были — боковые, косые, сильные, слабые, попутные, встречные, — все равно они влияют на полет пули. Но когда пуля летит в сторону оттого, что накопчик цевья в какой-то точке прилегает к стволу или один из винтов закручен на полоборота больше-меньше, когда точность зависит от десятка других, едва уловимых нюансов, — с этим трудно примириться, но это так.

Крутов близко сошёлся в снайперской команде с Газиным, и тот терпеливо учил его технике настройки винтовки для точного боя. Сблизило их, однако, не снайперское дело.

Газин видел в Крутове представителя загадочного искусства, к которому сам был равнодушен. Его не смущало, что Крутов как художник столь же далек еще от Парнаса, как они — от белой чалмы кучевого облака, в жаркое время дня вздымавшегося за холмом, у подножия которого стреляли. Газину было достаточно видеть, что в минуты перекура тот делает сносные наброски пером, и что самое главное — не пользуется при этом резинкой.

Стоило Крутову взяться за блокнот или, прищуря глаз, уставиться на какую-нибудь березку, как Газин уже оказывался рядом.

— Пашка, как это у тебя получается, что тушуешь ты мало, а все на своем месте, одно ближе, другое дальше?

В меру своих знаний Крутов принимался объяснять ему

основы перспективы, значение линии в рисунке, ссылаясь при этом на таких мастеров, как Репин, Серов, Энгр, Гольбейн. Отсутствие репродукций с лихвой восполнялось пылом, с которым Крутов старался доказать беспросветность человеческой жизни без искусства.

Однако страсть к искусству у Газина не распространялась дальше желания овладеть простейшими навыками рисунка, необходимыми для того, чтобы сносно гравировать по металлу на предметах утилитарного назначения. Поэтому его больше восхищал лесковский Левша, подковавший блоху, чем Иванов, потративший двадцать пять лет на создание картины «Явление Христа народу».

Осенью Газина должны были демобилизовать, и он не раз подумывал, как ему устроить в дальнейшем свою жизнь.

— Слушай, — говорил Крутов, — у тебя рисунок идет неплохо. Стоит поработать месяц-два как следует, и ты с успехом сдашь экзамены в училище. Хочешь, я тебе помогу?

Тот в нерешительности мялся:

— Не знаю, Павел, как выйдет, — его черные выразительные глаза грустнели, и в них сквозила растерянность.

Крутов понимал, что разгадка заключена в толстой пачке писем, которую Газин носил вместе с уставами в полевой сумке. И все ж таки нажимал:

— Ты с маху решаешь. В искусстве нужна смелость, тут всего себя отдавай — и то мало. Вино, женщин, развлечения — все побоку. Тогда оно откроется. Ты знаешь, как Микеланджело работал и жил? То-то. Он, брат, как зверь работал, по неделям не вылезал из капеллы. А какие глыбы мрамора обрабатывал!..

— А ты не будешь жениться, Пашка?

Этого, откровенно, Крутов не знал. Как-то не задумывался.

— Посмотрю... Во всяком случае, буду искать такую, чтобы разделяла мои взгляды, готова была на лишения...

— А вдруг полюбишь, да не такую? — допытывался Газин.

— Вдруг, вдруг... Все это утрясется. Сейчас не об этом речь.

Такие разговоры происходили у них нередко. Пылкие мечты скрашивали для них однообразие трудной службы. Разве не за эти миражи, сотканые из снов и несбывшихся надежд, разве не за мечты, которым чаще всего не суждено сбыться, любим мы свою молодость?

Но однажды направление их разговоров круто изменилось. Командиры, ходившие на партийное собрание в полк, принесли весть: подполковника Сидорчука взяли. Враг народа...

Слухи, один невероятней другого, проникали в снайперскую

команду. Люди притихли, присматривались друг к другу, перешептывались, будто все, что знали до этого друг о друге, предстояло переоценить. Это было непонятно.

\* \* \*

Назначение на полк нового командира прошло тихо и как-то незаметно. Невзрачного вида подполковник Исаков появился на вечерней поверке, когда все батальоны были построены перед летним клубом. Сухонькое морщинистое лицо, поджатые губы, настороженные недоверчивые глаза. Он оцупал строй маленькими серыми глазками, скомацдовал тихим голосом: «Комбаты, ко мне!», после чего по строю прокатились, дублируя его команду, возгласы: «Командиры батальонов, к командиру полка!..»

Комбаты, придерживая полевые сумки, затрусили к Исакову, стоявшему рядом с Матвеевым и огромным вислоплечим начальником штаба Сергеевым. Один за другим они докладывали Исакову, сколько бойцов в наличии, сколько отсутствует и по каким причинам. Что им говорил на это Исаков, уже никто из бойцов не слышал, хотя тишина стояла настороженная.

Туров находился на правом фланге роты вместе с Кузенко, изредка кося взглядом вдоль строя, чтобы кто не вздумал переминаться с ноги на ногу, поскольку команды «вольно» не подавали.

— Дохляк какой-то! — донёслось до него из второй шеренги. — Скомацдовать толком не может...

Туров сердито цыкнул, и шепот прекратился.

Тем временем Исаков окончил знакомство накоротке с комбатами, поднес руку к козырьку и, ссутулясь, зашагал к штабу, глядя в землю, словно обронил что-то и теперь надеется найти.

Комбаты развели подразделения. Впервые полк, собранный воедино на плацу, не прошелся под оркестр. Впервые бойцы и сержанты уходили обычным походным шагом и никто не подал бодрящую душу бойца команду: «Смир-р-на! Р-равнение направо! С-строевым...», и не отдавался в вечерней тиши дружный единый шаг, не вздрагивала земля от одновременного удара ног сотен бойцов, от которого в восторге млеет душа и вырастают за спиной крылья. Колонны батальонов уходили в темень соснового бора незаметно, будто люди были в чем-то виноваты.

Туров возвращался в расположение вместе с Кузенко. Шли молча.

Туров хмурился. Командир полка пришелся ему, как и бойцам, не по нраву. Тихоня, словно чем-то недовольный, он не считал нужным обратиться к бойцам и командирам ни с единым словом.

Что за этим — равнодушие, высокомерие или робость? Как же он будет командовать полком?..

Самое же непонятное — взяли Сидорчука. Если он враг народа, то кому же тогда верить? Геройски сражался за советскую власть в годы гражданской войны, отстаивал ее в боях на Халхин-Голе и вдруг — враг.

Неужели и в самом деле, чем дальше, тем острее классовая борьба? Но с кем бороться, кто кому должен противостоять? Как все сложно, запутанно в жизни.

Припомнилось первое знакомство с Сидорчуком. До него командовал полком грузин Мегашвили — горластый хамоватый майор. Месяц он готовил полк для действий в Финляндии, но первый же марш выявил такую неорганизованность, что командование вынуждено было принять срочные меры. Дивизию вернули к прежнему месту и дали еще полтора месяца на боевую подготовку. С утра до вечера занимались тактикой, стрельбами, учебу приблизили к условиям боевой обстановки.

Приняв полк, Сидорчук в первый же день пришел в роту, но не столько наблюдал, сколько показывал бойцам, как надо владеть оружием. Он с первой же минуты пашел общий язык с людьми...

Уже перед палатками Кузенко спросил Турова:

— Как тебе поправился новый командир?

— Не променяли бы мы кукушку на ястреба, — ответил уклончиво Туров. — У Сидорчука все было на виду, а этот не поймешь, что за человек...

\* \* \*

Время шло. Мягкой кошачьей поступью подкралась осень, и однажды, проснувшись после холодной ночи, Крутов увидел за маленьким оконцем землянки побелевшую от первого снега землю. В желтом бархате стояли далекие березовые перелески. Смена лета на осень произошла так быстро, так внезапно, что сами деревья, казалось, еще не верили в наступившую перемену и стояли в нерешительности — сбрасывать им горячий пламень листвы или это как наваждение и надо еще подождать?

Предстояла инспекторская проверка. Газин собрал свою многочисленную команду:

— Вот что, товарищи. На инспекторской наши результаты будут зачтены в общий балл роты. Давайте не подводить своих. Действуйте так, будто никаких проверяющих возле вас нет — спокойно, не торопясь, и все будет в порядке. Я буду стрелять

вместе с вами, на общих основаниях. Конечно, если вы мазанете, то спросят и с меня...

В оранжерейных условиях (если сравнивать лагерное стрельбище с фронтом, где и по тебе будут стрелять) винтовка была Крутову послушна. Глядя на дружную семейку пробойн в мишени, он не мог парадоваться. Ни на какое другое оружие не променял бы он своей винтовки. Не хвально, он имел право сказать, что достиг всего, что только было возможно за такой короткий срок.

Весь состав команды выполнил нормы, и командир третьего батальона Артюхин — сутуловатый, приземистый майор, наблюдавший за стрельбами, поблагодарил снайперов за хорошую службу.

— Служим Советскому Союзу!

В этот же день всем было приказано вернуться в свои подразделения.

Друзья обрадовались возвращению Крутова. Лихачев, Сумароков хлопали его по плечам, расспрашивали, как да что. В палатку зашел Коваль. Крутов встал, поприветствовал, доложил о прибытии. Тот нехотя выслушал все это с кислой улыбкой и вышел.

— Ничего, Пашка, — хитро подмигнул Лихачев, — все перемелется. Ты слышал новость? Едем на окружные маневры...

— В самом деле? Не врешь?

— Точно. Не сегодня-завтра отваливаем. От всего батальона одна наша рота. Чувствуешь? Четвертая непромокаемая. Так что мы здесь не мух ловили, пока ты там загорал...

— Это я-то загорал? Да знаешь ли ты, что такое стрелять целый день?

— Знаем. Взгляни на себя — цыган цыганом. Эх, чертяка! — И Лихачев так тиснул Крутова, что у того перехватило дыхание.

Последний этап, завершающий учебный год, — маневры. Вся обстановка максимально приближена к боевой. Крылатая фраза «В учениях, как в бою!», только что принятая в армии в качестве девиза, еще не примелькалась и вызывала у всех приподнятое состояние духа.

После наступления, в котором подразделения, представлявшие дивизию, неоднократно развертывались для встречного боя, роту подвели к полосе укреплений, за которыми «противник» перешел к жесткой обороне.

Настоящие окопы с перекрытиями, блиндажи, дзоты виднелись за рядами белых березовых кольев, опутанных проволокой.

Крутов снова действовал за второго номера. Наспех отрыв неглубокий — по колено — окоп, он буквально свалился в него

от усталости. Лихачев, Сумароков полегли рядом. Службу охранения несли стрелки, они хоть и были на ногах весь день, но им легче, они с винтовками.

Ночью по набрякшим от сырости плащ-палаткам застучал дождь. Вперемешку со снежной крупой он шел всю ночь, а утром... утром грянул гром артиллерийской подготовки.

Дико было пулеметчикам слышать шелест и всхлипывание снарядов, пролетавших над головами, видеть темные султаны земли и дыма, взметнувшиеся над окопами «противника» после первого же залпа.

С полчаса долбила артиллерия с закрытых позиций по окопам, а пулеметчики лежали и дрожали, и не понять было от чего: от холода или нервного возбуждения.

Пригнувшись, пробежал Туров:

— Пулеметчики! В атаку вместе со всеми, через проволочное заграждение с помощью подручных средств. Смотрите, не копаться...

О подъеме в атаку оповестили голосом. Стрелковые взводы устремились вперед. Размахивая пистолетом, вместе со всеми бежал в атаку политрук Кузенко. Воодушевлять личным примером — задача политработника.

Пулеметным взводом опять командует Газин: «Вперед!»

Лихачев и Крутов поволокли пулемет, пригибаясь, чтобы не черпануть надульником земли. Сумароков, остальные с коробками — сзади.

Посредник с белой нарукавной повязкой, наблюдающий за действиями роты, положил роту: «Сильный фланкирующий огонь из дзота».

— Первое пулеметное отделение, подавить огонь! — подал команду Туров.

Лихачев развернул пулемет, привик к прицелу. Крутов подал конец ленты в приемник. Гулкая очередь — и перед амбразурой закипела земля, полетела щепка. Посредник видит это, разрешает стрелкам двигаться, но перебежками: «Огневая точка подавлена, но винтовочный огонь ведется».

— Тачкой вперед! — багровея, орет Коваль и злыми глазами подстегивает пулеметчиков.

Катить пулемет, чтобы он смотрел все время рыльцем вперед, много труднее, но если необходимо, какой может быть разговор! Последнее препятствие — проволочные заграждения. Артиллерия не пробилась проходы. Стрелки режут проволоку ножами, набрасывают на нее плащ-палатки.

Крутов выхватил лопатку, рубанул по проволоке, но она не поддалась, а время не терпело. И тогда Лихачев по-медвежьи

обхватил кол и рванул его из земли вместе с проволокой, придавил ногой. Миг — и преграда в три кола смята, проволока прижата к земле, пулемет прокатывается, и путь к окопам свободен. Пехота с криком «ура» врывается в окопы.

От непривычного запаха взрывчатки кружилась голова, поташивало. Не веря глазам, Крутов лазал по опаленным полуразрушенным окопам, чуть ли не на ощупь знакомясь с разрушительной силой артиллерии. С ошалелыми лицами бродят по окопам стрелки: все так странно, удивительно.

Гордый, сияющий, словно это он организовал весь этот показ, ходил по окопам Кузенко:

— Вот так мы будем бить любого врага! Чтоб сразу наповал...

— А что, товарищ политрук, и будем! — весело отвечал Лихачев. И с хитринкой в глазах предложил: — Переходили бы вы в командиры. Самое вам место...

Кузенко не уловил скрытого намека:

— Мы, люди военные, приучены так: служим там, куда поставят...

В финале, собрав в одно место громаду войск, участвовавших в маневрах, перед бойцами и командирами выступил маршал артиллерии. Коротко посвятив участников в общий замысел операции, он обрисовал возросшую мощь армии. Тишина была при этом такая, что, зазвени комар, — услышали бы все.

— В будущей войне, — энергично взмахивая рукой, говорил маршал, — мы будем бить врага не так, — он вытянул руку с растопыренными пальцами, — а вот так!

С силой сжав кулак, он выбросил его вперед, как бьют особо ненавистного человека в зубы.

— Враги не застанут нас врасплох, как это произошло с французами, которые так и не смогли собрать для контрудара свои танки и артиллерию, рассредоточенные по всему фронту. Нет, с нами подобного не случится. Если враг посмеет сунуть свое свиное рыло...

Хотя слова были много раз читанные и слышанные, сказанные больше года назад по случаю завершения конфликта с Японией, Крутов воспринимал их как откровения мессии. Ведь говорил не кто-нибудь — маршал!

Впереди, среди сидящего начальства, поднялся какой-то старший командир, выкрикнул:

— Вооруженным Силам Советского Союза — ур-ра!

— Ур-ра! — громом прокатился над полем тысячеголосый рев.

— Сталпну — ура, товарищи!

— Ур-ра! Ура! Р-ра!

Кричал и Крутов, не жалея голоса. Ведь славил не что-нибудь, а самое дорогое, что было дороже самой жизни, что было его совестью, чему он верил пылко, непоколебимо.

Сумароков подтолкнул Крутова под бок:

— Смотри, смотри, маршал пожимает руку нашему командиру дивизии Горелову...

— Где, которому?

— Вон тому, в кожаном пальто...

— Это командир дивизии?

— А то кто? Раз говорю, так знаю. Еще когда в Финляндии были, видел его...

В самом деле, маршал пожимал руки командирам, принимавшим участие в учениях. Среди них командир дивизии — пожилой человек в кожанке, с ромбами в петлицах. Гладко выбритое скуластое лицо красно от холода и загара, улыбка притопила небольшие глазки под кустистыми темными бровями. Наверное, маршал говорил ему что-то приятное, конечно — благодарил. Комдив! Человек, который поведет в бой всю дивизию.

Гордые сознанием собственной силы, полные желания продолжать службу, возвращались бойцы четвертой роты в Листвяпуну. Крутову казалось, что увиденное никогда не изгладится из памяти.

Неизвестно, что повлияло на Газина, но только он сразу же, приехав в полк, подал рапорт с просьбой оставить его на сверхсрочную службу. Просьба была удовлетворена.

\* \* \*

Первый год службы Крутова в армии был для него тем незримым перевалом, за которым обретается второе дыхание. Он вправе был сказать, что научился жить в армейском коллективе, наконец уяснил, что нельзя понимать буквально горьковские слова: «Человек — это звучит гордо!»

Цена человеческой личности всегда не выше той, которая определяется пользой, приносимой человеком обществу. Лишь иногда выдаются авансы в счет будущих благ, но почти всегда общество вскоре требует: докажи, что этот аванс выдан тебе не зря.

Армия в этом отношении лишь более строга к человеку и требовательна. Мерка тут для всех одна: готов ли ты защищать Родину именно на том месте, куда тебя поставили? Это не причуда, это закон, выработанный веками, такой же справедливый, как и тот, который утверждает, что кто не работает, тот не ест.

Важно понять это вовремя, чтобы не входить в конфликт, понять, что вместе с правами общество одновременно налагает и обязанности. Несложная истина, а вот постигается некоторыми с большим трудом.

Когда Крутов вернулся в отделение, между ним и Ковалем установились строго официальные отношения; обращались не иначе, как «товарищ боец» и «товарищ командир». Один требовал, другой выполнял, ни на йоту не отклоняясь от уставных положений. О теплоте чувств, не родившихся с первых дней, теперь поздно было помышлять, хотя оба делали вид, что между ними ничего не произошло. Крутов унял свой гонор и в душе был рад, что Коваль оставил его в покое. А тягот службы он теперь не боялся: здоровье хорошее, силенка есть, дело свое знает.

В ноябре завьюжило, пришла настоящая зима. Мороз крепко сковал землю, заледенил окна в казармах. Солнце всходило поздно, окутанное морозным туманом. Дым из труб, поднявшись немного вверх, будто натянулся на невидимый потолок и растекался, накрывая поселок пеленой. На станции звонко скрежетали колеса застоявшихся за ночь вагонов, паровозы окутывались облаками белого пара. Кусты, деревья, провода одевались в толстый слой пушистого инея. Зябко нахохлившись, отсиживались воробьи под застрехами поселковых крыш.

Роте выдали лыжи. Все занятия, кроме политической подготовки, при любой погоде проводились в поле. У каждой роты было свое излюбленное место, где занимались тактикой, огневой и строевой подготовкой. Уставы и материальную часть оружия учили возле костров. Руки и лица обветрели, огрубели, и бойцы превратились в настоящих сибиряков, по крайней мере с виду.

Только беспечностью молодости можно объяснить, что ни Крутов, ни его друзья не придавали значения тревожной атмосфере, тем тучам, которые сгущались у западных границ Родины.

После оккупации Румынии в октябре 1940 года между гитлеровскими войсками и Красной Армией на всем протяжении от Балтийского до Черного морей не оставалось других, третьих сил. Перед Красной Армией повсюду теперь стояла фашистская Германия.

Несмотря на это, жизнь в небольшом сибирском гарнизоне текла мирно, своим чередом, со своими маленькими тревогами и заботами. Не считаясь с простыми человеческими желаниями подольше поваляться в постели утром, побыть в тепле, командиры приучали бойцов к суровым испытаниям, мало представляя, когда они наступят.

В воскресенье, хотя рассвет еще и не намечался, дневальные, собравшись вместе, дружно загорланили:

— Па-адымайсь!

Враз взлетели одеяла на парах, бойцы, подхватившись, поспешно одевались. Некоторые еще сопя накручивали обмотки, а в разных концах казармы уже загомонили командиры отделений:

— Выходи строиться на зарядку!

— Товарищ командир, — окликнул Ковалья Сумароков, — сегодня можно на зарядку в рубашках?

— Никаких рубах! — коротко отрезал Коваль и скомандовал: — За мной!

За дверями туман, тускло проглядывает свет электрических лампочек, освещающих двор. Мороз обжигает голое тело, от взмахов леденеют пальцы.

— Товарищ командир, уши отмерзают! — Это снова Сумароков: никак не смирится, что даже в воскресенье не дали поваляться лишних полчаса. — Давайте бегать!

— Молчать! — одернул его Коваль. — Делай раз, два, раз, два! — и — Сумарокову: — Будешь много разговаривать, оставлю тебя еще на один комплекс.

Больше никаких претензий, лишь энергичнее взмахи, приседания, прыжки, чтобы и в самом деле не обморозиться. В заключение два круга вокруг казармы бегом. Отделение бежит, сбиваясь в гурьбу на поворотах. А возле умывальника уже веселый гомон, толкучка — не пробьешься.

— Давай, давай, не задерживай! — подстегивают задние тех, кто захватил место у сосков. Пар поднимается над разгоряченными телами, скапливаясь под потолком в сырое облако.

После завтрака в роту пришли Туров и Кузенко. Оба веселые, разгумившиеся от мороза, свежесбрившиеся.

— Внимание, товарищи! — объявляет Туров. — Сегодня кросс отменяется.

Каждое воскресенье все подразделения полка во главе со своими командирами бегали на лыжах по двадцать километров. Это обязательно для всех без исключения, в порядке подготовки ко всесоюзному армейскому кроссу. Хотя для такой пробежки требовалось всего два с половиной часа, но после этого ни о каких прогулках уже и думать не хотелось.

И вдруг кросс отменен. Ур-ра! Качнуть командира!

Бойцы сгрудились вокруг лейтенанта, вот-вот подхватят его на руки и качнут. За приятную весть — не жалко. Туров, глядя на сияющие лица, смеется сам, отмахивается от протянутых к нему рук и — уж быть добрым, так до конца, — предлагает:

— Кто желает пойти в город, можете взять увольнительные. Листьянная не город, но побродить часика два по поселку — удовольствие не из последних.

— Пашка, идем? — толкнул Сумароков Крутова под бок.

— Ага. А ты? — такой же толчок Лихачеву.

— К чертям собачьим, хоть письма сегодня напишу.

Письма — дело святое. Глотку освежающего воздуха подобны письма. Они скрашивают однообразие солдатских будней. Чьей бы рукой они написаны ни были — нежной заботливой рукой матери, мужественной ли рукой друга или девушкой, с трепетом в сердце осмелившейся послать в дальнюю дорогу свой робкий поцелуй, — все равно они волнуют солдатское сердце. Только надежда на ответ заставляет бойца просиживать за письмами большую часть своего свободного времени, хотя его только-только, чтобы успеть пришить оторвавшуюся пуговицу, полистать книжку. Вот почему ни отговоров, ни уговоров — только вздох сожаления: «Ну, что ж...»

Крутов и Сумароков взяли увольнительные. Однако компания распалась тут же. Кузенко подозвал Сумарокова:

— Надо сходить в школу. Там затевают вечер самодеятельности, а у них нет хорошего гармониста. Просят выручить в порядке шефской помощи.

Сумароков озорно блеснул глазами:

— А на чем? На собственных... — Он сделал непристойный жест, но Кузенко сегодня тоже добрый и в ответ на грубость лишь рассмеялся:

— Там у них что-то есть, посмотришь сам...

С увольнительной в кармане Крутов за порогом в нерешительности остановился: куда идти, зачем? У каждого своя компания, свои планы.

На Татарскую гору — лысые высокие холмы, за которыми лежал поселок, поднималась группа молодежи — лыжники.

Крутов бегом вернулся, сбросил шинель, взял лыжи и помчался туда. На ходу не замерзнешь и в гимнастерке, к тому же солнышко уже поднимается над холмами, все ярче проглядывает сквозь искристую изморозь. Что он за боец, если поедет кататься в шипели? Умри, но фасоп держи!

На вершине горы смех, шутивная возня, визг девчат. Взявшись за руки в цепь, они мчатся вниз. На ходу цепь рвется, дальше лыжницы несутся какая куда.

Крутов оттолкнулся как можно сильнее, чтобы сразу набрать скорость, и припустил вдогонку. Впереди, пригнувшись, скользила девушка в зеленом ватнике и белом пуховом платке. Поверх

шаровар на ней темно-синяя юбка, на ногах валенки. Поравнявшись с ней, Крутов подхватил ее под руку: «Быстрее!»

Не оглядываясь, чтобы не потерять равновесия, она мягко, но настойчиво высвободила руку, продолжая мчаться вниз. Скольжение само собой замедляется. Поворот, чтобы затормозить, — и они оказались лицом к лицу.

У девушки румяные, как спелый ранет, щеки, вздернутый носик. Черные локоны непокорно выбиваются из-под платка. Поправляя их, она строго глянула на Крутова, и вдруг взгляд ее темных блестящих глаз потеплел, губы тронула улыбка.

В чем дело? Где-то он уже видел и эти глаза в окаймлении мохнатых ресниц, и нежный овал смуглого лица. Но где?

Сияясь припомнить, он пробормотал первое, что пришло в голову:

— Неправда ли, отличная стоит погода...

Вероятно, это было столь нелепо, что она принялась стаскивать с руки перчатку, прихватывая ее белыми и ровными зубками, чтобы только не расхохотаться ему в лицо.

— О, конечно, не только погода, но и кусты, снег...

— Иринка, сюда! — позвали ее подружки.

— Ау! Сейчас! — отозвалась девушка и, насмешливо поклонившись, направила свои лыжи туда.

— Значит, вас зовут Ира? — обрадовался Крутов. — Мне кажется, что я вас где-то уже видел. Но где?

— Кажется... — Гримаска неудовольствия скользнула по ее лицу.

— Что вам стоит — подскажите.

— Очень нужно! — В то время как язык произносил эти холодные слова, руки ее сделали жест, словно берут винтовку к плечу.

— Тир! — воскликнул Крутов. — Так это вы? Не может быть...

Она расхохоталась и умчалась к подружкам.

Крутову никак не удавалось с ней поговорить. Дурачась, она все время вертелась среди подруг. Они гурьбой катались с горы, и если падала одна, валились все, и получалась куча мала. Он держался несколько особняком, хотя его подмывало включиться в общее веселье, чтобы чувствовать себя в этой компании запросто, чтобы с ним разговаривали и шутили так же, как с поселковыми парнями...

Крутова поражала работа времени. За какие-то полгода, чуть больше, девчонка изменилась до неузнаваемости, похорошела, превратилась в прелестную девушку. Хоть и невелика росточком, по плечо Крутову, но уже не выглядит хрупкой, как когда-

то в школьном тире, теперь она гибка, как молодая талипка, которая хоть и гнется, да не так скоро ломится.

Наверное, ее самое это превращение радовало и возбуждало, потому что она шумела и смеялась за двоих, вертелась, как чертенок, гримасничала, и подруги несколько раз сталкивали ее с горы, чтобы только избавиться от ее приставаний. Одежда, платок укатались на ней в снег, по к ней самой он не приставал: ее щеки как пламень, от них не только снег — лед испарился бы в мгновение.

Время перевалило за полдень. Крутов рисковал остаться без обеда, но уйти не хватало сил. Улучив момент, когда его знакомая скатывалась вниз, он догнал ее и пристроился с нею рядом. Хотелось закрепить это новое знакомство.

— Ира, не моя вина, что я вас не узнал.

— Вот как... А чья?

— Вы похорошели, изменились. У нас такие превращения случаются с горным пионом: вечером шарик, а утром, глядишь...

— Что это такое, лопух какой-нибудь? — перебила она его.

— Нет, не лопух, а очень красивый бело-розовый цветок. Краса наших дальневосточных лесов. Они цветут в одно время с ландышами.

— Вы дальневосточник?

— Да.

— Ой, как далеко... — И она снова умчалась, стрельнув в него лукавыми, дразнящими глазами. Ей, кажется, нравилась эта игра.

## Глава шестая

В мире происходили грозные события. Восемнадцатого декабря 1940 года Гитлер отдал секретную директиву своим главнокомандующим вооруженными силами о подготовке к «быстрому разгрому Советской России до окончания войны с Англией». Гитлеровские войска обложили Болгарию, Югославию и Грецию. Куда повернется в ближайшие месяцы острие войны? За кем следующая очередь?

Ничего этого не знал и не мог знать Крутов. Жизнь для него с того памятного воскресенья, когда встретился с Ириной, словно бы повернулась новой стороной: порой ему казалось, что он видел, как сверкнула тонкая, будто лезвие бритвы, грань. Шел ли он с занятий в школу, мчался ли по улице на лыжах, глазами он все время отыскивал среди спящего люда Иринку. Авань бежит в магазин или с книжками в школу. Достаточно было ска-

зять «здравствуй!», па худой конец обменяться кивками, как он чувствовал себя очастливленным. Встречи бывали случайные, но каждый раз до того радостные, что все лицо помимо воли заливала улыбка, а глаза — просто неловко становилось за глаза, и их приходилось прятать, отводить в сторону.

Какое ему дело до войны? Будет когда-то или нет, а жизнь идет, подталкивает: «Не зевай, лови свое счастье!..»

До Нового года — неделя. Морозы такие, что снег превратился в сухой наждак, лыжи совсем не скользят, и бойцы таскают их на плече; такие, что воробьи на лету падают в снег, и мальчишки, подобрав, отогревают их за пазухой. Густой туман не рассеивался уже который день.

Вечером, прикрывая лицо варежкой и поглядывая время от времени в маленькое зеркальце — не побелело ли где? — Крутов бежал в клубную библиотеку.

Мороз вымел все живое с улицы. Глухо поскрипывал снег, вспучившийся буграми на дощатом тротуаре. Из переулка навстречу выскочила девичья фигурка. Также закрываясь от холода рукавичкой, девушка едва не пробежала мимо.

— Иринка, ты?

— Ой, я вас не узнала, честное слово!

Мороз щедро опустил инеем ее волосы, брови, ресницы. При скудном свете уличной лампочки Крутов заметил у нее на темной щеке белое пятно.

— У тебя прихватило щеку, три скорей.

Иринка зачерпнула рукавичкой снегу, но Крутов не дал: слишком колючий, недолго и порезаться таким.

— Позволь, у меня мягкая варежка.

Она доверчиво подставила ему щеку:

— Только быстрее, а то у меня отмерзают и руки и ноги.

— Не больно?

— Ничего, я терпеливая.

Когда от пятна не осталось и следа, он подышал на щеку, еще раз провел по ней варежкой и, сказав: «Теперь не приморозит!» — поцеловал. Она, как ужаленная, отпрянула.

— Как вам не стыдно? На улице...

— Виноват. Ударь, но только прости. Сам не знаю, как это произошло. Не сердись...

— Я не сержусь, но ведь пельзя же так... Вдруг кто-нибудь увидел бы...

Милая простота! Она не умела кривить душой и говорила то, что думала. Крутов понял, что она скорее напугана, чем обижена, и дал себе слово держать себя в руках. Он и в самом деле не мог бы объяснить, как поддался внезапному искушению.

Она запряталась лицом в меховой воротник и поглядывала на него настороженными поблескивающими глазами.

— Прощайте, мне пора домой.

— Нет, до свидания! — удерживая ее за руку, сказал Крутов.

— Прощайте!

Они отчаянно мерзли, но топтались на месте и со смехом препирались, отставывая каждый свое. Наконец Крутов пошел на обходной маневр:

— Ты будешь в клубе па новогоднем вечере?

— Нет, у нас вечер в школе. Приходите к нам.

— Обязательно. Значит, до свидания?

— Какой вы упрямый, — засмеялась она. — До встречи.

Прохожих не видно. Крутов привлек ее к себе. Она затаилась, сжалась и глядела на него снизу вверх не мигая в каком-то тревожном ожидании. И вдруг зажмурилась. Он поцеловал ее в плотно сжатые губки раз, другой. На третий она еле уловимо шевельнула губами, ответила. Застеснявшись, тут же рванулась из рук и пустилась наутек. Издали, уже скрываясь в морозном тумане, крикнула:

— До свидания!..

Новый год пришел вьюжный, с морозным обжигающим ветром. Свирепая поэмка змеилась по дороге, резала лицо колючими иглами снега. В радужном венце холодно сияла над поселком луна.

Крутов с Иринкой сбежали с танцев и бродят по улице. Ни души. Шорох переметаемого через дорогу снега сливается с тонким посвистом ветра и звенящим голосом проводов. Эти звуки для них музыка. Оклевая от холода, они бесстрашно идут самой серединой улицы и ведут оживленный разговор. Школьные проказы, чудачки учителя, просмотренные кинокартины, все, чему радовались и чем огорчались, — все кажется страшно значительным.

За освещенными окнами мотались тени — в новогоднюю ночь люди не спешили ложиться, пировали с друзьями и родственниками, пели песни и желали себе и другим счастья в новом году, не подозревая, что темные силы уже получили приказ и тайно готовят оружие. Пели, веселились. Но, вопреки обыкновению, новый год нес им на этот раз смерть, страдания, разруху и голод. Пели, веселились, не подозревая, что этот год будет самым тяжелым, самым горьким, и не только потому, что испытания окажутся более тяжкими, чем в последующие годы. Слишком труден переход от мирной жизни к войне, невозможно сми-

риться с неожиданной утратой близких, с потерей огромной части страны, с крушением иллюзий, которыми долго тепшили себя.

Но, может, в том и заключается высшая мудрость жизни, что человек, даже на шаг от смерти, думает о жизни и надеется на лучшее?

В поздний час, когда подвыпившие компании стали вываливаться на улицу, горлаия песни, когда в окнах начали гаснуть огни, Крутов задержал Иринку возле калитки ее дома. Теспо прижавшись друг к дружке и все-таки дрожа от холода, они стояли некоторое время молча.

— Мне пора, Павлик, — шепнула Иринка, с тревогой поглядывая на окна дома — не погас ли свет.

— Погоди...

Издали донесся прерывистый гудок паровоза. Он еще не замер, как к нему присоединились голоса других паровозов и басовитый, словно захлебывающийся на ветру деповский гудок. Над поселком понеслись сигналы пожарной тревоги. Небо с одного края стало напитываться зловещим багрянцем.

«Ту-ту-ту-у! Ту-ту-ту-у!» — не унимались гудки.

Тоскливое чувство свершающейся близкой беды защемило сердце.

— Страшно... — зябко повела плечами Иринка.

Крутов осторожно обнял ее и прижал к себе, боязливую, притихшую.

— Ну чего ты, чудачка? Затушат — и все. Ты знаешь...

— Говори, — видя, что он замялся, подстегнула Иринка. — Ну? Мне не так будет боязно...

— Знаешь, я давно хотел тебе сказать... ты мне нравишься. Я люблю тебя, Иринка. Слышишь?

Она молчала, уткнувшись лицом ему в грудь.

— Ну что же ты? — допытывался Крутов. Теперь, когда самое главное и трудное сказано, ему хотелось говорить, говорить и слышать ее ответные слова. Ведь это не игра, когда один говорит другому «люблю». От того, насколько серьезно к этому отнесутся, зависит вся дальнейшая жизнь людей, вступающих в добровольный союз. Любят друг друга, и жизнь у них становится целеустремленной, содержательной, — такой, что и окружающим становится от этого теплее. — То, что я сказал, это всерьез, навсегда. Ты меня поняла, Иринка?

— Ну что — «Иринка, Иринка»? Что?..

— Скажи, а ты меня, вот такого, в серой шинели, с этими обмотками?.. Еще год — и я сброшу их навсегда. Ты мне веришь, станешь ждать?..

— Ах, я ничего-ничегошеньки не знаю. Папка говорит, что

я совсем-совсем еще глупая девочка. Наверное, это так и есть... — Она стиснула ему руку. — И потом он еще говорит, что, паверное, будет война...

— Что ты! О какой войне может быть речь? С Германией у нас договор, Англии не до нас...

— Молчи. Я все равно ничего в этом не понимаю. У нас в школе недавно был лектор, он говорил то же самое, а папка этому не верит, и я не знаю, кого слушать. — Она вздохнула: — Наверное, очень плохо, когда не имеешь своего мнения? Да?

— Чтобы иметь свое мнение, надо много знать. А что мы знаем?.. Но какое это имеет для нас значение? Ты скажи...

— погоди, — она схватила его за руку. — Ты слышишь, как поет счастье?

Крутов глянул в ее лицо. Оно было серьезно, только глаза сияли, и по щекам пролегли мокрые дорожки к уголкам губ. Он понял значение этих скупых слез, сердце его дрогнуло: какого еще другого ответа он от нее добивается? Зачем слова? Почему мы так много говорим, когда молчание порой куда красноречивее? Он прислушался, и ему показалось, что и в самом деле вместо хаоса звуков, властвующих над миром, вокруг звучит какая-то стройная мелодия. Или это только для них? Нет. Прислушайся. Нежная, еле уловимая, она доносится, как комариный писк за тонкой бязью палатки, как звонкая, но робкая весенняя капель под снегом, еще укрывающим землю, как лесная чуткая тишина, вызывающая звон в ушах, похожий на перекличку птиц.

Мелодию невозможно переложить на ноты — слишком грубо для этого человеческое ухо, но все вокруг звучало — Крутов готов был поклясться, — звучало удивительно согласно, трогая какие-то болезненно чуткие струны. Он боялся пошевелиться, чтобы не прогнать этот необыкновенный настрой души.

Наклонившись к ней, он коснулся щекой ее щеки: кожа была пушистой и теплой, несмотря на мороз.

— Мы будем слушать часто-часто.

— Нет, — покачала она головой. — Тогда оно перестанет нам петь. Оно не любит, когда часто.

\* \* \*

Крутов чувствовал себя по-настоящему счастливым: он любит, он любим! Чего еще желать? Жаль только, что такое состояние то и дело сменяется тоскливым. Это когда он неделю-другую не встречает Иринку.

Увольнительные давали редко и неохотно. Но разве отсут-

ствие увольнительных преграда для бойца второго года службы? После снайперских сборов у него в каждой роте приятели, и какое бы подразделение ни несло караульную службу у ворот, он мог порой уйти на час-полтора в поселок.

Правда, он старался теперь не рисковать без крайней на то нужды. Дисциплинированный, старательный, он стал пользоваться в роте авторитетом. Даже Кузенко, относившийся к нему с недоверием, изменил отношение, поручал то и дело политинформации.

Крутов много читал до армии, любил изобразительное искусство, знал в общих чертах историю, поэтому частенько дополнял беседы ссылками на поступки литературных героев и картины художников. Бойцам это нравилось, и, конечно, слух об этом доходил до политрука. Тому льстило: в его роте простой боец проводит хорошие беседы.

Однажды в порыве благосклонности он решил вызвать Крутова на откровенный разговор.

— Слушай, тебе пора подумать о вступлении в партию. Одну рекомендацию даст комсомольская организация, другую, так и быть, я. С командиром роты поговоришь, он, по-моему, к тебе всегда хорошо относился...

— Рано еще мне.

— Ну, я бы этого не сказал. Полгода назад было действительно рано, а теперь ты взял правильный курс. Назначим тебя замполитруком, а там и в училище...

— Вы же знаете, что я мечтаю стать художником. Мне бы поскорее отслужить, что положено, и в «гражданку». А замполитруку лишний год службы...

— Далась тебе эта «гражданка»! — с досадой воскликнул Кузенко. — Смотрю на тебя и не понимаю. Ты какой-то чудак, Крутов. Ну уволишься, станешь долбить и точить свои камни, а по выходным мазать коврики на базар. Ты же сам рассказывал, что даже такая знаменитость, как Федотов, жил впроголодь, умер в сумасшедшем доме; Левитан чуть не до смерти не имел своего угла; Саврасов спился. Да мало ли таких? Репин... Ну, так ведь Репиных да Суриковых единицы, по одному на всю Россию. Я, конечно, понимаю, искусство и все такое, да только это хорошо на словах. А когда появятся семья, дети, нужда, станешь биться, биться, и если не исхалтуришься, так сопьешься. Не ты первый, не ты последний. Я художников видел, знаю. Что ни художник, то и выпивоха. Нашего полкового — Лаптева возьми...

— Ну, ему еще далеко до того, чтобы зваться настоящим художником.

— Так кто вас разберет, настоящие вы или нет. Раз с красками, кистями возитесь, — значит, художники.

— Как весь народ, так и художники, — пожал плечами Крутов. — Сейчас у всех жизнь трудная. При коммунизме, наверное, так не будет...

— Его еще строить надо. Конечно, построим социализм, перейдем к коммунизму, в этом нет никакого сомнения. Но ведь жизнь не стоит на месте, годы уйдут...

— Человек живет, годы уходят. Это закономерно. Однако и коммунизм кому-то надо строить, сам он с неба не свалится...

— Кто же говорит, что не надо, — надо. Так ведь ты не со стороны наблюдать будешь, а защищать Родину. Это поважней искусства. Сейчас не двадцатый год, техника растет, в армии грамотные люди нужны. Ты это должен понимать. Я ведь к тебе давно присматриваюсь: ты хоть и с норовом, а наш, советский человек и по духу и так... Голова на плечах есть, сразу бы продвинулся. В армии человек быстро растет, стоит только хотения набраться. Смотришь, лет через десять ты — комиссар полка, своя верховая лошадь, квартира, почет, уважение, никто тобой не командует... Я бы на твоём месте так с ходу не отказывался бы, а прежде подумал...

— Нет, армия не по мне! — твердо ответил Крутов. — Тут и думать не приходится. А в партию вступать рановато. Так я считаю.

— Ладно, мы еще к этому вопросу вернемся.

Политрук ушел, растревожив душу Крутова: «Может, и в самом деле поступить, как он советует? Ведь и Туров почти о том же говорил — готовиться надо, чтобы стать командиром. Газин тоже — искусство, искусство, а сам остался на сверхсрочную. Неспроста, наверное. Неужели я чего-то недопонимаю?»

Крутов решил переговорить с Газиным. Тот сидел в каптерке старшины один и что-то писал.

— Можно к вам, товарищ командир?

Газин взглянул на серьезное лицо Крутова и, догадываясь, что тот пришел по важному делу, накинул на дверь крючок.

— Выкладывай, что случилось.

— Я хотел бы узнать, почему вы остались на сверхсрочную? Только по-честному.

— Ладно... Помнишь, ты все на меня нажимал — учиться, учиться... А у меня ведь семья: жена, сынишка... Кто их кормить станет? В «гражданке» сейчас житье не сладкое, сам видишь, как в поселке с продуктами трудно. Подумал, да и остался. Чем меня каждое лето на сборы таскать будут, лучше я служить останусь. Думаю сюда семью вызвать. И, если хочешь знать, —

войны нам не мпновать. Только когда — вот вопрос. Может, пока она начнется, я годик-два поживу по-человечески. Все-таки в армии и паек приличный, и обмундирование, и оклад. Где я в «гражданке» столько заработаю? Поэтому и остался.

Крутов был уязвлен: Газин — п тот поет почти ту же песню, что и Кузенко, только на иной лад. Откуда такая меркантильность? От кого-кого, а от Газина он этого не ожидал. Откуда в людях столь обнаженный практицизм? Как это унижает человека. Крутов всегда старался быть выше мелочных расчетов...

— Нет, я не променяю искусство на сытое брюхо, — зло сказал он. — Только бы отслужить — дня не останусь...

— У тебя другое дело, Пашка. Ты уже на полпути к своей мечте, тебе не к чему сворачивать. А мне уже поздно начинать с азов. — Газин уставился взглядом в стенку, помолчал. Глаза его были грустны. — Между прочим, ты зря кичишься, Пашка. «Брюхо, брюхо...» Без брюха тоже человек не живет. Бытие определяет сознание... Слышал небось? Тут тебе и брюхо и все остальное, что надо человеку для жизни. Бытие, одним словом. Не кто-нибудь сказал — классик... Если чувствуешь, что у тебя призвание, иди, не сворачивай. А для других, где ни служить, лишь бы задаром хлеб не ел. Люди везде нужны. Не будет сильной армии, так не видеть тебе ни искусства, ничего. Так-то, дружище...

Крутову стало неловко, чувствовал, что своими словами обидел товарища. Он постоял и, видя, что тот молчит, пробормотал:

— Не сердись, командир... Я сам на распутье, а куда податься — не знаю. Ничего не знаю, понимаете. Потому и спросил.

— Я не сержусь, с чего ты взял...

Крутов долго не мог успокоиться. Где же путь, которого держаться? Как много в жизни дорог, а идти можно только по одной. А вдруг и в самом деле скоро война? Тогда все полетит кувырком...

\* \* \*

Время, как добрый лекарь, снимало заботы и усыпляло тревогу. Приближалась весна. Падали с крыш звонкие прозрачные сосульки, хорохорились воробьи — «жив-жив!», с полей тянуло запахами прелой травы и таявшего снега. С шорохом оседали льдинки, и черные лоскутья пригорков, млея, исходили паром.

Вечерами долго не гасла заря. Над синими далекими холмами горели раскаленные поплавки облаков.

Крутов ходил по улице, похрустывал льдинками, ждал, когда выбежит за калитку Иринка. Она что-то задерживалась. Наконец показалась. Едва глянув, он понял, что она расстроена.

— Что случилось?

— Поругалась с мамой. Нечего, говорит, шляться по ночам. Как сама выскочила замуж в шестнадцать лет, так ничего...

— А сколько тебе лет, Иринка?

— Сколько? — Она глянула злыми после ссоры глазами. — Скоро все восемнадцать, вот сколько. А она все еще продолжает меня за ребенка считать...

— Не сердись. Ты и в самом деле ребенок... — Крутов хотел взять ее под руку, но она сердито дернула плечом:

— Не прикасайся. Я когда злая, ко мне лучше не подходи.

— Что ты говоришь? — Он засмеялся, все ж таки взял ее под руку и, не отпуская, повлек за собой.

В темных глыбах домов вспыхивали светом окна. Пунктиры фонарей повисли над улицами. На станции голосисто покрикивал маневровый паровоз, лязгали буферами передвигаемые вагоны. Взбрехивала на прохожих беспокойная собачонка.

Они прошли улицей к речке. Под мостом шумела ожившая после долгой зимы речушка. В черной струящейся воде искрились отраженные звезды и молодой узкий, как серп, месяц.

Крутов прислонился спиной к перилам, придержал Иринку:

— Постоим...

Она глянула вниз, вздохнула:

— Какая страшная вода. Кажется, такая глубина, что упади — и никогда не достанешь дна. Бр-р...

— Боишься?

— Когда с тобой — нет. С тобой я куда угодно...

— Тогда пойдем на гору.

— Пошли, а то здесь неинтересно.

На Татарской горе — на ее склоне было когда-то татарское кладбище, отсюда и название, — излюбленное место Крутова и Иринки. Там на самой вершине есть большой плоский камень, с которого хорошо все видно. Если посмотришь вверх, кажется, что земли совсем нет, а только небо, сплошь усеянное звездами. С камня же вся станция как на ладони. Ночью домов почти не видно, вместо них множество огней, и смотреть на огни, слушать, как вздыхают паровозы на станционных путях, очень интересно.

Поезда приходят и уходят. Те, которые идут на запад, почти все воинские. Обычно это теплушки, набитые бойцами, и платформы, крытые брезентом, с машинами, орудиями, зарядными ящиками. На проезжающих большей частью черные петлицы, указывающие на принадлежность к техническим войскам и артиллерии. Кажется порой, что поездов на запад идет больше, чем на восток. Идут, идут, и конца им нет. Уже открыто поговаривают, что это не иначе как к войне. Все может быть.

Крутову не хочется об этом думать, когда рядом, тесно прижавшись, сидит Иринка.

На ней белый беретик, пушистый и мягкий, как котенок, такой, что так и хочется потереться о него щекой. Она сегодня задумчивая и сидит как изваянная, с запрятанным вглубь взглядом.

Он повернул ее к себе лицом, поцеловал.

— Не мешай. Я думаю...

— Не надо. Лучше скажи, ты меня любишь?

— Ой, смотри, упала звезда. Ты видел?

Они долго смотрят на то место, где, чиркнув по небу, вошел в атмосферу и сгорел метеорит. Потом целуются, не торопясь, вкусно, забыв о вопросах, которые только что задавали. Они счастливы.

— Ох, хоть бы скорее эти экзамены, — вздохнула Иринка.

— А тогда?

— Ты же знаешь. — Она многозначительно глянула на него и призналась: — Я так тебя люблю, что даже иногда боюсь: вдруг это не к добру. А ты?

— Сильнее нельзя, — ответил он и, взяв ее руки в свои, стал дыханием отогревать ей пальцы. — Я даже не представляю, как я мог жить раньше и не знать тебя...

Она благодарно сдвинула ему руку. Крутову кажется, что чище, чем у них, не может быть на свете любви. Они ждут только дня, когда он окончит свою службу. К тому времени она будет со средним образованием, самостоятельный человек.

Ждать тяжело, но они дали клятву быть терпеливыми. Да и куда торопиться? Они собираются жить не год, не два, а много-много. Их счастье от них никуда не денется.

Крепчает морозец. Месяц скрывается за холмом, а звезды движутся извечным путем вокруг неподвижной Полярной звезды. В поселке гаснут огни, их становится все меньше и меньше, светлая цепочка рвется на части, распадается. Ночь.

## Глава седьмая

За отличную стрельбу из пулемета «по дуракам» — так называли в роте ростовые мишени, поставленные в ряд (их надо было поразить одной короткой очередью), — Крутову приказом по полку объявили благодарность. В списке значилось с десятков пулеметчиков и из других рот, но все равно Туров был доволен, не скрывал этого и, поздравив Крутова, подписал ему увольнительную:

— Можешь гулять весь праздник.

В день Первого мая, сразу после небольшого военного парада, Крутов был вольный казак и толкался среди публики. Ему хотелось увидеть Иринку. Он ждал, что она появится в колонне школьников, а она прошла с группой девушек, одетых в форму санитарок. На ней нарукавная повязка с красным крестом, белая косынка и сумка через плечо.

Стрельнув в него глазами, она гордо прошла мимо, стараясь чеканить шаг и не сбиться с ноги.

— Когда это ты успела приобрести такую специальность? — спросил Крутов. Пройдя мимо трибуны, демонстранты вливались в общую толпу, и теперь Крутов с Иринкой, держась за руки, выбирался из веселой толкучки.

— А вот и успела. Курсы были в нашей школе. Вечерние, — похвалилась Иринка. — Теперь, если война, пойду на фронт вместе с тобой. Это тебе сюрприз...

— Представляю!

— Что, не веришь? Да знаешь, мы все-все перевязки прошли. Хочешь, любую рану перевяжу.

— Конечно, ты на фронт, а за тобой мама.

— Вредный! — Она капризно надула губки. — Всегда смеешься. — Вдруг она схватила его за руку и чуть ли не бегом повлекла за собой: — Совсем забыла. Быстрей, а то опоздаем к обеду.

— К какому обеду? А твой?

— Папа у меня очень добрый, сам увидишь. Он тебе сразу понравится. И мама... она все уже знает.

— Что — все?

— Ну так, все-все. Я сама рассказала. Ведь должна же она знать, она — мама.

— Может, я в другой раз зайду, не сейчас?

— Что ты! Мама сама велела, чтобы я тебя пригласила. У нас никого чужих не будет, честное слово.

Крутов растерялся: как-то и в голову не приходило, что придет время и надо будет объясниться с ее родителями о своем к Иринке отношении. Все это откладывалось на потом и вдруг подошло так неожиданно. Ну как он пойдет, что скажет? За поцелуями, болтовней и признаниями они еще толком не подумали, как жить собираются, что будут делать. Спроси — ничего не ответят определенного. Одно лишь знают — быть вместе. А как это обернется практически?

— Иринка, почему ты мне не сказала об этом раньше?

— «Иринка, Иринка!»! Идем.

Она была преисполнена большей решимости, чем он. Может, потому, что шла к своим родителям и уже успела переговорить с матерью и самое трудное для нее было позади.

Крутов обмахнул полой шинели пыль с начищенных утром ботинок, поднянул обмотки и в первый раз переступил порог Иринкиного дома.

У них была обычная казенная квартира, в каких жили многие знакомые Крутова в его родном поселке. В длинном, барачного типа бревенчатом доме родители Иринки занимали две небольшие комнатенки и кухню.

Над плитой протянута бечевка, висит полотенце, рядом — шкафчик для посуды. Конечно — стол, накрытый клеенкой с исчезнувшим узором на сгибах; табуретки окрашены голубой краской; беленькая шторка на окне подсинена после стирки. Часы-ходики, наверное, хандрят, потому что к цепочке подвешен груз — маленькие плоскогубцы помимо гирьки.

В комнате через дверной проем виден большой фикус в кадучечке, на окнах герани. Они цветут, и ярко-красные бутоны прямо-таки горят под солнечным лучом. В простенке между окнами — комод с фотографиями и безделушками. Посреди комнаты — празднично накрытый стол.

Крутова встретили радушно, он быстро преодолел смущение, скованность и почувствовал себя непринужденно.

Отец Иринки — Сергей Иванович — рабочий. Это сразу видно по цвету его лица — землисто-желтоватому, как бы навсегда пропитанному маслянистой копотью, бескровному, с потемневшей кожей. Мазут деповских мастерских, копоть, дым, тяжелый труд за многие годы навсегда убивают жпвой румянец, заостряют черты, придают лицу чеканные резкие формы.

Крутов родился и вырос в таком же, как Листвянная, рабочем поселке, поэтому он хорошо знал категорию мастерового люда, железнодорожников. Достаточно взглянуть на руки Сергея Ивановича с вьевшимся в трещины кожи маслом, на сбитые ногти, окаймленные черной сажей, на застарелые ссадины, — и можно определить его профессию: слесарь. Каким бы специалистом ни был человек, но если он целыми днями не выпускает из рук молотка, зубила, пилит и шабрит — имеет дело с металлом, — так ушибов не миновать и чистыми рук не сохранить.

Сергею Ивановичу уже за пятьдесят, у него коротко подстриженные усы, седина на голове и выпцветшие от времени умные глаза рабочего. На переносице глубокая складка и вмятина — след от очков в тонкой металлической оправе.

Мать Иринки пригласила всех к столу. Она в праздничном креплдешиновом платье и, чтобы не испачкать его возле плиты,

подвязала передник. Она сама подкладывает всем па тарелки закусы — тушеную картошку с мясом, огурцы, хлеб.

Сергей Иванович налил стопки:

— За наш рабочий праздник! — Он чокнулся со всеми и добавил обычное: — Дай бог, чтобы не последнюю...

Иринка медлит, не пьет. У нее огромные восторженные глаза, из которых так и брызжет счастливое сияние.

«Пьем?» — спрашивает она Крутова глазами. Он отвечает ей так же: «Давай!» Ему хорошо и покойно в этой семье. Родители Иринки так схожи с его собственными. К тому же совесть его чиста. Это главное.

— Извините, Павел, — спросил Сергей Иванович, когда немного закусили, — ваш папаша из рабочих или служащий?

— Он кузнец. Тоже в депо.

— Значит, наша рабочая кость. Это хорошо. Ну, а кем же вы служите? Судя по петлицам — стрелок.

— Папка, зачем ты об этом расспрашиваешь? Это же военная тайна.

— Ну, какая это тайна, — смеясь ответил Крутов. — Пулеметчик я и снайпер.

— Что ж, специальности хорошие, — кивнул Сергей Иванович и наставительно обратился к дочери: — А ты, стрекоза, помалкивай. Тебя еще на свете не было, когда мне пришлось защищать советскую власть, поэтому я лучше тебя знаю, что такое тайна, о чем можно говорить и где. Так вот, я и говорю: быть пулеметчиком — дело доброе, стоящее. Может сгодиться. Судя по разговорам, добирается и до нас война. Каждый день везут вашего брата, только успевай паровозы готовить. По полторы-две смены приходится за верстаком простаивать. Везут и везут. Больше все на запад... На командира учиться не посылают или сами не желают?

— Не по душе, да и служить осталось самую малость...

— Зря. Время подходит беспокойное, падо, чтобы у нас командиров было побольше из рабочего сословия. У нашего брата убеждения крепче. Со старыми-то командирами неустойка: вот, говорят, и вашего в прошлом году взяли.

— Хватит тебе болтать, старый! — перебила его жена. — Надоел со своей политикой, грамотей. Наливай лучше еще по одной! — И не дожидаясь, пока он возьмется за бутылку, стала наливать сама, припевая и притопывая каблуками: — Эх, пить будем и гулять будем, а смерть придет, помирать будем...

— Ты бы мне лучше вместо дочки сыпка подбросила, вот и был бы тогда другой разговор.

— Значит, старался плохо, на себя и пеняй. Нашел о чем вспоминать! — И, смеясь, продолжала: — А смерть придет, меня дома не найдет...

— Доброе старое не грех и вспомнить, — с усмешкой отозвался Сергей Иванович. Приняв от жены рюмку, он, разглядывая ее на свет, покрутил головой: — На командира — и не по душе. Зря.

— Папка, а разве я у тебя плохая? — прильнула к отцу со смехом Иринка.

— Нет слов, хороша. Огонь девка. Вот только, не кончив школы, погуливать стала. Ну ничего! — Он махнул рукой. — Ты уже взрослая. Гуляй, пока гуляется, только головы не теряй, а то в подоле принесешь, сама наплачешься...

— Папка, как тебе не стыдно! — воскликнула, зардевшись, Иринка и отвернулась.

— И впрямь, заболтался, старый! — вступилась мать. — Нашел когда поучать. Девчонка еще ни сном, ни духом, а он...

— Ладно, мать. Правда всегда ершиста. Говорят, цыган цыганенка бил, когда воровать провожал. Чтоб, говорит, не попался, а когда попадется, слышь, тогда уже поздно будет. А мы на то и родители, чтоб детей на ум наставлять. Правильно я говорю, Павел? Если не ошибаюсь, это и тебя с одной стороны касается, в том смысле, чтоб не гонялся за легкой любовью.

Крутов, хотя и был смущен не меньше Иринки, нашел в себе силы ответить:

— Правильно, Сергей Иванович. Мы об этом всегда помним. А для меня честь Иринки дороже собственной.

— Во, видала, мать! Что я тебе говорил! — И он поднял рюмку: — Коли так, выпьем. Чтоб в нашем сердце никогда места для кривды не было...

Все дни праздника Крутов провел в доме родителей Иринки. Вечером она провожала его до казарм. Они словно бы враз повзрослели, серьезнее взглянули на жизнь, стали как-то сдержаннее в проявлении своих чувств. Любовь — не одни радости, но также и обязанности, — вот что понял Крутов.

«Только бы дослужить до осени», — думал он, крепко стискивая руку Иринки. Это был предел его мечтаний. Что дальше, он еще плохо представлял, но был уверен — дело для него в жизни найдется.

Увлеченный мечтаниями, он не придавал значения слухам. А они с каждым днем становились тревожнее, вносили нервозность в среду красноармейцев и командиров. Упорно поговаривали о предстоящем перемещении полка: одни называли Кавказ, другие — Белоруссию.

Наконец на смену всем слухам пришла ясность: приказом по полку объявили день выезда в лагерь.

\* \* \*

Конец мая. Енисей сгоняет последние льдины. Береговые черемуховые и тополевые заросли окутаны зеленой дымкой распускающейся листвы. В воздухе аромат клейких тополиных почек, первых зеленых стрелок пырея, отогревшейся горьковатой древесной коры.

Льдина, громадная, как одряхлевший матерый морж, выползла на отмель под высоким желтым яром левого берега. Она млела под солнцем несколько дней, истекала холодными каплями, мешала бойцам подступиться к воде, сильно поубавилась в размерах, но дождалась белой кипени враз зацветшей черемухи. Было удивительно видеть — зелень и лед.

День начинался солнечный, теплый. Весна будоражила молодую кровь, силы рвались, искали выхода. Когда Коваль привел свое отделение умываться, вся береговая кромка была уже занята. Бойцы в пательных рубахах, как гуси на водопое, образовали сплошную белую кайму у воды.

Лихачев, ожидая, пока освободится доступ к воде, снял рубаху и оглядывал круглые, как шары, напряженные бицепсы на согнутых руках.

— Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир, — сказал он.

— Мир — что! Ты попробуй вот эту льдину! — иронически бросил Сумароков. — А то из-за нее к воде не подступиться.

— А что! — глаза Лихачева озорно блеснули. — Пулеметчики, навались! Товарищ сержант, помогай.

Всем отделением, с криком «ура!» бойцы облепили глыбу, повернули ее па ребро и толкнули. Льдина тяжело плюхнулась, залил ноги тем, кто умывался поблизости, и закачалась на поднятой волне. Будто кланялась на прощание, отплывая в синюю даль реки.

Довольные, словно сделали бог вещь какое полезное дело, пулеметчики стали умываться. «Если дружно, какая сила!» — думал Крутов.

Что ни день — все ближе демобилизация. Это и радовало и огорчало: ведь придется расставаться с друзьями. Каждый рвется домой. Сразу распадется такое дружное отделение. Даже Коваль стал меньше придирается и как-то смирился с бойцами. То ли надоело проявлять свою требовательность, то ли беспокойные слухи заставляют его быть осторожнее и не портить отноше-

ний со своимп. Такую пустяковую затею — перевернуть льдину — и ту подхватил, не остался в стороне. А может, не он изменился, а сами бойцы стали опытнее, не за что стало на них покрикивать?

Спешка лагерной жизни — все бегом, от подъема до отбоя, — не позволяла следить за событиями. Счет шел не на дни — на воскресенья.

Четырнадцатого июня, словно молния-зарница, блеснуло сообщение ТАСС. Оно появилось не случайно. Несмотря на строжайшую тайну, которой была окутана подготовка Германии к нападению на Советский Союз, кое-какие сведения все же вышлы-вали наружу.

Первое предупреждение о готовящемся нападении было сделано вскоре после Нового года в беседе государственного секретаря Уоллеса с советским послом в Вашингтоне. Предупреждение носило характер косвенного намека и не являлось официальным.

Деятнадцатого апреля Наркоминделом было получено послание Черчилля Сталину: «Я получил от заслуживающего доверия агента достоверную информацию о том, что немцы после того, как они решили, что Югославия находится в их сетях, т. е. после 20 марта, начали переброску в южную часть Польши трех из находящихся в Румынии пяти бронетанковых дивизий. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это продвижение было отменено. Ваше Превосходительство легко оценит значение этих фактов...»

Можно было верить и не верить этим сообщениям. Ведь еще совсем недавно, полтора года назад, когда был подписан договор о ненападении, англо-французская авиация сбрасывала над Германией листовки с броскими заголовками «Долой большевизм!», в которых писали: «Гитлер был рыцарем крестового похода в борьбе против коммунизма. Сейчас от рыцаря-крестоносца остался только человек, смирившийся перед Москвой...»

В английском парламенте Галифакс клеймил позором Гитлера за отказ от нападения на СССР, за то, что тот «изменил самым корешным принципам своей политики», которые он много лет энергично провозглашал.

В истории дипломатии случалось не раз, что под видом важных сведений поступала ложная информация с целью изменить политический курс страны. Не являлись ли эти предупреждения дезинформацией? Разве можно было относиться с доверием к тем, кто все время толкал Гитлера на войну с СССР?

Однако и основания не доверять германскому фашизму уже имелись. В этой сложной обстановке было решено прозонди-

ровать, какова будет реакция гитлеровской верхушки. Вот тогда и передалл сообщение ТАСС. Оно авторитетно разъясняло, что распространяемые иностранной, особенно английской, печатью заявления о приближающейся войне между СССР и Германией не имеют никаких оснований, так как не только СССР, но и Германия неуклонно соблюдают условия советско-германского договора о ненападении, и что «по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы». Оставалось ждать, что ответит на это Германия...

— Слышь, Пашка, читал в газете? — спросил Сумароков Крутова.

— Ну...

— Как думаешь, правда или брехня?

— Наши опровергают, сам видишь.

— А если брехня, зачем пишут?

— Откуда я знаю?

— А вот я у Кузенко спрошу. Что он скажет...

На очередной политинформации, когда политрук кончил выступление, Сумароков обратился к нему с вопросом:

— Товарищ младший политрук, как это понять: англичане говорят, что немцы собираются на нас папасть, подтягивают к границе дивизии, а наши утверждают — ничего подобного. А вдруг это правда? Ведь с Гитлером все равно когда-то воевать придется...

Кузенко неприязненно глянул на Сумарокова: лезет с расспросами, когда еще никто не знает, как толковать это сообщение. Может, и в самом деле за этой короткой заметкой кроется что-то важное, иначе зачем бы вызывали всех политработников к комиссару. Утром сразу после подъема звонили из штаба. А пока что ответишь кроме сказанного?

— Вы бы, товарищ Сумароков, хоть нас, своих товарищей по роте, предупреждали, когда и с кем собираетесь воевать. А то что получается: Советский Союз заключает договор о ненападении, подтверждает верность своим обязательствам, а вы воевать собираетесь. Вот и английские империалисты спят и во сне видят, что Советский Союз схлестнется с Германией. Это понятно, им не терпится как-то нас ослабить и лишить свободы. Но советским людям война не нужна, и мы отвечаем, что все измышления английских газет направлены к одному — вбить клин в наши отношения с Германией, внести разлад, недоверие. Поэтому не стоило бы товарищу Сумарокову привлекать внимание красноармейской массы к вздорным слухам...

— А что здесь такого? Уже и спросить нельзя? — откликнулся Сумароков. — В газете же напечатано...

— Я вам и объясню: слухи не имеют почвы. Давайте лучше соберем вечером собрание и посмотрим, кто и как выполняет свои обязанности по повышению боевой готовности. И первое слово дадим вам, товарищ Сумароков. Ясно?

Бойцы рассмеялись:

— Послушаем, как он к войне готовится...

Кузенко взглянул на часы: время политинформации истекло. Пора приступать к другим занятиям. Туров уже прохаживается возле оградки, которой обнесена агитплощадка роты.

— Выходи строиться! — подал команду дневальный.

Бойцы бегом выскакивали на линейку и строились повзводно. Втихомолку ворчали: из-за каких-то дурацких вопросов пропал перекур.

— Ну чего ты всегда лезешь? — досадливо отчитывал Лихачев Сумарокова. — Нужны тебе эти выговоры, как собаке репей в хвост. Клин так клин, какая тебе разница? А теперь вечером сам потеть будешь, да и нас заодно заставишь.

— Так ведь только спросил, — виновато бубнил Сумароков, поглядывая, не слышит ли их Кузенко. — На то он и политрук...

— Спросил. Думаешь, я или Пашка этой газеты не видели? Однако не лезем. Ты пойми, политрук сам пока знает не больше того, что в газете напечатано, а ты его в неловкое положение ставишь перед всей ротой. Уж на то пошло, спросил бы Пашку, он объяснил бы не хуже...

— Спрашивал.

— Ну и что, Пашка тебе не ответил, а Кузенко полную ясность навел? Или ты думал, он тебе что-то другое скажет, такое, что и в газете не напечатано? Эх, голова, голова...

— Ша! Команды «равняйся!» не слышали? — шикнул на них Крутов.

Кузенко прошел мимо строя с легкой картонной папкой под мышкой, в которой он хранил газетные вырезки с материалами, нужными ему для политинформации.

— Вызывают к комиссару, — сказал он Турову, оглядывая роту, выстроенную с пулеметами, коробками, шинельными скатками. — Наверное, продержит до обеда, не иначе. Поэтому на тактику не приду. А жаль, хотелось бы поприсутствовать на занятиях, чтоб потом вести предметный разговор, кто как успевает. Думаю, вечером можно будет собрать роту, не возражаешь?

— Едва ли удастся, — ответил Туров. — Сегодня нашей роте идти в полковой наряд...

— Ах, черт, совсем забыл! — спохватился Кузенко. — А я уж было про собрание сказал. Ладно, перенесем на другой день.

— Второй взвод, разберись! — подал команду Туров. — Р-рота, нале-во! Шагом, марш...

Турову не нравилось, что Кузенко стал редко присутствовать на занятиях роты. Вот и сейчас нашел предлог. Время наступает тревожное, нужно всем учиться вести бой. Начнись война — в любой момент может случиться, что и политруку придется командовать ротой. Тут одного «Вперед! За мной!» будет мало. Так нет, отлынивает, будто все уже постиг. А что постиг? Даже воспитательной работы вести не научился, отдает предпочтение приказу, выговору, больше полагается на газетные статьи, чем на собственный разум. Вот и сегодня на вопрос Сумарокова ответил по-казенному, хотя мог бы честно сказать: знаю пока не больше вашего. Бойцы не глупые, поняли бы. Да и топ — даже не поймешь, то ли разъяснение, то ли выговор. Разве так должен держать себя политрук?!

Туров считал, что если уж остался в кадрах армии, так вырабатывай в себе командирские качества, и в первую голову лаконичный военный язык, скупой, выразительный, предельно точный. Для политработника это необходимо более всего. А Кузенко не придает словам цены, и слово, это могучее средство общения и воздействия, теряет в его устах силу. Недавно зашел разговор, Кузенко и говорит: «Хорошо тебе, ты командир, тебя слушают...» Дело вовсе не в должности. Да разве человек это понимает? Туров все ждал, что Кузенко наберется опыта, знаний, поймет свою роль и дело у него пойдет. Но время бежит, а он все тот же. С бойцами работает неохотно, больше за разные поручения берется. Правда, выполняет их с горячностью, вкладывает всю энергию, и за это его избрали в состав партийного бюро полка. А в своей роте лишь гость по утрам и теряет с бойцами связь. Политрук — это душа роты, но что-то у Кузенко этого не получается. Со всеми заботами бойцы и младшие командиры идут к Турову, и ему поневоле приходится вникать в вопросы, которые никак не назовешь командирскими обязанностями.

Но в этом отчасти и его, Турова, вина. На партийном собрании, когда избирали новый состав бюро, промолчал, не высказал тревоживших его мыслей относительно стиля работы Кузенко. Не хотелось портить ему репутацию. Вот разве поговорить об этом с Матвеевым, да найдет ли тот время? Или повременить, авось дела еще уладятся?

Туров шел задумавшись, не замечая ни кремнистой дороги, ни ярко зеленевших по сторонам сосенок. Впереди роща уже поредела, меж стволами проглядывают нивы, лысые холмы за ними —

место тактических учений роты, а Туров все не мог решить, как поступить. Вдруг комиссар сочтет этот разговор несерьезным? Тем более, что нужны факты и факты, а их не так просто собрать. Вывод, к которому пришел Туров, это результат полуралетных наблюдений, столкновений по службе, бесед наедине. Порой по отдельно оброненной фразе, жесту уже можно судить о характере человека. Но как об этом расскажешь? Другое дело, если б в роте были происшествия, но их давно нет, хотя в этом меньше всего заслуги Кузенко.

Разве поговорить сначала с комбатом? Бородин серьезный человек, но едва ли согласится обсуждать состояние воспитательной работы, скажет, надо выносить этот вопрос на партийное собрание или на бюро. Как ни крути, а придется и дальше полагаться больше на себя, тянуть...

Туров поднял голову: почему рота идет молча? Боец должен всегда иметь хорошее настроение. Командир может думать, волноваться, тревожиться, а дело бойца — смотреть на жизнь весело. Жарко, плохое настроение? Что ж, для того и песня, запоешь — и на душе повеселеет. С песней и шагать легче.

— Р-рота, песню! Сумароков, запевай!

— Какую, товарищ лейтенант: «Катюшу» или «Махорочку»?

— Что у вас репертуар такой застоявшийся? В первом батальоне какую-то новую разучили, чтоб завтра же переписали, а пока давай «Катюшу».

«Полтора года не прошли впустую, — продолжал размышлять Туров. — В роте сложился дружный коллектив, многих хоть сейчас выдвигай на младших командиров. Время, армейская жизнь, при которой приходится шагать в ногу со всей страной, шлифуют и подгоняют людей друг к другу. Хотелось бы, чтобы Кузенко был другим, но и с таким не ударим в грязь лицом...»

\* \* \*

Солнечный глаз все пристальнее, прямее смотрит на землю. Жаркий ветер, налетающий со стороны холмов, сушит разгоряченные лица, саднят растрескавшиеся губы, пыль забивает глаза и перехватывает дыхание. Задубелые от пота гимнастерки на бойцах покрываются белыми солевыми разводами. Кованые каблуки ботинок противно скрежещут на мелкой гальке, которую, не жалея, подсыпали на дорогу, когда строили.

Вправо от дороги расстилается, колышется зеленое море пшеницы, влево — холмы. В колеблющемся мареве нагретого воздуха расплываются и теряют очертания кустарники на холме. Оттуда взлетела ракета. Звездочка еле видна — искоркой, а вот

белый пушистый след долго не тает; повиснув в воздухе дугой, он медленно уплывает в сторону.

— «Противник» слева. К бою! — подал команду Туров.

— К бою... Пулеметное отделение, к бою! — закричали младшие командиры.

Строй мгновенно сломался и рассыпался. Маневр не сложный: рота, рассредоточившись, залегла вдоль дороги взводными цепями, заняла боевой порядок, окапывается, вернее, бойцы делают вид, что окапываются, — едва наметив лопатками трассу окопчика, все успокаиваются и лежат. Сегодня уже рыли окопы полного профиля, достаточно намозолили руки. Если надо и сейчас, будет особая команда. Но это едва ли.

Лихачев сегодня за второго помера, поэтому он упал чуть впереди Крутова, торопливо раскрыл коробку и засунул конец пулеметной ленты в приемник. Лента пустая, но это ничего. Главное, сделано, что положено. Крутов дважды двинул рукоятку вперед, два щелчка, и, будь в ленте патроны, пулемет оказался бы заряжен — нажимай гашетку и стреляй. До холма, откуда взлетела ракета, метров триста — Крутов поставил колесико прицепа на «З». Изготовились.

Теперь, пока командиры получают от Турова задачу — «вводную», можно передохнуть. Всем наперед известно, что сейчас предстоит, потому что такие задачи отрабатывались уже десятки раз, и никому из пулеметчиков не интересно, о чем там совещаются командиры.

Лихачев пристроил голову в тень от пулемета и, уткнув нос в пилотку, сладко жмурится: делает вид, что дремлет. Поскольку впереди «противник», ходить нельзя. Чумазый от пыли Сумароков подполз и дернул Лихачева за ногу:

— Слышь, дай закурить!

Жара такая, что лень говорить, а не то что двигаться.

— В правом кармане. Возьми сам.

— Махра?

— А ты думал, папиросы «Наша марка»?!

Сумароков молча свернул сигарку и долго слюнявил ее — склеивал. Чиркнул спичкой, изрек:

— Ну и пекло... А еще Сибирь... Вот еще месяца три — и по домам. Я так сразу в деревню...

— По колхозу стосковался или по жипке? — иронически, одним глазом уставился Лихачев на Сумарокова.

— Хм, колхоз... — Крепко затянувшись, Сумароков сплюнул: — Злая, черт ее заberi. Маленько поболтаюсь в деревне, а там в город подамся. Дураков нет на кого-то горбатиться...

— А ты где «горбатился»? Да, я и забыл, что ты в колхозе не работал, за сельсоветским столом мозоли натирал...

— Не я, так другие, — уклончиво ответил Сумароков. — Что, я не знаю, как трудодни оплачивают...

— Так чего ты за других болеешь? О себе толмачишь, вот и говори, как тебе тяжело было писарить. А то про колхоз, будто он в чем-то тебе виноват. Привыкли, чуть что — колхоз... — Лихачев помолчал, потом спросил: — Пашка, а ты?

— Посмотрю... — уклончиво ответил Крутов.

— Пашке что, он только за ворота — и сразу к теще на блины. Ему лафа, — сказал Сумароков.

— Тебе-то кто мешает так же? Ты же какую-то нашел, похаживаешь, вот и оставайся, если не хочешь к жене возвращаться.

— Разве это баба? В подметки моей законной не годится. Так только, на безрыбье разве...

Сумароков смотрит на жизнь и на людей очень цинично, и его слова всегда режут Крутову слух. Иной раз кажется — так и влепил бы, чтоб не болтал...

Командиры между тем получили задачу и побежали по своим подразделениям. Пылит и сержант Коваль. Сумароков поспешно отполз на свое место — ему, как подносчику патронов, положено находиться чуть сзади пулеметчиков.

Рота «наступала», переходила к «обороне», и пулеметчики не раз обливались потом.

После обеда роту назначили в полковой наряд, и поэтому все спали на два часа больше обычного.

Крутову достался пост у штаба полка. До полуночи хлопали двери, входили и выходили офицеры, связные. Потом беготня прекратилась. Ночь выдалась темная и холодная, с мириадами ярких, зябко помаргивающих звезд.

Крутов ходил мимо освещенных окон. В шинели, а прохватывало. «Когда они уgomонятся?» — поглядывая на писарей и офицеров, недовольно думал он.

Часам к трем ночи почти все разошлось. На крыльце показался и начальник штаба Сергеев. Прислопившись к дверному косяку, он долго стоял и ерошил на себе волосы. Потом подошел Крутова:

— Там чайник с водой... Полей!

Сергеев высок ростом, плечист, можно сказать, что он для любого подразделения правофланговый. У него жидкие светлые волосы, удлиненное лицо и тяжелый подбородок. С таким лицом редко встречаются веселые люди, чаще строгие или унылые. Подполковнику под сорок, до финской войны он служил на Кавказе

и привез оттуда молодую жену-грузинку. Крутов видел ее не однажды. У нее красивое падменное лицо и тонкая, как у осы, гибкая талия. Она непременная участница полковой самодеятельности, пляшет лезгинку с сержантом минометной батареи — грузином. При этом на репетициях всегда очень капризничает, и бедный сержант порой не знает, с какого боку к ней подступиться. Поговаривали, что, пользуясь занятостью мужа, она флиртует. Чем черт не шутит! Симпатии при этих разговорах были всегда на стороне подполковника, а ее осуждали.

Крутов вылил уже полчайника воды, а Сергеев все фыркал, плескался. Накопец вытерся насухо и стал массировать пальцами мешки под глазами. Причесался, охлопал себя по карманам, отыскивая портсигар.

— Дурацкая работа, — проворчал он. — Что ни день, то новое расписание штатов. — И вдруг неожиданно: — Ты что, на художника учился или так, сам по себе?

— Учился, товарищ подполковник, только не окончил.

— Не величай, сам знаю, что подполковник. Видел в клубе твои портреты. Неплохо. Чертить умеешь?

— Немного.

— Это хорошо. А спички есть?

— Не курю.

— Долго проживешь, — так же ворчливо сказал Сергеев. Нащупав спички, прикурил, выдохнул клуб дыма, разогнал его перед лицом. Пора было отдохнуть, но он не уходил, кого-то ждал. На дорожке к штабу показался человек. Крутов вскинул винтовку:

— Стой! Пропуск!

Сергеев нетерпеливо махнул рукой:

— Пропустить! Не видишь так, что ли?

Крутов и сам узнал начальника секретной части полка, но служба обязывает...

— Ну, привяли? — спросил Сергеев.

— Все полетело! Новое расписание штатов. Завтра пришлют...

— Да что они там, с ума походили? — крикнул Сергеев и, хлопнув дверь, ушел в штаб.

...Первое же воскресенье принесло роковую весть. Не зря, видно, что ни день перетряхивали штатные расписания подразделений на случай развертывания их для войны. Вот она и не заставила себя ждать.

Крутов сидел в прохладной ленинской комнате и сражался в шахматы, когда бомбой влетел Сумароков:

— Сидите?! Война... Слышите, черт бы вас побрал?

Все вскочили. Черный белоголовый король полетел с доски и хрупнул под чьим-то каблуком.

— Какая война? Ты что, чокнулся?

— Не верите? Провалиться мне на этом месте! Только что передавали по радио. Германия напала на пас... Опять будут передавать. Скорей...

Все ринулись в клуб, к репродуктору. А там уже кипела, бурлила толпа. Весь полк сбегался, как по тревоге. На сцену вышел Матвеев.

— Товарищи! Враг вероломно напал на нашу Родину, бомбил наши города. Будем надеяться, что Красная Армия, весь наш народ с честью отстоят свои границы, разобьют наглого врага. Командир полка приказал сейчас же всем разойтись по своим подразделениям и никуда ни на шаг не отлучаться...

В эту же ночь полк был поднят по тревоге. Тихо, без песен, батальоны прошли темным спящим городом. Иногда тяжелый шаг срывался на дробь, и тогда раздавался сердитый окрик: «Взять ногу!»

На вокзале стоял эшелон. Набившись в вагоны плечо к плечу, стоя, подразделения выехали на станцию Листвянскую к месту дислокации полка.

«Тороп-люсь! Тороп-люсь! Тороп-люсь!» — ныхтел паровоз, и пряжа золотых искр летела мимо вагонов вместе с паром и душистым запахом сгоревшего угля. Мопотопно постукивали колеса на стыках.

В предрассветных сумерках пролетали силуэты лохматых сосен, казармы путевых обходчиков и полустанки. Разматываясь в бесконечно длинную, до тошноты однообразную ленту, уносились из-под вагонов земля. Крутов пытался хоть за что-нибудь зацепиться взглядом, о чем-нибудь думать — ничего не получалось. В пустой голове, как ослепленная светом летучая мышь, металась переключка колес: «ско-рей, ско-рей!» Куда? Зачем? Ничего не понять. Душа, скованная неожиданной вестью, находилась в оцепенении.

Показалась Листвянная. Над домиками, щедро рассыпая во все стороны золотые стрелы, выглянуло солнце. Взыл паровозный гудок, колеса на стрелках сразу сменили ритм, о чем-то часто и одобрительно заговорили, будто гуси возле корыта, — горячо, да неразборчиво.

Крутов словно очнулся; первой мыслью было: «Иринка, милая, а как же с нами?» Все, что они так старательно возводили, о чем мечтали, — рухнуло, погребая надежду на скорую радость, па счастье.

## Глава восьмая

Поселок походил на муравейник. Будто кто взял палку, сунул ее в муравейник и давай ворошить. Заметались муравьи: одни бегут по малоприметным ходам внутрь кучи, другие тащат наружу белые личинки — будущее потомство, третьи просто мечутся и не могут понять, откуда беда.

Машинами, поездами, подводами в район подваливали мобилизуемые из запаса. Полк, как снежный ком, пущенный с горы, обрастал людьми и в какие-то три дня превратился в громаду, увеличившись втрое против обычного, до нормы, предусмотренной на случай войны.

У каждого призванного за изгородью оставались приехавшие вместе с ним родственники — отцы, матери, жены, дети, и от этого вокруг квартала, в котором располагался гарнизон, стоял неумолчный гул голосов.

Нескладные, стриженные, с растерянными суматошными лицами, в топорщащемся обмундировании метались по двору бойцы из запаса. Новая суровая и опасная доля распахнула перед ними двери, захлопнув все другие, которые вели к прежней жизни. Свидания впопыхах, па бегу от казарм к складам с оружием и снаряжением, уже не приносили облегчения, а только увеличивали страдания.

Кадровые бойцы, у которых все было уже наготове, слонялись в этой сумятице без дела, начальству, командирам было не до них; важно было одно — к проверке явиться в строй.

Первый взрыв отчаяния прошел; раз война, придется воевать. Так думал не только Крутов — многие. Все приходили понемногу в себя, и всё резче, ярче разгоралась ненависть к врагу. Еще никто не видел ни одного гитлеровца в глаза, а в разговорах, едва заходила о них речь, сжимались кулаки, загорались глаза: «Ну, погодите, гады!..»

В этой новой обстановке надо было взять какой-то новый, определенный курс. Должен же быть маяк надежды для человека, брошенного в военную коловерт! «Может, не я, так другие видят его», — размышлял Крутов и жадно прислушивался к разговорам.

Толпы людей, одетых и обутых по единому образцу, силой дисциплины и долга собранные вместе, не были еще сплоченным коллективом. Объединяющим лейтмотивом только и была пока скорбь близкой разлуки. Ведь не только у бойцов из запаса, но и у командиров оставались здесь семьи. Каждый жил своим горем, которое день-деньской стояло на глазах за изгородью, заплаканное. В такой обстановке нет ничего хуже, чем безделье.

Не в силах более безучастно бродить в этой толчее, Крутов пошел к воротам. В проходной стояли караульные из кадровых и, увидев своего, сделали вид, что ничего не замечают. Крутов вышел на улицу и отправился к Иринке.

Она увидела его через окно еще издали и выбежала навстречу. Крутов был поражен ее видом: измученное, опаленное жаром лицо, в глазах вместо немого удивления и восторга — тоска, и темные полукружья бровей не изгибаются больше в капризном ожидании чуда. Два дня неизвестности и страданий неузнаваемо изменили такие дорогие для Крутова черты. Даже тоненькие морщинки раздумья обозначились на лбу, а под глазами заголубели тени, как после болезни.

— Милый, я так боялась, что тебя увезут и мы даже не увидимся, — прошептала она, прильнув к нему, и слезы навернулись у нее на глазах. — Я так боялась...

Крутову стало жаль ее, захотелось стать уверенным, сильным, спокойным, чтобы одним верным ласковым словом избавить ее от беспокойства.

— Чудачка. Разве ж так делают? С бухты-баракты не пошлют на фронт...

— Значит, вас пошлют еще не скоро? — спросила она оживляясь, и надежда просветлила ее лицо.

— Да, еще день-два наверняка пробудем здесь, — ответил он таким тоном, словно день-два были великим сроком.

— Все равно, это так скоро! — вздохнула она.

— Ничего. Не я один еду — все.

Родители Иринки были дома. Отец только что вернулся со смены и отмывал под умывальником черные от мазута руки.

— Ну, едем на фронт?

— Приходится, — сдержанно ответил Крутов.

— Да, война предстоит серьезная. Большими силами ломит, проклятый...

— Будем воевать, Сергей Иванович.

— Пришло, пришло, видно, ваше время испытать чашу... Главное, духом не падать, потому что хуже этого на фронте быть ничего не может. Кажется, совсем конец пришел, а ты держись, веру не теряй, глядишь, и жив остался, и дело от этого выиграло. На войне не столько сила, сколько этот самый дух решает. Вот я на первой германской чего не натерпелся: и в окопах мок, и вшей кормил, и в атаки ходил, а ничего, пронесло. Опять же потом гражданскую всю как есть прошел, какого тоже лиха только не повидал, а победили, потому что крепкую веру в себе на этот счет имели. Слов нет — тяжело, многие назад не вернутся, многих перекалечит, много слез будет пролито, так

ведь другого выхода нет, как только драться, потому что Отечество... — Он произнес это слово раздельно, выделив его из всей своей речи. — Без Отечества человек не может. Мы, старики, свое дело исполнили, отстояли Россию от германца, от всякой другой нечисти, теперь ваш черед. Ваше время — вам жить, вот и смотрите, как лучше, думайте...

Крутов слушал спокойную и умную речь Сергея Ивановича и думал: как же так, он, грамотный, считал себя умнее простого рабочего, у которого вся жизнь прошла за верстаком и тисками, а вот ходил и света не видел за своей любовью, мучился, когда на свете есть дела поважнее. Видно, одной грамотности мало, чтобы взять верный курс.

— Спасибо, Сергей Иванович, за добрый совет! — сказал Крутов растроганно. — Будем и мы свой долг выполнять, чтобы потом никто не корил.

Мать Иринки втихомолку всплакнула и потянула мужа в другую комнату:

— Хватит тебе болтать, старый. У детей есть о чем поговорить окромя войны...

Их оставили на кухне одних. Крутов взял Иринку за руки, и они молча посмотрели друг на друга, словно хотели увидеть такое, что скрыто у каждого в душе за семью замками. Их глаза говорили больше, чем они могли сказать словами.

— Что же мы будем делать? — шепнула наконец Иринка.

— Слышала, что говорил отец, — ждать и надеяться.

— Это будет очень долго, да?

— Не знаю. Наверное...

— Все равно, я буду ждать тебя сколько угодно, хоть всю жизнь...

Он уткнулся лицом в ее мягкие волосы, закрыл глаза. Вот так бы стоять хоть целую вечность, вдыхая родной, щемяще-милый запах волос, только бы не было разлуки, только бы не надо было отвечать на вопрос, на который невозможно ответить ни согласием, ни отрицанием. И то и другое больно...

— Не надо клясть, Иринка. Вернусь — хорошо, нет — поступи, как повелит тебе сердце. У тебя ведь доброе сердце, верно?

— Не знаю... Оно было доброе, а сейчас тут такое... Мне кажется, сейчас я могла бы даже убить человека... Фашиста, — поправила она. — Так я их ненавижу...

Он перебирал ее локоны, любуясь их шелковистостью.

— Ты молчишь. Я неправа?

— Не надо. Мы так много говорим по всякому поводу. — И повторил уже утвердительно: — У тебя доброе сердце. Оно тебя не обманет.

— А мы еще увидимся до твоего отъезда, Павлик?

— Да, завтра еще наш день! — пообещал Крутов. — Целый день...

Кажется, не произошло ничего значительного, а жизнь для Крутова снова обрела смысл. Теперь у него была цель: отстоять свое право на счастье. «Сергей Иванович прав: кто за нас отстоит Родину, если мы сами этого не сделаем!» Одного не хватало — толчка, который ожесточил бы сердце так, чтобы ничего другого на свете не существовало, кроме ненависти к врагу, такой, чтоб не было иного выхода, как только умереть или победить. Этого еще в душе Крутова не было, враг рисовался ему туманно, а для настоящей драки нужен живой, реальный, с определенным лицом. Да и сама война представлялась ему по-книжному красивой, где герои умирают с возвышенными словами на руках друзей. Война безжалостно сдернула с каждого эту словесную шелуху, она заставила людей умирать в грязных окопах, в снегу, за колючей проволокой концлагерей, каждого по-своему, подолгу и мгновенно, наедине и большими массами, с бранью и проклятиями. По-всякому. Но прозрение всегда приходит не сразу, а вместе с опытом, и это тоже хорошо.

Преисполненный решимости сражаться, Крутов бегом возвращался в полк, чтобы не опоздать к вечерней поверке.

Вокруг военного городка горели на улицах костры, провожающие чаевали, гомонили, кто-то напевал грустную песню, видно, подвыпил и разжалобился.

Рота уже строилась, командир и политрук ждали, когда старшина доложит, что можно начинать переключку. Кузенко нетерпеливо поглядывал на часы. У него оставалась дома жена, она ждала его, и он злился на задержку; хотелось хоть эти последние вечер-два провести в семье, а вместо этого он обязан следить, чтобы никто на ночь не оказался в отлучке, иначе придется докладывать как о ЧП, а все это драгоценные минуты, потерянные напрасно.

Крутов быстро занял свое место на правом фланге. Лихачев опять был подвыпивши, осоловело хлопал глазами и покачивался. Крутов подпер его плечом и притиснул к соседу.

— Держись крепче, а то заметят — влетит, — шепнул он. — Где это ты так?

— Гульнули, — улыбаясь, ответил Лихачев. — Костя организовал. Тебя искали, а ты опять к своей смылся, да?

— Зачем вы так, ведь попадет!

— Ну и что, пошлют на фронт, да? Так все равно едем...

После переключки — люди были новые, Туров не успел еще всех запомнить, зачитывал список, каждый раз взглядывая в

лицо отвечавшего, — заговорил Кузенко. От фуражки, низко нагнутой на лоб, лицо было затенено и выглядело суровым и повзрослевшим, словно он враз перешагнул через десяток лет жизни.

— В момент, когда наша часть готовится к выполнению боевого задания, когда командование озабочено тем, как бы лучше подготовиться к отъезду на фронт, кое-кто под шумок начинает забывать о железной воинской дисциплине...

При этом он упорно смотрел в сторону правого фланга, и у Крутова не оставалось сомнения, что политрук имеет в виду его. Ведь он опять провел весь вечер с Иринкой, ушел из расположения не спросив. Может, и Лихачев думал то же самое про себя, потому что хотел возразить, но Крутов толкнул его под бок: молчи, не время...

— Должен со всей ответственностью предупредить, — продолжал Кузенко, — что за пьянство, самовольные отлучки мы будем сурово наказывать, а неявку к поверке расценивать как дезертирство и отдавать под суд военного трибунала. Мы должны выполнить свой священный долг — грудью встать на защиту Родины, как велит нам паша партия, и мы это сделаем. Советский народ не потерпит, чтобы всякие нарушители военной присяги мешали в этой священной борьбе...

Хотя Крутов признавал за собой грех, он испытывал какое-то сложное чувство — и неловкости, словно его публично уличили в чем-то недостойном, и протеста против необоснованного к нему недоверия. Да, он бежал проститься к Иринке, но разве, если всерьез, это такой проступок, что дает основание ставить под сомнение его преданность Родине? Ведь еще день-два — и у всех, кто здесь находится, оборвутся все связи с прошлой жизнью, со всем, что дорого, свято, что держит человека на земле и ведет через всяческие испытания. Надо же это понимать!

Рота, разросшаяся больше чем вдвое против прежнего, стояла не шевелясь, молча.

— Как там на фронте, что слышно? — раздался голос.

— Хороших вестей пока нет, — ответил Туров. — Войска ведут тяжелые оборонительные бои. Думаю, что положение это временное и скоро изменится в нашу пользу. Страна собирает силы для отпора, вот и мы с вами едем на фронт. Я не сомневаюсь, мы выполним свой воинский долг как положено. У нас в роте была крепкая комсомольская организация, а сейчас собирается партийная группа из числа бойцов запаса. Думаю, с такими силами рота выполнит любую боевую задачу. Вы люди взрослые, с опытом, должны понимать серьезность момента и не допускать нарушений дисциплины. Я понимаю, некоторым захочется

отлучиться на час-два, чтобы проститься с семьей, и препятствовать этому не стану, но давайте сначала думать о деле. А дело требует, чтобы мы подготовились к отъезду, ничего не забыли...

Туров говорил еще минут пять. Напряжение, владевшее Крутовым, как-то само собой улетучилось. Турова, едва он подал команду «разойдись!», тотчас окружили бойцы из запаса; у каждого пахнулись неотложные вопросы, и он отвечал, пока труба горниста не сыграла сигнала «ко сну».

\* \* \*

Утром подали на погрузочную площадку первый эшелон, днем — второй. Крутову предстояло ехать третьим — завтра. Вечером он побежал проститься с Иринкой.

Они сразу же пошли за поселок, на Татарскую гору, чтобы никто не помешал их последнему свиданию. По дороге Крутов сорвал несколько голубых колокольчиков и вдел их в петличку Иринкиного платья. Возле камня, с которого всегда смотрели на поселок, они уселись на траве и стали гадать по звездам: встретятся — не встретятся. То одна, то другая срывались с небосклона, и решить, что они предсказывают, было просто невозможно. Лучшее всего не обращать на них внимания.

— Знаешь, сегодня к нам в школу приходили представители, приглашали поступать на работу. Сразу, как окончим десятый.

— Это очень хорошо, — согласился Крутов. — Тебе не так будет скучно.

— Я бы хотела на такую работу, чтобы помогать тебе. Но как? Мы же еще ничего не умеем.

— Ничего, научат. Ты меня будешь ждать?

— Ну конечно! Мы же договорились.

— Скажи: люблю...

— Люблю, люблю...

— Верю. Я тебя тоже очень и очень люблю. На фронте, мы с Лихачевым уже решили, он будет за первого номера, а я с ним в паре снайпером. Чтоб ни один гад не ушел живым.

— Вот ты говоришь, а я даже не представляю... Ведь это же очень страшно: в любой момент тебя могут убить... Жил человек — и нет. Ой, лучше об этом не говорить. Хочешь, я тебе спую?

— Спой.

— Только ты не смотри на меня.

— Не буду.

Иринка впервые пела при нем и очень волновалась: ей хоте-

лось, чтобы он ее похвалил, и в то же время она сама знала, что у нее слабенький голосок, не то что у Орловой или Руслановой. Незадолго перед войной прозвучала с экрана песенка с простыми трогательными словами, будто нарочно сложенная на случай войны: «Я на подвиг тебя провожала...»

В ту минуту Крутов не предполагал, что мотив этой песенки, слова запомнятся на всю жизнь, что даже спустя много времени он не сможет слышать ее без тайных слез, как и в тот момент, когда звучал голос Иринки и звезды расплывались у него перед глазами.

Иринка так волновалась, что когда дошла до слов «пусть тебя сохраняет, от пуль сберегает моя молодая любовь...» — голос ее задрожал, сорвался и, вскрикнув: «За что мы должны так мучиться?» — она разрыдалась.

— Ну чего ты, чудачка, — утешал ее Крутов, хотя у самого сердце готово было разорваться от прихлынувшей боли, нежности, от мысли, что, быть может, никогда не придется ему больше гладить эти щуплые, еще совсем девчоночьи плечики...

\* \* \*

В десять часов утра батальон двинулся на погрузочную площадку. Только увидев громаду колонны, которая текла и текла из ворот, поблескивая острыми жалами штыков, погромыхивая котелками, Крутов впервые осознал, сколь значительна сила, собранная в стенах этого временного военного лагеря. Где-то прогибается, рушится фронт под натиском вражеских войск, а главные силы вот они, еще только поднимаются со своих мест.

Толпа вольного люда, как и в прошлый день, с печалью, волнением, горестными восклицаниями, с присущей такому событию сумятицей провожала войска. Шпалерами стояли на тротуарах женщины, дети, старики, рабочие в спецовках, на полчаса оставившие свою работу. Родственники тех, кто шагал в строю, шли рядом с ротными колоннами, поспешая за размеренным военным шагом.

На платформы эшелона уже были вкачены полевые кухни батальона, орудия противотанкового взвода, тяжелые минометы полковой батареи. Лошади ржали, упрямылись, и их насильно втаскивали по прогибающимся ненадежным мосткам в вагоны. Стрелковые и пулеметные взводы, сняв с плеч оружие и снаряжение, вошли в свои вагоны быстро и без лишнего шума.

Настали минуты расставанья. У кого было с кем прощаться, цыговсыпали из вагонов на платформу.

Первый удар в станционный колокол — первый звонок! На-

ливаются, набухают тяжелыми мужскими слезами глаза бойцов, командиров, оставляющих здесь свои семьи. Пришло время проститься со старой спокойной жизнью. Погляди в милое родное лицо жены, расцелуй детей, может, не придется тебе с ними больше свидеться. Не стыдись, вымоли у них прощение, если сделал им что дурное, прости сам все обиды, уопси в своем сердце только хорошее, ведь его немало было в вашей жизни.

Поклонись родной земле до пояса, может, в последний раз стоишь на ней, не теряй напрасно минут на раздумье — хоть ты и не придерживаешься старых обычаев, но земля-то перед тобой та самая, что была всегда, — русская. Родина-матушка! Время, не спеши, не гони взмысленных коней во всю прыть, дай солдату собраться с мыслями, дай выложить самые заветные слова, о которых думал всю жизнь, да все не решался высказать, чтоб не посмеялись ненароком люди.

«Дзины! Дзины!» — пролетели над гудящей толпой провожаемых и провожающих и замерли вдали медные голоса вторых звонков.

Что ж ты, время на исходе, говори скорее! Смотри, какими умоляющими глазами глядят на тебя родные и бесконечно дорогие тебе лица. Ты, наверное, отвык любоваться ими, а они самые прекрасные, самые преданные тебе, и придет время, будешь лежать в холодном окопе и молить, как счастья, чтобы они увиделись тебе хотя бы во сне.

Молчишь... Понятно, ты волнуешься, горло перехватила спазма, но ты же солдат, не обнаруживай слабости, но и не стыдись проявления святых чувств. Вокруг тебя нет никого, кто поставил бы это тебе в упрек, здесь каждый занят самим собой. Пожми дорогие руки, впейся до крови в раскрытые губы, чтобы на всю жизнь унести с собой вкус соленых слез и горечь прощального поцелуя. Не теряй этого дара, он согдится тебе, когда станет гаснуть в груди ненависть к врагам, толкнувшим тебя на эти страдания.

А ты откуда взялась, разудалая душа, что наперекор взметнувшимся причитаниям резанула по обнаженному сердцу перебором гармошки и рвешь его на части?..

Сумароков, идол! Сгинь с глаз, тебя растопчет толпа, разве ей сейчас до веселья?!

Но вырвался на круг второй отчаянный, — видимо, успел где-то подзаложить, — топнул ногой, швырнул с головы в пыль и семячную лузгу новую пилотку: «Провались, земля и небо, я на кочке просижу!»

С гиканьем и присвистом понеслось по кругу неоплаканное чье-то горюшко, приударило в дощатый настил коваными каб-

луками, заулюлюкало и пошло вприсядку. Знай наших, гляди, как уходит навстречу смертельной опасности русский человек!

Третий звонок! Погребальным звоном отдается он в ушах прожогоающих, и, заглушая его отдаленное звучание, рванул пронзительный паровозный свисток. Отправление.

— По вагонам! — разнеслась многоголосая команда.

Не договорила всех слов, смолкла на полпути гармошка. Грянулса оземь плясун, но дружки подхватили его за руки, за ноги и втащили в вагон.

Плач, стоны, прощальные выкрики. И кто бы мог подумать, что земля может выдержать такую массу горя?

Повиснув на шее у мужей, в голос ударились женщины. Нет, кажется, силы, которая разомкнула бы эту мертвую хватку любящих рук.

Еще раз, вопреки правилу, разнесся паровозный гудок, и, лязгнув, поплыли вагоны. Вскскивают на подножки замешкавшиеся бойцы. Все!

Крутов растерянными, одичалыми от тоски глазами смотрел, как спешит за вагоном, тянет руки его Иринка, родней которой нет сейчас для него человека. Машет ему прощально рукой и не замечает, что вагон все дальше и дальше уплывает от нее.

Остановилась, поняла, что не догнать, сникла растеряннo, совсем еще девчонка, не изведавшая окрыляющей силы любви, но уже познавшая горечь разлуки. Прислонилась к фонарному столбу, обхватила его руками, продолжая нестись за поездом мыслями, глазами. Крутов видел, как она крикнула что-то, да не долетело до него слово, затерялось в стуже колес.

«В путь-дорогу, в путь-до-ро-гу!» — торопливо выговаривали колеса, и вот уже вьется пыль за вагонами да мелькают бегущие назад столбы.

Ко всему попривыкли люди за время войны, но разве забудутся эти первые проводы? Все, чем жили, чему радовались, враз оборвалось, и осталась в сердце пустота, ноющая, болезненная, которую ни залить, ни заполнить, ни убежать от нее. Горько, тоскливо жить, а жить надо, чтобы бороться, выстоять и наперекор всему — жить.

Уже скрылась с глаз станция, а Крутов все стоял у дверного проема, не в силах отвести глаз от той стороны. Из-под верхних нар протянулась жилистая рука Лихачева, потянула его за подол рубахи:

— Пашка, сюда!

— Отстань.

— Иди, дело есть! — И как Крутов ни сопротивлялся, его втащили па нижние нары.

Полумрак. Справа Лихачев, слева Сумароков. Вот он протянул руку в темный угол, достал флягу, кружку:

— Бери, пей!

— Не хочу.

Но крепко держали дружеские руки:

— Кореша мы тебе или нет?.. Пей, дурак, легче станет.

Эх, была не была! Крутов хватил добрую половину солдатской кружки, огопь плеснулся по сердцу, прокатился клубком по всему телу. Ох, черти, едва разведенного спирту подсунули. Задыхаясь, он утерся рукавом, и сразу зазвенело в ушах, словно от оплеухи, и вагон покачнулся, поплыл.

— Первая у тебя? — участливо обняв за плечи, спросил Лихачев. — Про Ирину спрашиваю, про что же еще, — пояснил он, встретив недоуменный взгляд Крутова.

— А-а... первая.

— То-то и гляжу... Самая жестокая, самая трудная любовь — первая. По себе знаю. Я тебе не рассказывал? Нет? Ладно, как-нибудь расскажу... — Он дружески хлопнул его по спине. — Ничего, перемелется...

С дробным стуком плыл вагон навстречу будущему. Какое оно будет? Не все ли равно. Что будет, то и ладно, лишь бы не гадать.

## Глава девятая

Эшелон всюду получал «зеленую улицу». Никогда еще не приходилось Крутову так ездить. Поезд останавливался только на больших станциях для смены бригад. Паровоз гукнет, отцепится, тут же подходит другой, толчок, свисток — и дальше.

Лишь в крупных городах эшелон простаивал минут по двадцать, тогда все, кто ехал, сломя голову бежали кто куда. Одни — чтобы получить на отделение суп, хлеб, консервы, другие — в очередь к водогрейке за кипятком и холодной водой, третьи — за газетами. У всех находилось что-нибудь неотложное.

Скорые поезда, которым раньше все другие уступали дорогу, теперь дымили на вторых путях по безымянным полустанкам, ожидая, пока мимо пронесется с грохотом, свистом, залихватской солдатской песней окутанный пылью простой воинский эшелон.

Песня. Принято считать, что поют когда весело, но теперь орала неспя не поэтому: очень уж смутно было на душе у каждого, вот и старались, надрывали глотки, и вроде бы легче становилось. Все, что только вчера казалось непереносимым, переносилось, незабываемое теряло остроту, и самое главное — жизнь,

казавшаяся совсем пропащей, вроде становилась ничего — терпимой. Ничто не вечно, как огонь: не поддержи — и угаснет.

Июль — лучшая пора. Все зеленело, цвело, перед эшелонами развешивались картины одна лучше другой. Горы сменялись тайгой, тайга — степями, степи — сосновыми лесами. А то вдруг с грохотом влетит поезд на железный мост, и в вагон пахнет речной свежестью. Одно только оставалось неизменным — скорбные лица женщин. Если они работали в поле, то оставляли работу и подолгу смотрели на орущих песни бойцов грустными глазами. Девчата, утратив обычную гордость, подбегали к проносящимся вагонам и бросали в раскрытые теплушки букеты полевых цветов, а потом махали вслед и кричали всегда одно: «Возвращайтесь быстрее!»

Навстречу эшелону уже устремился другой поток — с заводским оборудованием. Начиналось великое переселение промышленных предприятий из западных областей в Сибирь, па Урал. Крутова это не удивляло: политинформаций хотя и не было, но кое-что удавалось перехватить из газет, и все уже знали, что гитлеровцы глубоко вклинились в пределы страны.

Однако война впервые дохнула на Крутова по-настоящему только в Ярославле. Влетев на входные стрелки, они еще горлачили про Катюшу, когда увидели, как перед ними на первом пути мелькают зеленые вагоны какого-то странного пассажирского поезда. Эшелон резко притормозил ход, и тут все увидели за широкими окнами вагонов раненых. В бинтах, с обескровленными желтыми лицами, лежащих, без рук и ног. Из вагонов крепко пахло запахом карболовки.

Крутов почувствовал, как мороз сводит ему кожу, и на сердце заскребло, зануло: «Что же это такое? Что?..» Он еще не понимал, не хотел понимать, что это первый неласковый привет войны, но вокруг уже все, как и он, прикусили языки, и холодное тяжелое молчание повисло в вагоне.

Из окон пассажирского поезда смотрели раненые, уже прошедшие через войну. Люди молодые, ровесники Крутову, они выглядели постаревшими.

— Заверни, браток, — просил раненый, и к нему протягивали сигарку, папиросы.

— Ну, как там?

— Плохо, братцы... — Раненый затягивался, окутывался дымком и скупно, слово за словом, обрисовывал положение на фронте, как он его понимал, как слышался от других. Рассказывали не о победах, а о том, как их били — из пулеметов, автоматов, минометов, как преследовала их авиация, мотоциклисты, танки...

Глаза, уши не закроешь, да и зачем, когда едешь как раз туда, откуда везут этих первых вестников. Каждое слово жадно впитывают, чтобы потом, через полчаса, прокомментировать все увиденное и услышанное.

Против кровавых картин войны нужна такая же закалка, как от простуды, а ее-то и не было.

Потом стали попадаться навстречу поезда с разбитыми орудиями, танками, самолетами, тоже в какой-то мере усиливавшие первые впечатления о войне.

Москва встретила эшелон заклеенными накрест стеклами, светомаскировкой. Эшелон долго гоняли по окружной дороге, и только к утру определилось направление — на Ржев. Значит, под Смоленск, где идут самые жаркие бои.

Однако прогнозы «знатоков» не подтвердились: перед Сычевкой приказали выгружаться.

Ночевали в лесу, неподалеку от станции. Лето стояло сухое и жаркое. После пыльной дороги в прохладном ельнике дышалось легко. Под ботинками мягко прогибалась подстилка из сухой хвои и прошлогодней листвы, от этого шагалось бесшумно, как по ковру, а патруженные ноги — за педелью, пока ехали, засиделись — отдыхали.

Ночь в лесу подкралась незаметно: сначала потемнел лес, а небо оставалось светлым, потом и оно поблекло, посерело, и промеж мохнатых еловых лап и острых вершин засверкали первые звезды.

Постелив на троих одну плащ-палатку, пулеметчики улеглись, тесно прижавшись друг к другу: Лихачев, Сумароков, Крутов. Коробки с лентами в изголовье. Пулемет укрыли от росы палаткой. Крутов не мог спать. После лагерных палаток, вагонных нар обстановка была непривычной, и против воли в голову лезли воспоминания. Память выхватывала без всякой последовательности то давний разговор, то встречу с ранеными, то вдруг картину из детства. Будто он, мальчишкой, сидит с отцом на сенокосе.

...В июле часты грозы и ливни. Вот и сейчас так душно, что лень повернуться. Обливаясь потом, они пьют горячий чай. Отец считает, что в жару это полезней, чем хлестать сырую воду.

— Парит. Не иначе к непогоде, — говорит он и прислушивается к беспокойному посвистыванию бурундука. — Слышишь? Эх насвистывает. К дождю.

У них кончились продукты, отец собирается в поселок — это километров за восемь, а Пашке придется остаться на таборе, чтобы присмотреть.

— Не будешь один бояться? — спрашивает отец.

— Нет, я сразу лягу, и все.

— Ну, смотри. Палатка у нас худая, протекает, так ты всю одежду сверни, накрой чем-нибудь, а то промочит. — Отец раздумывает, идти на ночь глядя или обождать до завтра. Пашке-то еще одиннадцать, не больно велик человек. — Так я, значит, пойду... Может, погромыхает только, или ветер, так ты не бойся, палатку не сорвет...

К вечеру, заслоняя солнце, в небо полезла большая туча, быстро потемнело. Пашка улегся пораньше. Проснулся он от раскатов грома. Ух, как страшно ему стало! Вспышки молний рвали черную темень ночи, отбрасывая на палатку тени деревьев, озаряя все вокруг бледным синеватым светом, после которого темень становилась еще гуще. Пашка насмелился, выглянул было из палатки. В это время раздалось змеиное шипение, небо озарилось от вспышки, и сверху, к самой земле, метнулась ветвистая молния. Ее сухой режущий свет выхватил нависшие лохмы низких клубящихся туч, притихший луг с прижавшимися к земле рядами копен, деревья, стоящие словно бы в растерянности. Оглушительный грохот потряс землю. Пашке стало так жутко, что он, как мышонок, юркнул тут же обратно и зарылся с головой под одеяло.

Вместе с шумом налетел ветер. Чьи-то могучие руки раскачивали, гнули деревья, рвали с кольев палатку, а с небесных круч срывались и прыгали по камням какие-то огромные, гулкие от своей пустоты бочки. Они так четко рисовались в его детском воображении, словно он видел их наяву. Потом хлынул дождь. Пашка вспомнил наказ отца, но вылезать из-под одеяла страшно, и вот впервые долг начал бороться в его детской душе со страхом. Надо! Великo значение этого слова. Не открывая глаз, на ощупь, он сгреб всю одежду под себя, накрылся одеялом, а сверху куском старого брезента и, сжавшись в комочек, затанл дыхание.

Утром, так рано, что солнышко еще не оторвалось от кромки дальнего леса, пришел отец. В поселке эта страшная гроза натворила дел — расщепила сверху донизу с десятков телеграфных столбов, зажгла сарай, убила лошадь, и отец беспокоился, ушел из дому чуть свет. Еще издали он закричал:

— Ну, как ты там, живой, нет?

Пашка откликнулся. Отец просунул голову в палатку, потом влез сам, и Пашка увидел, как радостные смешинки прогоняют из его глаз, с лица тень беспокойства.

— Молодчага, сынок! — Отец погладил его по голове. — Никогда бояться не надо...

Крутов вздохнул: хорошее было время, как жаль, что его не

вернуть, как не вернешь тишины, послегрозовой свежести нового дня. Ничего нельзя вернуть. Ничего!

Тихонько, чтобы не разбудить товарищей, он повернулся на другой бок. Его опасения напрасны.

— Пашка, слышь, как гудят? — шепотом спросил Лихачев. Большой широкогрудый человечиче, не боявшийся ничего на свете, он теперь тоже лежал без сна и тревожно прислушивался, как в темном небе, невидимые, на большой высоте плывут к востоку эскадрильи бомбардировщиков. У них прерывистое басовитое гудение, будто они вот-вот захлебнутся последним глотком бензина. Но с ними ничего не случается, гудение все дальше и дальше...

— Как думаешь, это немецкие?

Крутов ответил не сразу:

— Чего бы наши к себе в тыл летели? Они...

— Значит, Москву бомбить. Вот собаки...

Пошевелился Сумароков, потянулся так, что хрустнули косточки, потом хлопал себя по карманам — у него никогда не оказывается на месте кисета.

— Болтают, за Смоленск нас погонят пехом. Там теперь самая мясорубка.

— Едва ли, — возразил Лихачев. — Нас бы тогда дальше везли, а то пока топать будем, так и войны не увидим.

— Дальше везли... Как бы не так. Слыхал, что раненые говорили: у него за самолетами неба не видать. Не успеешь доехать, как на Луну без пересадки...

— Эти твои раненые треплются больше, — с неожиданной злостью произнес Лихачев. — Другого, может, пришпандорило, когда он без оглядки бежал, вот теперь и врет с три короба, чтобы оправдаться.

— А мне кажется, — сказал Крутов, — раз человек в бою раненый, какое ему еще оправдание? А что страшно, так это факт, каждому доведись — то же скажет...

— Э, Пашка, не говори, люди разные бывают, — возразил Лихачев. — Другого хлебом не корми, а дай потрепаться. Если человек по-настоящему храбрый, он никогда не станет всякие страхи расписывать. Ты вот скажешь, что я тоже треплюсь, а я тебе точно говорю: случится мне встретиться со всякими там мотоциклистами, подпущу поближе и срежу как миленьких. Рука не дрогнет, ни одна сволочь от моей пули не уйдет. Может, кого на шумок они и брали, а меня не возьмут. Если уж придется умирать, так с музыкой.

Неподалеку лежали другие бойцы роты, тоже не спали многие, бубнили о чем-то. Лихачев говорит вполголоса, только-толь-

ко разобрать, если рядом. Разговор идет откровенный, другим слышать совсем ни к чему.

— Ну нет, — горячим злым шепотом возражает Сумароков, — я первым подыхать не согласен. Пусть сначала тот, кто языком хлестать привык, а уж потом я.

Лихачев приподымается па локте, словно для того, чтобы получше его разглядеть.

— Кого ты имеешь в виду, меня или Пашку? — И, не дожидаясь ответа: — Ох и злой же ты, Костя! Тебе дай волю, так ты на каждого кидаться станешь. Как с тобой жинка живет, ну и мучится, верно...

— Не про тебя или Пашку речь.

— Как ты можешь так говорить! — возмутился Крутов. — Выходит, Лихачев будет драться, а ты из-за куста поглядывать, подошла твоя очередь или нет. Так, что ли?

— Врешь, Костя! Не выйдет считаться, — решительным голосом произносит Лихачев. — Будешь драться как положено. И запомни: я с тебя глаз не спущу, а вздумашь в бою финтить — пристрелю, не посмотрю, что друг...

— А что, — кипятится Сумароков, — неправда, что ли? Мало у нас таких, что за нашей спиной отсидаются, а потом еще и «ура» кричать будут?

— Да ну вас к чертям собачьим! — зло ругается Лихачев и, демонстративно отвернувшись, заворачивается с головой в шинель. — С вашими разговорами и до фронта не дойдешь...

Смутные беспокойные мысли долго не давали Крутову заснуть. На кого можно положиться, кому доверять? Полтора года прожил в роте — спал, ел, ходил в строю бок о бок, а что у каждого на душе? У того же Сумарокова? А ведь считаются друзьями. Впрочем, если бы Лихачев не тянул повсюду за собой Костю, дружбы у Крутова с Сумароковым не было бы. Не тот он человек. Неинтересный, грубый. А Крутов не любил грубости в людях, его от нее просто корбило.

«Так что же нас троих связывает? — спросил он сам себя и ответил: — Лихачев». Этот веселый неунывающий парень — вернее, мужчина уже, какой парень в двадцать пять лет?! — держал под своим влиянием Костю. Сильный физически и, главное, справедливый, — он всем по нраву. Именно из-за дружбы с Лихачевым Крутов и притерпелся к Костиному несносному характеру. Страпная у них «троица». Чуть что — Пашка, растолкуй! — а окончательную оценку все-таки дает не он, а Лихачев. Верное у него чутье. Еще когда сказал: «Попомнишь мое слово, если придется нам воевать, так только с немцами...» Вот и пришлось.

«Да, Лихачев верный парень. А Костя? — Крутов иронически

усмехнулся над своими потугами: — Вот и все твои познания. Это тебе не характеристику выдать для вступления в комсомол».

Что говорить о других, когда сам о себе ничего не мог еще сказать, не был уверен — хватит ли духу, выдержки, не спасует ли в трудную минуту? Ведь хотеть — это еще не все, надо уметь, надо набраться опыта, надо вжиться в эту новую и страшную жизнь — войну. Только со временем станет ясно, кто на что способен.

\* \* \*

Утром роту подняли без горниста, командой, чуть свет. В сыром росистом лесу было прохладно, дым от полевых кухонь стлался по-над землей, обволакивая кусты, деревья, растекаясь, как речной туман.

Поднявшееся солнце застало батальон на марше, среди ржаных полей, перелесков; в стороне по пригоркам маячили деревушки и темные рощицы с погостами. К деревенским избам клонились старые ветлы и развалистые березы с пониклыми ветвями.

Шагалось легко, мягкий податливый песочек на проселке, не знавшем автомобилей, приглушал шорох ног и стук повозок. Крутов шурился, поглядывал по сторонам, любясь окрестностями. От ночных мрачных раздумий не осталось и следа.

Природа здешних мест поражала его не столько красотой, сколько налетом какой-то элегической грусти во всем, на что ни взгляни.

Он привык, что на Дальнем Востоке и в Сибири природа дышит буйной силой: сопки — так вздымают голубые зубцы под облака; тайга — так покоряет человека своим размахом, тяжелым безмолвием, пространствами; хлеба — так поля, как море разливанное; реки — рекут на перекатах и у таежных заломов, бьются среди скал, а вырвавшись на равнину, разливаются на километры.

Там любишься природой, как необъезженным скакуном, и если сердце не устало жить, оно трепещет: вот взберусь на эту гору — и передо мной откроется необыкновенный мир; вот сейчас ухвачусь за гриву ветра — и пусть он, выгибая упругую грудь паруса, мчит меня на простой лодчонке по речному раздолью; вот...

Здесь же плакучие седые ветлы клонятся над дорогой, и теплый полуденный ветер ласково перебирает серебристую листву, как клавиши. Так и кажется: только прислушайся — сейчас уловишь грустную песню о быстротечности человеческого счастья.

Лес, поднимающий темные свои зубцы за узкими полосками голубеющего льна и хлебов, на вид строгий и неразгаданный, а войди в него, хоть в самую глухомань, и нет в нем никакой тайны, ничего, кроме блуждающего обманного эха да тоскливого зова кукушки.

Сами поля раздроблены, раскиданы, на них только и остается, что пройти с косой и серпом, а не с комбайном.

Двойственные чувства одолевали Крутова. Как художник, он радовался, улавливая неповторимую прелесть отдельных уголков — какую-нибудь одинокую ветлу, мосточек, изгиб дороги среди ржи. Все это так и просилось на бумагу, на холст, так и создавало настрой души, созвучный с настроением левитановских картин. А как человек — печалился.

— Убого живут, — говорил Лихачев, шагая вслед за повозкой с пулеметами. — Ни свету, ни радио, ни газет... Что они тут зимой делают?

— Умывальники ихние видел? — смеялся Сумароков. — Слышь, смотрю — на крылечке горшочек подвешен. Спрашиваю, для чего? Говорят, умываться. В избу заглянул, а там лавки вдоль стен, стол да кровать — и больше ничего. Чудно...

— Кто как привык, — сказал Лихачев. — Понимать — понимаю, а все равно как-то дико. У нас на Урале такого нет.

— И у нас на Дальнем Востоке нет, — кивнул Крутов. — В самых глухих местах и то как-то по-другому. Мать рассказывала, как раньше по деревням в Белоруссии жили, так вот теперь смотрю — похоже. Мне самому жить в деревне не пришлось...

Он не договорил. Крики «Воздух!», «Самолеты!» заставили их оглянуться. Сбоку, со стороны солнца вынеслись два истребителя. Только когда они с ревом пронеслись над идущей колонной войск, Крутов разглядел на желтых крыльях черные кресты: немцы! Враг! «Ло-жи-и-сь!»

Колонна враз смешалась, бойцы брызнули врассыпную с дороги. Это было столь неожиданно, что никто не мог понять толком, что же происходит. Командиры в нерешительности переглядывались: открывать огонь или нет? Ведь за каждый патрон строго взыскивали. Как действовать в подобных случаях, никто ничего не говорил.

Самолеты пронеслись, сделали разворот. Теперь уж никто не сомневался, что они заметили колонну и возвращаются. Лихачев кинулся к повозке, чтобы снять пулемет.

— Огня не открывать! — запальчиво крикнул Коваль. — Команды такой не было!

— Бомбить будут!..

— Маскируйся!..

- Рассредоточиться надо!..
- Лошадей, лошадей с дороги!..
- Какой идиот там стреляет? Башку сниму!
- Ложись по кювету!..

Самолеты, нацелясь носами на колонну, шли в пике. Откуда-то от хвоста колонны раздалась частая дробь пулеметов. Счетверенная пулеметная установка с машины ПВО открыла огонь.

Пулеметные трассы пушистыми белыми нитями протянулись к снижающимся самолетам. Те отвернули в сторону и вскоре растаяли в синеве неба.

Колонна снова вытянулась вдоль дороги, за клубилась пыль.

После трехдневного марша как-то незаметно полк растекся по разным проселкам, рассредоточился по оврагам и рощицам. Батальоны один от другого — на километры; батареи, штабные подразделения, тылы — порознь.

Война внесла тревожное оживление в жизнь здешних деревень: дорогами проходила пехота, артиллерия, обозы, и людям, сроду не видевшим такого скопления войск, каждый батальон казался невероятной силой. Потом, когда войска остановились, через деревни сновали связные, заготовители, шли и ехали верхами командиры, и это тоже было необычно. Мало того, деревни были заполнены приезжим людом: сотни женщин и девушек, мобилизованных из Ржева и окрестных поселков на оборонительные работы, рыли противотанковые рвы и котлованы под доты и дзоты.

Всю четвертую роту поставили на рытье окопов и строительство заграждений. Каждый понимал, что на этот раз все надо делать всерьез, для боя, и старался без понуканий.

Туров оставался прежним — сдержанным, немногословным, и ничего нового в нем, кроме еще большей озабоченности, не прибавилось. Утром, чуть свет, он поднимался и шел по участку роты, намечал очередность, проверял качество работы. К этому времени подъезжала кухня, все завтракали и расходились по местам. Кузенко появлялся в роте наскоками: ему приходилось ездить в штаб батальона за газетами, отлучаться на заседания партбюро. Однажды он привез из штаба полка (наверное, подъехала лавка военторга) полевые петлицы и знаки различия. Сам он выглядел уже как фронтовик. Смущаясь, он объяснил, что в полку уже все ходят с такими знаками, на этот счет есть приказ, чтобы командный и политический состав не выделялся своим внешним видом среди красноармейцев. Вот и он сменил...

— Перед нами поставлена важная задача, — продолжал он. — Мы должны в кратчайший срок построить укрепленный район, чтобы остановить тут фашистов, когда они сунутся. Наше

направление — кратчайшее к Москве, мы прикрываем столицу Родины. Вы должны учесть это и все работы выполнять в срок и отлично...

— Почему нам не выдают патроны? — спросил Сумароков. — Самолеты налетят, а мы безоружные..

— Командование полка имеет на этот счет указания: огня не открывать, всем маскироваться, чтоб ни один фашистский летчик даже не заподозрил, что укрепленный район занят войсками. На то и организован Резервный фронт.

— Какая тайна, если все ржевские бабы знают, что укрепленный район строим, — не унимался, не хотел понять Сумароков. — Как ни маскируйся, сверху же все видно...

— Это нам понятно, товарищ политрук, — вмешался Лихачев. — Как там переговоры с англичанами?

— Переговоры идут, но какие будут результаты — трудно сказать. Империалистам не по нутру союз с Советской Россией. Вот разве простой народ вынудит английское правительство пойти на союз с нами, тогда будет другое дело. Придет время — нас обо всем поставят в известность, а пока надо полагаться на свои силы, лучше работать...

\* \* \*

Хотя стрелять по самолетам врага категорически запрещалось, чтобы фашисты не подозревали о занятости укреплений войсками, едва ли для них это было тайной. Самолеты то и дело наведывались, пронеслись так низко над землей, что можно было рассмотреть кресты на крыльях и очкастую голову летчика, смотревшего вниз. А ночами самолеты врага летели к Москве. Их низкое прерывистое гудение не стихало до утра. Слухами полнилась земля, и слухи эти говорили, что Москва встречает налетчиков организованной противовоздушной обороной и лишь отдельным самолетам удается прорываться к столице. Вот почему, когда перед утром самолеты возвращались уже не строем, а одиночками, все радовались: всыпали окаянным!

Физическая работа благотворно действовала на Крутова, он освоился с новым положением и даже стал находить, что и в условиях войны жить можно.

Многие из кадровых бойцов роты имели значки ГТО, но когда дело коснулось настоящей работы — строительства блиндажей, то не знали, с чего начать и как подступиться.

Коваль нервничал, орал на всех подряд, заставлял перекапывать бревна заново, все злились, а дело подвигалось туго. То, принявшись за накатник, обнаруживали, что забыли поставить

столбы для дверного проема, то балка оказывалась слаба и начинала прогибаться под тяжестью наката, то вдруг кренились опорные столбы. Приходилось начинать все снова да ладом. Целым отделением здоровых сильных людей первый блиндаж строили три дня, измучились, натрудили руки и плечи, а потом пришел инженер, наблюдавший за строительством укреплений, и приказал разобрать.

— Хоть и под тремя накатами, а первое же попадание снаряда или мины обрушит.

— Нароботали называется, — пробурчал Сумароков и, отбросив лопату, полез в карман за кисетом. — Нет чтобы вовремя научить...

Подошел Туров:

— В чем дело, почему не работаете?

— Приказано ломать, — доложил Коваль. — Инженер был, бракует, говорит, нет запаса прочности.

Туров обвел всех испытующим взглядом, словно стараясь отыскать истинную причину. Задержал глаза на Лихачеве. Тот вскинул голову:

— Опыта нет, товарищ лейтенант. Каждый советует, а толком никто ничего не знает. Сумароков прав: два года нас учили, да, видно, не всегда тому, чему нужно. Не думали, что придется обороняться подолгу да еще строить блиндажи. В крайнем случае — окопчик, провел в нем бой да и дальше, опять наступать. А тут похоже, что и зиму придется в этих блиндажах просидеть...

— Ладно. Отыскивать задним числом виноватых — пустое занятие. Сейчас пришло из стрелкового взвода Грачева, он вам поможет, денек с вами поработает, а уж там сами...

Грачев пришел через полчаса, с вещмешком, с котелком и скаткой, со своим топором.

— Что, земляки, застопорилось дело? — Увидев сержанта Ковалья, он обратился к нему: — Вы будете сержант Коваль? — Когда тот кивнул, он продолжал: — В таком случае, боец Грачев прибыл в ваше отделение для подмоги, согласно приказу командира роты.

Потом, сложив свое снаряжение, Грачев критически осмотрел построенный блиндаж, крикнул:

— Да-а... Не того. Ну, ничего, начнем помалу разбирать.

Сумароков, стараясь держаться с ним рядом, заметил:

— В начальство выбиваешься. Не пройдет и году, глядишь, в военные инженеры определят...

— Шуруй, земляк, шуруй. Работа рук боится, а не языка.

— Я тебя помню, — продолжал между тем Сумароков. — С финской в одном вагоне ехали. Ничуть не изменился.

— А чего? Все время на свежем воздухе, благодать.

— Только борода еще гуще стала. Да взматерел.

— Не борода, а наказание. Никакая бритва не берет. Как бриться, так хоть плачь. После войны приезжай, в свою бригаду, так и быть, определю, будем новые дома ставить.

— Ты что, плотник?

— Помаленьку тюкаюсь... Милое дело — поработаешь, а потом и на новоселье погуляешь.

Лихачев между тем договаривался с Ковалем:

— Ты только не сердись, товарищ сержант... Сделаем так: ты командуешь на работу, с работы, куда нужно, а смотреть за работой буду я. Как ни говори, я больше тебя на производстве побыл, хоть и не блиндажи строил, а все ж... Вот посмотришь, как у нас дело пойдет.

Так, с работой, приходили знания, с мозолями — опыт. Все-му свое время. Постепенно, но верно, пулеметчики осваивали инженерное дело. От постоянной тяжелой работы у Крутова набрякли руки, стали непослушные, и он редко когда брался за рисование.

С каждым днем хорошели окрестности: наливалась соками, клонила веские золотистые колосья высокая рожь, и вскоре по полям выстроились рядами сулоны. Созревающий лен отзывался под ногами тонким металлическим звоном. В жаркой истоме млела земля, и до полуночи нельзя было уснуть — звонкие голоса калининских и ржевских девчат, распевавших у деревенской околицы о милепках, разлуке и несбывшихся надеждах, острой болью бередили сердце.

В такие минуты неотступно стояло перед глазами полное отчаяния лицо Иринки. Трудно было смириться, что теперь их разделяют не только служба, но и тысячи километров. Горькое сознание разлуки комом подступало к горлу, не давало дышать.

Полная луна высвечивала землю, поля, деревенские избы и белые платья девчат, грудившихся и тосковавших возле костров у околицы.

«Иринка, где ты?..»

Крутов крепче запахивал шинель, зажмуривал глаза, чтобы только быстрее заснуть, крепился, делал вид, что не догадывается, куда порой исчезают его друзья...

Как-то днем, когда у противотанкового рва было полно работающих, низко прошелся над обороной самолет с крестами. Летчик, поставив в крутом вираже самолет на крыло, швырнул вниз несколько пачек листовок, белыми хлопьями тут же разлетевшихся в воздухе. Кружась, он еще не успели долететь до земли, когда самолет развернулся, зашел вторично и обстрелял ров из пулемета. Помахав на прощанье рукой, фашист улетел.

— Видал падлу? — выругался Лихачев и выпрыгнул из окопа, в котором было затаились. — Айда, посмотрим, что там за гомон у девок!

Плавню колыхаясь на ветру, прямо па них летела листовка. Сумароков поймал ее па лету, прочитал вслух:

— «Девочки-беляпочки, не роите зря канавочки».

— Еще издеваются, сволочи! — зло сказал Лихачев. — Дураков ищут, авось клюнет...

— «Огпя не открывать. Не обнаруживать себя», — неизвестно кого передразнил Сумароков. — Они, значит, летают, высматривают, по тебе бьют, а ты не смей по ним стрелять. У кого, когда такие законы были? Вот взять и показать эту листовку. А то они бьют, а мы не смей...

— Дай сюда! — вырвал у него листовку из рук Крутов. Изорвав ее па мелкие клочья, он пустил их по ветру. — Не бери ты их в руки, увидит кто — влетит. Вражеская пропаганда, не понимаешь, что ли?..

Все женщины и девушки, копавшие противотанковый ров, сбежались в одно место, сгрудились, обступив непонятно кого. Лихачев, на голову выше толпы женщин, по-мужски сильно надавил плечом, толпа раздалась, и Крутов с Сумароковым, как по коридору, прошли за ним следом.

В середине, в луже крови лежала раненая девчонка, а возле нее суетились, ахали остальные, не зная, как к ней подступить. Раненая дышала хрипло, на губах возникали розовые пузыри.

— Ой, убили, убили... Господи, что делается...

— Кровь останавливать надо...

— Мы только поднялись, когда он снова летит. Она мне: «Ой, тетя Паша, страшно!» Не бойсь, говорю, наверно, опять листовки бросать будет... А он в это время «тыр-тыр-тр-р!» из пулемета. Я не помнила, как свалилась, голову прячу, когда слышу: «Ой, в меня стрелили!..»

— Ирод, видел же, что одне женщины.

— Еще как видел! Мы-то его харю видели: высунул, змей очкастый.

— Да бросьте вы, за помощью посылать надо.

— Нюрка, беги, ищи командира, пусть машину шлют.

Возле раненой хлопотала чернявая девушка в белой косынке — санитарочка. Растерянная, бледная, со страхом глядела она на восковевшее лицо раненой, зажимала бинтом пулевую дырку. Руки ее, все в крови, дрожали, и это ей плохо удавалось.

— Рапена девка? Куда? — деловито спросил Лихачев.

— В грудь...

— Так чего же ты? Перевязывать надо, а не кудахтать.

— Как, если ее не пошевелить...

Со странным спокойствием к виду чужой крови, будто всю жизнь только тем и занимался, что оказывал помощь, Лихачев опустился на колено, потребовал:

— Ножницы есть? Давай!

Санитарка кивнула на раскрытую сумку: там все.

В один момент он вспорол кофточку на груди раненой, разрезал бюстгальтер. Санитарка убрала на время руки с бинтом. Глазам было больно смотреть на белые, как атлас, топорщившиеся кулачки груди с нежными сосками, залитые кровью. Пониже правой хлюпала в черной пулевой дырке и толчками выплескивалась темная струйка, стекая под спину раненой.

Крутов отвел глаза, по Лихачев сурово потребовал:

— В моем кармане пакет. И свои давайте. Живо!

— Сначала надо подушечку, — подала голос санитарка. — Чтобы остановить кровотечение... Не очень сильно идет, окрутить бы...

— Так чего же ты... Давай! — скомандовал Лихачев. — Плотней прижимай, не бойся, большей, чем есть, не будет...

Женщины переговаривались вполголоса:

— Что значит мужчина.

— Мужикам на роду написано воевать.

— Еще неизвестно, кому больше достанется: нам или им.

Лихачев подsunул черную клешнятую руку под спину раненой, легко, без усилий приподнял ее, чтобы ловчее было окрутить бинтом.

— Эх ты, тоже мне — доктор! — укорил он санитарку. — «Не очень сильно идет...» Рана-то сквозная, потому и не идет. Клади бинт снизу, шевелись, не видишь — через другое отверстие кровью исходит. Богу душу отдаст, тебя же обвиноватят...

Санитарка накручивала третий пакет, когда у рва, резко качнувшись, затормозила санитарная машина и из нее выскочили военфельдшер и два бойца с носилками.

Лихачев встал, крепко вытер ладони об голени, окрученные пыльными обмотками, и кивнул:

— Ходу, братва! Тут сейчас без нас обойдутся.

До самого вечера только и было разговору в роте что о налете самолета, о раненой.

— А санитарка, — со смехом вспоминал Сумароков, — от страху аж зубами чакает, слова сказать не может. Нагнал на них самолет дури.

— Девка, что с нее. Пашка и тот растерялся, как только кровь увидел. Слабаки, брат, вы на это дело.

— Это он не от крови, — сказал Сумароков и вздохнул: —

Эх и девка, ослепнуть можно. Как увидел все «добро», аж душа заплась. Тут не только отвернешься — зажмуришься. Я бы на твоём месте не вытерпел, подольше бы за лифчик подержался...

— Дурак ты, — почему-то вдруг покраснел и озлился Лихачев. — Я бы, да я бы... Будто я голой бабы отродясь не видал.

Вечером небо долго не хотело гаснуть, горело жарким закатным пламенем. Казалось, полыхает где-то за дальним лесом пожарище и не закат, а зарево в полнеба кровянит кромки уснувшего облачка, не дает проклюнуться звездам.

Стемнело, когда в роту пришел почтальон — рыжий, неуклюжий, с тяжелой головой на сутулых плечах Векслер. С первого дня службы надел он сумку почтальона и за два года узнал всех — по фамилии, имени, отчеству. «Этот не перепутает, не занесет письмо в другую роту», — говорили про него бойцы.

Сейчас, когда все подразделения полка были рассредоточены, обойти их с тяжелой сумкой не так просто.

Крутов получил весточку от Иринки, первую, как расстался.

«Беспокоюсь, тоскую, не нахожу себе места, — лейтмотивом звучало со всех четырех страниц. — Что делать, как жить дальше?»

Долго и обстоятельно писал он ответ на это письмо. «Устраивайся на работу, набирайся терпения, жди». Его советов, чтобы все выполнить, хватило бы ей по крайней мере лет на десять. Да жаль, не успели они дойти до нее, — она все рассудила по-своему, быстро и без колебаний.

«Павлик, милый, — писала она в следующем письме (Крутов получил его через пять дней после первого). — Не сердись на меня, я не могу сидеть дома, когда ты на фронте. Мою просьбу удовлетворили — посылают учиться на военную радистку. Самое большее через полгода мы будем на фронте с тобой вместе бороться за наше счастье. Не бойся, все будет хорошо. Я разыщу тебя где угодно, ты еще не знаешь, какая я. Целую тебя несчетно раз, мой любимый, мой первый, мой единственный, на веки вечные.

Твоя Иринка.

PS. Когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет дома. Завтра мне приказано явиться в военкомат, и нас отправят в Новосибирск. Куда дальше, пока не знаю. При первой возможности сообщу новый адрес».

Эта новость ошеломила Крутова.

«Иринка, что ты наделала, зачем? — запоздало корил он ее. — Кто тебя гнал на фронт, зачем ты взялась не за свое дело?»

Против воли в глазах стояла недавняя картина: черная пулевая дырка под девичьей грудью с хлюпающей в ней кровью.

«Почему ты не спросила моего совета, прежде чем решаться на такой шаг? Ты же еще не представляешь, что такое война. Кто тебя предостережет, кто оградит от опасности, которая здесь подстерегает каждого? Ведь фронт это совсем не то, что нам раньше казалось...»

Сильнее всего он был огорчен тем, что не в состоянии был что-либо исправить, изменить. Все свершалось не так, как думалось, помимо его воли. Грозные события, как бурлящий поток, подхватывали всех — мужчин и женщин, затопляли землю.

## Глава десятая

Ни кирпичные толстые стены, ни козырьки на окнах, отгородившие заключенных от городской беспокойной жизни, не смогли воспрепятствовать проникновению вестей с воли. Война. Не оставалось в камере человека, которого не взволновало бы это событие. Надежда обрести утраченную волю замаячила перед Сидорчуком. Война с Германией начисто отметала многие из обвинений, по которым он вынужден был давать объяснения, хотя и не признавал себя виновным. Да, он был прав, тысячу раз прав, когда искал ясности в ориентации армии на будущего противника. А кто-то счел это за подрыв авторитета партии, чуть ли не за покушение на существующий строй. Как там ни крути, а выходит, что врагом номер один была и остается Германия, несмотря ни на какие договоры. Пришло время, и Гитлер разорвал договор о ненападении с Советским Союзом с такой же легкостью, как это уже проделывал с другими странами.

Припомнился разговор с Матвеевым. «Нет, дорогой, — запоздало упрекнул его Сидорчук, — не просто фашизм наш заклятый враг, а именно германский. Что-то ты теперь скажешь, товарищ комиссар!»

Он понимал, что сейчас страна переживает ответственный период — наряду с отражением агрессии идет бурное развертывание вооруженных сил. Ведь нападение внезапное. Это обстоятельство и тревожило и вселяло надежду, что голод на командные кадры заставит органы обратиться к пересмотру многих дел.

Теперь Сидорчук ждал суда, который должен был решить его судьбу, но суд все оттягивали, и ему ничего не оставалось, как ждать.

Некоторые советовали ему писать прошение с просьбой отправить его на фронт, где он мог бы искупить свою вину перед советской властью. Но Сидорчук не решался. Не мог он просить об искуплении вины, которой за собой не чувствовал.

«Буду ждать, — твердил он себе. — Должны вспомнить».

И такой день пришел. Загремела отпираемая дверь.

— Сидорчук, выходи!

Он вскочил с нар и торопливо направился было к двери, но «вохровец» остановил его:

— Манатки есть? Забрать все с собой.

Сидорчук оказался на воле. Белые кучевые облака плыли над городом, шелестела листва тополей, раздавались гудки автомобилей и людской говор, и все это в первый миг ошеломило Сидорчука.

Он был свободен. Он стал думать, что ему предпринять. Казалось бы, все ясно: прежде всего в военкомат. Но что-то, будто заноза, мешало ему, не давая сосредоточиться, словно оставалось что-то несвершенное, но крайне необходимое, без чего нельзя ступить дальше. Сидорчук огляделся. На дальней скамейке сидел старик с газетой.

— Как я мог забыть, — сказал Сидорчук, вскакивая. — Россия... Что стало за это время с Россией?..

Старик понял его с первого слова и отдал газету. С ее страниц на Сидорчука властно дохнула война. Названия направлений ошеломили его: как далеко проникли гитлеровцы! И вдруг на него словно бы повеяло свежим ветром: под Ельней наши войска перешли в контрнаступление и успешно продвигаются вперед. Гитлеровцы в панике бегут, бросая технику и вооружение...

«Так, только так и должно быть», — сказал себе Сидорчук и с благодарностью вернул старику газету.

Теперь он знал, с чего начинать: первым делом к военкому города и требовать возвращения в часть. Судьба жены, детей прояснится сама собой, пока он устраивается. Командир полка должен находиться на передовой вместе со своими бойцами. Все, что пережито, что в течение года заслоняло перед ним смысл жизни, надо отбросить, как грязную одежду, чтоб не потерять права открыто смотреть людям в глаза.

\* \* \*

Незаметно пожелтели поля. Побурела зеленая листва на деревьях, кустарники напитались брусничным соком, полыхая издали, как флаги. Изменилось и лицо земли: глубокие рубцы

противотанковых рвов, эскарпов и окопов рассекли его в разных направлениях. Многочисленные доты и дзоты, как могилы древних витязей, выросли на холмах и глядели черными, будто в прищуре, глазами амбразур вслед убегающим изломам проволочных заграждений. Где-то на схемах оборонительных сооружений красные стрелы их взглядов, пересекаясь, создавали непроходимую полосу перекрестного, косоприцельного и кинжального пулеметного и артиллерийского огня.

Дополняя эту стройную систему, созданную, чтобы остановить и обескровить врага, саперные команды полка и дивизии закончили «посадку картошки», надеясь собрать богатый урожай вражьими душами в страдную боевую пору. В ожидании этой поры повсюду стояли таблички с предостерегающими короткими надписями: «Опасно! Мины!»

На дальних холмах, с которых наиболее полно открывались окрестности, как бы венчая узлы оборонительных сооружений, стояли бетонированные наблюдательные и командные пункты. Прикрытые дощатыми крышами и стенами старых риг, где когда-то подсушивали хлеб, они не привлекали внимания, хотя именно отсюда в считанные минуты можно было привести в состояние готовности всю полосу укреплений и дать войскам приказ на бой.

Боевые охранения, предполье, фортификация главных узлов обороны и отсечные позиции Оленинского укрепленного района широкой полосой уходили от железной дороги Ржев — Великие Луки на юг в сторону Вязьмы, где-то дальше смыкаясь с другими укрепленными районами.

За два летних месяца гитлеровским войскам удалось растворить «смоленские ворота», за которыми, это считалось еще со времен Наполеона, путь до самой Москвы открыт. Но гитлеровцы были остановлены сразу за воротами. Гитлер не добился цели — одним натиском взять столицу — и перебросил свои танковые ударные соединения на юг, под Киев, чтоб захватить хлебные и железорудные районы России.

Тем временем дорога на Москву была прикрыта новым щитом: созданный Резервный фронт готов был подкрепить войска, сражавшиеся в первой линии на западном направлении, а в случае необходимости и остановить врага на укреплениях.

Подтверждая слухи о тяжелых поражениях Красной Армии, в газетах все время возникали названия различных направлений. Лишь по ним можно было судить, насколько глубоко проникли враги в пределы страны. Наконец газеты принесли известия о боях под Киевом. Неосознанная тревога накрепко присосалась к бойцам четвертой роты. Собирались ли вместе, чтобы зани-

маться, работать, или находились порознь, а сердце точил червячок: вот-вот что-то произойдет. В полку поубавилось людей: то и дело уходили в другие части отдельные команды, уходили на различные курсы. Недавно изъяли все снайперские винтовки и передали их в части первого эшелона. Крутов жалел свою винтовку и тосковал по ней, как по человеку-другу. Теперь он был с обычной трехлинейкой.

Вражеские самолеты стали часто наведываться в укрепленный район — сбрасывали листовки, а приказа открывать по ним огонь все не давали. Как только они показывались, все прятались в окопы и оттуда паблюдали.

Лихачев снимал пулемет со станка в дзоте и выносил его в траншею. Газин сделал приспособление по примеру тех, что стояли на установках в роте ПВО, и тренировался в наводке. Самолет летел, а рывльце пулемета молчаливо следовало за ним. Лихачев вздыхал: были моменты, когда казалось, что одной очереди достаточно, чтобы намертво приземлить самолет...

— Товарищ командир, разреши! — просил он Газина. — Ей-богу, вот не верующий, а готов перекреститься, сплму. Нет — отдавай под суд, согласен...

— Приказ, — виновато улыбался Газин. — Пока трепируйся. Самолет сбрасывал очередную порцию листовок и улетал.

Чего только не написано в этих листовках: и антиеврейские цитаты, произвольно выхваченные из русской литературы, и карикатуры, и бахвальство победами гитлеровских войск. На обороте каждой листовки — пропуск для перехода на сторону врага с правилами и условиями.

Листовок много — синих, красных, белых, желтых, розовых, зеленых. Их можно найти на полях, в лесу, случается, что ветром занесет в окоп. Время от времени вся рота выходит и очищает свою территорию от этих бумажек. Собирает в кучи, сжигает. Иные, на толстой бумаге, используют па сигарки.

Однажды Крутов набрал пачку самых разнообразных листовок и принес их Турову. Лейтенант только что приехал с какого-то полкового совещания, был хмур и, увидев Крутова, молча принял от него всю пачку и кинул в печку. Когда они сгорели, он палкой размешал пепел.

— Слушай, Крутов, — сказал он, — никогда их больше не подбирай и мне не носи. Понял?

— Но ведь командование должно знать, что в них написано. Я насобирал самых разных...

— Ни одна вражеская листовка не будет написана в нашу пользу, а только против. Это можно зпать и не просматривая их. Сейчас есть указание: чтение листовок рассматривать как изме-

ну. Кому бы то ни было — пятьдесят восьмая статья — десять лет...

— Я понял, товарищ лейтенант.

— Вот и хорошо. Предупреди своих товарищей, особенно Сумарокова. Этими делами сейчас занимается особый отдел, и под горячую руку может пострадать даже тот, кто не имел злого умысла. В случае чего, я просто ничем не смогу помочь. Будь осторожен.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант.

— Сам видишь, армия отступает, обстановка накалена, люди во всем склонны видеть измену, предательство, и любой неосторожный шаг может стать роковым...

Туров был озабочен: на полковом совещании указали, что в его роте больше всего чрезвычайных происшествий. А почему? Забыли про воспитательную работу, мало интересуются моральным состоянием рядовых и сержантов, не поставили крепкого заслона пораженческим слухам. Вот и получилось, что кое-кто стал обзаводиться «пропусками» — вражескими листовками, призывающими к переходу на сторону врага. Следствие, конечно, разберется, у кого какие были и на этот счет намерения, но каждое такое ЧП ослабляет наши ряды...

Матвеев прямо заявил, что там, где нет нашей активной, наступательной пропаганды, там всегда создаются предпосылки для проникновения враждебной нам идеологии.

После совещания Матвеев подозвал к себе Кузенко. О чем у них состоялся разговор, можно было догадываться по расстроенному лицу политрука.

Когда возвращались в роту, Кузенко не выдержал, упрекнул Турова:

— Все твой либерализм. Много с каждым нянчимся, когда надо сразу карать. Теперь вот приходится отдуваться.

— Что, получил взыскание?

— Ставят вопрос на бюро, а ты знаешь, чем это пахнет.

— Правильно делают. Я давно тебе говорил, что так, как ты, с людьми не работают. Ты стал активистом полка и забыл про свою роту. Тут ты отбиваешь только время. Я буду рад, если тебе помогут это уяснить.

— Не радуйся, попадет, так не мне одному, но и тебе. Не забывай, ответственность несем поровну.

— А чему тут радоваться? Сам вижу, что напрасно положился на тебя, передоверил политработу. Думал, займусь самым главным — строительством укреплений, а ты справишься с остальным. Оказалось, ошибся. Теперь эти люди к нам не вернутся, даже если их и не осудят. Выходит, ослабили свою работу.

— Нашел кого жалеть — изменников! — фыркул Кузенко. — Они припрятали листовки, чтобы сдать, а ты готов их защищать.

— Трудно сказать, как они показали бы себя в бою, не прогляди мы их.

Туров искренне считал, что они с Кузенко проглядели, не заинтересовались вовремя настроением бойцов, взятых с листовками. В тяжелую для страны минуту слабовольные люди легко поддаются страху, теряют веру. Возможно, что они просто не хотели воевать. Пусть даже и так. Следовало держать их под наблюдением, дать им почувствовать, что их заставят выполнить долг перед Родиной, и они, хорошо или не очень, выполнили бы его. Общество вместе с правами налагает на человека и обязанности и всегда в силах принудить, чтоб он их выполнил, если он сам не сознает своей ответственности. Можно было прикрепить к ним надежных людей, да мало ли что еще можно было сделать...

Туров был голоден, утомлен с дороги и думал над тем, как лучше разъяснить личному составу роты положение, как предупредить, чтобы подобные происшествия больше не возникали. Во время финской кампании в полку случилось, что боец, узнав об отправке на фронт, запаниковал и рубанул себя по пальцам топором. Рассудил так: лучше быть без пальцев, чем погибнуть в бою. Доказать умышленное членовредительство не составило труда, и бойца расстреляли. А полк был возвращен с марша назад и еще месяц с лишним готовился и попал на фронт, как говорится, к «шапочному разбору». Не поддайся боец страху, наверняка остался бы жив.

Разве невозможна такая ситуация сейчас? Тем более, когда появились такие обнадеживающие вести, когда впервые в истории Красной Армии частям, отличившимся в боях с немецкими захватчиками, присваивают звание гвардейских. Есть все основания смотреть на жизнь оптимистично.

Туров глянул на Крутова, который все еще стоял в блиндаже и ждал его слов.

— Иди, Крутов. Немного попозже мы придем к вам вместе с политруком. Есть важные новости.

— Хорошие, плохие?

— И те и другие. Расскажем.

\* \* \*

Роту, за исключением тех, кто находился в караулах, собрали на политинформацию. Вести были важные: Англия и Аме-

рика стали союзниками в борьбе с Германией. В связи с этим начались переговоры с Советским Союзом. В случае, если контакт наладится, легче будет остановить нашествие гитлеровской Германии.

Другая новость касалась всех более непосредственно: получены сведения, что гитлеровцы готовятся перейти в новое наступление. Надо быть начеку. Надо повысить бдительность, надо приглядеться, кто распускает паникерские слухи, ведет враждебную пропаганду, кто подрывает единство наших рядов...

Кузенко высказался на этот счет очень определенно:

— Мы не потерпим в своих рядах врагов народа, подрывающих нашу сплоченность вокруг славной ленинской партии, нашу веру в окончательный разгром вероломного врага. Советский народ будет беспощадно выкорчевывать всех шептунов, изменников, трусов, которые запасаются вражескими листовками, чтобы в самую трудную минуту предать нас с вами...

На этот раз и Туров, не любивший разговоров, — об этом кадровые бойцы знали — выступил с речью: вопрос слишком серьезный.

— Товарищи! Мы еще не видели боя, а наша рота понесла потери, среди нас оказались люди, замыслившие переход на сторону врага. В свое оправдание могу сказать только одно: это были вялые, безынициативные бойцы, пришедшие к нам из запаса по мобилизации. Если бы мы вовремя присмотрелись к ним, возможно, этого не случилось бы. Давайте, товарищи, будем более внимательны друг к другу. Слабого, того, кто еще не осознал всей ответственности за судьбу Родины, надо поддерживать, тех, кто уклоняется, — заставить выполнять законы нашего государства. Я вам еще раз напомню про наши военные законы...

Туров зачитал Закон, где перечислялись действия, за которые предусматривались наказания как за измену. С этим Законом обычно знакомят всех бойцов одновременно с изучением Присяги, но сейчас, посчитал он, неплохо напомнить о нем еще раз.

— Я верю, товарищи, в нашу победу. Конечно, хорошо, если Англия и Америка поймут, что им необходимо действовать с нами заодно, и станут нашими союзниками. Но я верю не поэтому. Не может наш народ, видя, как Красная Армия, лучшие сыны Отечества бьются с врагом насмерть, сидеть сложа руки. Вам уже известно, что в битве под Ельней, где были разгромлены восемь гитлеровских дивизий, нами было применено новое оружие. Какое оно, что собой представляет, нам пока неизвестно. Мы знаем другое: недалек день, когда оно появится и у нас

с вами. У нас всего будет достаточно, чтоб одолеть врага. За-  
логом служит единство советского народа. Надо только выиг-  
рать время, продержаться. А этого никто за нас с вами не сде-  
лает...

Туров дал команду разойтись. Крутов хотел идти вместе  
с друзьями, но его подозвал Кузенко:

— Мне нужно с тобой поговорить. Пойдем.

В беседе наедине комиссар полка Матвеев сказал Кузенко,  
что он не знает настроения бойцов, не пользуется у них довери-  
ем, и предупредил, что если в ближайшие дни он не выправит  
положения, то встанет вопрос о соответствии должности. Вот Ку-  
зенко и решил в срочном порядке поправить свой авторитет  
и начать разговор с Крутовым. Со времени памятной для обоих  
беседы, когда речь шла о вступлении в партию, он не проявлял  
больше интереса к Крутову, и теперь тот размышлял, зачем  
потребовался политруку, и ждал его слов.

— Ну, когда будем вступать в партию? — спросил Кузенко.

— Еще не решил, товарищ младший политрук, — ответил  
Крутов. — Думаю дожидаться первого боя, чтобы проверить себя,  
и если вступать, так твердо и навсегда.

— Это верно. Бой — проверка всех моральных и физических  
качеств бойца. Он сразу проявит лицо человека. Но у меня к вам  
претензия как к комсомольцу. В мирное время вы хорошо помо-  
гали мне, а сейчас почему-то сторонитесь работы. Не видно  
вашего зоркого комсомольского глаза в роте. Труссы, паникеры  
запасаются вражескими листовками, а вы не помогаете мне  
выявлять их. Почему я должен был узнать о них, когда ими уже  
заинтересовались органы, а не через вас — своего первого помощ-  
ника? Наша задача — до боя вывести на чистую воду всех скры-  
тых врагов. Они не молчат, они ведут пропаганду...

— Может, просто взяли на раскурку. Газет не хватает, а  
военторг к нам не заглядывает...

— Это не оправдание. Вот вы почему-то не храните листо-  
вок, верно?

— Еще не хватало, чтоб я хранил! Я свой долг понимаю. Но  
ведь в роте много малограмотных, им что ни бумажка — один  
черт, лишь бы потоньше да не лощеная...

— Не прикидывайтесь простачком, Крутов. Может быть, вы  
не знаете, что Сумароков подбирает листовки и ведет агитацию  
среди красноармейской массы?

— Неправда! Он подбирал листовки, когда всей ротой очи-  
щали от них территорию, но никаких слухов не распространял  
и враждебных разговоров не вел. Он болтлив, вы это знаете, но  
мы его сразу одергиваем.

— А кому, как не вам с Лихачевым, он читал фашистскую листовку во время последнего налета? Почему вы не доложили мне?

— О чем было докладывать? Немцы сочинили какой-то там стишок, он начал было читать, а мы вырвали у него листовку и порвали ее в клочья. Что мы, не понимаем, что можно, что нельзя?

— Ну хорошо, Крутов. Вам поручение: проработайте еще раз с бойцами речь товарища Сталина и вот этот приказ о присвоении четверым дивизиям звания гвардейских. На этот счет в нашей дивизионной газете есть передовая. — Кузенко достал из сумки несколько газет. — Мы должны учиться у этих дивизий стойкости. Прав был товарищ Сталин, когда говорил, что гитлеровцы еще обожгутся на советском народе. Этот приказ — первая ласточка. Со временем у нас будут десятки таких дивизий, и тогда фашизму придет конец. А пока нам нельзя забывать о бдительности, нельзя проявлять политическое благодушие. Партия учит нас быть беспощадными к врагам...

Возвращаясь, Крутов мучительно отыскивал правильный путь в такой сложной обстановке. Он был согласен — с врагами надо быть беспощадным. Но кто враг? Ему было ясно: кто стреляет в своих — враг, кто в трудную минуту поднимает руки — враг, потому что предает того, кто еще продолжает сражаться, предает Родину. Тут у него сомнений не было. Но враг ли тот же Сумароков, если он поднял листовку?

Размышляя, Крутов вдруг понял, чем так озабочен Туров: он старается предостеречь Сумарокова и других столь же неуравновешенных бойцов от неверного шага, старается сохранить их в роте для будущих боев. Насколько дальновиднее политрука Туров!

Наверное, раздумья, мучавшие Крутова, отразились на его лице, потому что друзья сразу заметили перемену.

— Что случилось, Пашка? Неприятный разговор?

— Не из веселых. Распекал меня, что мы, комсомольцы, прошляпили тех, взятых органами. — Крутов, зная болтливость Сумарокова, не решился всего пересказывать. — Потеряли, говорит, бдительность...

— А черт их знал, что у них листовки.

— Кто-то же знал, донес. Значит, кто-то смотрит, а мы...

— Ха, некому донести, что ли? — сердито зыряка глазами, сказал Сумароков. — Тот же Коваль — первый. Он уже сейчас боится один в кусты отойти, а начнутся бои, так и вовсе. Чтоб кто в спину не закатил.

— Брось ты свои дурацкие домыслы, — не на шутку обозлился Крутов. — Тот, кто вздумает послать пулю в своего, тут же схватит ее от меня. Будь уверен.

— Правильно, — подтвердил Лихачев. — Мало того, что нас враг бьет, так еще начнем сами себя. Гитлеру этого только и надо. Верно Пашка говорит...

\* \* \*

Строители укреплений — жепщины — расходились по домам. Наступали холода, а у них, кроме палаток и легкой одежды, ничего не было, да и работы в основном уже завершены. В газетах сообщили о том, что сдав Киев. Сухо, кратко. Но в народе шелестел тревожный слухок, что сражение под Киевом окончилось крупнейшим поражением, что... От этих слухов знобило хуже, чем от сырости бетонного дота.

В первых числах октября в роту вместе с полковым начальством пришли незнакомые командиры. Черные с красным петлицы говорили о том, что они артиллеристы. Они прошли по окопам, осмотрели каждый дот и дзот. Подполковник Исаков устало, безразлично выслушал рапорт командира роты и махнул рукой: веди, показывай! Все остальное время он ходил сзади, не вмешиваясь, односложно отвечал на вопросы артиллеристов, и те наконец оставили его в покое. Матвеев все время разговаривал с Кузенько, что-то ему втолковывал, потому что политрук то и дело кивал головой — понятно, мол. Приезжих командиров вел за собой начальник штаба Сергеев. Он развертывал схему, объяснял, отвечал на вопросы.

Крутов и Лихачев находились возле своего пулемета. Когда начальство ушло, прибежал запыхавшийся Сумароков, принес новость:

— Слышь, говорят, наш полк отсюда сымать будут.

— Откуда взял? Мы укрепрайон строили, каждую кочку здесь знаем, не то что эти прибывшие. Не может быть.

— Честно! Ездовой, который этих командиров привез, сказал. Чего бы он стал врать. Куда, говорит, вас отсюда — не знаю, а что сменим вас — это точно. Наша часть, говорит, уже сюда топают.

Подошел Газин, подтвердил:

— Это командиры из пулеметно-артиллерийского батальона. Специально для обороны укрепрайонов организован. Рекогносцировку проведут — и сюда.

— А нас по шапке?

— Этого я не знаю, — сказал Газин. — На всякий случай подготовьте все, что надо для выхода. Если скажут, чтоб не копать потом... Ковалея не видели?

— Где-нибудь у стрелков. Там у него земляк объявился, никак не наговорятся.

— Ладно. Как придет, пошлите ко мне.

Было похоже, что слухи подтвердятся: не прошло и дня, как в дотах уже стояли пушки и пулеметы этого батальона. Но и полк остался на месте. Крутов и Лихачев перенесли свой пулемет из дзота в окоп — и только. Теперь они видели перед собой местность не через амбразуру в одном направлении; она вся лежала перед ними, смотри куда хочешь.

И тут неожиданно, среди бела дня, показались вражеские самолеты, причем в большом числе. Оборона притихла, все, как обычно, попрыгали в окопах, никакого шевеления, но самолеты не пролетели мимо. От общего строя отделились шесть пикировщиков «Юнкерс-87» — к этому времени Крутов научился по силуэтам определять марку самолетов — и стали торчком падать на окопы пулеметного взвода. Не стовариваясь, пулеметчики кипулись врассыпную (приказа открывать огонь по самолетам все равно до сих пор не давали). К реву моторов примешался незнакомый парастающий визг, и от самолетов отделились черные точки, а сами самолеты взмыли кверху. Лишь тут, увидя, как точки вырастают в размерах, Крутов догадался, что это бомбы.

Колыхнулась земля, и могучие косматые султаны взрывов рванулись в небо. Не помня себя от страха, Крутов упал и прижался к земле. Визг, вой, оглушительные взрывы. Мелкие комья земли забарабанили вокруг него, облако удушливого дыма проплыло над ним по ветру. Не веря себе, что остался жив, — надо же, выскочили из окопа, чтобы угодить под самые взрывы! — Крутов пошевелил плечами и приподнялся. На него, уставившись безумными глазами, смотрел Сумароков. Лицо бледное, измазано в грязи, губы дергаются. Не отдавая себе отчета, Крутов вдруг расхохотался.

— Ты чего?

— Посмотри, на кого ты похож!

Сумароков дернул плечом, окрысился:

— Балда! Смеешься... Вот угодило бы по башке, мокрого места не осталось бы. Чуть-чуть бы правее — и поминай как звали...

— Братва! — издали крикнул Лихачев. — Опять разворачиваются. Ходу!

Увидев, что самолеты нацеливаются на то же самое место, друзья припустили от них подальше. Юнкеры опять пикировали на бурю горбушку дзота и опять не попали.

А далеко в тылу захлебывались счетверенные пулеметные установки, черной дробью разрывов засыпали небо зенитки. Самолеты, как воронье, кружились над станцией Махеро. Вскоре оттуда донесся грохот бомбежки, и черный гигантский гриб взрывов медленно всплыл над лесом. Вывертывая наизнанку огненное нутро, он поднялся выше круживших вокруг самолетов и потянул за собой от земли темную пуповину дыма.

— Ну, братва, держись, — сказал Лихачев. — Начинается и у нас.

— А мы бегаем, — съязвил Сумароков.

— А что, прикажешь сидеть под бомбами? Пусть разрешат воевать, так будем отбиваться. Чтоб помирать если, так не напрасно, не по-дурачки.

С этого дня самолеты не оставляли укрепрайон в покое. Ночами они летали бомбить Ржев. Над городом не угасало зарево пожаров, висли осветительные ракеты, мерцали вспышки разрывов, и цепочки светлячков — зенитных снарядов — тянулись в темное небо.

Так же неожиданно, как пришел, пулеметно-артиллерийский батальон покинул укрепрайон: его перебрасывали на другой участок. Со стороны фронта колоннами пошла угрюмая пехота. Усталые, небритые бойцы в захлестанных с подпалинами шинелях вслух завидовали спокойной жизни в укрепрайоне и многозначительно обещали: «Подождите...»

Связные, ходившие в штаб полка, застали там тревожную суету сборов. Фронт надвигается, вот-вот противник покажется перед укреплениями. Жестокий, неравный бой идет уже два дня на левом фланге дивизии. Противник стремится прорваться по дороге на Сычевку. Туда, на помощь левофланговому полку, выходят первый и третий батальоны. В обороне пока остается второй батальон, но и то неизвестно, надолго ли.

Пулеметчики, вновь забравшиеся в дзот, поглядывали на опустевшую дорогу через амбразуру и гадали, что делать, если покажется противник. Никакого определенного приказа нет. Их уже не радовало укрытие: от сырости, нависшей над головами тяжести бревен и земли становилось не по себе.

Газин ходил к командиру роты, чтобы разузнать как быть дальше, но вернулся и сказал, что Турова не застал — тот ушел на командный пункт батальона. Надо ждать.

## Глава одиннадцатая

В эти сентябрьские дни одна из действующих армий держала фронт у Андреаполя, среди сырых лесов, болот, холмов, и в ее составе воссали сибирские дивизии. Сюда, за боевым опытом и выехал генерал Горелов с группой старших своих командиров.

Четверть века назад Горелов, в должности командира роты, отбивал немецкие атаки, сживал в окопах под вражеским артиллерийским огнем, поднимал своих солдат в штыки, когда эта мера являлась последней, крайней, чтоб удержать позиции. Место ротного командира всегда впереди, и русское офицерство считало, что иначе и быть не может. Он познал «прелести» окопной жизни, был дважды ранен, а в третий раз контужен и списан с военной службы по состоянию здоровья.

Но не поэтому он вспоминал сейчас прошлое, чтоб посмотреть на себя, на молодого, словно бы со стороны. Его беспокоило другое: фронт проходил тогда много западнее, ближе к границе. Тех немцев он знал неплохо, знал, на что они способны, умел им противостоять, когда они нажимали. А эти, нынешние? Почему этим удалось так быстро захватить Прибалтику, Белоруссию, Украину? Чем они сильнее? Что движет ими вопреки логике, здравому смыслу, который говорит, что простому народу война не сулит ничего, кроме бедствий и уничтожения? Эти рвутся вперед, словно Москва их встретит пирогами. Чем их околдовал Гитлер, этих немецких крестьянских парней и рабочих, что они готовы разбиться за него в лепешку?

Такие вопросы не давали Горелову покоя, и он надеялся найти на них ответы в действующей армии. Ответ был необходим не только ему лично, а всей дивизии, чтоб люди могли тверже смотреть в будущее, чтоб вместе с ним вникали в существо управления боями начальник артиллерии дивизии, оперативник и разведчик, работники политотдела и тыла, каждый в своей сфере.

Хозяева приняли их радушно, — как ни говори, а земляки! — ничего от них не скрывали, ни своих скромных успехов, ни просчетов, без которых пока почти ни один бой не обходился. Провожая, пожелали боевых успехов и гвардейского звания. Первые гвардейские дивизии появились после разгрома гитлеровцев под Ельней, и теперь к этому стремились многие, потому что служба в прославленных войсках сулила и материальные выгоды и более успешное продвижение по службе. Это была большая радость для всех. Правда, Горелов слышал, что там здорово помогли «катюши» — новое секретное оружие. Будто одним залпом накрывали сразу до батальона пехоты и начисто сжигали... Первая проба, и толком пока никто ничего не знает. Но это и не важно.

Главное, что такое оружие есть и держать под спудом его не станут...

Впечатления от поездки цепко держали Горелова в плену. Он ехал в черной «эмке», смотрел на кустарники по обочинам, на кудлатые сосны, а в мыслях стояло другое: как странно устроена жизнь! Человек стремится к новому, а судьба кидает его на прежний след. Воевать-то пришлось в этих же местах, только чуть дальше — за Свенцянами, Даугавой, и может, в числе тех, кто сейчас рвется к Москве, есть его бывшие противники. Кто знает. Только теперь они уже в другом качестве, как и он. И что их кидает на восток всякий раз, как только подрастает новое поколение? Жажда богатства? Едва ли. Тысячи тысяч ничего не получают от этой войны, как и от прошлых. Лишь маленькая группа наживется на прибылях от поставок, достигнет высоких постов и званий, и столько же прогорит, сорвется вниз. Но честолюбие толкает человека вперед, заставляет пренебречь опытом истории: авось мне удастся то, что другим оказалось не по силам! Авось...

Неприятная мысль больно кольнула Горелова: а вдруг немцы одержат на этот раз верх? Такой перевес в силах...

— Нет, не должно. Хоть и много у них спеси, да и сил стало куда против прежнего, но не поставить им русский народ на колени. С нашим народом шутки плохи, и это факт...

Горелов высказал задевшую его мысль, будто подвел итог беспokoйному этому дню, и шофер было скосил на него глаза, не поняв, к кому обращены эти слова, хотел заговорить, но, увидев далекое, отрешенное от повседневности лицо генерала, придержал готовую сорваться с языка фразу. Найдет нужным, сам заговорит, все разъяснит.

В другой, пылившей позadi машине ехали командиры из управления дивизии и тоже, каждый в особицу, размышляли о предстоящих событиях и неотложных делах, которые им надлежало свершить. Полковник Найденков — артиллерист, обхватив пальцами толстый нос, свел к переносью выгоревшие светлые брови и всецело погрузился в записи, начертанные наспех в полевой книжке. Политотделец — старший политрук Сыров, зажатым в углу машины, ехал, прикрыв глаза, словно дремал, а сам был во власти увиденного. А показали ему довольно тягостную картину: свершение приговора над изменником родины перед строем части. Тяжело видеть, когда карают своего советского же человека, смотреть на опущенные его плечи, понурую голову, побелевшее лицо...

Сердце захолонуло, когда прозвучала последняя команда, хотя разумом понимал, что мера такая необходима. Не может

государство щадить отступника в такой момент, когда решается судьба народа, всей страны. Без единства не выжить в смертельной схватке враждующих сил. Какое дело было Петру Первому до судьбы маленького человека — Евгения, когда он Россию поднял на дыбы, чтоб утвердить ее на берегах Балтики, укрепить позиции государства, могущество русское на будущие времена. Глух Медный Всадник и к мольбам и к проклятиям одиночки. Верно подметил Пушкин этот разлад между личностью и государством, если сама личность сторонится великой цели.

Думал Сыров о том, как ему доложить о виденном, слышанном, когда предстанет перед комиссаром и своими товарищами. От него ждут правильных выводов, а не затейливых рассказов.

Машины огибали огромное моховое болото с разбросанными вдали хилыми сосенками, так называемое урочище, когда «эмка» генерала резко затормозила. Горелов вылез и поднял руку:

— Стоп, господа офицеры! — воскликнул он с иронической ухмылкой. — Прехали. А пу-ка, скажите, что видите?

В голубом мареве, струившемся над урочищем, терялись очертания дальнего леса. Где-то уже позади погромыхивала артиллерия, а над болотиной стояла тишь. Командиры, повертевшись, ничего не увидели такого, что могло бы заинтересовать генерала, и молчали. Полковник Найденов — крупный мужчина с широким лицом, на котором выделялись нос да сочные губы, красноречиво пожал плечами. И тогда Горелов громко расхохотался, довольный, тем, что поставил всех в тупик:

— Да куда вы смотрите! Клюква же, клюква под ногами! Журавинка...

Моховые подушки, даже у самой дороги, были щедро усыпаны рубиновыми бусами-ягодами, стоило только нагнуться. И Горелов первым сбежал с дороги и пошел журавлем, утопая во мху по самые голяшки яловых сапог, узкогрудый во френче, голенастый в галифе с лампасами. Наклонаясь, он черпал рукой, расставив пальцы гребешком, и поддевал ягоду-красницу, чтоб одним махом отправить в широко распахнутый рот. Скупиться не приходилось: россыпью лежала зрелая ягода на всем видимом пространстве.

— Эхма, по ягоду, по клюкву, подснежную, крупну, по свежую, холодную, студеную, ядреную! Брали-подбирали, с кочки на кочку переступали, лапки истоптали... — приговаривал он давно слышанное в самом детстве, полузабытое и вдруг всплывшее, заполненный восторгом, охватившим его при виде такой прелесть. И день солнечный, праздничный, и паутинки плывут, и березки вдали по закрякам стоят в желтые рубашонки наря-

женные. Да еще эта ягода, эдакая сладость ароматная, прямо свежит во рту...

И не хочется верить, что рядом идет война, что в это самое время люди гибнут. Может, в том мудрость жизни и заключается, что при любой беде, какие черные тучи ни сгустились бы, всегда остается уголок для жизни, для радости. Потому и не может человек сказать, не может знать, пришел его черед отдать жизнь за Отечество или еще погодить. Выполняй свой долг, а судьба сама распорядится, кому жить, кому нет. Очень светло па душе было у Горелова, и не думал он, что судьба выводила собственный узор, лишь для его пригодный — гореловский, по которому предстояло ему сделать еще один круг — меньший, уже не в четверть века, а в одиннадцать месяцев, и выйти опять па свой след. Только опять в ином качестве: уже заместителем командующего армией, в которой только что гостевал, выйти на такое же болото, морально опустошенным поражением, измученным ранением в руку, месячными скитаниями за лишний фронта, чтоб здесь пасть неопознанным от вражеского осколка. Другие все полягут, заслышав свист, а он не пожелает гнуть спину перед врагом и падет за смерть, выполнив свой долг, — выведя из окружения к своим большую группу воинов.

В небе, где-то вддали совсем, приближался, гудел самолет, гудел прерывисто, будто па последнем дыхании, на остатнем глотке бензина. Горелов поднял голову, поискал его глазами в синеве неба. Бог ты мой, что за настырный народ эти немцы! Даже минуты передышки не дают русскому человеку. Летит, увидел на дороге машины и летит. Кидая из горсти в рот последние ягодки, Горелов следил взглядом за темной черточкой, у которой уже обрисовывались широкие крылья. Это была «рама» — разведывательный самолет с раздвоенным фюзеляжем. Он подолгу, с утра и до вечера, мог кружить над позициями, высматривать, и за этим всегда жди свиста тяжелых снарядов. Самолет-корректировщик, специального назначения. Горелову о нем рассказали, хотя и самому довелось видеть, паведывался такой в укрепрайон...

— По машинам! — скомацдовал Горелов, становясь снова суровым, начисто лишенным веселости, нетерпимым к медлительности, когда намерения вражеского самолета стали ему ясны.

Черная «эмка» генерала первой тропулась с места, за ней и другая машина с командирами. Чуть в стороне вырос сизый куст дыма и поднятого торфа, прогремел взрыв. Самолет вышел из пикирования и начал второй заход, но машины уже мчались по дороге. Минуты радости, отдыха, такие короткие, сменялись заботами войны.

Горелов снова думал, и прошлое странным образом переплеталось с настоящим. Он очень внимательно прислушивался и приглядывался к фронтовым делам в армии, старался понять причины, по которым войска оставляли позиции, хотя натиск противника не всегда был настолько силен, чтоб отступить. Донесения на этот счет оказывались путанными, противоречивыми, и само командование почему-то мирилось с таким положением, не особо доискивалось истины. Спрашивал командиров: почему оставили деревню, рубеж? Отвечали неохотно: бомбежки, давит минометным огнем, никого не осталось вокруг. Не погибать же в одиночестве? «Вся рота погибла, один я остался», — был частый ответ, а на поверку выходило, что где-то в другом месте народ опять собирался, и если кого-то недоставало, так еще вопрос, погибли они или затаились. Значит, просто разбежались, вышли из-под воли командира. Правильно сделали в армии, что предали суду и публичной казни за бегство с поля боя. Пора уяснить всем, что уклонение от выполнения боевой задачи не пройдет безнаказанно. И в первую очередь спрашивать с командиров. Они всему голова. Каков командир, таково и подразделение. Повиновение, а не рассуждение должно лежать в основе воинской службы, особенно в години испытаний таких, как нынешние. Всю мысль свою напруги, всю волю, все силы свои отдай до последнего дыхания, но выполни приказ. Уцелел — хорошо, твое счастье. Только так.

Решал, пересматривал свое отношение к подчиненным командирам Горелов, прикидывал, кто на что способен, оценивал, исходя из того, что видел, понял, побывав в действующей армии.

Машина заглядывала под колеса пыльную дорогу, раскачивалась на ухабах. Гасла позади вечерняя заря, обесцвечивая, затемняя небо на востоке. Проклевывались искорки звезд. Приглушенный надфарниками синий свет от машины ползком пробирался у подножия кустов, обступивших дорогу, не смея взметнуться кверху. Показалась деревня. Глыбами неотесанного угловатого камня смотрелись дома. Жизнь запряталась в глубину, обнаруживаясь изредка красным огоньком костра во дворе, искоркой сигарки, полоской света, блеснувшего из-под приоткрытой двери.

Часовой вышел на дорогу, поднял руку, требуя остановиться. Другой, со стороны вынырнул к машине, заглянул, узнал Горелова, козырнул коротко:

— Проезжайте, товарищ генерал. Эй, поднять шлагбаум!

Вот и Махерово, штаб, родной дом на войне. Пусть не шикарный, а какой подвернулся, но все равно желанный: можно снять пропылившийся френч, разуться, ощутив босой ногой про-

хладу чистого пола, умыться с дороги, отдохнуть. Годы-то не молодые, да и ранения... Желанный дом.

Уже всходя на крыльцо, Горелов ощутил, что проголодался. В армии, где гостили, некогда было чаи распивать, хотелось увидеть побольше, лишь перекусили всухомятку чем пришлось. «Эх, борща бы сейчас, и еще чаю, да покрепче заваренного. Авось Капа приготовила, догадалась», — подумал Горелов, заметив огонек в печи на летней кухне. Отправляясь на войну, он и комиссар взяли из города вольнонаемную повариху — проворную девушку, настрого предупредив ее, чтоб никаких шашней ни с кем, иначе тут же расчет. Конечно, лучше, если б поваром был парень, но мужчины нужны в строю, на производстве.

Горелов сторонился женщин, отгораживаясь от них суровостью, напускной солдатской грубоватостью, еще двадцать лет назад решив, что семейное счастье ему заказано. Его семья, его дети — молодые бойцы, армия. Комиссар оставил в городе жену, сына, и по складу характера — тоже суров, фанатично предан службе, непреклонен.

Ужинали вместе со Шмелевым — комиссаром. Капа накрыла стол и удалилась. У адъютанта тоже нашлись какие-то дела — выскользнул за ней следом.

— Как поездка? — поинтересовался комиссар.

— В целом — полезная, — ответил Горелов. — Действующая армия — только умей видеть, слышать, многое поймешь. Встретил знакомых — дивизии-то сибирские! Желают нам гвардейского звания. Командующий прямо сказал, считал бы для себя за честь принять нашу дивизию в свое хозяйство.

— А сами что? Некого представлять?

— Видимо. Тут такое дело, Дмитрий Иванович. Гвардия — высокая честь. Чтоб представлять, нужно большое дело, а у них мелкие бои, стычки, да и то порой малоуспешные. Недавно деревню отдали, а назад вернуть не смогли. Похвастаться нечем, а спрос велик: сибиряки — лучшие войска Отечества! Еще Драгомиров в прошлую войну сказал. Пока жили без войны, так и не вспоминали, а теперь очень важны эти слова. Звание высокое, оправдывать падо, а трудно. Одна беда у всех — недостает стойкости, спроса настоящего нет. Личной ответственности. — Помолчав, добавил: — Об этом и нам думать надлежит. Приходит пора...

— Мы пока — заслон.

— Это до времени. А там возьмут и пощупают, надежен ли. Направление наше ответственное — московское.

Шмелев не возразил. Сам прекрасно понимал положение. Другое дело, как повесить эту ответственность за судьбу родины

у личного состава. Это целый комплекс мер, одними разговорами по душам не решить...

\* \* \*

Сержант Гриша Житов вышел из землянки. Начинало светать. Еще можно было бы поваляться с часик, но в землянке к утру трудно стало дышать: людей много, вентилируется плохо, только через щелястую неплотно пригнанную дверь, да и ту приходится завешивать палаткой, потому что в последние дни похолодало и к утру даже начало подмораживать. Вот тебе и теплые края — Смоленщина, а мало в чем уступает Сибири, хотя коснись в разговоре, всяк утверждает, что Сибирь сурова, там, мол, морозы...

Гриша живо представил свою деревню в Саянском районе, какие там бывают осенью погожие ядренные денечки, не то что здесь — мрачные, слякотные, с низко плывущими тучами. Правда, в Опецком, где располагался штаб полка, повсюду песок и грязи нет, но от одного вида туч, волочащих сивое брюхо над самыми ельниками, невольно забирается в душу тоска. Может, и не от одного только вида туч, а еще и потому, что уже три года служит как штык, а это не шутка — столько времени быть вдаль от родных мест. Родные места! Как ни крути, а каждому мила родная земля, где вырос, а в других, будь они самыми прекрасными, все чего-то недостает.

В землянке спали не раздеваясь. Хоть и связисты, а если вдруг тревога, так некогда будет вошкаться. Время такое, что жди фашиста с минуты на минуту. Под волглую пропотевшую гимнастерку забирался холодок, и Житов передернул плечами. Зря корежиться от холода он не привык, тут же сделал несколько энергичных взмахов руками, чувствуя, как свежит воздух. Через распахнутую дверь в землянку тоже потянуло свежаком, и на нарах заворочались, закряхтели, потащили на себя пинели. «Что, пробирает? — усмехнулся Житов. — Ни черта, крепче спать будете, славяне...»

Землянка была врыта в землю много глубже, чем сама траншея, и вернее было бы назвать ее блиндажом, потому что лежали на ней три ряда бревен для защиты от мин и снарядов. Однако народ до последнего часу надеется, что дело обойдется миром и даже строения называет охотнее по-мирному, землянкой. Так-то привычней: живут в поле вроде новоселов.

Гриша ухватился за края траншеи, сгруппировался и легко выбросился за бруствер, не ложась, рывком перевернулся и вскочил на ноги. За эти летние месяцы, когда больше пришлось

орудовать лопатой и топором, чем ключом радиостанции, он укреп. А что — воздух свежий, полевой, харч добрый, работа на пользу.

Деревня Опецкое просыпалась. Перебrehивались собаки, над домами и пунями поднимались столбики дыма. Только петухи молчали. Мало их осталось, если у кого и есть, так в избе, на глазах. Иначе приберут. Деревня переполнена людьми, одних женщин и девчат — сотни. Строительницы. За лето земли перевернули — горы: и котлованы под доты и дзоты, и противотанковые рвы — все женскими руками, считай, сделано. Как выйдут на работу, так в глазах пестрит от кофточек да белых платочков. Любят белые платки здешние девчата. Чуть что, губы и нос концом платка прикроет и смеется, одни глаза только и видно.

За деревней темнеют густые леса — ельники и сосняки, до войны стоявшие петронутыми, а сейчас местами прореженные рубками. Война не только для людей бедствие, она и природы не щадит. Вон сколько дотов и дзотов бугрится вокруг и на каждом по пять—семь пакатов бревен, да и на саму клетку внутри уйму леса израсходовано.

Сзади послышался шорох, и Житов обернулся. Потягиваясь и зевая широко и смачно, к нему шел радист Кучмин.

— Что, командир, не спится, поглядываешь, не показалась ли Танька твоя?

Житов и Кучмин уже два года служат в одной роте связи, поэтому между собой на «ты». Когда в строю, на занятиях, тогда другое дело, тогда по уставу. Кучмин ровесник Житову — обоим по двадцать два года, по-хорошему, так уже пылили бы каждый к своему дому...

— Чего бы я ее высматривал, — нахмурил темные брови сержант, — когда подъема у них еще нет, жмутся под одеялками. В пунях не в блиндаже, там сквозит. Только еще костры запылили еду варить.

Житов росту небольшого, но скроен ладно и силенка есть. Он принадлежал к тому типу русских людей, которые с виду неброски, но в деле настырны, неутомимы и основательны. Сила у таких не для показа, прежде их надо чем-то расшевелить, обидеть, что ли. Житов пскоса и недоверчиво глянул на Кучмина и спросил:

— Ну, а если и высматриваю даже, так твое что страдает? — Кучмин расплылся в добродушной ухмылке:

— Сочувствую только, товарищ командир. Сам же говоришь, холод, а они в сарае. Мерзнут, бедные. Так бы сейчас на коровьем реву прижаться к какой, погреть...

Житов не любил распространяться о девчатах. Ну знаком

и ладно, не для показа это. Он отбрил бы Кучмина, чтоб не лез в чужие дела, но у того па белобрысой физиономии такое благодушие и простота, что обижать товарища язык не поворачивался. Не от злого сердца слова. Тем более, что Кучмин не раз видел его с Таней, когда по вечерам женщины и девчата сбивались возле пунь у огня и цели голосисто частушки, а потом разбредались пошущукаться со своими миленками. Порядок что и у бойцов: отбой по часам, не дают разгуливаться.

Кучмин посерьезнел, заправил гимнастерку под ремень, сказал многозначительно:

— Вчера разговор слышал, будто разведка наша из-под Земцов и Белого отходит, потому что попер немец. Не сдержат если, так скоро здесь будет.

— Посмотрим. У нас там не только разведка, еще и боевое охранение. Если что — узнаем.

Узел связи располагался на краю деревни, за огородами, у песчаного карьера. Неподалеку высился наблюдательный пункт командира полка Фишера. Сарай, крытый серой финской стружкой, только для маскировки, а под ним бетонное сооружение с амбразурами, с казематом для связистов и командиров. Дальше, впереди, пулеметные и оружейные доты, как пупыри на поле, тоже замаскированные под скирды соломы, сараи, прикрытые дерном и кустами. От одного сооружения к другому — ходы сообщения полного профиля. Амбразуры смотрят вдоль изломов противотанкового рва, чтоб держать их под огнем. В том месте, где ров пересекает дорогу на Белый, устроен мост.

Глянув туда, связисты увидели, что на Опецкое едут несколько всадников. Лошади бредут устало, сразу видно, что прощля немалый путь, а всадники на ходу дремлют. У одного рука повязана — раненый.

— Вроде не наши, — заметил Кучмин.

— Да. У нас там в Шиздерово пехота, а эти на конях. До беги, узнай, что за люди.

Кучмин понимающе кивнул и припустил всадникам наперерез, чтобы успеть, пока кавалькада не прошла. Остановились, говорят. Вот Кучмин уже пылит назад.

— Так и есть, не наши, — доложил запыхавшийся Кучмин. — Под бомбежкой были, от своих отбились, штаб спрашивали. Я у них про пехоту, которая в действующей армии, а они: теперь, мол, все будем действующие, потому что немец прет с танками, самолетами давит. Держись, сержант, конец нашей тихой жизни!

— Ладно, не для тихой жизни мы здесь два месяца уродо-

вались, укрепления строили. Ты, вот что, узнал и — молчок. Понял? Кому надо, эти кавалеристы сами доложат.

Они вернулись в землянку, но спать больше не хотелось: утро, пора поднимать остальных, заниматься делом.

— Па-а-дъем! — скомандовал Житов и, когда бойцы зашевелились, начали подниматься на пиджних нарах и спускать ноги с верхних, добавил: — Пять минут на размышления и — строиться. Быстро, быстро, товарищи, шевелись!

Он решил до завтрака осмотреть оружие, боеприпасы, имущество, проверить готовность.

\* \* \*

Кавалеристы, отбившиеся от своей части, пришли в штаб полка. Хотя было еще рано, их провели к майору Фишеру. Он и комиссар Миронов жили в одном доме, так у них повелось с того дня, как приехали на фронт, и теперь оба сидели за столом, внимательно слушая кавалериста. Говорил один — более разбитной, остальные сидели на лавке, хмурые, немного подавленные, потому что не знали, как с ними поступят, не сочтут ли за дезертиров. Время военное, а они отбились...

Фишер курил, жмурил глаза от едкого дыма махорки за круглыми стеклами очков, время от времени тыкая цигаркой в пепельницу. Смуглое скуластое лицо хмурилось. Машинально он трогал воротник гимнастерки, словно тот стягивал ему шею. На полевых зеленых петлицах эмблемки стрелковых частей — белая эмалевая мишень и накрест винтовки, и по две «шпалы». Желтые прокуренные пальцы нетерпеливо барабанят по столу. Он принял кавалеристов в надежде, что они сообщат ему что-либо про роту Сидельникова, находившуюся в Шиздерове в боевом охранении, но они миновали эту деревню, проехав южнее, и, может, тем самым потеряв следы своей части.

— Что вам требуется? — спросил он нетерпеливо.

— Нам бы узнать, где наша часть, чтоб доложить, — неуверенно ответил кавалерист.

— Вот что, — сказал Миронов, — нам это неизвестно. Не исключено, что ваша часть пошла северной дорогой на Гусево. Поезжайте на Махерово, там скорее найдете своих. А мы вам можем предложить позавтракать, и — в путь! Я распоряджусь...

Когда кавалеристы вышли, Фишер сказал:

— Надо в третью роту в Шиздерове немедленно послать рацию, чтоб у нас надежно было со связью. Предупредить Сидельникова, пусть держит контакт с разведкой, не то его могут накрыть врасплох. Без боя Шиздерovo не оставлять, надо прощупать

пять силы противника, чтобы мы знали, с кем придется иметь дело. — И без перехода: — Ты им веришь?

— А что, вполне могло быть, — пожал плечами Миронов. — Под бомбежкой коней удержать трудно, ускакали, а потом пщисвищи...

У Миронова есть что-то сходное с Фишером, разве что чуть потоньше фигурой и не такой скуластый. Да еще на груди пет медали «XX лет РККА», а у Фишера есть.

— Ну ладно. Веришь не веришь, разберутся без нас, — промолвил Фишер и крутнул ручку телефона, чтоб вызвать начальника штаба Ермолова и отдать распоряжения. Если кавалеристы не врут, через день-два противник выйдет к укрепленному району. Вот только куда — сюда, на Опецкое или на Ленино? Скорее на Ленино, там железная дорога, прямой путь на Ржев.

\* \* \*

Сержанта Житова вызвали в штаб, когда он только что сел завтракать: дежурный принес термос с кашей, в мешке хлеб и делил его на пайки.

— Оставьте мне, — распорядился Житов и побежал в деревню, догадываясь, что этот вызов связан с появлением кавалеристов.

Хотя вражеские самолеты уже бомбили Опецкое, штаб оставался в деревне, не спешил переходить в сырые блиндажи. Для укрытия имелись щели, и это считали достаточным. Начальник штаба — пожилой майор с нервным лицом, вечно недосыпающий из-за бумаг, не успевал ни завести дружбы с подчиненными, ни поговорить с ними, поэтому слыл сухим и занудливым человеком, хотя просто был исполнительным, и только, и кроме дела не имел ни на что другое времени. Должность его самая хлопотная, она сама по себе формирует характер человека — памятливого на поручения и невнимательного на лица, умеющего лакопично излагать мысль, но скупого на теплое слово. Сводки, схемы, отчеты о строительстве полкового оборонительного участка, вот где Ермолов чувствовал себя как рыба в воде.

Выслушав Житова, он кивнул ему на стул и подвинул бумаги.

— Записывайте позывные, волну, время выхода на связь. Поедете в Шиздерово в распоряжение Сидельникова. На сборы — полчаса. Карту возьмите, но если утратите — снимем голову. Будьте осторожны, возможна встреча с разведкой противника.

— Разрешите выполнять? — вытягиваясь и красивым плавным движением вскидывая руку «под козырек», спросил Житов.

Он гордился своей выправкой, чеканными приемами отдания чести с одновременным прищелкиванием каблуков, освоенными еще в полковой школе, но Ермолова не удивить ничем, он даже не поднял на него глаз.

— Выполняйте! — сухо проговорил он. — Не теряйте времени.

Пока Кучмин с бойцом Войтеховским готовили радиостанцию, собирались сами, а ездовой Дубровко запрягал в двуколку коня, Житов успел проглотить кашу, одним духом выпил остывший чай, хлеб и сахар сунул в полевую сумку и выскочил в соседний блиндаж, чтоб доложить о полученном приказании командиру роты.

Дубровко — боец из приписного состава, нестроевик, уже пожилой, с темным от загара лицом и узловатыми руками, в замызганной, пропотевшей гимнастерке и пилотке с солевыми разводами, лихо подкатил к блиндажу, осадил лошадь.

— Тр-р-р, холера, удержу на тебя нет!

Он ловко спрыгнул с двуколки, на которой ехал стоя, широко расставив кривые ноги, окруженные обмотками до колен. Гнедко повернул голову, скосил на него фиолетовый глаз, ожидая лакомства — кроху сахара, соли или сухарика, которыми Дубровко частенько баловал его, от души жалея безвинную скотину, вынужденную вместе с человеком нести все тяготы войны.

Потрепав Гнедка за коротко стриженную гриву и что-то сунув ему в мягкие губы, Дубровко одернул гимнастерку и спустился в блиндаж. Кучмин и Войтеховский уже стояли с блоками радиостанции, при оружии, в шинелях, касках, с противогазами. Житов вбежал следом за Дубровко, окликнул:

— Ну, готовы?

— Так точно. Разрешите грузиться?

Радио поставили в самый перед кузова, чтоб не так трясло, вещевые мешки кинули на клевер, настеленный в избытке, и радисты вскочили в двуколку. Дубровко обошел вокруг, пробуя, не ослабла ли подпруга, затыпота ли супонь, не попало ли что под седелку. Время осеннее, лошади пасутся, нацепляют репьев, и попади такой «ежик» под хомут или седелку, в два счета выведет лошадь из строя. Мимходом сунул Гнедку что-то, тот зажевал, зашлепал губами.

— Поезжайте, я догоню, — сказал Житов и, придерживая на божу сумку, побежал к пуне, возле которой собирались на работу женщины-строительницы, громко о чем-то гомонившие. Наступали холода, и они ждали, когда их отпустят по домам, волновались.

— Куда это он? — спросил Войтеховский, но ему не ответили.

Небольшого роста, щуплый и худосочный, не привыкший к военной службе и ее тяготам, типичное дитя города, возвращенное на скудных кормах, Войтеховский хотя и служил второй год, все не мог войти в силу, робел, и поездка в Шиздерово, навстречу войне, его не радовала. Утро было хмурое, влажное, и Войтеховский поглубже упрятал голову в воротник шинели. «Лучше бы меня оставили при узле связи. Тут хоть и пошлют на линию, зато блиндажи. А что в Шиздерово. Вдруг — бой?» — думал он уныло, уже и забыв про свой недавний вопрос.

— Не вешай носа. Смотреть бодро! — Кучмин звонко шлепнул его по каске и засмеялся. — Держи командиров автомат, а мы пока с рулевым закурим.

— Ну что, поехали? Ничего не забыли? — обернулся к ним Дубровка и, чмокнув, тронул лошадь вожжой.

Гнедко, крепкий и широкозадый, легко потянул двуколку, чуть выворачивая при этом задние ноги, как это бывает у лошадей с ярко выраженной саблистостью. Армейские лошади не приучены к зеленому корму, им подавай сено, овес, но в нынешнее лето завезти фураж не успевали. Тут под боеприпасы вагонов не хватало, не то что под сено. И еще эти бомбежки станций, где эшелоны разгружались. Фронт хоть и назывался Резервным, но немцы за ним следили. Гнедко всю ночь паясая и теперь забивал табачные запахи навозными.

— Н-но, холера! — беззлобно ругнулся Дубровка и хлестнул лошадь по толстому крупу. — Ночи не хватило ослобониться?..

Кучмин смолил сигарку и поглядывал вслед командиру. Он увидел его скоро: Житов шел рядом с девушкой, обняв ее за плечи. «Любовь, — вздохнул Кучмин. — Не время, ой, не время. Сегодня здесь, завтра — там, а ты ходи и мучайся».

А Житову и в самом деле было очень тяжело. Работницы уже строились в колонну, когда он отозвал Тапю в сторонку.

— На минутку!

Она только глянула на него и сразу все поняла, потому что помимо обычной сумки на нем были еще противогаз, а на поясе, в брезентовом чехле запасной диск автомата, и сам в каске.

— Ты уезжаешь? — спросила она.

— Да. Ненадолго, но все же...

— А куда я теперь?

В голосе ее прозвучала такая растерянность перед новым поворотом судьбы, что он долго не знал, как ей ответить, как самому справиться с прихлынувшей болью: в самом деле — куда?

Он ласково взял в свои руки ее маленькую, но огрубевшую от лопаты руку, почувствовав шершавость кожи и бугорки мозолей па ее ладошке, и преисполненный какого-то неведомого доселе, возвышающего его над всеми делами, какие только приходилось ему выполнять, над всеми заботами, какие его когда-либо заботили, сладостного и оттого острого чувства, которое ему надо было выразить сейчас, и притом особыми, очень значительными словами, повлек ее за собой. Надо было выйти из-под взглядов все понимающих женщин, чтобы никто, даже ветер, прошелестевший побуревшими травами па поле, не мог подслушать слов, предназначавшихся только ей, самой хорошей маленькой женщине, ставшей для него настолько близкой и дорогой, что она заслонила перед ним весь мир.

— Таня, милая, — волнуясь и до боли сжимая ей руку, заговорил он, останавливаясь и заглядывая ей в глаза. — Война. Все может случиться, но ты меня жди. Если вас куда отправят, ты пиши мне или домой. Лучше домой... мама поймет, она у меня добрая. Я ей обо всем расскажу. Ты знаешь, я только сейчас понял, что не могу без тебя. Ты мне веришь? Да? Помнишь, как мы первый раз гуляли на этом поле и в лесу?

— Гриша... — она смотрела на него, губы ее улыбались, хотя по щекам катились слезы и она ничего не могла с ними поделать, потому что счастье и несчастье — все переплелось в какой-то клубок, в котором не имелось ни начала ни конца, и за какую нитку ни потяни, только еще туже затянешь, еще больше. — Ты не забудешь меня? Скажи...

— Никогда! Честное...

— Не надо. Я тебе верю. Ты — хороший. И я тебя буду ждать. Иди!

Он жадно приник губами к ее губам, теплым и потянувшимися навстречу, ласковым, отчего даже в глазах у него все поплыло, и он покачнулся. Прощальный поцелуй. Все значимо в двадцать два года, все будет помниться до последнего часа, потому что это первое на долгом и неизведанном пути. Оторвавшись, оттолкнув ее от себя, чтоб она не видела его лица, он круто повернулся и побежал к мостику, за которым его ждала повозка.

Оглянувшись на миг, он увидел фигуру Тани в черном жакетике с голубой косынкой на голове. Она смотрела ему вслед и махала. Гриша тоже поднял руку — прощай! Сердце защемило от тоски, от какого-то неясного недоброго предчувствия.

Звевел под ногами невытеревленный лен на чьей-то полоске, бурый и перезревший, местами уже полегший к земле. Гулко, как пустая бочка, пророкотал мостик. Житов, суровея лицом, сердитым рывком перекинулся в повозку через ее борт.

— Поехали!

Дубровка взмахнул вожжой: «Н-но, родной!» — и Гпедко, поехивая селезенкой, затрусил по дороге неторопливой, но размашистой рысью. Покачивался кузов двуколки, позванивали каски, когда при толчках карабины касались металла, потому что держать оружие приходилось между колен.

Войтеховский совсем опустил голову, молчал. Кучмин, чтоб разрядить обстановку, начал у него допытываться, куда он побегит, если вдруг встретятся немцы, — вперед или назад? Скажи! И Войтеховский, чтоб только отвязаться, нехотя ответил, не особо задумавшись над смыслом:

— Куда. Известно, назад. У немцев мне делать нечего.

— Вот, видали такого! Назад. А воевать за тебя дядя станет? Нет, брат, шалишь, бегать тебе не дадим, стрелять будешь.

Дубровка засмеялся: ну парень, с таким не заскучаешь!

Часа через два, слева от дороги, за Общей показалась деревня. За нее шел бой, доносилась глухая пулеметная стрельба, рвались мины. Горел какой-то дом, и черная пуповина дыма тянулась к низким облакам.

Житов, ехавший в глубокой задумчивости и безучастности, словно бы пробудился. Только в голове еще продолжал назойливо звучать мотив песни: «И колокольчик, дар Валдая, звенел уныло под дугой!» Валдай. Средне-русская возвышенность, про которую не раз спрашивали на уроках географии и заставляли отыскивать ее на карте, всхолмленная, лесистая, с частой сеткой голубых речных жилок, текущих в разные стороны, — к Волге и Днепру, нынче сбрасывала тихую осеннюю грустинку, гремела выстрелами, пылала огнями многих пожаров.

— Ишь, молотят, — сказал Кучмин. — Интересно, наши это или...

— Наши, — ответил Житов. — Там боевое охранение от второго батальона, кажется. Смотреть надо в оба, могут и на этой стороне оказаться немцы.

Третью роту связисты встретили не доезжая Шиздерово.

\* \* \*

Поднимаясь на очередной пригорок, за которым неподалеку уже находилось Шиздерово, с могучими, еще наполеоновских времен поникшими березами и раkitами вдоль дороги, связисты увидели свою пехоту. Группами по несколько человек, стрелки осваивали новый рубеж. Это были уже вырытые заранее окопы, перекрывавшие дорогу. На брустверах стояли два «максима», нацеленные на деревню.

Житов оставил повозку, а сам пошел отыскивать командира, чтоб расспросить, где отыскать роту Сидельникова. В высокоом лейтенанте он сразу узнал командира третьей роты. Не раз он видел его на плацу и в гарнизонном клубе. Правда, глубокая каска затеняла лицо лейтенанта, но по искрометному насмешливому взгляду, которым он окидывал собеседников, Житов ни с кем другим его не спутал бы. Шинель, перетянутая широким ремнем с португеей, ладно облегла атлетическую фигуру Сидельникова.

— Разрешите обратиться? — козырнув, Житов дождался утвердительного кивка лейтенанта и только после этого доложил: — Прибыл в ваше распоряжение с походной радиостанцией...

— Хорошо, — ответил Сидельников. — Здравствуй, сержант. Давай сюда рацию и устраивайся в окопе. Тут такое дело: ночью нас из деревни вышибли, но мы думаем вечером поправить положение. Твоя рация как раз ко времени...

Через несколько минут радисты связались со штабом полка. Разговаривал с Сидельниковым Фишер, и командир роты багровел при этом лицом и шеей. Житов понял, что командир полка недоволен и приказывает вернуть деревню. Это было ясно даже по односторонним ответам лейтенанта.

В конце дня в небе то и дело проплывали косяки немецких бомбардировщиков. Бойцы замирали в окопах и кустарниках, чтоб не привлечь внимания. По громоханию, сотрясавшему землю, по черно-сизым дымам, поднявшимся в небо в разных местах, Житов понял, что на этот раз объектами налета стали не отдаленные города и станции, а боевые порядки дивизии, может быть и Опецкое в том числе. Самолеты возвращались на малой высоте, без прикрытия, и на темных фюзеляжах и крыльях можно было рассмотреть зловещие кресты. Житов невольно думал, что им — связистам повезло: в Опецком небось жарко было. Вот только Дубровка не попал бы под налет. Как раз мог успеть ненароком. Неужели не догадался укрыться, переждать?..

Начало темнеть, когда роту построили и Сидельников объявил приказ. Повзводно рота начала выдвижение к деревне, чтобы потом развернуться в цепи. Радисты шли за командиром по дороге. Следом, на руках, артиллеристы катили батальонную пушку с тонким стволом. Слышно было их тяжелое дыхание, разговор вполголоса, когда возникла заминка.

Стрелки, развернувшись в цепи, шли уже огородами, когда вспыхнула и прочертила огнистую дугу белая ракета, выхватив на момент из темноты ветлы, сарай и глубокие провалы ночи между строениями. Донеслись крики, хлопнули выстрелы. Житов

почувствовал, как все в нем напряглось, сжалось в тугий комок. Казалось, что вот сейчас хлестнет по незащищенному телу вжикающая бичом пуля. Куда легче было бы броском кинуться вперед, чтоб быстрее оказаться на том, другом берегу, откуда летят пули, чем идти не отрываясь от командира, не покидая своего боевого места.

Его обогнали бойцы, катившие пулемет. Они дышали запанно, потому что тащили его согнувшись, почти переламываясь в пояс, чтоб не черпать дулом пулемета землю.

— По сараям — огонь! — крикнул Сидельников. — Давай...

Гулкая ссекающая все на пути огнистая струя металла ударила по строениям, откуда взлетела ракета, заглушила голос Сидельникова и другие звуки. В наступившей оглушительной тишине не сразу возникло «ура», долетевшее издали, оно крепло, подхватываемое многими. Но до схватки, до рукопашного боя не дошло: гитлеровцы, сутки назад захватившие деревню, чтоб обезопасить колонны главных сил, двигавшиеся за рекой Общей на Дудкино и Сычевку, бежали за речку. Уже оттуда они обстреляли деревню из минометов.

Жители, с тревогой следившие за гитлеровцами, при первых разрывах мин кинулись из деревни в лес. Занявшийся огнем сарай никто не тушил, и пламя, разрастаясь с каждой минутой, с треском вырывало огненные клоки из кровли и кидало их в небо, озаренное багровым светом. Ревели коровы, истошно, захлебываясь, лаяли псы, детский голос пронзительно верещал: «Мама! Ма-а-моч-ка...» — и было странно, что никто не спешит на помощь ребенку в этой суматохе.

Все было ново для Житова и радистов, необычно, их подавляла пугающая тревожность ночи, объятай всполохами, они не могли сразу освободиться от первого соприкосновения с дыханием смерти, пронесшейся рядом, и чувствовали себя не лучше, как если бы внезапно свалились в яму и еще не знали, живы или нет. Смерть пронеслась рядом, и ее можно было сравнить с электрическим разрядом: треск, искры и даже неясный запах дыма. И от запоздалой мысли, что жизнь могла оборваться, как нитка, подсеченная взмахом ножа, сердце никак не могло смириться и колотилось.

Вслед за Сидельниковым радисты вошли в избу. Кто-то полыхнул голубым лучом фонарика по бревенчатым стенам, обмахнул печку с черным челом и задержал пятно света на столе. Чиркнула спичка, и трепетный огонек свечи осветил передний угол.

— Развертывайте радию, — приказал Сидельников, пропуская радистов с их ящиками к столу. Увидев, как у Войтехов-

ского ходуном ходят руки и он не может попасть вилкой в розетку, чтоб подсоединить питание к рации, засмеялся весело и победно: — Что, радист, руки пляшут? А у настоящего бойца должны плясать ноги... От радости, что жив остался.

На этот раз Сидельников говорил с командиром полка весело, с бравадой, гордясь собою. Чувствовалось, что в нем тоже оставил след этот вечер, он уверился в силах, и теперь это уже другой человек. Фишер приказал в Шиздерово не задерживаться, отходить на Опецкое. Видимо, боялся, что роту могут отрезать: выйдут на ее дорогу, и тогда пропала рота. Опасения были реальные, потому что в этот вечер противник появился перед левофланговым батальоном.

\* \* \*

Обратная дорога в Опецкое казалась долгой и утомительной, потому что шли пешком, и только трое раненых ехали на ротной повозке, предназначенной для перевозки станковых пулеметов. Житов перебирал в памяти перипетии вчерашнего боя: что ж, радисты действовали как положено — не отставали от командира, без промедления дали связь с полком. Переживания? Так они у всех, у каждого свои. Коснись, так он и свой солдатский долг выполнил бы, дрался с врагом, по до этого не дошло.

Кучмин с рацией за плечами шел позади и хотя гнулся под ее тяжестью, подтрунивал над Войтеховским. Запыленное его лицо с белесыми бровями было беззаботно, словно и не участвовал в своем первом бою. Что за этим — легковесность или настоящая отвага, Житов не мог решить определенно. Во всяком случае он сам не мог вот так быстро отрешиться от пережитого. Может, просто разные характеры. Думал, искал ответа, но при этом ощущал, что в душе растет теплое чувство к Кучмину. Надежный он...

Солнце ярко освещало деревню Опецкую, стоявшую на холме. На первый взгляд, все здесь оставалось прежним. Как и раньше, тихо стояли опустевшие, покинутые многими жителями избы. Все было как и сутки назад, но чем ближе, тем более заметно, что огороды словно бы исклеваны и покрыты круглыми плешинами. Житов догадался, что это следы бомб: как их кидали сериями, так они и легли, вытянувшись цепочками и разбрызгивая по сторонам землю. И тотчас заметил, что некоторые дома стоят словно бы привалившись боком к опоре, как это делают усталые люди.

Сердце забилось неровно: как-то там его Таня, избоялась, поди, бедная? Хоть бы догадалась вскочить в какой блиндаж

или окоп, все не так страшно, как па чистом поле. Он представил, как она обрадуется его возвращению, и лицо озарилось счастливой улыбкой. Разве думал, когда познакомился, что простая девчонка может принести такое ощущение полноты жизни и счастья, о котором даже и мечтать не смел. Ведь знакомился и раньше с девчатами, когда служил в Красноярске, были и умные среди них, с образованием, а вот ни одна пе затронула души столь глубоко, чтоб звенела струной, чтоб день казался годом без встречи.

И надо же было, чтоб именно она вышла ему навстречу из пуни, когда он, впервые появившись в Опецком, подошел к бревенчатому сараю посмотреть, пельзя ли там разместить ротных лошадей. Оказалось, что пуня занята под жилые строительными укреплениями.

— И много вас тут? — спросил он первое, что пришло на ум.

— Десяносто шесть человек, — отвечала она, лукаво поглядывая на него и смеясь в душе над его смущением.

В самом деле, земля вдоль стен была застлана соломой, и поверх лежали впритык один к одному матрасы, а в изголовьях узелки со скарбом, чемоданчики. Ему было неловко, и он не знал, о чем еще вести разговор. Спросил:

— А как вас зовут?

— Тапя Колесникова, — мило улыбаясь отвечала она, все так же не сводя с него глаз, отчего у него начали пламенеть уши. Выручил его Кучмин, прибежавший в эту минуту:

— Товарищ сержант, вас срочно к командиру!

Житов кивнул девушке и пошел, услышав вслед:

— Приходите к нам вечером, обязательно!

Так просто состоялось знакомство, имевшее отнюдь не малые для него последствия. Они встречались в свободные вечерние часы, уходили по тропинке в поле и даже в лес, слушать зачарованную тишину бора и робкий лепет умащивавшихся на ночь птах. Пряно пахло прелой листвой, хвоей, цветами и травами, а когда начала созревать земляника, ароматом ягод. В поле тоже бывало хорошо, когда голубые озера льна начинали напитываться сиреневыми красками зари. Шли смотреть, как ласковый ветер гонит по ржаному полю золотые волны, как перебирает лепестки ракии, узкие и длинные, белые и зеленые; как в дымку опускается усталое багряное солнце, и на том месте, где оно утонет за стеной зубчатого леса, еще долго горит зоревое небо с малым облачком. Много приятных картин мог бы вспомнить Житов, если б вздумал перебрать те скудные часы, а порой даже минуты их свиданий. Особенно разгуливать было некогда: связисты тоже работали от зари до зари на строительстве, валили лес, возили

его, вязали в клетки блиндажей, маскировали. Но в молодости любая работа не помеха для свиданий. Мало кто мог утерпеть и не сходить, не послушать, как поют у костров песенницы, какие частушки выдают экспромтом.

Ходил не ведал, что так крепко заполонит его душу девчонка, росточком едва ему по плечо. Все думал: кончится работа, уедет и забудется все. Мало ли еще девчат на свете? Вон Костя Кучмин со всеми перезнакомился, всем он милый человек, где ни появится, там и смех, там и веселье. Без девчат не скучал, с ними — тоже, а уедут, и глазом не поведет. Мог бы и Житов также, да случилось, что накатило и понесло их, бросило в горячие объятия. За одно такое мгновение, будь даже за плечами смерть с косой, не колеблясь расплатился бы всей жизнью, только бы изведать глубину счастья, которое отведено самой природой и слаще которого нет. Порой самые тяжкие мучения принимает на себя человек за такие мгновения и несет свой крест безропотно, согреваемый лишь воспоминаниями. Они — озаряют душу живительным светом, они — дают силы одолевая все преграды, не раз думал Житов.

Было, было у Житова такое счастье, когда петь и обнимать всех хотелось, когда не ходилось — леталось ему, такая окрыленность владела им, и работа горела в руках, и добром, желанием творить его переполнялась душа. Спроси, не смог бы он объяснить причины такого состояния, не приписал бы этого любви — такому простому, избитому слову, которое лепят к месту и не к месту. У него — другое! Особенное!

Шагал Житов и думал: «Приду и скажу, поезжай к моим, жди меня, вернусь — поженимся. Никому не уступлю тебя, никому не отдам», — и улыбка играла на губах, когда представлял, как обрадуется Таня. Ведь любая девчонка ждет этих слов от полюбившегося парня, потому что это венец всякого хорошего знакомства парня с девушкой.

Возле блиндажей и дзотов воронка на воронке, крепко бомбили Опецкое проклятые гитлеровцы. Всю землю перепахали вокруг, а все-таки не смогли порушить сооружений.

Приказав своим идти в землянку, бегом подался Житов к знакомой пуне, надеясь застать там Таню. По улице разбитой деревни торопливо уходили колонны строителей, покидавших полосу, которая вот-вот могла стать фронтовой. Часы, а не дни отделяли ее от этого момента. С узлами и заплечными мешками уходили из родных мест последние жители Опецкого, оставляя жилье на попечение военных. Может, Таня еще не ушла?..

Распахнуты настежь двери пуни, людей не видно, а постели и одежда валяются. Заскочил Житов в пуню, а там полстены

сзади вывернуто, стропила и кровля обрушены, все перемешано с землей, соломой, расщепленным деревом. И спросить некого. Хорошо, что бомба попала в пустой сарай...

Глянул в угол, где самый завал, а там убитые, в гари и крошеве, с посинелыми руками и лицами. И лежат какая где, как застигла смерть. Жутко стало Житову, страх сковал его от головы до пят и волосы напряжились под пилоткой до боли. Но он пересилил себя, свою скованность, заставил подойти ближе. И вдруг заметил под завалью конец голубого Таниного платка. Потянул его, а он не поддается. Житов все понял и припился высвобождать засыпанную.

Показалась рука, знакомая, ласковая, с маленькой ладошкой, но уже посинелая, а потом и голова Тани, повязанная ее любимой косынкой. Лежала она впиз лицом, бездыханная, и когда перевернул ее Житов на спину, открытые ее глаза смотрели куда-то мимо, холодно и строго, а губы печально и страдающе искривились, словно силилась сказать что-то или спросить, и не могла. Может: «Что же ты не уберег меня, Гриша?»

Оборвалось сердце у сержанта Житова и покатилося куда-то, и невырвавшийся горестный вопль замер на губах, потому что вся кровь отхлынула от лица и стало оно блее стены беленой. Дар бесценный был в его руках, а он не уберег. Не оградил свое счастье от поганого гитлеровца, который пхвирял свои бомбы в беззащитных женщин, потому что с малой высоты даже слепой мог бы узреть белые одежды на людях, а не зеленые гимнастерки. Не пощадил, подлый, убил.

Сердце, которого не чувствовал Житов, постепенно возвращалось на свое место, но с такой острой, прямо-таки непереносимой болью, что он застонал, закрутил головой, рванул на себе воротник, потому что тот не давал ему вздохнуть полной грудью, сдавил, будто обручем.

«Таня, милая! Как же я теперь?» — закричала его душа, потому что и в самом деле он теперь не мог представить себе жизни. Зачем жить, для кого? Молчала Таня, и не было ему ответа.

Скоро придут люди, чтоб предать земле погибших, он знал, что вот-вот кто-нибудь появится, а он не хотел, чтоб чужие руки прикасались к его первой женщине, которая принадлежала только ему. Подхватив на руки уже застывшее неподатливое тело Тани, Житов вынес ее из пуня, увидел неподалеку яблоньку, пригнувшуюся к изгороди, и направился туда. Положил Таню и вернулся к пуне за лопатой — их много стояло возле дверей, прислоненных к бревенчатой стене. И начал копать могилу. Земля была податлива, а он приучен к лопате и знал, как с нею управ-

ляться. За несколько минут неглубокая, как окоп для стрельбы с колена, яма была готова. Он снова пошел в пуню, отыскал там чью-то простыню, завернул в нее Таню, и так, в простыпе, опустил на дно ямы.

«Вот и все», — горестно подумал он и осторожно высыпал первую горсть песка, потом вторую, третью, только после этого снова берясь за лопату. Когда холмик образовался, Житов вывернул на меже камень — их много было повсюду, этих следов древней морены — и перенес на могилку. Прижав к сырой земле, разделившей его навеки с Таней, поцеловал землю.

— Прости...

Послышался шорох чьих-то шагов, и Житов, обернувшись, увидел Кучмина. Тот шел, как по горячим углям, едва наступая на носки, и глаза его круглились, выражая смятение.

— Она? — шепотом спросил он.

Житов кивнул. Косте не надо было ничего объяснять, да и не мог он сейчас говорить, слова застревали из-за рвавшихся и комом подступавших к горлу рыдалий. Тиская пальцы и каждая жилочкой, он совладал с рыданиями и только со слезами ничего поделать не мог, они текли по щекам сами, обильные и соленые, их вкус он чувствовал, кусая губы.

Костя — балагур, ничего не принимавший всерьез, крепко взял его под локоть и повлек за собой.

— Я тебя ищу, командир, а ты вона где. Нам опять куда-то переходить, будто на левый фланг, в Дудкино... Не горюй, друг мой, перемелется. Не переживай — война, и нас могут убить не сегодня-завтра. Мы же с тобой солдаты.

Он еще что-то говорил своему другу, своему сержанту, да Житов не воспринимал его слов, потому что падали они на захлопнувшуюся, окаменевшую от горя душу, где зрели иные семена, которым надо было не сочувствие, а совсем другое, совсем другое.

## Глава двенадцатая

Левый фланг полка Фишера одновременно являлся и флангом дивизии. Здесь долговременная оборонительная полоса заканчивалась. Противотанковый ров, закругляясь, охватывал деревни Аксенино и Рождество. За ними, левее, лежали топкие болота и леса, жмурые елово-березовые, тоже заболоченные. По низинам и ключам заросли темной ольхи, раkitника. В этих болотах зарождалась вторая по величине река древней Руси — Днепр. Там, где-то в трех-четыре-х километрах, находилась в обороне

ополченская дивизия, — Иванов об этом знал, но бывать у соседей не приходилось и контакта, связи с ними у него не имелось. Работа по возведению укреплений заполняла все его время, от рассвета до отбоя, не оставляя и минуты на другие дела, порой и необходимые, но не настолько, чтоб ради них упускать из-под контроля строительство.

Когда полк выезжал на фронт, капитан Иванов находился в Куйбышеве, в отпуске, и к эшелону присоединился в пути. Всеми сборами ведал старший лейтенант Зыряно — начальник штаба батальона и правая рука Иванова. Он и рассказал, как их провожали в Красноярске. Из лагеря батальон выходил на посадку часов в двенадцать дня. Возле символических лагерных ворот у дороги расположился городской духовой оркестр. Марши Чернецкого, скорбно-торжественные, прямо-таки хватали за душу, и Зыряно чувствовал озноб в теле. Он прощался тут со своими — пришла мать, пришла жена с малышами, сестра. Провожали сразу двоих — его, Афанасия Зыряно и брата Никандра, состоявшего в батальоне в должности старшины пулеметной роты. Мать лила горькие слезы, потому что не надеялась больше увидеть своих сынов, не потому что их обязательно там убьют, а скорее из-за того, что сама не рассчитывала пережить войну. Плакала и жена, и сами мужчины едва удерживались от слез, потому что музыка прямо-таки говорила едва не словами то самое, что у каждого на душе в такую минуту.

Вблизи дороги шпалерами стояли жители города, многие плакали, но воплей не было. Люди понимали необходимость защиты Отечества, за неделю понаслушались безрадостных сводок, настолько тяжелых, что трудно было поверить. Коли пришла беда всенародная, то никто их не уберезет от германцев, если не они сами, не мужья и не дети — взрослые сыновья.

Зыряно говорил, что прощание подзатянулось, он все не мог оторваться от своих, а батальон уходил живым коридором в сторону города, под яр, мимо Караульной сопочки с часовенкой, мимо церкви с обширным кладбищем, где многим суждено было окончить свой фронтной путь, проделав обратную дорогу с запада на восток в санитарном вагоне. Он держал в поводу горячую кобылку по кличке Мелодия, она тянула его, нервничала, и когда он наконец распрощался, перецеловал своих и вскочил в седло, попесла его галопом, почти неуправляемая, потому что он не видел дороги — слезы туманили ему глаза. Обо всем этом рассказал Зыряно своему командиру и другу Иванову, когда мчал их эшелон к Москве, и обоим все еще не верилось, что война всерьез, и всеми своими помыслами они устремлялись назад, к оставленной мирной жизни.

Капитан Ивапов — мужчина зрелый, тридцать пять лет за плечами, кадровый военный, в армии уже тринадцатый год. Прошел все ступени от рядового до среднего командира. Война ему не в повинку, участвовал в боях на Хасане и Халхин-Голе, имел благодарности от командования, был замечен. После второй кампании и был назначен на батальон.

Работу с молодыми бойцами он любил: была у него с детства педагогическая жилка. Сам он учился в основном в армии, а в детстве только четыре класса и окончил. Больше не мог, надо было помогать отцу — простому мукомолу — поднимать меньших сестер и братьев. Вот и приходилось, как взрослому, следить за учением младших, ходить на школьные собрания, проверять тетрадки. Сначала подражал учителям, напускал на себя строгости, солидности, а потом это превратилось у него в черту характера.

Капитан Иванов нынче очень озабочен. Сначала разведка, а потом и собственное боевое охранение встретилось с немецкими мотоциклистами. Пошел немец на Москву. Накопил сил и прет. Вчера, позавчера пробомбил оборону, а сегодня, того и гляди, появится перед окопами. Вот и всматривался Иванов в лесок, за которым находилась деревня Королево, не появятся ли оттуда ретивые мотоциклисты.

Более двух месяцев зарывались в землю, окапывались. Выдержит ли все это натиск врага? Не за доты и дзоты беспокоился, а за людей, которые будут находиться у амбразур. Не сомлеет ли у пулеметчиков душа, когда навалятся гитлеровцы с бомбежкой, артиллерийским обстрелом, автоматной трескотней? Хоть и готовил своих кадровых бойцов два года, хоть и знал многих в лицо и по фамилии, а сказать твердо за каждого не мог: только бой покажет, кто на что способен. Испытание из испытаний.

За себя не тревожился, проверил свою выдержку и на Хасане и в Монголии. Когда выбивали японцев с Заозерной, шел с винтовкой впереди взвода, под пулями. Ничего, пронесло, не ранен, не убит. С гордостью подхватывал песню о геройском комбате Бочкареве, сложенную после боев:

Эх, атакой ураганной  
опрокинули мы врага,  
солнце раннее над Хасаном  
утром пало на берега...

Еще когда шел учиться на лейтенанта, твердо знал, что и в мирные дни командиру живется нелегко, а пришла лихая пора — будь готов сложить голову за Отечество. В этом, только в этом

и гордость, и романтика военной службы, в готовности защищать родную землю от врагов до последнего своего дыхания. Не готов к этому — уйди, значит, не в этом твое призвание, не по плечу тебе военное дело. И не важно, хорошо или плохо умеешь говорить, метко ли стреляешь. Командир — кто врагу не даст себя морально сломить, кто может бойцов в бой вести, пусть даже кажется, что и па верную гибель. Вперед. Не сгибаясь, не кланяясь пулям. И чувствуя в себе решимость биться за Родину, умереть за нее, был Иванов нетерпим к расхлябанности, к возражениям, когда дело требовало действий, а не разговоров. Даже вспылить мог, если делали что не так, потому что, проверив себя, считал, что имеет моральное право другим приказывать и учить их, требовать исполнения воинского долга.

Наблюдательный пункт Иванова — крепкое убежище со смотровыми щелями, позволявшими видеть перед собой всхолмленную местность с росчистями — поваленным лесом, там где он примыкал к противотанковому рву, чтоб могли стрелки встретить врага прицельным огнем за двести метров перед окопами. Вставал перед взором приближенный шестикратным биноклем темный лес, хмурое небо, острые пики елочных макушек. За лесом проглядывались серые крыши деревни Королево. Дымки белесые из труб хорошо различимы.

Связист, сидевший ниже у аппарата, позвал:

— Товарищ капитан, вас...

Иванов принял у него трубку. Говорил Зыряно:

— Я тут у Хромова. Мы наблюдаем...

Командир первой роты лейтенант Хромов оборонял участок Дудкино—Аксенино, его окопы находились перед этими деревнями, перекрывая дорогу из Королево на Тишино, очень важную потому, что она шла дальше на Сычевку, и гитлеровцы скорее всего полезут именно здесь, на участке этого лейтенанта, полезут не из-за какого-то Дудкино, а потому, что это прямой путь к железной дороге Ржев — Вязьма.

В батальоне большая часть командиров была из молодых, лишь два года назад окончивших пехотные училища Сибири: Хромов, Карнаухов, Студенко, Сидельников — ребята грамотные, но еще не побывавшие в деле. Хромов был не по возрасту медлителен, как это свойственно многим физически сильным людям, которые знают свою силу и поэтому не мельтешат, не суетятся. Тем не менее он ничего из сказанного не забывал и дела на полдороге не оставлял, оно как бы само собой вертелось, крутилось, а делалось. Такой горячку пороть не станет, да и политрук у него — Синицын, под стать ему — полный, выдержанный, невозмутимый и со всеми и всегда вежливый. Это их спокойствие

порой прямо-таки бесило Иванова: тут надо быстро, счет на минуты, а они не спешат.

Карнаухов — тот другой, тот горяч, порох. Но у него политрук Голубев — умница, попридержит, если что...

Снова позвали к телефону. На этот раз Зырянко сообщил, что они из окопов слышат в Королево выстрелы, рев скотины, гоготанье гусей и крики, вопли. Предполагают, что гитлеровцы вошли в деревню и начали охоту на живность...

Короткий осенний день клонился к исходу. Только и выдался вчера погожий денек, а сегодня опять хмарь, и сумерки ложатся рано. Можно идти на командный пункт. Если что из окопов услышат, увидят, так доложат. Иванов вышел из подземелья, вздохнул поглубже, расправил широкую грудь. Вольно пехоте в поле, не то что танкистам в их железных коробках. Хорошо...

Командный пункт батальона находился позади лесочка, между Дудкино и Типино, и размещался в группе блиндажей. Зырянко был уже там и сразу выложил комбату свои соображения. Он считал, что утром надо ждать немецкой атаки. Враги будут пробиваться на участке первой роты, потому что тут дорога на Сычевку. Хромов такого же мнения...

— Согласен, — сказал Иванов. — Прикажи, чтоб усиленно наблюдали, пусть на фланге, против Рождества, выставят секретя. Там болото, чтоб не обошли. Полная готовность всем. Немец хитер, шуметь может перед Хромовым, а сам втихаря порежет проволоку перед Карнауховым и поперет через Бахметово...

— Я уже предупредил командиров рот об этом. И о дозорах. Минометчиков — тоже. Тут еще приказ из полка: взорвать все мосты через ров, чтоб немцы не захватили.

— Саперы дежурят, вот и передай им, чтоб ровно в двенадцать взрывали...

\* \* \*

Эта ночь была тревожной. Ракет не выбрасывали, но спали вполглаза, прислушиваясь к каждому пороху. Враг был на пороге. Коновод и ординарец Иванова Бекмансуров не раз выходил из блиндажа, подолгу прислушивался, наставив к ушам ладони, как уловители, в сторону переднего края, и возвращался, бормоча под нос: «Темно, сам шайтан нога ломать будет, дорога не найдёт...»

Кривоногий, широкогрудый, с темным скуластым лицом, блестящим при свете копилки, он походил на божка-идола, когда садился, поджав под себя ноги по-татарски. Только черные рас-

косые глазки, сверкавшие из-под широких бровей, и выдавали беспокойство, а лицо оставалось бесстрастным.

В полночь сильно громынуло раз за разом, земля крупно вздрогнула, но это не вызвало беспокойства у тех, кто знал происхождение взрывов — уничтожали мосты через ров. Через полчаса что-то загорелось в Королево, запылало, и на багряном небе четко обрисовалась колючая стена леса. Пожар угас сам по себе, деревня затихла. Насытившиеся гитлеровцы улеглись отдыхать, утомонились. Но разве можно было верить врагу, ослабить внимание?

Бекмансуров думал. Он давно состоял коноводом при Иванове, привык к нему и теперь думал о том, как будет худо и для него, если с командиром что-то случится. Он такой: вспылит, и тогда его не удержать ничем, полезет в самое пекло. А где место ординарцу — конечно, рядом. Он плохо представлял, как будет протекать бой, где облюует место командир, в крепком ли блиндаже, или пойдет в окопы, чтоб воодушевить бойцов, знал одно — его дело оберегать командира, быть при нем неотлучно. Трудно будет — вздыхал он.

В голову приходили воспоминания: славно текла его служба в Красноярске. Он не ведал других забот, кроме ухода за лошадьми, своей и командировой. Холил их, расчесывал им гривы и хвосты, чистил щетками, бинтовал белым ноги караковому жеребцу Иванова, чтоб лошадь выглядела красивее в белых «чулках». Бывало, перед парадом, легонько трогал по шерсти маслом — всегда держал для этого при себе в пузырьке касторки, — и тогда черная шерсть лоснилась, отливала на солнце, и казалось, что каждый мускул у лошади играет. За своей саврасой — с черным ремнем вдоль спины — смотрел меньше, была бы накормлена и напоена, и ладно. Любил он хороших лошадей и не мог сказать определенно, к кому был привязан больше, к хозяину или к его караковому.

В доме командира он всегда был своим человеком, проходил без стеснения, но старался не лезть на глаза. Если у Иванова находились посторонние — командир дружил со своими подчиненными, с Зырянко особенно, с ним у него была меньшая разница в годах, чем с командирами рот, — тогда Бекмансуров скромно усаживался на кухне, вступал в нехитрые разговоры с женой Иванова, старался чем-то ей услужить — подать, убрать, воды принести или затевал игру с Володей — сынишкой Ивановых. Парнишка тянул его к лошадям, упрашивал покатать на отцовой, но жеребец был с поровом, и Бекмансуров, если командир никуда не спешил, усаживал Володю на свою, более смирную, и они ехали кататься.

Мальчишка с его помощью забирался в седло и был горд и счастлив и платил Бекмансурову сыновней любовью, привязанностью, заглядывал буквально в рот и ловил каждое его слово. Парнишке нужна была мужская опора, забота, внимание, а отец всегда занят, а может, просто не находил в сердце тепла, чтоб обогреть своей лаской неродного сына.

Володя часто навещался и в городок, где стояла часть, отыскивал на конюшне Бекмансурова, и они вдвоем чистили лошадей, скребли их и терли, а потом затевали шутовскую возню. Бекмансуров поддавался, позволял оседлать себя, и наездник просто визжал от восторга, одержав победу. Дав ему натешиться, Бекмансуров просил пощады: «Ты меня топтал, как слон муху. Ай-яй, совсем худо...» — и осторожно, одной рукой снимал с себя победителя. Тот болтал в воздухе ногами, захлебываясь от смеха.

«Славное было время, — вздохнул Бекмансуров. — Не худо бы посмотреть, как там мои. Трудно им без меня, дочка совсем малая...»

Сна не было. Едва обозначился рассвет, он поднялся и пошел в хоззвод присмотреть за лошадьми, а вернувшись, принялся старательно протирать карабин.

\* \* \*

Утром седьмого не прояснилось, и это вселяло надежду, что обойдется без бомбежек. Раньше обычного бойцы с термосами понесли в окопы пищу. Ощущение близкого боя заставляло людей вести себя по-иному: забыты привычные тропки к дотам и дзотам — только по траншеям, связисты чаще устраивали перекличку, словно от этого могла зависеть в будущем большая живучесть линий; из окопов и дотов пристально всматривались десятки глаз в знакомые опушки, засеки, ожидая появления людей в чуждой темной и необычной форме.

На командном пункте батальона стало многолюдней, к малиновым петлицам пехоты прибавились черные со скрещенными пушками — артиллеристов. Это прибыл с помощниками командир артиллерийского полка майор Соколов, чтобы произвести пристрелку тех батарей, которые стояли за другими батальонами дивизии, по могли доставать и сюда. Огни нужны были разные: и заградительные, и сосредоточенные, и дальнего нападения, если подходящие цели объявятся. Правда, сил одного полка для таких огней было явно недостаточно, особенно для дальних, да и запас снарядов не позволял шиковать. Дивизия пришла на фронт с двумя артполками, но гаубично-артиллерийский полк взяли в армейскую группу и распорядиться им дивизия уже не могла.

Иванов мирился с возникшей сутолокой, считая ее нормальным явлением, хотя линия связи с полком была перегружена разговорами, не относящимися к делам батальона. Иванов ждал от артиллеристов действенной помощи и даже радовался этой многочисленности. В куче — веселее, чем если бы пришлось сидеть с одним-двумя связистами.

В блиндаже стоит гомон, дым от курения виснет под потолком тяжелым пластом, в толкотне — не повернуться, чтоб кого-то ненароком не задеть. Зырянко — невыспавшийся, злой, издерганный, обзванивает стрелковые роты: может, что-то они заметили, узнали? Колючие серые его глаза прижмурены, тонкие губы небольшого рта плотно стиснуты, на широком утяжеленном книзу лице написаны досада, нетерпение.

— Алле, Хромов! Хромов, это ты? Ну, что там, докладывай.

В трубке пищит далекий голос, временами заглушаемый гомоном, и Зырянко досадливо покусывает губы, и тогда на скалах ходят желваки. С Хромовым они из одного сибирского училища, только выпускники разных лет. В батальоне, кого ни возьми из командиров, все сибиряки: либо учились вместе, либо вообще земляки; вечерами толклись в одном клубе, не раз сжились за одним праздничным столом. Знают друг друга как облупленных — ответил бы Зырянко, если б его кто об этом спросил. В пулеметной роте служит брат Никандр Кузьмич. Крепкая дружба не помеха делу, наоборот, надежнее как-то.

— Смотрите в оба. Что? Не прозевайте, говорю! — кричит Зырянко, глядя вымученными глазами на толкучку в блиндаже. «Как работать в такой обстановке? — думает он. — Хоть бы порасходились куда, что ли...»

Перед ротой Карнаухова тоже никакого движения. Противник не показывается.

Гитлеровцы не торопятся, они уверены, что перед ними ничто не устоит, никакие укрепления, потому что за четыре дня разогнали русские войска под Белым и прошли десятки километров размеренным и тяжелым немецким шагом по дорогам Смоленщины, нагоняя страх на деревенских жителей, на что-то еще надеявшихся и не покинувших своих жилищ. Все сытно ели, пили, мало заботясь о предстоящем бое. На то есть офицеры, они все предусмотрят. Фюрер приказал взять Москву, русские армии разбиты и отступают в беспорядке перед танковыми клиньями. Кому в такой ситуации придет на ум сопротивляться немецким солдатам. Как-то мимо внимания солдат и офицеров прошло осторожное высказывание газеты «Фелькишер беобахтер» о том, что русский солдат превосходит противников Германии на Западе

своим презрением к смерти. Мало ли что могло почудиться газетным писателям, впервые слышавшим свист пули!

Котлы были набиты мясом прирезанного в деревне скота, и пока солдаты не подчистили все до дна, офицеры их не тревожили. Прежде всех на опушку леса, с которой можно было рассмотреть деревни Дудкино и Бахметово и склоны перед ними, изрезанные окопами и рвами, выдвинулись артиллерийские разведчики. Они начали пристрелку батарей по целям, выбирая в первую очередь доты, стоявшие на переднем крае. Снаряды и мины начали рваться в разных местах, срывая маскировку огневых точек. Сизый дым долго держится в сыром промозглом воздухе клубками, расплзаясь нехотя, стелется по бурому жнивью и постепенно затягивает русские окопы пеленой.

Несмотря на хмурое небо, налетела авиация — десятка полтора пикирующих бомбардировщиков. Со свистом и воем посыпались бомбы на окопы, вздымая черные фонтаны земли и дыма. Грохочет и трясется земля под могучими ударами, и разрывы обычных мин кажутся шуточными пошлепываниями в этом аду бомбежки. Оборона замерла, кажется, что если и есть там что недобитого, так подавлено, сломлено под этой могучей поступью немецкой техники. Отбомбившиеся самолеты выстроились в звенья и удалились, испятнав все поля перед Дудкино и Бахметово глубокими воронками. За оборону снова принялась артиллерия. Батареи пристрелялись и теперь перешли на поражение, на беглый огонь. Свист и вой на все лады, грохот разрывов, в дыму совсем исчезли русские окопы.

Под этот бодрый аккомпанемент гитлеровская пехота развертывается в цепь и, когда палет кончается, с лающей разногласицей команд идет в атаку. Идет густо, чуть не плечом к плечу, прямо с руки — от пуза — поливают из автоматов и пулеметов оборону свинцом. Русские окопы кажутся вымершими. Ага, торжествуют гитлеровцы, небось забились в бункеры и щели и будете сидеть, пока немецкий солдат не срыгнет на спину! Но это внешне так бодрятся идущие в атаку, а на душе у каждого тревога: что там еще надумали русские, почему не показываются, не бегут и не отвечают на выстрелы? Как-то увереннее себя чувствуешь, когда видишь противника в лицо, а не палишь, куда придется. Но сильно задумываться над этим не дают унтера и ефрейторы, они покрикивают, подгоняют тех, кто невольно замедляет шаг и норовит перевести дух. Саперы уже поработали, изрезали проволоку: русские — неучи, они ставят заграждения за двести метров перед окопами и их ничего не стоит снять даже днем, а не то что ночью.

Около тысячи солдат — целый пехотный полк, гулко топая

коваными сапогами, идет в атаку плечом к плечу. Уже видно простым глазом, как пули стригут траву и вздымают густые фонтанчики земли на брустверах русских окопов. С ума можно сойти, не зная, что тебя ждет на следующем шагу. Многие уже готовы плюхнуться и ползти, чтобы дать передышку нервам, осмотреться, но офицеры неумолимо, злыми окриками подстегивают солдат: — Форвертс! Вперед..

С невозмутимостью сфинксов смотрят на немецкую цепь прищуренными глазами доты и дзоты. Хорошо, если там все побиты, повержены бомбежкой и артиллерией, а если смотрят в эти щели через прорези прицелов? Это невыносимо. Цепь ломается, и гитлеровцы с воплями, диким воем кидаются на приступ, на окопы, которые лежат совсем близко, за противотанковым рвом.

\* \* \*

Лейтенант Хромов — русский крепыш, в каске и с ремнями полевого снаряжения, туго охватившими шинель, в окопе, с биноклем в руках. Он благополучно пересидел бомбежку и артналет, и хоть на душе было жутко и страх стискивал, буквально хватал за горло, пересилил себя, не тропулся с места ни сам, ни подчиненным этого не позволил — папиковать. Другое дело если б он сам не выдержал, тогда, глядя на него, и другие могли дрогнуть. Все в такие минуты смотрят на командира. Жутко было сидеть под бомбами, но земля-матушка прикрыла, уберегла. Только крошечком и гарью всех позасыпало, да от дыма взрывчатки голова кругом идет. Бойцы-связные приподнимаются, отряхиваются, фыркают, начинают жадно курить. Еще бы — пережить такое! А тут новая гроза надвигается. Успеть бы затянуться разок-другой, а то, может, и не доведется больше. Крепкая затяжка помогает быстрее отделаться от пережитой встряски. Да, в окопе еще жить можно — многие в этом убедились. Не зря поработали, мозоли набивали лопатами.

У Хромова с командирами взводов договоренность: без его сигнала огня не открывать, себя не обнаруживать. Заранее согласовал этот вопрос со всеми. В дальнейшем видно будет, а первую атаку отбить так, чтоб пемцы потеряли охоту соваться надолго. Политрук поработал с коммунистами и комсомольцами, особенно с пулеметчиками, они в дотах и в дзотах — первая скрипка. Разить наверняка, наповал. Каждый коммунист лично отвечает за действия подразделения, в котором находится.

— Товарищ лейтенант, вызывают! — докладывает телефонист, но Хромов даже не оборачивается.

— Скажи, куда-то отошел. — И про себя: — Нервные шибко. Невтерпеж им. Посидят, дождутся...

«В психическую идут, — отмечает он, рассматривая, как движется густая цепь гитлеровцев. На многих мундиры распахнуты, и все без шинелей. — Ишь, для бодрости снимали, чтоб ловчее действовать, налегке идут».

Пули секут воздух над окопами злыми осами.

— Передать всем, чтоб никто не смел до команды высываться, — передал он. — Без команды не стрелять!

Выдержка. Хромов хоть и волнуется, но внешне ничем этого не выказывает. Он хочет проявить себя в этом бою так, чтоб и немцы запомнили, и свои похвалили. А выдержки у него хватит, не зря любил смотреть «Чапаева», восторгаясь теми моментами, где капеллевы черной стеной идут в психическую и нервность чапаевцев невольно передается зрителям. Только Апкадулетчица выжидает и вот сейчас начнет косить, косить.

До окопов уже доносятся крики гитлеровцев, нестройные, галдеж какой-то, и Хромов усмехается: «Идут в психическую, а сами психуют. Недоноски. Кишка тонка до психической».

Миновали проволочное ограждение. «Успели порезать, гады», — с досадой отметил Хромов и подал команду:

— Приготовиться! — и сам скорей к телефону, чтоб вызвать Карнаухова: — Мои готовы. Как, начнем? Тогда подавай...

Он слышит, как переключка голосов удаляется вправо и влево от него. До противотанкового рва остается гитлеровцам метров семьдесят, допускать до него врагов не следует, и Хромов резко, словно отсекая всю свою прежнюю жизнь от этой решительной минуты, рубит воздух ребром ладони:

— Огонь!

Захлебываясь в скороговорке, словно наверстывая минуты вынужденного молчания, взрываясь залповым ружейным огнем, вмиг ожила оборона. «Тра-та-та-тах! — грохочет вокруг Хромова траншея винтовочными выстрелами. — Р-р-р! Ррр!» — словно зашивая прорехи в промежутках между залпами, торопятся автоматы.

В роте есть несколько настоящих снайперов, обучавшихся нелегкому этому делу на сборах прошлым летом. Классные стрелки, на стрельбищах поражавшие узенькую, в ладонь ребенка полоску мишени на триста метров, они и теперь не дают маху, хотя в руках у них обычные винтовки. Как стали в оборону, все снайперские с оптическими прицелами были взяты из полка и переданы в части действующих армий. Эх, как сейчас пригодились бы — сожалеет Хромов.

Он не может смотреть равнодушно, как под ссекающими

струями косоприцельного огня из дотов и дзотов, будто травы под острой литовкой, валяются гитлеровцы.

— Давай! Давай! — ликует он. Вот оно, мщение за те жуткие минуты бомбежек и обстрела, когда приходилось пластаться на дне окопа. Вот она — расплата!

Жалкие остатки от густой цепи — уцелевшие солдаты в темных легких мундирах, скатываются в ров и затаиваются там, не смея высунуться. Фасы — изломы рва пролегли так, что просматриваются с флангов роты. «Пожалуй, от Есина будет видно», — размышляет Хромов и вызывает командира взвода Есина — уже пожилого, лет сорока лейтенанта к телефону:

— Есин, что видно, докладывай!

— Что... — скупо отзывается тихий неразговорчивый Есин. — Жмутся к переднему срезу, копошатся...

— Я сейчас попрошу комбата, чтоб достали их из минометов, а ты проследи, подскажешь, как будут ложиться мины.

В штабе батальона у телефона Зыряно. Он выслушивает доклад и не может сдержать ликования:

— Молодцы! Так и передай всем. Как с потерями? Много?

— Есть несколько человек. Отправляю — вторых, — ответил Хромов. — Я не о том: Есин видит, как они сгрудились во рву. Надо дать по ним огня из минометов, а он проследит.

— Это сейчас, я скомантую, — отвечает Зыряно и передает минометчику приказание начать пристрелку рва. Тот готовит данные и наконец сообщает: выстрел!

— Есин, Есин, как там, проследи! — требует Зыряно, выходя на связь со взводом.

— Перелет сто метров, — глухо отозвался Есин. — Убавить прицел надо бы.

— Синцов, — снова обратился Зыряно к командиру минометной роты, — убавь на сто метров!

Новый разрыв ложится с недолетом. Снова корректировка. Наконец мина ложится прямо на борт рва. Хорошо.

— Давай беглым! На поражение! — командует Зыряно. — Расход — два десятка мин.

Минометная рота дает частый огонь. Мины рвутся, накрывают цель, там поднимаются вопли, потом стихают.

На поле, где встретили гитлеровцев пулеметным огнем, движение: ползут и бредут назад раненые, но эти теперь не страшны, пусть убираются куда хотят, они свое получили. По ним никто не стреляет, и Хромов тоже молчит. Он — советский командир, коммунист, он не мститель, не преступит морального закона русских: лежачего не бьют. Только бандюги, неполноценные, подлые люди могут бить ногами упавшего, выказывать силу на повер-

женном. К тому же он еще верит, что Гитлер гонит в бой обманутых, таких же рабочих и крестьян, как и советские бойцы, братьев по классу. Он еще верит, что они облагоразумятся, что их классовое сознание возьмет верх над заблуждением. Для него сейчас много важнее, что он сам устоял, отбил психическую атаку, поверил в свои силы, в силу оружия, которое ему вручила Родина. Даже до гранат не дошло, а ведь уже было разложил под рукой.

Гитлеровцы ведут беспорядочный огонь по траншеям из минометов. Орудия окаймляют разрывами снарядов доты и дзоты, разворачивают обсыпку, но навесной огонь не развалит, не пробьет пакатника этих сооружений. Им страшен только огонь прямой наводкой по амбразурам.

Перестрелка продолжается до вечера, то вдруг вскипая на отдельных участках, то замирая. Это когда враг пытается подняться из рва в новую атаку и, оставляя убитых, скатывается обратно.

За этот суматошный день пикто не имел ни передышки, ни крохи во рту, но мало кто думал о еде. Свет угасал, темень осенней ранней ночи окутала землю. Страшась выстрелов в спину, из противотанкового рва выбираются уцелевшие гитлеровцы и бегут назад в Королево.

\* \* \*

В этот тревожный день седьмого октября, когда враг попытался своим авангардом атакою с хода овладеть укреплениями на левом фланге дивизии, вечером, в штабе у Фишера, собрались на совещание ведущие командиры и начальники. Из дивизии были комиссар Шмелев с группой штабников и политотдельцев, а также артиллеристы — полковник Найденов и командир артполка майор Соколов.

Фишер отдал первый боевой приказ на оборону. Предстояло столь же успешно отразить и последующие атаки врага, и от исхода первого испытания многое зависело в последующем. Поэтому момент оглашения приказа выглядел торжественно и никого не оставил равнодушным.

В свите Шмелева находился старший политрук Сыров. Для него этот момент был сходен с минутами пения «Интернационала», когда сотни голосов сурово и слаженно, словно клятву, выводят: «Это есть наш последний и решительный бой...» — и все в тебе напрягается, словно вот сейчас наступит пора, когда предстоит принять смерть от врага, но не дрогнуть, не поступиться даже буквой от своих убеждений, выказывая полное презрение

к тому, что с тобой будет. Так и сейчас, сердце у него прямо-таки замерло, и огонь прошел по жилам. Умереть, но не отступить, не пропустить врага! Настал тот решительный час, ради которого он жил, учился, работал многие годы, наставлял других, ради которого давно уже — десять лет, как связал свою жизнь с партией коммунистов. Может, это его состояние было таким потому, что подобное пришло к нему впервые, а первое всегда не такое, как в реальности, всегда блестящее и переливчатое — обманное.

Шмелев, словно для того чтобы подчеркнуть значимость момента, говорил негромко и раздельно, указывал, как лучше расставить коммунистов и комсомольцев полка, чтобы обеспечить выполнение боевой задачи.

— Вот и наш час настал, — говорил он. — Мы здесь далеко от Москвы, но она за нами, и мы обороняем ее — родную. Враг идет на Москву, замахивается на сердце нашей социалистической родины, хотел сразу подавить нас своей техникой, своей бравадой. Но мы — сибиряки, люди с крепкими нервами и закалкой. Выполним наш воинский долг с честью, все вместе и каждый на своем посту. Враг не должен пройти через наш рубеж, и не пройдет. Смерть немецким захватчикам!

Он был суров и лицом и сердцем, этот в прошлом лихой конник Первой Стальной, Буденновской, Чапаевской дивизий, перемещаясь из одной в другую из-за ранений, тифа, и в связи со своим ростом, целиком посвятив свою жизнь защите Отечества. Он был старше и опытнее всех остальных, потому что начинал рядовым солдатом еще в первую империалистическую войну, много пережил такого, что молодым предстояло только изведать, знал, что на войне больше необходима твердость, а не жалость, знал, что мягкость и нерешительность на войне влекут за собой ненужную кровь, и поэтому имел право говорить с подчиненными не приукрашивая и не преувеличивая тяжести предстоящих испытаний.

Зазуммерил телефон. Комиссара попросил генерал Горелов.

— Дмитрий Иванович, последняя информация: противник прорвался на участке ополченской дивизии. Да-да, наш сосед слева. Обстановка уточняется. Нам нужно держать наш левый фланг под неослабным контролем. Ты еще долго намерен там пробывать? Нужно посоветоваться...

— Нет. Заканчиваю и возвращаюсь, — ответил Шмелев. Положив трубку, он обратился к комиссару полка Миронову: — Товарищ Сыров как представитель командования и политотдела будет находиться в вашем первом батальоне. Поддерживайте между собой регулярную связь. Докладывайте мне обо всем

быстро и абсолютно правдиво. Подчеркиваю — правдиво, без округлений...

Взяв Сырова под локоть, Шмелев направился с ним к выходу. За дверями блиндажа уже лежала темень, только далеко на западе не то догорал закат — узенькая багряная полоска над лесом, не то занимался пожар.

— Вот что, — не выпуская руки, заговорил Шмелев, убедившись, что рядом с ними никого нет, — бери с собой представителя нашей дивизионной газеты и аллюром три креста в первый батальон. Враг не должен пройти. Стоять насмерть. Понял?! Ты знаешь, что Иванов беспартийный? Так вот, твоя задача — всемерно помогать ему, всеми силами, в партийно-политическом обеспечении боя. Твоя опора — коммунисты и комсомольцы. От правильной их расстановки будет зависеть выполнение боевой задачи. Приказ должен знать каждый красноармеец, чтобы реально представлять, ради чего он должен драться. Это очень важно. Желаю успеха. Докладывай чаще.

Быстро пожав ему руку, он подтолкнул Сырова в путь, а сам заторопился в блиндаж, где ему оставались еще кое-какие дела.

\* \* \*

В штабе дивизии в Махерово, на самом правом ее фланге, в поздний уже час «подбивали бабки». Начальник штаба полковник Бочков докладывал:

— Судя по данным разведки, противник имеет намерение пробиться на левом фланге дивизии в направлении Сычевки. Если данные от соседа верны, то мы можем ждать удара нам во фланг с целью свертывания нашей обороны...

— Мне это ясно, — перебил его Горелов. — Что на большаке Шиздерово — Гусево, замечено какое движение или нет?

— Заняв Шиздерово, противник попыток продвигаться на север не делал. Там наша конная группа... Надо полагать, что завтра будут новые атаки на Дудкино, чтоб прорваться на более короткую дорогу к Сычевке...

Если Горелов худощав и узкогруд, то Бочков — противоположность генералу. Он ниже ростом, зато в объёме вдвое толще. Лицо у него легко багровеет, а маленькие навывкате глазки наливаются кровью. Это от полноты. Легким движением полковник смахивает-невидимый пот с высокого лба, поправляет пряди черных волосьев, прикрывающих начинающую лысеть голову. Он шевелит выпяченными толстыми губами, словно бы про себя выверяя слова, которые следом произнесет. Черная бабочка ко-

ротко стржепных усиков шевелится, а жесткие глазки исподлобья ловят взгляд Горелова.

Бочков тянется к разостланной карте, без которой не мыслит себя самого, клонится над ней, и Горелов видит, как наливается клюквенным соком затылок начальника штаба, подчеркнутый беллиной подворотничка. На квадратной спине, перехлестнутой ремнями полевого снаряжения, все натягивается. Не человек, а крепкий смолистый кряж. Шаровары-галифе еще более раздают полковника вширь. Он водит карандашом по карте, что-то отыскивая нужное, а Горелов и не глядит па нее. Он наперечет знает все паселенные пункты в полосе обороны дивизии, изучив местность еще в ходе рекогносцировки, когда нарезал участки полкам и батальонам, когда наблюдал за ходом работ.

У Горелова рост средний. Из-за худощавости он выглядит по сравнению с Бочковым, и особенно рядом с крупным Найденковым, подтянутым и деловитым. Но это отчасти из-за бритой головы. Она у него почти лысая, жесткие волосы пробиваются только возле висков да ближе к затылку, и он их всегда выбривает до блеска, до сияния, а это уже создает пастрой, черту характера, усиливает обретенные качества. Бритоголовый не может быть ленивым, это противоречит образу, который сложился как определенный тип человека, сурового, занятого, не имеющего времени иначе придерживаться чистоты.

Сукопный френч с ромбовидными петлицами на отложном воротнике, с двумя крупными звездочками в каждой, плотно облегал энергичную фигуру генерала. Часто бывая в поле, он даже в мирные дни предпочитал широконосые яловые сапоги хромым, а теперь и вовсе обходился одной парой.

Горелов расхаживал по горнице порывисто, заложив руки за спину и крепко постукивая высокими каблуками. При поворотах свет лампы падал на широкие нарукавные полоски шевронов и они золотисто взблескивали. Он не мог спокойно сидеть, выслушивая подчиненных, ему надо было двигаться, тогда все острее воспринималось, более четко мыслилось.

Он заранее знал, что скажет начальник штаба, потому что ни па миг не выпускал из-под контроля обстановку, и оценка, высказываемая Бочковым, нужна была не ему, а скорее другим, тому же Найденкову или Шмелеву, и еще для того, чтобы поддерживать незыблемость уклада военной жизни. Ибо день, когда такого доклада не будет, явится днем чрезвычайным, омраченным каким-то особыми, тяжкими для всех событиями.

Сидевшие за столом рядом Шмелев и Найденков следили за порывисто вышагивавшим Гореловым, ожидая его решения. Он, время от времени крепко потирая лоб, мысленно формулировал

и шлифовал то, что потом продиктует без всяких поправок. Это был его стиль, которым он отчасти гордился, потому что в нем ярче всего выражалась сущность военачальника, не терпящего путаных и многословных распоряжений.

— Мы ждали, — начал он глуховатым голосом, — что противник будет пробиваться вдоль железной дороги, чтоб иметь за собой эту транспортную артерию. Наши предположения не оправдались, свой главный удар он наносит много южнее, возможно даже вовсе обойдет наши укрепления. С утра надлежит, для обеспечения готовности дивизии, перебросить первый дивизион артполка из района Оленино на левый фланг. Распутицы нет, идти можно любыми грунтовыми дорогами, расстояние около пятидесяти километров. Срок, — тут он остановился, наставил указательный палец на артиллериста, — вечером восьмого дивизион должен стоять на позициях...

Глаза генерала из-под набрякших век смотрели требовательно, и полковнику Найдепкову не оставалось иного, как согласно записать указание в блокнот. Знал: возражать, оспаривать бесполезно. Генерал уже думал об этом раньше, все рассчитал и, наверное, не раз прошелся курвиметром по ниточкам дорог, выморя расстояние по карте. Придется идти на рысях. Кони отдохнувшие — выдержат. Труднее людям, ведь им придется рысить за пушками.

— С пехотой так, — останавливаясь против Бочкова, продолжал генерал. — Снять весь полк Исакова мы не можем, пока нет полных данных о намерениях противника, но взять один батальон, который ближе...

— Третий, Артюхина, — подсказал Бочков.

— Согласен — третий. В течение ночи сменить его и направить в Тишино. Срок выхода: к вечеру восьмого. Фишера предупредить, чтоб ни шагу с позиций. Отвечает головой...

— В батальон Иванова направлен представитель подива Сыров, — заметил Шмелев. — Человек надежный, наделен полномочиями.

— Сырова знаю. Согласен, — кивнул Горелов. — Плохо, что нам неизвестно, как дальше развиваются события у соседа. Глубоко ли вклинение, держится ли еще дивизия или фронт ее прорван и положение там безнадежное. Вы не пытались еще раз связаться с соседом? — обратился он к Бочкову.

— Пытался, связь утрачена. Не отвечают, и офицера связи тоже нет.

— Ну, все равно. Наша задача прежняя: держать свой рубеж. А к соседу выслать своего офицера связи. Не ждать, пока нас найдут, искать самим...

На этом деловом совещании только Шмелев держался с генералом на равных. Равные права, равная доля ответственности за все. Комиссар — представитель партии, око партии в войсках, он первый ответчик перед партией за боеспособность дивизии. Если начальник штаба — исполнитель воли командира и первый его помощник, то комиссар — и советчик, и глава партийной организации дивизии, в которой состоит и командир. Смешно и грустно было бы, если б командир скрывал свои решения от коммунистов, которым и надлежит выполнить его приказ. Шмелев заботился о поддержании в частях авторитета генерала, строго взыскивая за несвоевременное или халатное выполнение его приказов с подчиненных. Горелов это видит и тоже старается придерживаться деловых отношений с комиссаром. Бывают разные взгляды по отдельным вопросам, даже спорят, но при наличии обоюдного уважения любой вопрос удастся согласовать.

Горелов одного возраста со Шмелевым, они оба участники империалистической войны, хотя один начинал ее рядовым, а другой пришел в должности командира роты. В год «великого отступления» офицерскому корпусу России был нанесен большой урон, и в школы брали всех грамотных парней, не особенно вдаваясь, к какому сословию они принадлежат. Вот и удалось Горелову закончить полугодовую офицерскую школу.

С тысяча девятьсот шестнадцатого года Горелов на Северо-Западном фронте. Ранения одно за другим, потом тяжелая контузия, повлекшая за собой увольнение из армии. Он возвратился в город Владимир, вступил в партию и возглавил городскую газету, потому что до армии работал в ней какое-то время наборщиком и печатником. Война гражданская потребовала преданных делу революции военных специалистов. Владимирский губком направил Горелова в Красную Армию. В боях с белогвардейцами и разного рода бандами он командовал батальоном. С этого времени Горелов пожизненно в армии.

Подорванное ранениями здоровье не позволило ему завести семью, да и время для этого было упущено: то первая мировая война, то гражданская, то послевоенная неустроенность жизни, когда надо было все силы отдавать службе, когда тихий уют рассеивался как уход от революционных идеалов, словно семья могла мешать выполнению партийного долга. Новое общество только начинало складываться, и от авангарда, от тех, кто шел впереди, требовалась спартанская непритязательность и чуть ли не полное самоотречение от всех благ. Это было в те годы так же естественно, как в наши дни при случае вспоминать крылатые слова Меландра: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», тысячелетия спустя повторенные Марксом.

Время по-своему лепило характеры, оно более чем пад другими поработало над Гореловым, и он всю свою жизнь посвятил одному — защите Отечества. Главной его заботой до войны было воспитать из молодых бойцов опытных воинов. Все остальное он решительно отметал, делая вид, что и не замечает: я этого не вижу, значит, оно не существует.

Найдешков и Бочков ушли последними. Оставшись наедине с Гореловым, Шмелев сказал:

— Иванов хорошо провел нынешний бой. Не мешало бы нам представить отличившихся к наградам. Но обстановка...

— Да, едва ли станут рассматривать. Фронт рушится, а тут с наградами. Видимо, надлежит взять на заметку отличившихся и, если доживут до лучших времен, представить... Да, пришла к нам трудная пора, Дмитрий Иванович, — вздохнул Горелов. — Я хорошо знаю немцев. Они все заранее рассчитали, разложили по полочкам и теперь будут жать и жать. С солдатами считаться они не привыкли. Педанты до мозга костей — этим и славится прусское офицерство. Да еще наппигованы геббельсовской пропагандой. Снеси у них много и сил прибавилось. Сегодня они обожглись, а завтра перестроятся...

— Ничего, теперь и у нас кое-какой опыт появился. По-другому, тверже стоять будут, — сказал Шмелев. — Задачу поставим довести до всего личного состава и опыт тоже.

— Дело. Если успеем... — сцепив белые руки в крепкий замок и опершись на них лбом, Горелов задумался за столом глубоко и надолго. Потом, словно очнувшись от дум, сказал, растирая лицо ладонями: — Ладно, поживем — увидим. Поверь моему слову, научимся и немцев бить и воевать их отучим. Дай только время. Доживем ли только мы с тобой до этого часа.

— Какое это имеет значение — наша жизнь в такой борьбе, когда решается судьба всего советского народа, даже больше — судьба мира...

— Верно. Не о том надлежит думать. Тут такое дело: наших сил может не хватить. Эх, как недостает нашего третьего полка...

— Я полагаю, надо попросить, чтоб нам его вернули. Связаться с командованием, объяснить положение.

— Едва ли это возможно осуществить. Я не в смысле разговора с командованием, а про возвращение полка. Соседка — ополченская дивизия — смята, фронт прорван, коммуникации наверняка перегружены отступающими.

— Из чего вы это заключили? Может, связь просто утрачена.

— Нет, Дмитрий Иванович, нет. Танки — штука серьезная.

В гражданскую единицы были да и то пороку наводили, а тут у противника сотни. Не у каждого силы духа хватит выстоять, даже у крепкообученного, а тут ополченцы, пороку не нюхавшие. Сам должен поимать. Очень это меня беспокоит...

Этот их разговор был неожиданно продолжен утром, уже при других обстоятельствах. Горелов только что умылся, когда на командный пункт в Махерово прибыл из армии генерал Гулин. Горелов доложил обстановку, ожидал встречных вопросов, но Гулин заговорил о другом деле, ради которого и вынужден был приехать в дивизию. Ему было известно более полно то, что для Горелова и Шмелева еще оставалось неизвестным и знать им не стоило, чтоб не обезоруживать их раньше времени. Гитлеровские танковые колонны в первые же дни прорвали позиции наших войск на Западном фронте и вели дело к тому, чтоб окружить армии, оказавшиеся в районе Вязьмы. Танковые клинья противника охватывали Вязьму с юга и севера, отвести войска на новую линию обороны не представлялось возможным, и Ставка собирала группировку для защиты Можайской линии.

— Дело такое, — говорил Гулин, — приказано вашу дивизию срочно перебросить под Волоколамск. Надо организованно передать укрепрайон и выходить в район Ржева. Генеральный штаб высылает навстречу колонну московских автобусов числом более сотни, чтоб сразу взять весь личный состав дивизии...

— Кто примет от нас укрепрайон? — спросил Горелов.

— Для этого пришем пулеметно-артиллерийские батальоны...

— Неразумно, — заявил Горелов, мало считаясь, какое впечатление произведет своими словами на армейское начальство. — Мы знаем здесь каждую кочку, мы строили оборону и будем защищать ее лучше, чем кто-то другой. К тому же папа дивизия уже с августа имеет в своем составе два полка. При такой численности она мало принесет пользы на новом месте, но мы многое можем потерять здесь...

— На этот счет есть распоряжение Генерального штаба...

— Разрешите нам переговорить самим с маршалом Шапошниковым, — предложил Шмелев. — Возможно, что с нашими доводами согласятся и внесут коррективы.

Гулин нехотя согласился на такой разговор, хотя он нарушал в какой-то мере субординацию. На другом конце прямого провода был Шапошников. Горелов изложил ему свои соображения, указав, что дивизия уже ведет бой с атакующим противником и вывести ее незамеченной едва ли удастся, а это грозит большими неприятностями. Второе, о чем просил Горелов, — вернуть взятый полк...

— Ваш полк уже в боях и вернуть его невозможно, — ответил маршал. — Взамен вы получите другой — из пограничников. Правда, он без тяжелой материальной части, но остальным оружием укомплектован. Оставайтесь на месте. Держите оборону против врага и сражайтесь по-сибирски. Желаю успеха...

Гулин присутствовал при разговоре, ему не надо было повторять сказанное. Надлежало возвращаться в армию, чтоб там решить, какую другую дивизию из состава армии перебросить на Можайскую линию обороны. Он знал, что командующий будет недоволен таким оборотом, и досадовал на строптивость Горелова. Коротко попрощавшись, Гулин покинул командный пункт дивизии.

Часа через два из армии позвонили и сообщили, что в распоряжение дивизии передается полк из армейского резерва...

— Вот видишь, — сказал Горелов Шмелеву, — пет худа без добра. Передают нам полк из пограничников. Как и мы, строил укрепления в районе Селижарово. Народ надежный, обученный. Оснащен пулеметами. Завтра надлежит встретить. Думаю, в районе Опецкого самое ему место. Пока в нашем резерве, а там посмотрим. Перебрасывают на машинах, слово маршала крепкое: сказал — точка.

## Глава тринадцатая

Прогноз на спосную погоду и сухие дороги не оправдался: небо продолжало хмуриться еще сильнее, и в середине дня начался небольшой дождь. Артиллерийский дивизион капитана Блинова, снявшись с огневых позиций в районе Оленино, спешил в Дудкино, то и дело переходя с размашистого шага на рысь, чтобы поддержать батальон Иванова. К середине пути землю размочило, кони начали оскальзываться, бойцы, трусившие за пушками — падать. Идти становилось труднее, но темпов не сбавляли. Комиссар дивизиона Шабалин перед выходом провел с коммунистами пятиминутку, распределил, кому за какими орудиями следовать и отвечать за порядок на марше, чтоб не было отставших. Хоть в артиллерию и брали только крепких людей, но не все были одного возраста, в батарее пришло много пожилых из запаса, сильных в работе, но не столь легких на ногу в походе. Вот их-то и надлежало в первую очередь поддерживать, уступать им временами места на передках орудий, чтоб дать отдох ногам.

Мысль, что где-то товарищи — земляки отбивают вражеские атаки и ждут их помощи, не оставляла батарейцев равнодушны-

ми; подхлестывала их и далекая канонада, и они выкладывали все силы, только бы сохранить темп, заданный командованием. Знали — этого требует Родина.

Хотя дождь и создавал помехи маршу, люди радовались: в таком небе нет вражеской авиации, которая похуже дождя. Идут почти день и — тишина. В воздухе тишина. Ладное дело.

Зато в Дудкино и Бахметово не было тишины. С утра начался интенсивный обстрел обороны артиллерией. Какая-то часть пушек била по дотам и дзотам прямой наводкой. Пулеметчики наравне с пехотой — стрелками — несли потери. К амбразурам хоть не подходи, осколки доставали внутри сооружений. По окопам велся навесной огонь. В сырой мгле сизый приторный дым взрывчатки заволакивал оборону, мешал видеть, что делается впереди и вокруг. С мгновенно возникающим свистом, услышав который уже поздно было прятаться, падать, нырять на дно окопа, рвались мины, осколки с фурчанием стригли пожухлую траву, выбривая на суглинистой земле темные, припорошенные гарью плешины.

Связисты, пригибаясь, мотались по липням, сращивая перебитые провода. По ходам сообщения в тыл несли раненых, наспех перебинтованных, с осколочными ранениями в тело, ноги, голову. Легкие выбирались сами, опираясь на плечо товарища или на винтовку. И только убитые, в серых, измазанных в глине шинелях, оставались на месте, сдвинутые в какую-нибудь ячейку, чтоб не мешали ходить живым.

— Как там? — интересовались позади, в тылу, куда долетали звуки разрывов и кипение пулеметного огня, но происходящее оставалось неясным. — Что немец?

— Худо дело, — отвечал бледный, перемазанный кровью боец с потемневшим лицом и ввалившимися глазами.

Он еще не отрешился от пережитого страха, когда внезапно ударенный чем-то горячим, обжигающим, так что сердце тут же онемело и оборвалось, согнав с лица живые краски и сделав его в момент землисто-серым, и мысль, краткая, как вспышка молнии, ослепила сознание: «Убит!» — и повалился в черную бездну, в пропасть, где все исчезло, лишь полыхнув пламенем напоследок. Это очень страшно — умереть, мгновенно осознать, что жизнь оборвалась, что главное не сделано, не достигнуто, и ничем этого не изменить. Лишь потом что-то начинает зудеть, пищать, и жизнь словно бы на ниточке, готовой вот-вот снова оборваться, пачипает тащить неясную мысль, робкую осознанность существования. Что я? Где я? — припоминает человек и вдруг пугается: ведь он убит!

Еще не веря себе, делает попытку пошевелиться, и тут ост-

рая боль снова кидает его в пекло. И снова возвращаясь, но теперь уже понимая, что он ранен, и с надеждой, что останется все же жив, если побережется, он пробует подняться, но очень осторожно, словно ощупью пробираясь по острой грани, где, качнись хоть вправо, хоть влево, тебя подстерегает бездна. Память об этих пугающих моментах еще господствует в душе раненого.

— Плохо, — говорит он, останавливаясь и переводя дух от чрезмерного напряжения. — Счет из минометов, проклятый, головы поднять не дает. Меня вот даже в окопе достал... Закурить бы.

Вчера, отбивая психическую, он был бесстрашен и гордился собой. Сегодня — он человек другого склада. Он раненый, познавший гнетущее чувство полной беспомощности, со своим мироощущением, со своей оценкой событий. Единственный заслон, одна надежда на благополучный исход — его товарищи, те, что еще живы и ведут бой. А он выбыл из строя, и без него им хуже, им еще предстоит пережить даже худшее, чем с ним. И от этого им много труднее, и о каком благополучии тут можно говорить.

\* \* \*

Гитлеровцы, под прикрытием огня артиллерии, снова густо высыпали из леса и опять цепью, но уже пригибаясь, перекатами, поддерживая себя огнем пулеметов, пошли на сближение. На этот раз минометная рота батальона всеми своими девятью стволами встречает их с дальних подступов огнем и прижимает к земле. Показной храбрости, бравады нет ни у атакующих, ни у обороняющихся. Положение серьезное, тут не до показухи.

Позиции минометной роты за второй траншеей, между Дудкино и Бахметово, в балочке, где ее не так просто нащупать. Артиллерийскую батарею можно засечь по выстрелам, по всполохам огней в темноте, а выстрелы минометов теряются в ружейной пальбе. Зато разрывы сильны и осколки секут вокруг па десятки метров, нанося ощутимый урон пехоте.

Изредка бьют тяжелые минометы полковой батареи. Разрывы пудовых мин для врага ужасны, от них нет укрытия даже в оврагах, потому что мины падают почти отвесно с большой высоты и с большой точностью. Стоит только засечь цель. Но запасы тяжелых мин певелики, комбат Семенов расходует их скупно, лишь по самым значительным целям.

Лейтенант Хромов, невыспавшийся и усталый, теперь вынужден встречать врагов издали. Потери в роте велики, и надежда только на пулеметчиков. Ночь прошла в хлопотах: надо было

учесть потери, проследить за доставкой патронов, расставить охранение, накормить людей ужином, а утром еще раз, чтоб могли встретить грядущее со свежими силами. Этой же ночью вместе с политруком Синициным обошли всех бойцов, подбодрили. Тольк вернулся, хотел вздремнуть, как появился старший политрук Сыров — из политотдела. Накоротке собрали коммунистов роты, ознакомили с задачей — оборонять вверенный рубеж, умереть, но не пропустить врага, ни на шаг не отступить перед ним. Не мог в это время спать Хромов. Так и ночь пролетела, и лишь перед утром удалось вздремнуть на часок, забыться коротким и тревожным сном. А с утра жестокий обстрел, непрерывное под огнем томление не только за судьбу своего участка, но и за себя, за свою жизнь.

Нет у Хромова сегодня воодушевления, оно уступило место глубокой озабоченности: как бы не сплеховать, не допустить врагов до траншеи, иначе их потом не выковырнешь отсюда никакой силой, вцепятся, как клещ в холку, потому что не дураки, тоже понимают, что значит в таких обстоятельствах вклинение. Дай только им зацепиться. А держать врага на удалении не удастся: ползут, а продвигаются вперед, крепко прикрывают друг дружку огнем, не дают высунуться из окопов. Уже скольких потерял бойцов и убитыми и ранеными во время стрельбы. Силен враг, много слаженности в действиях, видно, учел вчерашнюю промашку, когда думал взять нахальством.

Хромов размышляет, мысленно представляя расстановку сил: в центре, перед Дудкино, враг не дает высунуться из окопов, защитники тут парализованы огнем. Если на фланге, левее, там не так жмут, огонь слабее, а он со стороны может поддавать косоприцельным. Надо использовать его позиционное преимущество, тем более что гитлеровцы все же приближаются к противотанковому рву.

— Передайте Есину — усилить огонь, иначе нам не удержаться!

Два бойца — связные, пригибаясь, кинулись с приказанием.

Гитлеровцы не выдерживают огня защитников, перебежками отходят назад и прячутся за бугорки, в воронки. В руках мелькают лопатки. «Окапываются, значит, передышка», — с облегчением отметил Хромов. Но снова забежали по цепи офицеры, поднимают солдат в новую атаку, не дают им залеживаться, гонят вперед. Белые ракеты взлетают густо, указывая направление огня. Артиллерия и минометы вновь принимаются за окопы, прикрывая выдвижение вражеской пехоты.

Гитлеровцам удастся скатиться в противотанковый ров, они там готовятся к последнему рывку, недотягаемые для пулемет-

ного и ружейного огня. «Плохо, — думает Хромов, — очень плохо. Надо просить помощи».

— Говорит Хромов, — доложил он Иванову. — Прошу огня, гитлеровцы засели во рву. Если полезут оттуда, не сумею сдерживать.

— Ты это брось! — сразу взвизгнул Иванов. — Что за панические настроения! Умри, а рубеж должен держать. Отойдешь, расстреляю как труса. Минометами помогу.

У минометчиков ров пристрелян, но на этот раз огня мало, мины на исходе. Иванов нервничает, поглядывает на дверь блиндажа, ждет, когда появятся артиллеристы. Фишер уже сообщил, что первый артдивизион в пути. Может, вот-вот дадут связь — конец от дивизиона, тогда будет поддержка.

— Хромов, Хромов, используй все пулеметы, не жалея патронов. В случае, отдельные фрицы прорвутся — сразу в штыки, чтоб пока не опомнились. Понял? Вся дивизия на нас смотрит. Артиллерия на подходе, надо продержаться. Не подкачай...

Иванов помимо воли переходит на крик, потому что ему кажется, будто за шумом в блиндаже голос его не дойдет до Хромова и тот может не воспринять, насколько серьезно положение и как велика опасность.

— У меня большой расход первым и вторыми, — устало ответил Хромов. — Первыми и вторыми... — повторил он, словно самое главное вовсе не в ответственности за оборону, а в сочувствии тем, кто пострадал, пролил кровь, сложил голову за Отечество. — Поддержите огнем, то, что дали, совсем не то — мало...

— Опять двадцать пять! Ему про Фому, он про Ерему... — возмутился Иванов. — Ты понял, что я тебе толмачу, или нет? Мобилизуй все силы, и чтоб ни шагу!

Под массивным навесом артиллерии, обрушившей огонь по траншеям в Дудкино и Бахметово (в работу включились до шести дивизионов) гитлеровцы снова с криками и воплями поднялись в атаку, лезут из рва, обезумевшие от крови, от вида множества трупов, кидаются на окопы. Дальние фланговые доты и дзоты ставят плотную завесу косоприветельного огня, и гитлеровцы валяются как подрубленные, не достигнув бруствера русских окопов. Уцелевшие отползают в спасительный ров и затаиваются там. Над полем боя повисает непрочная тишина, готовая взорваться в любую минуту новыми яростными криками, пальбой и гулом разрывов.

Передышка была недолгая, по ее постарались использовать, вынесли из траншей раненых, заново расставили защитников на узловых местах. И снова, как и раньше, на самые ответствен-

ные места — коммунистов: лично отвечаете за оборону! За нами — Москва, не забывайте!

Синцин — политрук все время находился на правом фланге роты. Он тоже пользуется передышкой, чтоб хоть двумя-тремя фразами перекинуться с бойцами: бьем врага как надлежит. Так и впредь держать! Заодно записывает тех, кто был ранен, но остался в строю, не ушел. За это надо награждать, потому что продолжать стрелять по врагу, продолжать рисковать головой, когда имеешь полное право покинуть окопы, — это уже чистый героизм и тут никаких свидетелей не требуется. Здесь же в окопе он встретил Хромова.

— Как построение, командир?

— Устал, — откровенно сознался тот.

— Это не ответ. На нас смотрит вся дивизия. Как думаешь, отобьемся?

— Нашел кого об этом спрашивать, — усмехнулся Хромов. — Есть приказ: ни шагу назад. Обязаны думать не о том, отобьемся или нет, а как лучше отбиться. Не знаю, не знаю. Пока живы — будем отбиваться.

— У тебя какое-то жертвенное настроение. Не от разговора ли с Ивановым? Не обещал к стенке поставить, если что?

— Обещал, — сознался Хромов. — Да только я считаю, что ставить скоро будет некого. Скоро немец нас своими пушками задавит, а наши все еще где-то идут. Только обещают поддержку...

— Не беспокойся, наш батя Горелов своих в беде не бросит, наверняка жмет сколько может и на артиллеристов, и еще кого на подмогу гонит. Для него вся жизнь в одном — служба Родине, других интересов нет. За ночь дадут подмогу, а пока и сами продержимся. Атаку отбили, теперь не скоро сунутся...

Но в пятом часу дня, когда не только политрук, даже бойцы уверовали в спокойную ночь, в то, что гитлеровцы уже выдохлись и утомились, из лесу высыпали новые густые их цепи. Вдрагивая, озаряя темнеющее небо всполохами, затряслась вдали земля, исторгая вой и визг летящих снарядов. Налет. Артиллерия прибавилось заметно, гуще грохот выстрелов и разрывов, к немцам подходят новые части. Всем понятно, что задние поджимают передних, торопят их быстрее вышибить пробку с пути. Дудкино? Какое там Дудкино — деревушка паршивая, стереть ее с земли, если она мешает. Укрепления? А для чего батареи? Снарядов не жалеть! Иначе не успеть к Москве, не видеть парада, обещанного фюрером. Танки уже давно прорвались и обложили Вязьму с русскими армиями, разметали все по сторонам, а тут какие-то фанатики не хотят понять, что дело их

проиграно. Быстрее! Показать, что с немецким оружием шутки плохи!

Батареи прямо с марша развертываются, начинают пристрелку, добавляя свой голос в ревущий гул металла.

Над русскими окопами бушуют разрывы, доты и дзоты прячутся в дыму. Оборона кажется вымершей, подавленной, растерзанной жестокими ударами, и невозможно представить, чтобы там еще уцелело что-то живое.

\* \* \*

Синицын привалился боком к окопу, чтоб не задело пульей, и оглядел свои доты. Вражеские снаряды рвут и кромсают их обсыпку, добираясь до нутра. Стараются немцы вклеить снарядами в амбразуру, может и удалось, потому что доты молчат.

— Командир, глянь, — толкнул он в плечо Хромов.

Хромов оторвался от телефона, чтоб посмотреть. Лицо у него осунулось, глаза запали. Доты видно без бинокля. Да, молчат, не видно, не слышно пулеметных очередей, а ведь люди там надежные, не сидели бы сложа руки, когда враги на подходе. Неужели побиты осколками?

Вражеская артиллерия неистовствует, а своя минометная батарея молчит. Или ее не слышно за гулом?

— Але, але! — снова закричал Хромов в телефон. — Давайте огня! Огня, понимаете! Противник совсем близко, вот-вот начнется атака. Да, накапливаются, а достать мне нечем. Нечем, говорю... — Он мучительно кривится, потому что рядом ахают мины, земля сыплется сверху на его широкие плечи, и он старается за грохотом, визгом осколков расслышать, что там ему отвечает Зыряно. — А, черт побери... — трясет трубку Хромов, когда она вдруг замолкает, словно кто перехватил вдруг провод. — Порыв на линии, что ли... Але, але!..

Хромов кинул трубку телефонисту и разогнулся. Так и есть, началось: гитлеровцы с остервенелыми лицами лезут из рва, а новые, те, что на подходе, тоже рядом. Получается, будто две цепи одна за другой накатываются к окопам. Их много — несколько сот солдат, они орут, секут перед собой из автоматов, а доты молчат, и над одним, ближним, взлетает огненно-черная шапка взрыва. Подорвали, подобрались, гады...

\* \* \*

Командный пункт батальона в трехстах метрах от Дудкино. В блиндаже — не повернуться. Прибыл командир первого дивизиона капитан Блинов — высокий, широкоплечий, в промокшей от дождя шинели, с потемневшим от усталости лицом. Первым

делом — протирает очки носовым платком, чтоб различить в темноте Иванова. Но увидев первым своего командира полка Соколова, кидает руку к фуражке и четко, заученно докладывает:

— Командир первого дивизиона прибыл...

— Где батареи? — оторвался от карты Соколов.

— На подходе. Жду через полчаса. Приказал развертывать огневые севернее Тишино. Вот... — Блинов расстегнул планшет с картой. — Не совсем представляю, где лучше устроить наблюдательный пункт.

— Иванов! — окликнул Соколов комбата. — Подскажи, где тут у тебя хороший обзор, чтоб видно было подступы.

— А-а, прибыла поддержка, — Иванов протянул руку для пожатия Блинову. — Долгонько добираетесь, дорогой...

— Пятьдесят километров. С самого утра на рысях.

— Ладно, верю. Бог войны не станет обманывать. Так тебе НП? Иди в Рождество, к Семенову — командиру минометной батареи. Оттуда, с левого фланга, вся наша оборона как на ладони. Он тебя и в курс введет. Устраивайся быстрее, а то кисло. Когда огня дашь?

Блинов пожал плечами, считая вопрос преждевременным: это же из сорокапяти пальнуть! Дивизион!

— Думаю, что к утру смогу подготовиться, — нехотя ответил он: эта пехота не считается с возможностями техники.

— К утру, к утру! — вскипел сразу Иванов. — Мне сейчас поддержка нужна, немец в атаку накапливается, засел во рву, а достать нечем. И батареей у него до черта, лупят по всей обороне, глушат доты и дзоты. Не могу я до утра ждать.

— Но и я так с ходу не могу. Техника! Нужна привязка батарей, пристрелка реперов! — Блинов вопросительно глянул на Соколова, по тот ничем не выразил своего отношения.

С Блиновым прибыли его командиры. Одних он отправил навстречу батареям, чтоб вели и ставили их на позиции, с другими подался отыскивать НП Семенова.

Уже вечерело, а в блиндаже и вовсе казалось, что на улице почь, когда землю сильно трянуло и докатился раскат сильнейшего взрыва. Сумятица голосов смолкла, и в эту тревожную выжидательную тишину ворвался чей-то отчаянный крик:

— В ружье! Немцы прорвались и движутся на КП!

Лейтенант Зыряно, напрасно «алекавший» у телефона — связь прервалась, когда он вел разговор с Хромовым, — пулей вылетел из блиндажа. На его обязанности лежала оборона командного пункта. Глянув в Дудкино, он понял, что там творится неладное: пылали сразу несколько домов, подожженных то ли пулями, то ли зажигательными снарядами, и в сумерках казалось,

что пламя охватило всю деревню, а тревожные сполохи рвут и кровавят пизко нависшие над пожарищем облака. От неизвестности — как там, что там? — сжалось сердце.

Трассирующие пули расчеркивали опускавшуюся на землю темень; брызгая в стороны от горящей деревни, пулеметная стрельба создавала впечатление, что в деревне все кипит. Да, в Дудкино что-то случилось, но никаких гитлеровцев близ КП Зырянко не увидел. Это уже кто-то спаниковал.

Минуту спустя вошел запыхавшийся лейтенант — особист из полка. Еще переводя дыхание и утирая с круглого молодого и безусого лица пот, он вибрирующим от волнения голосом стал докладывать Иванову:

— Вот здесь... — он потянулся карандашом к карте командира и указал место. — Взорвали наш дот. Просочились на стыке рот в трапшею, ворвались в Дудкино. По-моему, там вся рота Хромова полегла, они всех уничтожили. Я был рядом...

Иванов побледнел как бумага:

— Не может быть, вы что-то путаете!..

— Все верно, товарищ комбат, — вмешался Зырянко. — Дудкино пылает, стрельба в нашу сторону. Я только что смотрел.

Половина из тех, кто находился в блиндаже, не принимали в управлении боем никакого участия, хотя считали своим долгом находиться поближе к комбату, одни с целью контроля, другие для помощи и совета, третьи для того, чтобы информировать из первых рук своих начальников о происходящем. И вот настала решительная минута, когда события, как лучи через линзу, сфокусировались в одной точке — на Иванове. Только он один мог сейчас решить, какой шаг надлежит предпринять. Это уж потом каждый на свой лад будет судить и рядить, как следовало поступить, а сейчас царил полное и тягостное молчание.

— Ладно, — промолвил Иванов. — Зырянко, запрашивайте в ротах обстановку. Связист, вызывайте командира полка!

Фишер не поверил своим ушам, услышав весть о том, что гитлеровцы ворвались в Дудкино, что рота уничтожена.

— Что? Не может быть! Да ты думаешь, о чем говоришь? — и вдруг взорвался, разразился площадной бранью: — Мерзавец! Трус! Я расстреляю тебя как изменника! Под суд! Понял? Немедленно поднимай всех, кто есть, и вышибай гитлеровцев! Лично, лично! Сам! И чтоб через час Дудкино было очищено, или я вас, сукиных сынов, всех порасстреляю. Сам, своей рукой! Понял?..

В трубке что-то грохнуло, затрещало.

— Але, але, центральная! Але! — зачастил связист, но на его голос никто не отозвался. — Не отвечает. Положил трубку, — деликатно заметил связист.

Иванов сидел словно оглушенный случившимся, словно он и являлся самым виноватым в беде батальона, оказавшегося на пути гитлеровской дивизии. Старший политрук Сыров, весь день не отходивший от Иванова, слышал произошедший разговор и тревожился не меньше комбата, потому что нес ответственность наравне с ним. Предстояло докладывать Шмелеву, а как, как признаться в том, что не оправдал возлагавшихся надежд? Он тронул Иванова за плечо:

— Надо что-то предпринимать. Что будем делать? Решай...

Иванов не успел ответить, связист сунул ему трубку в руки: вызывают! Говорил Миронов — комиссар полка. Он не бранился, говорил спокойно, однако сурово: почему допустили прорыв укреплений полосы, почему не управляли боем? Отсиживались в блиндаже, вместо того, чтоб... Разговор был прерван на полуслове — вызывала дивизия. Если хорошая весть идет пешком, то плохие разлетаются птицами. Горелову доложили обстановку в общих чертах, теперь он требовал объяснений конкретных. Иванов выложил все, что ему было известно. Он знал горячий нрав генерала и откровенно его побаивался. Этот не станет кричать, а просто поставит к стенке и будет прав, и никому решение не обжалуешь. Генерал полный хозяин в дивизии и волен сам наказывать или миловать подчиненных.

— Ну вот что, — заговорил генерал, — за такими укреплениями можно сидеть год, а вы отдаете на второй день врагу Дудкино и сводите к нулю всю трехмесячную работу дивизии. Неужели вы думаете, что немец дурак и станет еще где-то прорывать укрепленную полосу, если это удалось ему у вас? Да он поперет сюда валом, только дай ему опомниться! Надо немедленно выправлять положение. Собирай всех, кто есть, и контратакуй. И чтобы к утру Дудкино было ваше. Не сделаешь — пеняй на себя, отдам под суд. Ты там командир, с тебя и полный спрос. Задачу понял? Как у тебя с боеприпасами?

— Мины на исходе, и большие, и малые.

— Ладно, я тут подтолкну своих, чтоб подбросили прямо к тебе, минуя боепитание полка. Не клади трубку, с тобой комиссар хочет поговорить...

Воспользовавшись минутным перерывом, Сыров поднялся:

— Вы тут готовьтесь, а я в роту Карнаухова. Я быстро...

Он страшился разговора со Шмелевым, ведь тот потребует разъяснений, а что ему сказать? В роте хоть что-то узнаешь.

Ночь темная, и в разрывах туч проблескивают звезды. Землю приморозило. Огненные трассы пулеметных очередей метались, пересекаясь на встречных курсах. Шел бой, значит кто-то из защитников еще оставался в живых. Сыров пригнулся и побе-

жал правее Дудкино, подалее от света догоравших домов. Спрыгнув в ход сообщения, он вскоре паткнулся на бойцов из роты Карнаухова. Они вели огонь по деревне, где в свете пожаров мелькали порой фигуры перебежавших гитлеровцев. Подошел политрук Голубев. Автоматной очередью ему располосовало шинель, порезало ремень, а самого не тронуло, и это чувство близкого соприкосновения со смертью теперь волновало политрука, сорокалетнего человека.

Сыров коротко поставил задачу: сковать противника огнем, не дать ему распространиться! Собрать бойцов, разъяснить, что от их действий теперь зависит судьба всей обороны дивизии, что всем комсомольцам и коммунистам пришла пора личным примером воодушевить людей, и как только будет команда — дружно подняться и выбить противника из Дудкино. Это наш общий долг, мы обязаны его выполнить...

— Понимаю, — ответил Голубев. — Командир роты уже собирает людей. У нас здесь всего два взвода, третий за речкой — в лесу. У них там шесть дзотов, не снимешь...

Сыров побежал на командный пункт: его уже наверняка не раз спрашивал Шмелев. Бежал, а сердце колотилось от каких-то неясных предчувствий. Гитлеровцев сотни, удастся ли их выбить, когда одна рота уничтожена вовсе, другая в неполном составе? За этой тревогой не думалось о пулях, свистевших и рассекавших темноту. Только заскочил в блиндаж, а телефонист уже протягивает трубку: вас спрашивают!

— Докладывает Сыров...

— Как вы допустили прорыв противника в Дудкино? — услышал он знакомый, но недовольный голос Шмелева. — Даете ли вы себе отчет о последствиях? Как это произошло? — Он выслушал Сырова не перебивая. — Сумели пропустить врага, сумеете и выбить. Организуйте контратаку немедленно. До рассвета положение должно быть восстановлено. На вас лежит большая ответственность. Командиру батальона указания даны, мы тоже принимаем меры, а ваша задача обеспечить выполнение приказа. Совершенно очевидно, что утром противник пойдет в наступление и этот клинушек для него очень важен. Успеха вам, — уже более доброжелательно закончил Шмелев.

Сыров знал комиссара давно, служил под его началом. Шмелев не прибегал к необоснованным угрозам, держал всегда себя в руках, и речь его отличалась четкостью. Он более всего полагался на партийную совесть, на партийное понимание долга, но если отдавал распоряжение, то требовал выполнения, не отступая ни перед чем. И вот сейчас комиссар счел нужным напомнить об ответственности.

Старший политрук чувствовал себя не легче, чем в далеком детстве, когда, не имея возможности учиться в школе, тайком проник в класс, где занимались взрослые, устроился под партой и вдруг был замечен учителем. Он тогда вылез, ожидая невесть какого наказания, но мужики, косматые, бородатые, заступились за него: «Это Сыровых парнишка. Батка у него больной лежит, а детей семеро, побираются все. Не хулюган, хороший парнишка». И учитель разрешил ему сесть за парту вместе с мужиками. Разве думал, что все так кончится, думал: пропал, побьют, с позором выгонят за порог...

И еще думалось, что не будь советской власти, пропали бы они все, когда не стало матери, свалился отец. Мать убило в грозу на сенокосе. Шла с косой, держала дочурку за руку, когда молния ударила. Девочку отбросило, а мать убило. Ведро, которое несла в руке, сплющило в лепешку. Привез ее отец на телеге, собрал их все мал-мала мешьше, горько расплакался: «Нема у нас больше маты!» Семен — старшим был, не плакал, может, потому, что не верил. Ведь лежит мама на телеге, сейчас возьмет и встанет. И только когда мужики, собравшиеся со всей деревни, положили мать на землю и начали бить ее по пяткам обухом колуна, он заревел и кинулся на них с кулачками: «Ой, маму убивают!» Не знал, глупый, что по деревенским поверьям только так и можно было выколотить из человека молнию, оживить. И уж если не оживал, значит, все, божья на то воля. Жили-то у Васюганских болот в глухой деревеньке...

А потом и отец, израненный, искалеченный в японскую войну, свалился, и пошел Семка с сумой, просить куски по дворам, побираться, чтобы самому выжить и меньших поднять. На всю жизнь запомнился учитель — Арсений Петрович, принявший горячее участие, тащивший любознательного парнишку от класса к классу, пока тот не закончил первую ступень. Книжки давал читать, потому что своих никогда не имел Семка. Однажды дал гоголевского «Вия». Откуда было знать парнишке, где правда, где вымысел, а там такие страсти. Да еще отец, когда спросил его, ответил: «Бывает, сынка, всякое на свете!»

После четвертого класса Семен уже избачом устроился, с мужиками на антирелигиозные темы разговоры вел. Время подходило горячее, беспокойное. Однажды постучал мужик Сыровым в окно: «Эй, Яков, Семен твой дома? Нехай идет в сельсовет, там кто-то с району приехал, цара будут нашего деревенского выбирать!» Оказалось, приехали, чтобы организовать в селе комсомольскую ячейку. Сырова и выбрали в секретари, потому что беднее, чем они, в округе не имелось. И он старался работой прилежной отблагодарить советскую власть за все хорошее.

И она его не забыла. Когда в 1925 году в район дали трактор — самый первый, может, на всю Сибирь, Семена послали учиться на тракториста. С трактористов и в армию пошел служить. И опять учили, растили, доверили высокую должность.

А теперь, когда пришла пора защищать советскую власть, родную землю, не справиться с первым боевым заданием! Вот это и угнетало более всего, больше страха за свою жизнь страшило. Кажется, навалилась гора на плечи, не дает вздохнуть.

Иванов глянул на него вымученными глазами, усталыми до смерти, повел широкими плечами, сквозь отчаяние свое заставил себя улыбнуться спекшимися губами.

— Будем контратаковать! Так, товарищ замначподива? Вы будете со мной или как?

— С вами, — ответил Сыров.

— Тогда за дело! — Иванов приказал Зырянко организовать по Дудкино огонь. — Бекмансуров! Ячейку управления ко мне! Я сам возглавлю контратаку.

— Товарищ капитан, — возразил Зырянко, — этого не следует вам делать. Случись что, батальон окажется без хозяина...

— Выполняйте свои обязанности, а я свои!

Эх, сейчас бы огня артиллерии, да побольше! Но Блинов не готов, хотя мог бы поставить на прямую наводку батарею. Случай исключительный, не очень бы спросили за то, что преступил свое наставление. Но не рискнул, боится потерять орудие. Соколов мог бы помочь, приказать, по не хочет. Никто не желает рисковать, что-то там ломать, а ты выкручивайся как хочешь, веди людей на пулеметы. Другого выхода нет.

В Дудкино не стихает бой, там все клопочет от стрельбы, взлетают ракеты, ими буквально все озарено. Выскочил из блиндажа Зырянко:

— Карпаухов повел своих в контратаку!

— Пора и нам. Шевелись, быстро...

На командный пункт подошла большая группа бойцов. Остановились, дышат запаленно, видно шли форсированным маршем, самые первые, самые скорые. Все при винтовках, в зеленых фуражках пограничников, налегке.

— Кто такие? — окликнул их Иванов.

— Подкрепление, — ответил старший группы. В темноте петлиц не видно, не разберешь — красноармеец или сержант. Да и какое это имеет значение в данную минуту?

— Вовремя! — обрадовался Иванов и обратился к Сырову: — Прошу вас подготовить эту группу, объяснить задачу. А я пойду со своими. Команду над прибывшими примет Фомин, он знает здесь каждый окоп. Лейтенант Фомина!

— Есть принять команду! — ответил связист — командир взвода. — Группа, в две шеренги становись! Смирно! Товарищ старший политрук, группа построена!

Сыров вспомнил напутственные слова комиссара и произнес самую короткую из всех своих речей:

— Товарищи бойцы, враг вклинулся в нашу оборону, захватил Дудкино. На этом рубеже мы обороняем нашу родную Москву — столицу Родины от варварского нашествия фашизма. Вперед, товарищи, на заклятого врага!

Фомин скомандовал: «За мной!», и бойцы побежали в сторону пылающего Дудкино.

Стояла пугающая осенняя ночь. В темное небо врезались осветительные и сигнальные ракеты, светящиеся трассы очередей рассекали воздух, накрывая землю огнистой паутиной. Вся ярость вражеского огня на Карнаухова. Нельзя упускать этого момента, тем более что и минометы начали обстрел деревни. Пылали дома и сараи, озаряя землю кровавым светом.

— Подымайсь! — Ивапов выскочил из окопа, призывно взмахнул рукой. — За мной! Вперед!

Первая заповедь боя — вклинулся противник, или атакующая вражеская пехота уже возле окопов и ее ничем не сдержать — поднимай своих в контратаку, навстречу, в штыки, и враг покажет спину. Карнаухов молодой командир, а понял свою задачу, не смалодушничал, пошел Хромову на выручку. Только на выручку ли? — думает Иванов, если можно назвать размышлениями те мгновения, когда возбужденная мысль точно острием клинка касается то одной, то другой грани огромной задачи, высвечивая зарницей детали, выпукло зримые лишь на миг. Нужна ли Хромову выручка, если рота полегла, сгорела в жертвенном огне. Тут другое — каждый выполняет свой долг до конца. Пришел час! Вот и он, комбат, с винтовкой в жилистых руках, выставив перед собой острый штык, не оглядываясь, следуют ли за ним остальные, летит в огонь, и нет силы, которая повернула бы его вспять. Огонь! Хоть собственной кровью, но надо залить огонь, пылающий в его окопах! Все остальное ушло, отодвинулось куда-то за кулисы его памяти; и только стук собственного сердца. А может, это стук пулеметных очередей ему навстречу? Не понять. Хоть то, хоть другое, его путь только вперед.

— Ур-ра! За Родину! — это Сыров с винтовкой СВТ наперевес. Он грохочет сапогами след в след, на миг оглянулся, чтоб никто не отставал, чтоб убедиться в сплоченности.

Ивапов опередил всех, подавал пример подчиненным, как это делал на Хасане, как велела ему совесть в эту минуту. И вдруг хлесткий посвист пули, и он на бегу, со всего размаху рухнул

на подмороженную землю, и она отозвалась на его падение гулко, и тотчас раздался чей-то полный отчаяния крик:

— Командира убило!

Но не произошло замешательства, потому что кто-то другой призвал не останавливаться:

— За нашего капитана, вперед!

— Коммунисты, вперед! — Сыров вырвался вперед, чтоб люди видели его и следовали за ним.

Не было страха, не было растерянности, все перегорело, и оставалась только одна цель: не упасть, добежать до деревенских изб, зацепиться хоть за краешек деревни, чтоб потом бить и бить врага, чтоб ни один не ушел. Сыров не помнил, как секли воздух пули, не видел, как падали рядом люди. Он просто почувствовал, что остался один, что рядом никого нет. Оглянулся, убедился в этом и в отчаянии повалился на землю: почему его, а не других пощадила судьба? Почему? Зачем? Чтобы он до конца испыл всю горечь поражения? Чтобы он, переживший этот адский огонь, своими устами рассказывал о позоре, о том, что приказ не выполнен, что деревня все-таки не отбита, держал ответ за живых и мертвых, и как тот изменник, приговоренный к расстрелу в действующей армии, стоял перед своими товарищами, не смея поднять глаз? Как смотреть теперь в глаза Шмелеву, остальным, кто поверит, что он сделал все, что мог, и не его вина, что именно он остался в живых, а не Иванов, не Фомин, не те пограничники. Что теперь делать? Что делать?..

Сыров поднялся и, чувствуя себя опустошенным, смертельно усталым, направился на командный пункт. Винтовка волочилась прикладом по земле, и не было в руках силы забросить ее за плечо. Угас вражеский огонь, только стерня багрянилась в свете затухавших пожаров, и трупы побитых солдат от этого казались неестественно черными. Они лежали кто где, раскинувшись, как были брошены на землю смертью. Брели раненые, стелая от страданий, и Сыров завидовал и тем и другим. Пролитая за родину кровь — святая кровь, они выполнили свой долг, и никто не спросит с них, почему не дошли до цели, и только ему предстоит горькая доля отвечать за всех. И он нес в своем сердце боль, которой не унять никакими лекарствами.

\* \* \*

Зырянко старался поддерживать контратаку, командовал минометчикам; чтоб те вели огонь, был возбужден и не сразу обратил внимание на голос Бекмансунова:

— Товарищ старший лейтенант! Товарищ начальник штаба... Бекмансуров был залит кровью, она испятнала его зеленый

ватник, и Зырянко сначала подумал, что ординарец ранен, но тот крепко держался на ногах, и похоже, что на нем была чужая кровь. По глазам видно — беда!

— Что случилось, говори!

— Ай, худо, совсем худо, капитана ранило. Надо скорей везти санчасть. Быстро надо, иначе помрет капитан...

— Сейчас, — Зырянко снова схватился за телефон, вызвал фельдшера и затребовал повозку, чтоб немедленно, иначе...

Дела прямо-таки захлестывали его, и он отправил ковода, чтобы тот встретил повозку и фельдшера, и не оставалось ему времени на прощание с товарищем и своим начальником, как договаривались когда-то, еще в Красноярске, когда гадали, кому как поступить. Издали, в розовом свете молодых надежд, все, казалось, будет иначе, романтичнее.

Следовало бы расспросить, при каких обстоятельствах ранен Иванов, куда, но в свете той беды, которая свалилась на батальон, любопытство казалось неуместным, праздным, лишеным начисто смысла, даже кощунством по отношению к страдающим, к тем, кто сложил голову. Столько народу перебито в батальоне, что душа у Зырянко уже не могла отзываться состраданием, очерствела, словно бы взялась коркой. Он только подумал: «Хорошо, что не убит!», не предполагая даже, что и ранение может оказаться смертельным. Ему и в голову не пришло забрать для сохранности документы раненого комбата, его карточки, письма — самое интимное, что каждый хранит при себе как самое дорогое напоминание об оставленных родичах, семье, любимой, полагая, что сам Иванов сохранит это лучше.

Зырянко не видел, как Бекмансуров укладывал на повозку своего не подающего признаков жизни командира, как подтыкал под голову солому, чтоб не бился о голые доски, когда будут везти по осепней подмерзшей дороге. Хмурый возница молча ждал, когда дадут команду трогать. Фельдшер накладывал повязки на пулевые раны в груди; дыхание и пульс не прослушивались, и он считал, что наступила клиническая смерть, но не говорил этого, потому что тогда отпадала сама необходимость бинтовать, гнать повозку до санроты. Мертвого можно предать земле всюду, мертвому все равно, где лежать.

— Пошел! — дал он команду ездовому, и лошадь пошла, застучали колеса по мерзлой земле, заколыхалось тело комбата.

Бекмансуров горестно покачал головой. Он был потрясен гибелью своего командира и, когда тот грянулся о землю, подскочил к нему, видя, что лежит недвижим, кое-как взвалил на себя, такого рослого, тяжелого, и нес его до самого командного пункта, понимая свой долг как верность командиру до послед-

него своего вздоха. И вот — один. Кто будет его повым командиром? Это был очень важный для него вопрос, и он, вздыхая, тихо и незаметно проскользнул в блиндаж и забился в темный угол, чтоб подумать над тем, как жить дальше.

А повозочный, понукая лошадь и пугливо оглядываясь на гремевшую позади стрельбу, уже миновал Тишино и въезжал в лес, когда услышал, что сзади его окликают чужие голоса. Оглянулся, увидел на незнакомцах темные мундиры, услышал непопятное «Хальт! Хальт!», хлестнул изо всех сил лошадь вожжами. Он был папугап уже тем, что пришлось в такую темень везти мертвеца, — если б живой, так застонал бы или пошевелился, а то недвижим, — да еще немцы. Он не сомневался, что его окликали враги. «Стреляют, непременно стреляют в спину, — со страхом думал он, нахлестывая лошадь, хотя та, взбрыкивая и ударяя задними ногами по передку, и без того неслась галопом. — Господи, пронеси! Господи...» — молил бога, в которого никогда не верил, возница, стараясь удержаться на повозке, бросаемой на ухабах. Ивапов давно был мертв, еще когда Бекмансуров волок его на своей спине. Никем не удерживаемого, его бросало от борта к борту, пока наконец, при особенно резком толчке, не перекинуло за борт. Ударившись о твердую землю, труп перевернулся и свалился в кювет. Там он и остался лежать, никем не захороненный, уткнувшись лицом в землю.

Гитлеровские разведчики, обошедшие болотом деревни Рождество и Аксенино, где совсем не оставалось бойцов Хромова, не стали ни стрелять, ни преследовать возницу. Наступал рассвет, а им еще надлежало возвращаться. Вот почему они не увидели Иванова, и только днями спустя, когда лавина врагов схлынула к Сычевке, одна из тишинских женщин узнала в убитом комбата, который не раз проносился па караковом жеребце по деревенской улице. Повздыхав, поохав, она принесла лопату и вырыла у обочины могилку и, заметив место, четверть века молчала об этом, пока учительница соседней бочаровской школы не завела речь, как со старожительницей, о подвиге сибирского батальона. И тогда, всплакнув, повела ее на могилу Иванова, того самого...

\* \* \*

Зырянко ничего не оставалось, как доложить о Иванове, что батальон остался без комбата. Фишер сразу же спросил, как Дудкино, и узнав, что бой продолжается и положение пока неопределенное, потому что возможности все исчерпаны, приказал принимать батальон под свою руку. Временно. Продолжать выполнение задачи, восстановить положение, очистить Дудкино

от противника. Зыряно ответил: «Есть!» — новое назначение не обрадовало его и не взволновало, потому что фактически он уже принял батальон на свои плечи, принял в самой невыгодной обстановке, когда ничего хорошего ждать уже не приходилось.

Да, назывался батальон, а о ротах не было ни слуху ни духу. Сначала сообщение о гибели роты Хромова, теперь неизвестно, уцелел ли кто из роты Карнаухова, а надо прикрывать фронт и немедленно. Зыряно распорядился передвинуть из-за речки Вязовец взвод Чикина, потому что ясно было — враги в лес едва ли пойдут, скорее полем, через Бахметово, и это направление нужно было срочно прикрыть. Неизвестно было, кто есть в окопах или пет в Аксенино, за которым артиллеристы остались без прикрытия. Он заикнулся было об этом, но Фишер оборвал его, сказав, что артиллеристы тоже воины и могут позаботиться о себе сами. А вообще, разберется, выедет сам...

Между тем блиндажи вблизи командного пункта заполнялись незнакомыми людьми. Дело было не столь безнадежно, как Зыряно казалось, оно просто переходило в другие руки. Майор — пограничник, как оказалось командир прибывающего полка, уже распоряжался, согласовывал что-то со своими, с артиллеристом Соколовым. Люди нового полка прибывали с марша усталые, тут же занимали окопы, ходы сообщения, обкладывая Дудкино со стороны Бахметово.

Зыряно плохо воспринимал суть громких разговоров, потому что обалдел уже от них, почти две ночи не смыкал глаз и даже его железный организм сдавал. Он понял, что готовится новая контратака, что прибывающий полк получил задачу выбить противника из Дудкино, но в подробности вникнуть уже не мог — не соображал от усталости.

Пришел Сыров. Блинов, с которым он состоял в дружбе, обнял старшего политрука за плечи и увел в другой блиндаж, потрясенного и еле передвигающего ноги. Связные, посланные в роту Карнаухова, вернулись с плохой вестью: рота полегла в контратаке. Нет ни командира, ни политрука. Что с ними, где они погибли, установить пока не удалось. И это Зыряно не взволновало, он уже пережил их гибель. Зато из Аксенино вдруг позвонил Хромов: он жив, в окопах...

— Пока оставайтесь на месте, — распорядился Зыряно.

Надвигалось тревожное бледное утро. В сумерках уже проступали силуэтами кустарники и деревья. Утро девятого октября. Никто не мог сказать, что принесет грядущий день. Разгоралась, вскипала стрельба, ухали орудия. Цепи пограничников — солдат в зеленых фуражках — кинулись в атаку, и вражеские пулеметы прямо-таки захлебывались от торопливости.

## Глава четырнадцатая

Вечером роту подняли «в ружье». Не объясняя причин, построили в колонну и повели. Крутов оглянулся. На фоне узкой пламенеющей полоски зари четко прорисовывались похожие на скирды слежалой соломы оставляемые доты и дзоты. За деревней, на перекрестке, рота влилась в колонну батальона. Ни остановки, ни разговоров, — влились и пошли. Бойцы несли на себе только оружие да то, что успели взять, строясь по тревоге. Многие остались в блиндажах и дотах, но никто не ставил им это в вину. Шли быстро, молча, вслед за своими командирами, без привалов, не решаясь даже курить на ходу, потому что в небе стоял неумолкающий рокот немецких самолетов и дрожащий свет ракет мерцал в темном, по-осеннему тяжелом небе. По сторонам от дороги, напиваясь зловещим багрянцем, расправляли крылья далекие пожары. Тяжелее пулеметного станка и коробок, пабитых лентами, гнула их идущая по пятам беда и отчаяние. В том, что беда настигает, не приходилось сомневаться: то и дело вся колонна со скорого шага сбивалась на рысцу, и тогда гремели котелки, сильнее обычного дребезжали и грохотали повозки.

Сумароков шел с коробками в руках и, сердито поддегивая сползавшую с плеча винтовку, дудел в уши:

— Называется — добиваем врага... Так и до Москвы добежать не хитро. Только трепаться... Такой укрепрайон отдали, а на голой болотине за какую-нибудь Соплевку, где ни шиша не будет, заставят драться. Ты вот скажи, почему бежим?

У Крутова кроме винтовки и вещевого мешка на плечах тело пулемета — ни много ни мало девятнадцать килограммов. Говорить ему совершенно не хочется, не до того. Лихачев несет станок пулемета — еще тяжелее, а тут уже который час без отдыха, да еще «на рысках». Чтобы погасить этот никчемный разговор, Крутов нехотя отвечает:

— Замолчи, без тебя тошно.

Некоторое время Сумароков шел молча, потом опять принялся точить душу, как ржа железо:

— Как жареным запахло, так Кузенко сразу поближе к штабу смотался...

Это верно, Кузенко уже четыре дня как отбыл в штаб полка, но зачем — пока никто не знает. Вызвали срочно, даже попрощаться не успел, значит, нужно.

— Тебе-то что? Он же пулемет за нас все равно нести не станет.

— Мне что, пускай, — неожиданно согласился Сумароков

и, оглянувшись, сказал: — Слышь, Пашка, а Коваль наш смотался, деру дал!

— Провались он! Никуда не денется, объявится.

— Нет, в самом деле. Я за ним все время наблюдал. Он все вертелся, вертелся, а как лесом шли, вышел будто по нужде и не вернулся. Вот будет дело.

— В хвосте где-нибудь плетется.

Но тут неожиданно вмешался Лихачев:

— Все может быть. Надо лейтенанту сказать, а то ему еще неприятность будет. Костя, возьми у меня станок, а то я и так уже сколько несу. Тебе вдвойне полезно: трепаться меньше будешь и беды не наживешь.

По сторонам от дороги стали возникать дома, значит, вступили в какую-то деревню. Посреди улицы стоял обоз полковой транспортной роты. Ездовые дремали на повозках, доверху груженых имуществом. Хотелось остановиться, перевести дух, попить воды, а команды на привал не дали. Только за деревней, когда дорога пошла сжатым полем, роту остановили, Туров устроил переключку. Ого, исчез не только Коваль! В роте недосчитывалось еще несколько человек. Туров выждал минуту и снова выкликнул их фамилии.

— Нету, — сказал кто-то неуверенно, — были бы — откликнулись, не глухие.

— Где-нибудь по деревьям попрятались, за бабьими подолами схоропились...

— Не трепись! Отстали — и все. Идем форсированным, не каждому такой темп по силам. Станем на привал — догонят...

Туров обвел строй выжидательным взглядом темных запавших глаз.

— Командир первого взвода, доложите, когда не стало ваших людей? — спросил он сурово.

— Не могу сказать, люди устали, идут как попало.

— Хорошо, — промолвил Туров. — Если они не объявятся в течение суток, будем считать, что они дезертировали. В военное время никакие причины не могут служить оправданием для самовольно выбывших из подразделения. А теперь давайте поговорим честно, по душам. Партия считает, что наши командиры политически зрелы, преданы делу Ленина и могут решать любые вопросы самостоятельно. Поэтому, для большей гибкости управления войсками, в армии вводится единоначалие. Это налагает на нас, командиров, большую ответственность за состояние воспитательной работы. Проводить ее командиры рот, взводов, отделений будут не одни, а в тесном контакте с коммунистами и ком-

сомольцами. Сейчас, в момент отступления, задача поддержания высокого морального духа является главной.

Почему я об этом говорю? Дело в том, что у нас в роте не стало политрука. Вы это, наверное, заметили. Он откомандирован на месячные курсы. Командование нашло нужным часть политработников переаттестовать на строевых командиров, и Кузенко вошел в их число. В этом нет ничего зазорного. По себе скажу: командовать людьми легче, чем их воспитывать. Политработнику необходим талант такой же, как и во всяком другом деле, — искра божия, только тогда он на своем месте. Вполне возможно, что Кузенко не обладал нужными качествами по молодости, но что он предан Родине, партии, в этом я не сомневаюсь...

Туров задумчиво прошелся перед строем. Рота стояла не шевелясь, ожидая, что он скажет.

— Я — военный, это мое ремесло, и вся моя жизнь в том и состоит, чтобы защищать Отечество. К этому меня готовили, этому учил я вас, и с этого пути мне сворачивать некуда. В Сибири осталась моя семья, вы это знаете, и пусть лучше я сложу свою голову, чем допущу, чтобы дети мои были опозорены моей изменой. Мне так же, как и вам, дорога жизнь, но когда встает вопрос, кем быть — свободным человеком или надеть ярмо и гнуть спину перед фашистами, — тут уж ипого пути нет, как только драться не па жизнь, а на смерть. Если бы речь еще шла только о том, быть рабом или свободным человеком. Ведь Гитлер задался целью не просто обрести жизненное пространство для немецкой нации, он ставит вопрос об уничтожении славянских народов. Кто тешит себя надеждой, что сумеет приспособиться к гитлеровскому режиму, еще успеет в этом горько разочароваться. Нас постигло большое несчастье, мы терпим неудачи, вот сейчас отступаем, не видя перед собой врага, но это временное. Я верю, мы переживем, выстоим, всему еще научимся — и воевать, и побеждать, потому что мы — армия свободного народа, потому что мы ведем справедливую войну. Я коммунист и не могу быть равнодушным к судьбе своего Отечества, к делу нашей ленинской партии, и я требую от вас самой строгой дисциплины. Без нее мы пропадем, а мы должны жить, чтобы своими глазами увидеть победу. Она еще далеко, многие не доживут до нее, но я верю в нее и вижу тот радостный день, когда народ отложит в сторону оружие и приступит к мирному труду. Никогда не забудутся те, кто смело добивался победы. Воздастся должное и тем, кто забыл о Присяге, кого мы вычеркнули сегодня из списков своей роты. Воздастся...

Это было серьезное предупреждение, и оно заставило всех призадуматься, подтянуться. Крутов ни на минуту не усомнился

в искренности Турова: не ради красного словца затеял он этот разговор. Но сейчас не менее важно другое — хоть немного отдохнуть. «Привал!» — командует Туров.

Не снимая с натруженных плеч мешков, пулеметчики легли на стерне за кюветом дороги. В темноте раздался чей-то голос:

— А что политрук, вернется к нам в роту или поедет в тыл?

— Прежде всего политруки — такие же командиры Красной Армии, как и я, как и другие. У всех у нас общая задача — отстоять свою родину от врагов, — ответил Туров. — Пройдет подготовку и получит назначение на общем основании. Возможно, в наш полк, возможно, в другой — куда найдет нужным командование. Не беспокойтесь, войны на всех хватит, в том числе и на Кузенко. Нашу землю нам и придется освобождать, вот только соберемся с силами...

— Видал, сколько разбежалось наших? — спросил Сумароков. — А ты говоришь... Пока дотопаем, куда следует, половины не окажется.

— Не все разбежались, не думай, — сказал Лихачев. — Я сильный, сам знаешь, а тоже чуть дотянул до привала. Конечно, Ковалю нашему непростительно, он ведь налегке шел.

— Догонят — хорошо, не догонят — не жалко. — Крутов был зол и ни капельки не сожалел, что кто-то решил отсидеться, пока трудно. — Все одно от таких добра не жди. В бою бы подвели, еще хуже...

— Ничего, не все время отступать. Пойдем назад — всех соберем, тогда поговорим. Уж я бы с Ковалем потолковал.

Лихачев угрюмо потряс кулаком.

\* \* \*

У Ковалья не было друзей ни в отделении, ни в роте. Хоть и прослужил два года, а поговорить по душам не с кем. Чувствовал — бойцы его терпят, подчиняясь дисциплине, потому что он командир, а доведись трудная минута — ни один не придет на выручку. Был бы еще на месте Кузенко, но политрука уже который день как вызвали в штаб полка, и, говорят, он уехал на курсы. А поговорить с кем-то требовалось настоятельно. Коваль догадывался: произошло что-то очень серьезное, иначе почему бы бежали сломя голову, на ночь глядя, без выстрела оставив такой укрепрайон.

Коваль вышел из строя, чтобы пропустить отделение. Сумароков шумно сопит — несет пулеметный станок. Вразвалку прошли Лихачев, Крутов, остальные бойцы. Все нагружены, потому что повозка, на которой положено везти пулеметы взвода, забра-

на в транспортную роту. Видно, начальство решило, что важнее взять имущество полка, а пулеметы и так не бросят. Вот и приходится бойцам пести на себе помимо винтовок, снаряжения еще и пулемет с коробками лент. «Ни черта — допрут», — вид навьюченных бойцов, с которыми так и не сдружился, не вызвал в душе Ковалья сочувствия.

Некоторое время он шел сбоку, потом приотстал — вспомнил, что среди стрелков идет его земляк Яков Знобыш.

Колонна уже который час идет без остановок, поэтому бойцы шагают вразброд, подразделения внутри роты перемешались. Знобыша Коваль узнал по фигуре: сутулится, волочит кривые тонкие ноги, загребая ботинками песок. Молча пристроился рядом. Знобыш кивнул ему головой, прохрипел:

— Земляк, дай закурить! — и покрутил длинной тощей шеей, будто воротник не давал ему дышать. Голова, прикрытая стальной каской, болталась при этом, как гриб на червивой ножке. — Тикаем, як дурни, неведомо от кого. Аж в глотке все пересохло. Завертывай, чего ждешь. Я за этой суматохой, черти б ее взяли, весь свой тютюн оставил.

— Маскировка ж... Приказано не курить.

Знобыш махнул рукой:

— Яка там маскировка, когда ночь, ни одна собака на нас не смотрит. Хващисту сейчас не до нас, он бьет тех, кто брыкается, а мы чего... Мы и так тикаем!

Коваль нехотя нашарил в кармане кисет и, оглянувшись, нет ли поблизости кого из командиров, кивнул Знобышу: «Айда в сторонку!»

За кюветом, когда отошли, прикрылись палаткой, закурили. При красноватом свете Коваль видел худые щеки Знобыша, западавшие воронками при затяжках. Кадык ходил вверх-вниз.

— Ото добре, земляк, — откашлявшись, сказал Знобыш. — Сразу серденько отмякло, як тот кожаный лапоть, смазанный жиром.

Они шли обочиной, рядышком, и могли разговаривать без опаски: за шумом идущей колонны их никто не услышит.

— Видно, крепко где-то Гитлер нажал, — раздумчиво сказал Коваль. — Тикаем добре.

— А ты думаешь... Жмет, да еще как. Техника... — Знобыш оглянулся, не идет ли кто по пятам, и заговорил: — Ты хлопец молодой, не помнишь пемцев, а я их на своем веку повидал: на все руки мастера. Какого ни возьми. У них и мельницы, и маслобойки, и машины, они и сахарные заводы держали, пока советская власть их не повыщибла. Зажиточно жили. Культурно...

— При чем здесь культура?..

— А при том... Ты приглядишься, чем немец берет, — машиной. У него и тапки, и самолеты, и автоматы, а у нас? К зиме всю коммунию под корень возьмет.

— Возьмет ли? — усомнился Коваль. — Видишь, сколько силы топают.

— Ото, что отступает, сила?! — Знобыш засмеялся, будто услышал нечто совсем неразумное. Потом поддернул сползавшую с плеча винтовку и зашептал на ухо Ковалю: — Никогда не бывает такого, чтобы разбитое войско побеждало. Разве только мы тикаем? Все войско тикает. Неспроста. Значит, где-то опять разбиты в пух и прах. Как было под Киевом? Окружил — и нема всего войска... Как корова языком слизала. И генералов и всех. Без разбору. Так и сейчас где-то. До поры до времени никто не знает, а пройдет неделя-полторы — объявится. Народ, он все видит, от него правду не скроешь... Сам подумай, чтоб Гитлера сейчас остановить, надо крепко стоять, чтоб тебя, как гвоздь в стенку, в землю вбивали, а ты ни с места. А кому интересно за здорово живешь жизнь молодую ложить? Раньше в песнях пели: за землю, за волю... А где оца — земля? Где воля? Зажали — не пикнешь. Так за что смерти в очи смотреть?..

Знобыш сердито сплюнул, некоторое время шел молча.

— Ох, милый, — заговорил он снова елейным тоном, — как неосторожно ты поступил. В такое трудное время каждый думает, как бы жизнь сберечь, листовочки припасает, а ты заявил. Сознайся — ты? Ведь я никому об этом не говорил, только тебе. Теперь, слышал мельком, кое-кто на тебя зуб точит. Сам понимаешь, вот-вот бой, а в бою разбери, кто куда стреляет: кто в немца, а кто тебе в спину. Эх, молодость, молодость...

— Вы же сами мне сказали, кто в роте с листовками, — пробормотал Коваль. — Откуда б я знал...

— Ну и сказал, так что?.. Вот теперь с тобой говорю, узнай кто, о чем мы беседу ведем, тоже по головке не поглядят. Однако ты же не побежишь меня выдавать. Скажи, так — нет?

— Что же мне сейчас делать?

— Кто ж знает... Погорячился ты, погорячился... Батько твой эвакуировался али под немцем?

— Под немцем они сейчас, — угрюмо ответил Коваль. Он был озадачен таким оборотом разговора. Подстрелят запросто. Знобыш зря болтать не станет. Это пройдоха — сквозь землю видит. Чертовский нюх у него. Раз говорит, значит, действительно поговаривают. Коваль почувствовал, как страх заползает в душу. Что же делать?

— Я тебе зла не желаю, — заговорил Знобыш. — Ты добрый хлопец, по ты мне в сыны годишься и жизни еще не знаешь.

Слухай хорошенько, что я тебе скажу... Не знаю, кто твой батько, хрестьянин или на заводе где робит, а вот я був хрестьянином. Не смотри на меня, что мал, зато на работу я злой. Крепко хозяйствовал. Все было: и скот, и молотилка, и земля. А началась суматоха с колхозами, не стал я ждать, пока за воротник возьмут, что можно — размотал, остальное кинул да и подался в дальние края, где меня ни одна хвороба не сыщет. В заготовконтору устроился, скот принимать. Что-что, а скотину я понимаю, тут меня никакая собака не проведет. Потом на железную дорогу перешел. Так и работал. Никому не открывался, а тебе верю. Видно, судьба связала нас одной веревочкой. Так вот, когда Западную Украину Советы под себя взяли, не вытерпел я, поехал посмотреть. Думал, может останусь там. Нашлись там такие, что помогли мне сойтись с понимающими людьми...

— С какими понимающими?

— А ты не перебивай, слухай. С такими, которые дальше нас с тобой видели. Так вот они мне отсоветовали. Эти люди еще тогда знали, что пойдет немец войшой на Советы, и в тот день, когда сгинет коммуния, придет час освобождения для Украины... А до той поры, говорят, сиди в Сибири, потому что там тоже богато украинского люду. Вот и открывай, говорят, им глаза...

— Наверное, махновцы, петлюровцы бывшие, вот и говорили. Как мой дядька, которого тоже в Сибирь угнали, — усмехнулся Коваль недобро.

— Какое мне дело, бывшие они или нет? Умные люди, — сказал Знобыш и, озираясь, зашептал: — Нема нам ниякого резону ждать, пока командиры сунут наши головы под обух. Переждать смутное время трэба. Сейчас ночь, догляду за людьми нет, отошли в кустики, будто по нужде, да и в сторонку... Кто нас искать станет, не до того!

— Ну, уйдем, а дальше? Куда потом деваться? — угрюмо спросил Коваль. — Назад не подашься — немец, за войсками идти — дня не пройдет, как схапаят и к стенке поставят. С дезертирами разговор какой...

— Назад подадимся, в деревеньку, где стояли. Есть там одна вдова не вдова, не наше дело, бабка, одним словом. Договорился я с ней, примет нас. За отца с сыном сойдем. Зиму как-нибудь пересидим в тепле. Конечно, дровишек, то-се самим готовить придется. А там на Украину подадимся. Немца бояться нечего, немец хоть и хвашист, а всех подряд, под одну гребенку стричь не станет. Нет ему ниякого резону хрестьянина изводить... А коммуньи к тому времени и духу не будет, так что дезертиры не дезертиры — все одно будет. Немец — он силен, сам видишь, жмет без передыху. На меня положись, не подведу.

Листовочки-то помнишь? Которые дурни были, те попались с ними, а я приберег. Вот она где у меня, милая... — Знобыш похлопал себя по груди. — Лежит. А между прочим, в ней сказано, чтобы все украинцы возвращались на свою землю, потому что немцы с нами не воюют. В случае чего — покажем...

Коваль слушал его, и страх прямо-таки леденил ему душу. В самом деле, куда ни повернись, везде труба: свои не подстрелят, так немецкую пулю в бою найдешь. Что немец силен, наслушался, пока стояли в укрепрайоне. Да и Знобыш — пройдоха, ухватил прямо за глотку — не отвяжешься. Скрутить бы его, да разве он дастся? Знает, что за такие разговоры бывает, в живых свидетеля не оставит. Пырнет штыком — и ходу! Кто его станет ловить в такой суматохе?!

— Ото, бачишь, гай начинается... — Знобыш цепко схватил Ковалья за руку. Пальцы были сухие, жесткие, будто костлявые. — Отойдём, будто по нужде, будто живот скрутило... Ты еще не знаешь, а я испытал: жизнь, она вот как дорога. Прижмет — сапоги лизать готов, только бы жить. Поймешь сам, спасибо потом скажешь...

И Коваль поддался, уступил: может, и в самом деле лучше переспидеть зиму? В кустах они пригнулись, прислушались, не идет ли кто за ними следом. Колонна текла по дороге с шорохом, стуком, лязгом. Никому не было дела ни до Ковалья, ни до Знобыша, которого почти никто в роте не знал как следует.

— Пошли, — выпрямляясь, сказал Знобыш. — Москали сами придумали советскую власть, нехай сами ее и защищают. А мы погодим. Нема дурных.

\* \* \*

За все время службы Крутова это был первый случай дезертирства на его глазах. Но сейчас уже ничто, кажется, не могло его удивить. Ему тревожно, тоскливо. Жить хочется, ведь еще ничего не изведаль в жизни. Так много планов...

В его заплечном мешке помимо всего прочего этюдник с красками. В походе каждый килограмм дает о себе знать, и Крутова давно водмывает освободиться от лишнего груза, да все не хватает решимости. Краски для него не просто материал, а кусочек его прежней жизни, надежд, мечтаний. Попробуй выбрось! А что-то делать надо. Крутов достал этюдник.

«Белил у меня два тюбика — хватит одного, сиени — тоже, я их расходую мало», — рассуждал он, перебирая краски.

Ему не надо рассматривать этикетки и читать их, он все свои краски знает на ощупь по весу, по форме и величине тюбика, как слепые узнают своих.

— Ты что хочешь делать? — неожиданно спросил Лихачев.  
— Выброшу лишние, нести тяжело, — признался Крутов.  
— Которые лишние, давай мне, — вмешался Сумароков.  
— Поровну поделим — и будет незаметно, — сказал Лихачев.

Милые мои друзья! У Крутова на глазах навернулись слезы. Он ничего не успел сказать. На дороге остановилась полуторка с имуществом. Наверху сидели и лежали бойцы. Из кабины высунулся человек, крикнул:

— Позовите командира роты!

Пулеметчики по голосу узнали Матвеева, передали по цепи: «Командира роты к комиссару полка!» Туров подошел, и они стали разговаривать вполголоса.

— Это какая рота, четвертая? — раздался с машины писклявый голос, по которому Крутов безошибочно узнал Лаптева, клубного художника. Вот кстати!

— Женька! — крикнул он. — Ты откуда здесь?

— А это наша машина, клубная, — ответил Лаптев. — Ну как ты тут, тяжело?

— Женька, — торопливо заговорил Крутов, — будь другом, возьми мой этюдник, а то у нас пулемет, тяжело и так...

— Давай его сюда, быстрее!

— Только сохрани, слышишь, я потом у тебя его заберу.

— Понятно, сохрапю!

Крутов рад, что так хорошо все получилось, и крепко пожал Лаптеву руку: «Будь здоров, дружище!» И пора, машина тронулась по дороге, не зажигая фар.

— Вот и хорошо, — сказал Лихачев. — Все равно, пока не станем где-нибудь, едва ли они тебе потребуются, эти краски.

## Глава пятнадцатая

Жизнь не баловала генерала Горелова. Молодые годы его прошли во Владимире: там он учился в гимназии, а потом нанялся в типографию, сначала крутил ручку печатного станка, а приглядевшись к делу, встал за наборную кассу. Типография выпускала небольшую газету, работа была горячая, приходилось хватывать и вечера, но зато было интересно узнавать новости из первых рук, горяченькие. Может, проработай он десятка два лет, и набил бы оскому, паглотался бы свинцовой пыли и познал бы другую сторону этого тяжелого, по сути, труда, но разразившаяся мировая война оторвала его от наборной кассы. Природ-

ный ум, смелость, приличное для того времени образование помогли ему успешно закончить полугодовую офицерскую школу и пройти в царской армии путь до штабс-капитана.

Больше, чем какие другие сражения этой бесцельной и губительной для народа войны, его внимание привлек брусилловский прорыв. К этому времени Горелов занимал должность командира пехотного батальона, вникал в существо тактики, понимая, что посредством искусного использования ее приемов можно достигать цели с меньшими жертвами, и сразу проникся уважением к человеку, который нашел смелость отбросить устоявшиеся каноны, отверг шаблонное планирование операции. Брусиллов основные надежды возлагал не на свой гений, а на мощь артиллерии и сметку, храбрость, преданность русского солдата. Да, этот сухощавый, подтянутый генерал умел не только мыслить крупными категориями, но и прекрасно понимал душу простого солдата. Он не чуждался общения с рядовыми и младшими офицерами, умел сочетать отеческую заботу о них со строгостью, и армия поверила в него, поверила в конце войны, когда, казалось, все и вся зашли в тупик и будущее виделось мрачным и безнадежным. Этот прорыв был последней вспышкой воинского гения в царской армии, еще раз подтвердивший высокие боевые качества русского солдата.

Горелову не довелось увидеть затухания этой операции. Осколок немецкого брзантного снаряда, тяжелая контузия надолго уложили его на госпитальную койку. На ней он встретил весть об отречении царя от престола, а потом и весть о свержении Временного правительства. С идеями революции он познакомился давно, когда помогал набирать и тайно печатать запрещенные листовки и брошюры. Может, поэтому не было у него колебаний, с кем и чему служить, когда Губком направил его в Красную Армию. С тех пор судьба его неотделима от армии.

Сидя в кабине полуторки, он сейчас думал только о делах армии, был озабочен только судьбой своей дивизии. О чем другом мог думать одинокий человек, никогда не имевший семьи? Все свои незаурядные способности, энергию он отдавал службе. Двадцать лет он учился сам и учил войска ратному делу. Учил, воспитывал, произвольно воспроизводя в своей практике методы и приемы лучших полководцев России. Его детьми были стриженные, неловкие на первых порах новобранцы, им он отдавал весь нерастраченный в молодости жар сердца. Другой жизни, помимо армии, он не знал, чуждался ее, зачастую скрывал свою тоску за внешней резкостью, грубоватостью. Сознание, что он одинок и ему нечего терять, придавало его суждениям некоторую независимость. Он не терпел лжи, заискивания, был честен в

большом и малом, и когда слышал, что кто-то говорит о другом за глаза плохое, мог оборвать его резким, как пощечина, словом: «Трус!», невзирая на то, что мог испортить отношения с этим человеком навсегда.

Он не щадил себя ради службы, не чуждался тягот, которые выпадали в походах и учениях. Мало кто знает, как ему досталась благодарность маршала и хорошая оценка, которую получила его дивизия на учениях округа осенью сорокового года. Три дня переходов, встречных боев, трое суток постоянного напряжения без сна и отдыха вконец измотали его. Он едва держался на ногах, хотя обладал редкостной работоспособностью. Просто есть предел человеческим силам. Перед решающим «наступлением» он позволил себе небольшой отдых: отдав штабу необходимые распоряжения, постелил под навесом у коновязи охапку сена и улегся, подложив под голову седло. Но едва сомкнул глаза, как подошел военком Шмелев.

— Безобразие! Ты извини, Александр Ивапыч, что я тебя разбудил, но если не припять меры, все летит к черту... Штаб не успеет подготовить приказ к утру, как это необходимо. Начальник штаба утверждает, что на это потребуется четыре часа, а кому он тогда будет нужен? Надо прочистить ему мозги...

Оторвать голову от седла было свыше человеческих сил. Не открывая глаз, Горелов сказал:

— Оставь. Этим делу не поможешь. Если тебя не затруднит, Дмитрий Иванович, прикажи, чтобы прислали ко мне лучшего писаря штаба. Хорошо бы — Ялунина.

Помнится, шуршал по навесу дождь вперемежку со снежной крупой, лошади хрупали сеном, запах конского пота и навоза мешался с сырой свежестью поля. Писарь пришел с бумагой и фонарем. Горелов боролся с дремой, то погружаясь в нее, как в темную воду, то выныривая.

— Садись, пиши, — приказал он Ялунину.

Так, лежа на сене, Горелов диктовал приказ, временами замолкая и засыпая от усталости. Писарь осторожно покашливал, и Горелов снова вспоминал, зачем он здесь и что от него требуется. Удивительно, но он тогда не упустил ни одного пункта боевого приказа, и за тридцать минут приказ был написан. Его вовремя доставили инспектирующим офицерам Генерального штаба, и он был признан отличным.

Но что приказ в сравнении с настоящим боем! Нет более Резервного фронта, с первых чисел октября дивизия вошла в состав армии Маслова, и обстановка сейчас такова, что все армии Западного фронта действующие. Говорят, что Маслов горячий, стремительный в решениях и резкий в поступках человек. Он

готов обнять, как родного, любого, кто умело выполнил задачу, и с такой же решительностью, ни минуты не колеблясь, разбросать, поставить к стенке за провал.

Горелов склонен оценить в нем горячую заинтересованность в деле, решительность как положительные качества командарма. Только бы не было опрометчивости, суеты, от которых страдают войска не меньше, чем от нерасторопности военачальников!

Так размышлял Горелов, потому что не мог думать о чем-то другом, кроме службы, а она в первую очередь зависит от того, как наладятся отношения с начальством.

Машины качает, подбрасывает на рытвинах. Шофер пристально следит за дорогой и за тем, чтобы не отстать, по и не наскочить на идущую впереди машину. Ночь ясная, звездная, в небе самолеты — как только на дороге образуется пробка и машина останавливается, доносится прерывистый гул, — и колонна движется с потушенными фарами. Вдали, в стороне Ржева, не угасая, стоит зарево, над городом лопаются искры — разрывы зенитных снарядов. Иногда в ровном красном зареве вдруг обозначаются слабые всполохи света — это немцы бомбят город.

Ждали, готовились к немецкому наступлению, а оно с первых же дней поломало все планы. Большими силами ломит. Прорвана линия обороны армий первого эшелона и укрепленная полоса обороны Резервного фронта. Укрепрайон дивизии, по сути, обойден, и все летит прахом. Весь труд дивизии и пяти тысяч ржевских и калининских женщин... Седьмого октября противник предпринял атаку на левофланговый батальон. Дивизия на батальон. Горелов хорошо знал комбата Иванова. Командир-практик, он обладал качествами, ставившими его вровень с другими командирами и даже выше: смелостью, чисто практическим складом ума и, самое главное, — преданностью. Он знал, что защищает, и показал, как это надо делать. «Прекрасный человек. Жаль, что узнаем людей поздно, когда они сгорают».

Неожиданно, без всякой связи, всплыл в памяти Сидорчук. Так и сгинул человек. А ведь тоже считал, что знал его хорошо... «Нет, в Иванове-то я не ошибся, — сказал сам себе Горелов. — Еще неизвестно, чем кончится и с Сидорчуком. Разве мало брали понапрасну? Может, уже давно дерется на каком-нибудь из фронтов». Плохо. Было три надежных полка, стало два. Вместо третьего кадрового, забранного в Вязьму месяц назад, прислали только что сформированный. Да, трудно найти другого такого комбата, как Иванов. Его батальон отбил атаку седьмого октября. Но на другой день против него уже стояли части трех дивизий, и по дотам и дзотам молотили шесть дивизионов артиллерии. Гитлеровцам удалось преодолеть противотанковый ров и захватить деревню

Дудкино. Иванов собрал силы батальона и перешел в контратаку, чтобы восстановить положение, но погиб, получив смертельное ранение. Дудкино оставалось у врага. Горелов предвидел такой оборот дела и еще ночью седьмого приказал, чтобы на помощь Иванову вышли артиллерийские и стрелковые подразделения. Утром восьмого, после разговора с маршалом Шапошниковым, в дивизию был передан третий полк, спящий по тревоге с селижаровских укреплений и переброшенный в дивизию на машинах. Горелов и его прямо с марша двинул в контратаки. Восстановить положение не удалось, противник крепко вцепился в Дудкино, мог беспрепятственно наращивать силы и не только отбил контратаки, но и оттеснил защитников с дороги. В дальнейшем — десятого и одиннадцатого, хотя подразделения и занимали свои позиции севернее Тишино — у Печишенки, но хозяевами положения были уже немцы.

Да, если бы знать, где пойдут гитлеровцы. Ждали-то их на Оленинском направлении, а они рванули на Сычевку, и перестраивать боевые порядки было уже поздно. Если б еще не расстояния! А то фронт дивизии был свыше тридцати пяти километров, и это при отсутствии рокадных дорог. Да, был...

Слово «был» больно резануло Горелова по сердцу. Трудно смириться с мыслью, что напрасными оказались труды и волнения трех месяцев. Все оставлено! Бесцельность дальнейших усилий по удержанию укрепленного района стала ясна вечером девятого. Судьба укрепрайона была решена на соседнем участке, южнее, где танки противника прорвались на Сычевку. Позвонил командарм Маслов и сообщил, что противник распространяется от Сычевки на север. Надо немедленно выводить войска к Ржеву. Часом позже Маслов поставил задачу: силами дивизии выбить противника со станции Осуга, не допустить продвижения.

Но выполнить эту задачу дивизия уже не могла. Части третьи сутки в непрерывных переходах. Отход из укрепрайона вредно отозвался на моральном духе бойцов. К тому же на плечи личного состава свалилась новая забота: вытащить материальную часть, особенно артиллерию. Коня валятся с ног от усталости. Вся надежда на бойцов. На трудных участках дороги они сотнями метров волокут орудия на руках.

При такой быстротечности событий нет возможности организовать взаимодействие, поддержать пехоту артиллерией, части вступают в бой разрозненно, с ходу. И, конечно, Осугу не взяли, только незначительно потеснили противника, понесли потери. Коренная сибирская дивизия оросила поля Смоленщины своей кровью. Сейчас новый приказ: выходить на Ржев. Горелову прибить в штаб армии.

Что могло произойти? Куда бросят дивизию? Неуверенность, быстрота, с какой рушится фронт, подтачивают и без того пошатнувшуюся стойкость частей. Хуже того, па беспрерывных продолжительных маршах можно потерять управление частями.

Ночь близится к концу, вот-вот начнут гаснуть звезды. Горелов привычным движением поднес руку к лицу, высвобождая часы из-под рукава кожаного реглана. Шестой час. Заревом пад Ржевом растет, ширится. Всполохи орудийных выстрелов справа. Тревога за части, идущие где-то сзади, когда противник уже так близко от города, вытеснила вдруг, неожиданно и властно, все остальные мысли Горелова, больно сдавила сердце. Он решительно распахнул дверцу кабины, промозглый сырой ветер обдал лицо. Впереди, насколько позволяла видеть мгла, колыхалась лавина машин, повозок, орудийных упряжек. Чьи это части?

Дорога как река. Плывут по ней льдины — судьбы тысяч людей, теснимых вражеским нашествием. Ни обогнать, ни объехать их, все забито от кювета до кювета, во всю ширь...

\* \* \*

Первый эшелон штаба армии занимал деревню неподалеку от Ржева. Патруль придирчиво сличил документы Горелова с его личностью и лишь после этого разрешил проехать. У большого крестьянского дома, крытого щепой, Горелов остановил машину, приказал шоферу укрыть ее где-нибудь неподалеку за стеной сарая, а сам поднялся па крыльцо. Час был ранний, и он спросил у часового, поднялся ли командующий.

Часовой — широколицый сероглазый парень с веснушчатым носом — внимательно оглядел его и лишь после этого ответил, что генерал еще не отдыхал. Глянув на запыленную полуторку, пробежавшую несколько десятков километров, прежде чем попасть сюда, он, видимо, связал это с усталым видом Горелова и уважительно сказал:

— А вы проходите, товарищ генерал, у нас «хозяйин», если по делу, принимает в любое время. — Нахмурившись, добавил: — Сейчас не до сна.

В приемной возле стола, за которым сидел адъютант, примостились несколько полковников разных служб. Они беседовали вполголоса, прислушиваясь к разговору за дверью. Едва адъютант доложил, командующий тут же вызвал Горелова.

— Садись! — указал он ему на стул. — Сейчас займусь тобой, вот только разберусь...

Маслов был взволнован, стремительно расхаживал по избе.

— Ну, чего замолчал? — обратился он к подполковнику, стоявшему перед ним. Офицер вопросительно глянул на Горелова воспаленными глазами, Маслов перехватил его взгляд: — Ничего, продолжай, пусть послушает... Это офицер оперативного отдела, — объяснил он Горелову. — Я посылал его в Ржев, к соседу, чтобы уточнить обстановку, согласовать действия...

Горелов впервые встретился с командующим и теперь с любопытством к нему приглядывался. Это был невысокого роста, коренастый и энергичный в движениях человек с властным голосом и жестами. Крепко посаженная седая голова, стриженная под бобрлик. Волевое лицо. Но особенно поразили Горелова его глаза: казалось, что он смотрит не на него, а куда-то дальше, сквозь. Таково было странное свойство этих его серых глаз, выдержать взгляд которых, не отведя свои, было просто свыше всяких сил. Говорил он четко и раздельно, и каждое слово было понятно и запоминалось.

Горелов слышал, что Маслов пришел на армию из наркомата Внутренних Дел, где занимал высокую должность. Считалось, что это самые надежные люди, хотя до войны они имели дела лишь с внутренними войсками, где тактике, боевой деятельности внимания почти не уделялось.

Прорыв третьей немецкой тапковой армии на Сычевку ставил армию Маслова в исключительно тяжелое положение. Соединения, отброшенные с направления главного удара, отходили в сторону, в полосу действия армии Маслова, внося беспорядок, дезорганизуя тылы, запустывая дороги. Мало того, армия тоже вынуждена была перестраивать боевые порядки, занимая оборону фронтом на юг и юго-запад, чтобы не допустить сворачивания остальных сил Западного фронта, не подвергшихся лобовому удару. Все это вынуждало армию перейти к маневренной обороне, которой свойственны быстротечность и сложность управления. Такое положение нервировало Маслова, остро переживавшего за действия своих войск, честолюбивого, понимавшего, что в эти дни решается судьба народа и его собственная, как военачальника. Выдержит, справится, — значит, будет надежда на рост по службе, нет — конец как личности, как генералу.

— Командующего и начальника штаба в городе не оказалось, — начал рассказ подполковник. — Выехали. Куда? Никто сказать не мог. Первый эшелон штаба эвакуировался. Руководил сборами полковник. Когда я обратился к нему и попросил ознакомиться меня с обстановкой, он обругал меня и сказал, что сейчас ему не до того. Мол, со стороны Погорелого Городища вот-вот ворвутся танки... У них там настоящая паника: все жгут, в машины валят, что попадет под руку и как придется... Хлам, доку-

менты... Никакого порядка. Это не перемещение. Бегство. Естественно, что они ничего не могли сказать о войсках...

— Надо было выехать к войскам... — перебил Маслов.

— Я так и сделал, товарищ командующий. Части отходят через город. Полная неразбериха, все перемешалось. Я насчитал части трех соединений. Командиры совершенно не ориентированы в обстановке, связи со штабом армии не имеют и выводят подразделения на свой страх и риск. Комендантская служба на дорогах и в городе отсутствует. Склады с имуществом и боеприпасами горят. Население, напуганное бомбежками, покидает город. При таком положении враг может войти в город беспрепятственно. Командам саперов отдан приказ взрывать мосты...

— погоди, — перебил офицера Маслов. — Если не принять сейчас же экстренных мер, они же оставят нашу армию без переправ. Адъютант! — крикнул он, приоткрыв дверь в переднюю. — Начальника инженерной службы!

— Я здесь, товарищ командующий! — откликнулся полковник, поднимаясь со скамьи.

— Зайдите ко мне! — приказал Маслов, а сам прошел к телефонам, поднял трубку: — Гулин, какая дивизия у нас ближе всех к городу? Каргополова? Прикажи немедленно организовать оборону на подступах, фронтом на юг и юго-запад. Перекрыть все дороги. Предупреди, возможны атаки танков с направления Погорелого Городища. Командиру дивизии принять на себя обязанности коменданта города. Железной рукой навести там порядок. Самые крутые меры, вплоть до расстрела трусов и паникеров. Невзирая на ранги. Так и скажи: лично спрошу! Чтобы к двенадцати дня он там был полным хозяином. Понял? Да, да! Моими правами! — закричал Маслов, багровея. — У них там бордель, и действовать надо решительно. Этого требуют интересы государства, понял? Я немедленно поставлю в известность фронт, Ставку... Ну? Мигунов и докладывает! Он находится у меня... Они же ставят под угрозу не только нашу армию, а весь фронт. Это же хуже предательства!..

Маслов кинул на рычаг трубку, обернулся к инженеру, который стоял вытянувшись и держа руки по швам:

— Бери трех офицеров из своего штаба, взвод автоматчиков из охраны КП, на машины — и в город. Чтобы через час все мосты были под вашим контролем. Пока не пройдет вся наша армия, никаких взрывов. Команды, которые там находятся, снять, заменить своими. Выполняйте. Учтите, отвечаете головой!

Полковник, бросив короткое «Есть!», выскочил за дверь. Маслов прошелся из угла в угол, широко расставляя ноги. Хмурясь, он собирался с мыслями. Сообщения, принесенные офицером его

штаба, были столь неожиданны, что повергли его в изумление. Надо же! Целая армия бросает боевой участок, без сопротивления отходит перед врагом! В том числе и командование...

— Ты вот что, Мигунов, — остановился он перед офицером, — пока иди. Тебе придется потом выехать к Каргополову, проконтролировать, как он там, помочь. Всех, кто отходит, брать в руки, иначе они сомнут и наших... Через час вызову.

— Видал? — кивнул Маслов Горелову, молча наблюдавшему всю эту сцену и ясно представлявшему положение, которое складывалось на фронте. — Болтовни много, а как коснулось дела — кишка слаба. Надо же додуматься: еще целая армия западнее Ржева, а они взрывать мосты. Мерзавцы! — Маслов стукнул кулаком по столу. — Ударились в панику, бросают на произвол судьбы...

Он не договорил. Новый телефонный звонок заставил его раздраженно схватить трубку:

— Да, слушаю! Дергачев? Докладывай, как с эвакуацией «больших труб». Что? Невозможно? Это точно? Да они там с ума посходили!.. — Разразившись площадной бранью, Маслов бросил трубку телефона и схватил другую: — Немедленно соедините с фронтом. Да, командующего... Товарищ командующий, докладывает Маслов. Прошу принять меры к моему соседу слева — Толкунову. Он открывает доступ противнику в город. В результате вся моя армия под угрозой удара во фланг. У него там полная потеря управления. Я направил туда хозяйство Каргополова, но этого недостаточно. Мало того, сейчас мне доложили, что мост железнодорожный взорван, а у меня остаются морские орудия Канэ, снятые в укрепрайонах, боеприпасы, имущество, которое иным путем, как только по железной дороге, я не имею возможности вытащить. Как быть? — Маслов слушал, изредка наклоняя голову. — Вас понял. Орудия будут уничтожены. Прослежу лично. Приму все меры, чтобы ускорить. Понимаю... Что, всю эту армию принять в свое подчинение? Я не ослышался? Его не в подчинение — под суд военного трибунала!.. — Лицо Маслова приняло упрямое, злое выражение: — Я все-таки буду ходатайствовать в официальном порядке о привлечении к суду. Таких вещей прощать нельзя... Хорошо, слушаю. Постараюсь. Буду наводить порядок в его войсках, а уж там он пусть разыскивает меня и входит в подчинение. До свидания!

Маслов положил трубку телефона, позвонил Горелову к столу, на котором была разложена карта:

— К сожалению, сведения о захвате Погорелого Городища подтвердились. Оставлен Зубцов. Дорога на Старицу и Калинин открыта для вражеских танков. Твоя дивизия перебрасывается

за Ржев, возможно, придется перекрывать врагу дорогу. Ускорь движение своих. Я тебя для этого и вызывал, чтобы предупредить. Командующий фронтом требует форсировать выход. Ты все слышал, в курсе. Поэтому ступай, не задерживаю.

— Будет исполнено, товарищ командующий, — ответил Горелов, проникаясь ответственностью задачи, которая выпала на его долю. Они обменялись рукопожатием.

— Откровенно, — сказал Маслов, — в прошлый раз мне жаль тебя было отдавать, и хорошо, что ты сумел на своемстоять. Сибиряки были, есть и будут лучшими войсками Отечества.

В передней толпились старшие офицеры с петлицами всех мастей. Горелов вежливо, но напористо, боком, протиснулся к выходу. На крыльце вздохнул глубоко. За какие-то полчаса он стал свидетелем бурно развивающихся событий. Кто знает, что будет дальше? Волоколамск на острие вражеского клина...

Он огляделся, ища глазами шофера, но тот уже завидел его и бегом бросился к машине. Люди сновали между домами, по задворкам, а середина деревенской улицы оставалась пуста, и Горелов еще раз подумал, что у командующего крепкая рука и даже на КП порядок.

Недалекие, видимые с крыльца перелески были затянуты сизой пеленой тумана. Небо, еще два часа назад звонкое, звездное, давило на землю серое и непроглядное. Горелов с удовлетворением отметил, что такая погода как нельзя кстати, и если продержится подольше, будет хорошо: не станет досаждать авиация. Он взглянул на часы — девять.

Из-за сарая вырулила полуторка. Шофер еще издали предупредительно распахнул дверь.

## Глава шестнадцатая

Туман, не ослабевая, держался до вечера. Погода для авиации никудышная, нелетная. Для отступающей пехоты хотя и промозглая, сырая, холодная, но все-таки хорошая: день обошелся без налетов и бомбежки. Четвертая рота ночь отдыхала в деревне, в тепле, да и утром выступила после того как бойцы поели, засветло.

Направление, в котором движется полк, определилось: на Ржев. Теперь командиры обеспокоены одним — как бы противник не опередил, не отрезал полк от города. Откуда может появиться противник на дорогах перед Ржевом, никто толком не знает, по разговоры об этом ведутся по всей колонне.

Теперь в батальонную колонну все время вклиниваются машины, батареи на конной и механической тяге, обозы других полков дивизии. Дорога становится тесной для потока войск отступающих. Все стремятся скорее проскочить к Ржеву, потому что только в городе мосты через Волгу. Чем ближе к городу, тем плотнее поток. Дорога забита до отказа, создаются пробки, это задерживает движение, нервнрует людей. Только сядешь отдохнуть — командуют «бегом», стоишь и ждешь, не снимая с плеч оружия, и колонна, как нарочно, стоит.

Тулов старался держать роту компактно, по это плохо удалось: сбоку идут чужие подразделения и все время вклиниваются в строй роты. В темноте трудно разобрать, кто и откуда, и строй, по сути, нет.

Жители прилегающих к дороге деревень, напуганные приближением противника, поразбегались, по сторонам горят избы, пуни, сараи. Сквозь красный туман, окутавший землю, скупо светят костры пожаров. Воздух так напаян гарью, что кажется, будто вся земля в дыму, а не в тумане. Высокие ели по сторонам от дороги, как черные великаны, бесстрастно взирают на колонну, которая длинным бесконечным червем ползет по дороге.

Наступила ночь, а еще ни одного привала с утра. Будто забыли про отдых. Впереди возникла стрельба. Колонна остановилась. Стрельба разгорается все ближе. Ни у кого нет сомнения, что впереди бой. Значит, неспроста торопились.

— Отрежут, вот будет дело, — вслух высказал мысль, тревожившую всех, Сумароков.

— Ничего, — успокоил его Лихачев, — пробьемся лесом. Тут всюду леса. Ты по карте понимаешь, Пашка?

— Понимаю. Только где ее взять?

— Раздобудем. Главное, друг от друга ни на шаг, идет?

И Крутов и Сумароков согласны: в случае чего, держаться вместе. Вместе — не пропадем.

Колонна двинулась. С каждой минутой убыстряется движение, повозки с оглушающим дребезгом и лязгом катятся по щебенистой дороге, орудийные упряжки идут рысью, артиллеристы бегут, придерживаясь за передки и стволы орудий. Бежит и пехота. Громыхание, как шум прибоа, слышно за километр.

Лес неожиданно расступается. По сторонам размахнулись зарева. Кипит отдаленный расстоянием пулеметный огонь, лопаются минометные разрывы, огненные трассы орудийных выстрелов расчёрчивают тьму туда — обратно: стреляют трассирующими, и смешно, но Крутову кажется, что идет ночная игра в теннис. Все бегут без передышки. С грузом на плечах, усталому, бежать невыносимо трудно, и липкая горечь перехватывает горло.

Узкое место осталось позади, темп движения сразу падает.  
— Товарищ командир! — окликает Сумароков Турова. —  
Что это было? Откуда здесь противник?

— Со стороны Сычевки пробился, — ответил Туров. — У вас все в порядке, пулеметы целы? Ничего не потеряли? Где Газин?  
— Газин был все время с другим расчетом, — ответил Лихачев. — Должен быть впереди.

Некоторое время Туров шел молча, потом опять спросил:

— Коваль не объявился?

— Не видно, товарищ лейтенант.

— Ладно. Смотрите не отставайте. Вас, Лихачев, назначаю командиром пулеметного отделения.

— Слушаюсь, товарищ командир! — бодро ответил Лихачев. — За нас не беспокойтесь...

Привала не было. Перед городом, у самой дороги, стояли на огневых позициях дальнобойные орудия. Задрав хоботы, они смотрели назад, в ту сторону, откуда шла понурая пехота. А впереди уже прорисовывались окраины Ржева. Город горел. Сизая, как воронье крыло, туча дыма вздымалась в небо. Ручьи отступавших войск, слившись здесь, перед городом, в один поток, понесли по узкому каменному коридору улицы. В урчанье машин, в грохоте повозок по булыжной мостовой гасли людские голоса.

К тому времени как пулеметчики вошли в город, пожары из разрозненных слились в один — общегородской. Горели сразу целые кварталы, улицы, мастерские, депо, электростанция, — горело все, что могло гореть. Горящие строения с гуденьем втягивали холодный воздух, пламя ревело, срывало с железных крыш дымящиеся листы, взметывало их, как сухую листву ветер, в небо вместе с головнями и тучами искр. С треском рушились балки, стропила, горели заборы палисадников, корчились в судорогах черные ветви деревьев, дымились на улице трупы побитых во время бомбежки лошадей. Уцелевшие оконные стекла отливали раскаленным металлом, и непонятно было, играет на них свет огня или они сами нагрелись и вот-вот потекут.

Город уже покинут жителями, гражданской властью и предан огню, чтобы врагу не достались ни добро, ни крыша над головой. Никто ничего не тушит, ни о чем не заботится. Подгоняемые глухой орудийной пальбой, все стремятся быстрее проскочить через город, связавший в тесный узелок дороги, идущие с разных направлений. Лошади упорствуют, не хотят шагать через поваленные дымящиеся столбы, встают на дыбы. Ездовые матерятся, окутывают им головы плащ-палатками, силой волокут за собой, им на помощь приходят расчеты орудий, бойцы. В этой сумятице все связано общей заботой: быстрее за город! С гиком,

гамом, грохотом и треском течет по улице людская река, выплескивается на городскую площадь, за которой спуск к мосту через Волгу. За Волгой жилые кварталы города тоже в огне, но там уже спасение. Река задержит противника. Так кажется многим.

Улицей Коммуны, прижимаясь к стене двухэтажного дома, еще не прихваченного огнем, стараясь обогнать, обойти кого возможно, чтобы быстрее вырваться из этого ада, живо напомнившего Крутову картину гибнущей Помпеи, пробирались пулеметчики. Внезапно сверху посыпались стекла, и па тротуар шлепнулся цветочный горшок с геранью.

— А если бы на голову хряпнулся? Морду надо бить за такие шутки, — сердито сказал Лихачев и поддел черепки ногой.

Из разбитого окна прозвучал отчаянный женский вопль и оборвался, будто перехваченный: «По-ом...» Звали на помощь. Смахнуть с плеча тело пулемета и прислонить к стене было делом секунды. Прыгая через две ступеньки, Крутов метнулся на второй этаж. За ним, грохоча ботинками, мчался Лихачев, где-то внизу матюкался Сумароков, которому не успели помочь освободиться от станка, надетого на плечи. Коридор. Дверь в комнату, из которой раздался зов о помощи, заложена на крючок. Двинув в два плеча, пулеметчики сорвали ее с крючка и ввалились, едва удержавшись на ногах.

У окна, с которого свалился горшок, шла отчаянная молчаливая борьба. Небольшого роста плечистый боец старался овладеть молодой женщиной, заламывал ей за спину руки и гнул к полу.

— Стой, гад! — крикнул Крутов.

Насильник обернул к нему расцарапанное лицо, глянул одичало и в тот же миг, отшвырнув женщину, кошкой метнулся к своему карабину, в угол. Но Лихачев опередил его и пинком сбил с ног.

Прибежал Сумароков, и втроем они крепко отделали насильника. Лутили без жалости, словно на нем одном хотели сорвать зло за все враз свалившиеся невзгоды.

— Ну, как, сука, будешь еще? — спросил Сумароков, переводя дух. Боец молчал, продолжая закрывать голову руками.

— Встать! — скомандовал Лихачев.

Боец поднялся. Судя по петлицам, он принадлежал к артиллеристам, но у тех шинели всегда в масле от обращения со снарядами и оружием, а у этого просто захлюстанная.

— Ездовой?

— Нет, из взвода управления...

— Помни, паскуда, — сказал ему Лихачев, — ты боец Красной Армии, и оружие тебе дано, чтобы защищать Родину, а не

кобелиться с ним. Тебя бы следовало поставить к стенке, да нам некогда с тобой возиться. Не до этого... Как смотрите, братва? Может, все же поискать особиста?

— Черт с ним, пускай катится на все четыре, — великодушно согласился Сумароков. — С одного быка семь шкур не дерут. Наподдавали здорово, не скоро забудет.

Крутов тоже согласился: хватит, получил по заслугам.

— Добро. Смотри ж, не забывай, кто ты есть! — Лихачев протянул бойцу его карабин. — Патроны как, забрать или оставить? В спину нам не закатаешь?

Сердце человеческое отходчиво. Сумароков закурил, затащил раз-другой и, увидев жадные глаза бойца, сунул ему сигарку:

— На... и давай выметайся, браток!

Только теперь они обратили внимание на женщину. Она поправила на себе одежду и впервые обернулась.

— Ба! — воскликнул Лихачев. — Ведь это же наша санитарочка — старая знакомая. Не узнаете? Помогали вам делать перевязку первой раненой в укрепрайоне.

— Как вы здесь очутились? Это ваша квартира? — удивился Крутов.

— Город все время бомбили, я боялась идти, жила тут неподалеку, у знакомых. А сегодня вижу, все отступают, решила, забежала домой... Ни папы, ни мамы не застала, хотела собрать свои платья, карточки, а он тут... — Девушка густо покраснела.

— Ладно, хватит переживать, — сказал Лихачев. — В город вот-вот зайдут немцы. Айда с нами!

Улица Коммуны вывела на городскую площадь. Горели дома учреждений. Там, где дорога шла на спуск к Волге, пылала старинная церковь, и пламя вырывалось через узкие окна колокольни. Иссиня-черный дым застилал небо над городом и, несмотря на день, было темно, как перед грозой. Меж высоких крутых берегов плавно струилась Волга, и кудрявые могучие ракиты печально клонились к ее свинцовой поверхности. Чугунные, продырявленные осколками авиабомб литые львы, положив тяжелые лапы на шары, бесстрастно скалили зубы. Как верные часовые, они уже много лет подряд стерегли вход под арку моста.

Перед мостом давка. Стиснутые толпой вооруженного люда, пулеметчики долго не могли попасть на мост: то их придвигало, то вдруг отшвыривало в сторону или назад. Наконец вынесло с общим потоком, и каблуки звонко загрюкали по настилу.

На устоях возились саперы, укладывали ящики со взрывчаткой, тянули вдоль моста шнуры и провода. На выходе с моста стоял Туров, собирал своих бойцов, приотставших в этой общей сумятице. Увидев пулеметчиков, он махнул им рукой: сюда!

— Где вы так отстали? — спросил он.

— На мост долго не могли попасть, — ответил Лихачев.

— А это кто такая с вами? — кивнул на санитарку Туров.

— Фельдшер, товарищ лейтенант, — браво ответил Лихачев. — Из нашего укрепрайона выбирается, отстала от своих.

— Ладно, пусть идет с вами, — согласился Туров.

Пулеметчики присоединились к своей роте, отдохавшей близ моста, но посидеть не удалось. Туров приказал выставить пулеметы на огневую позицию и окопаться. Задача — не допустить захвата моста противником, прикрыть работающих саперов.

Лавина войск поредела. По мосту провезли орудия корпусного полка, которые не так давно вели огонь перед городом. Бойцы уже не валили толпой, а шли группами. Туча дыма над городом придвинулась к земле, казалось, вот-вот она накроет город и пожары задохнутся в собственном дыму. Издали донесся гул моторов, и показался отряд прикрытия на машинах; сопровождали их танки, они-то и урчали так громко.

Возле моста собрались командиры: комбат Бородин, Матвеев, Исаков, еще какие-то, незнакомые Крутову. Они совещались в ожидании командира дивизии. Тот обещал подъехать к часу, но что-то задерживался, а без него никто не брался отдать распоряжение на взрыв моста: ведь за мостом могли еще оставаться разрозненные группы бойцов. Исаков нервничал, потирал озябшие руки, подергивал плечами. Наконец из-за домов вынырнула машина командира дивизии. Горелов был в кожаном пальто, в фуражке, хотя холод уже щипал уши. При виде генерала командиры подтянулись, смолкли.

— У вас все готово? — спросил Горелов инженера.

— Мост минирован, на случай появления отставших на том берегу сосредоточены лодки и два понтона. Все может быть приведено в негодность, как только минет необходимость в переправе. Назначен ответственный.

Горелов выслушал инженера спокойно; на взрыв моста получен твердый приказ. Это задержит противника дня на два-три.

— Для вашего сведения, товарищи командиры, — заговорил он глухим голосом. — Из штаба армии получены вполне достоверные данные: танки противника прорвались через город Зубцов в сторону Калинина. Но оснований для паники нет, поскольку у противника впереди только танки и он сам озабочен больше тем, как удержать захваченное. Однако надо быть готовыми к отражению внезапного нападения. То, что я сообщил, лишь для вашего сведения. У вас все готово? — снова спросил он инженера и, получив утвердительный ответ, кивнул: — Пора. Приступайте!

Крутов видел, как все поспешно удалились от моста, и сердце у него сдавило от какого-то тревожного предчувствия.

Ослепительное пламя рванулось из-под опор. Мост, как смертельно раненный, вздрогнул, приподнялся и, ломаясь, тяжело рухнул в темную воду. Угрюгая волна воздуха докатилась до окопа вместе с грохотом взрыва, потрясшим землю.

— Такой красивый мост! Взорвали! — вырвалось у Крутова.

— Не ори! — сурово оборвал его Лихачев. — Саперы выполняют приказ.

— При чем здесь саперы? — с горечью сказал Крутов. — Неужели я этого не понимаю...

Ему было больно, и в эту минуту он думал о тех, кто принудил народ уничтожать свое собственное, выстраданное, с такими трудностями построенное. Предавая жилища огню, ценности — уничтожению, народ безмолвно объявлял врагу войну не на жизнь, а на смерть, и Крутов это понял. Но боль от этого не проходила.

Пулеметчики покпдали город. Вечерело. Черная стена дыма напитывалась позади зловещим багрянцем. Крутов оглядывался, стараясь запомнить эту мрачную картину города, оставляемого врагу, города, преданного огню.

Ему казалось, что он уже видел где-то подобное. Но где?..

«Ах, да... На картинах Верещагина. «Шумел-гудел пожар московский...» 1812 год. История повторяется. Значит, возможно повторение не только начала, но и конца. Придет время, и мы пойдем этими же дорогами назад. Должны, иначе незачем жить. Только бы остановиться».

Зябко кутая в платок плечи, с узелком в руках, на ночь глядя, рядом с бойцами уходила неведомо куда простая ржевская девушка. Она не хотела плакать, но крупные слезы помимо воли скатывались по щекам.

Крутов искоса взглядывал на нее, но слов утешения не находилось.

\* \* \*

Отступление. Холодная сырая осень. Ночью выпал небольшой снег. Он держится на полях и в лесу, но совершенно расквасил дорогу. Ноги скользят, разъезжаются, а в ботинках хлюпает противная жидкая грязь. Идти трудно, но надо. Это все понимают без приказа. Ржев оставлен вчера, четырнадцатого, Волга не задержит противника надолго, и вот-вот надо ожидать, что он снова настигнет отступающих. Где-то должна быть линия, на которой командование скажет: стоп, пора обороняться. Только бы поскорей туда выйти. Так думал Крутов, шагая со станком пуле-

мета и глядя себе под ноги, чтобы не упасть. Упадешь со станком, так не хитро и шю себе свернуть. Почему-то сегодня станок очень неудобно лежит на плечах: давит па ключицы и совершенно непонятно каким выступом — на хребтину.

Крутов идет, и беспричинное зло разбирает его:

«Черт бы побрал такую жизнь! Третьи сутки, как ишаки, тащим на себе пулемет, снаряжение, а пожрать нечего».

Из укрепрайона они вышли без НЗ — неприкосновенного запаса, носимого каждым бойцом, и за три последних дня им выдали лишь по горстке сухарей. Крутов понимал, что когда армия отступает, оставляет город, тут не до выпечки хлеба, но и без него нельзя — должен и боец как-то поддержать свои силы, иначе какой он будет вояка. Уже и так не хватает сил...

«Хоть бы повозку какую дали, — думает он раздраженно. — Да где там, имущество, боеприпасы бросать приходится».

До него доносится неторопливый разговор:

— После финской приехал, осмотрелся да и решил податься на производство.

— Думаешь, там меда?

— Ну, не меда, но и не деревня-матушка. Восемь часов отдал — и никаких забот, а гроши два раза в месяц получи.

— Ишь, рассуждение тоже. Гроши. Попробовал бы уголек на паровозе пошвырять.

— Ты погоди, слушай дальше, как получилось...

Это Грачев приотстал от своего стрелкового взвода и, пристроившись к Лихачеву, калякает с ним о жизни. У него отросла медно-красная жесткая борода, видно, не брился с неделю. Крутов уже слышал, что ничего у него из этой затеи с производством не получилось: помотался месяца два да и подался назад в деревню. Хоть там житье и не сладкое, но зато привычное, не надо душу томить, скучать по родным местам.

— Воздух! — неожиданно заорали и загалдели сзади. — Самолеты! Рассыпайсь!

Конечно же, черная лента ползущей колопны хорошо видна среди белого поля, и звено пикировщиков уже устремилось на цель. Крутов помнил, как они бомбили доты в укрепрайоне: вот так же сначала резко шли на спижение, а потом сбрасывали бомбы. Здесь, на дороге, куда ни упадет, — везде люди, промаха не будет. Все бросились врассыпную: каждому казалось, что именно на дороге опасней всего. Крутову тоже надо бы бежать, но он замешкался со станком: тридцать пять килограммов не очень-то сбросишь, а тут затекла левая рука.

«Черти, сбежали, — с досадой подумал он. — Хоть бы помог кто».

В воздухе нарастал сверлящий визг падающих бомб, бежать поздно. Куда же деваться? Он оглянулся. Посреди дороги стояла девушка-фельдшер, приставшая к пулеметчикам во Ржеве.

— В канаву! — хватая ее за руку, крикнул Крутов. Они спрыгнули в кювет и прижались к корневищу ольхи, будто этот куст в руку толщиной мог защитить их от бомб. — Сволочи, целым ящиком сыпанули...

Грохочущий вал разрывов, развевая черные козмы дыма и поднятой земли, пронесся над ними. Крутов сжался в комок от ужаса, замер, казалось, даже сердце перестало биться, а волосы под пилоткой стали проволочно-жесткими. Но взрывы, обдав их дымом и комьями земли, не причинили им вреда и смолкли. Как хвост за летящей кометой, донеслось фурчание летящего откуда-то издали осколка, и наступила тишина.

На побледневшем лице девушки горели черные испуганные глаза. С длинных пушистых ресниц готовы были сорваться слезинки, губы жалко подергивались.

— Ой, мама, что ж это делается... — прошептала она.

В этот момент, испуганная, с упавшими на лоб кудряшками, она чем-то напомнила Крутову его Иринку, и ему стало жаль ее.

— Шли бы вы поскорее отдельно от войск, Оля, а то сейчас пронесло, в другой раз — едва ли, — сказал он ей. — Зачем зря рисковать.

— Мне бы только до первой станции, — промолвила Оля. — Одной идти страшно. Там бы я уехала...

Она приподнялась и стала оттирать с жакетика налипший сырой снег. Крутов встал, огляделся. Невдалеке от черной дымящейся воронки валялась разбитая повозка с каким-то имуществом и рядом — кровавое месиво из лошадиных тел. За повозкой, путаясь в постромках орудия, бились и хрипели раненые лошади. Теперь, когда из ушей будто бы выпала какая-то пробка, Крутов различил еще множество других звуков: отдаленный гул моторов, переключку бойцов в стороне, крики, стоны. Но самое главное — нарастающий гул моторов. Это самолеты разворачивались на второй заход.

— Оля, прячьтесь! — крикнул тревожно Крутов.

— Что ж это делается? — растерянно повторила она. — У всех же винтовки, почему никто не стреляет? Не могу...

В самом деле, почему никто не стреляет? Крутов лихорадочно оглянулся: возле кювета валяются коробки с пулеметными лентами — не бегать же с ними, тело пулемета рядом. В следующую минуту Крутов поднес их к ольховому кусту, вдел в приемник ленту и поставил пулемет на развилку куста, чтобы можно было стрелять вверх.

— Будет сейчас стрельба, будет, — бормотал он про себя. — Подышать, так с музыкой... Только бы ленту не перекосило...

Уловив направление, по которому шли на штурмовку самолеты, он приготовился, стараясь изо всех сил сдерживать дрожь в руках. В душе закипела злость на свою беспомощность перед этими воздушными налетчиками, такими нахальными, на свою робость: «До каких пор можно сносить все это?»

«Огонь!» — мысленно скомандовал он сам себе и нажал гашетку. Пулемет затрясло в руках и сбило немного в сторону, но ему снова удалось взять нужное направление. Самое главное, что, когда самолеты как бы наплывали на мушку снизу, стрелять уже поздно, пули пройдут много сзади. Кажется, это лишь и помнил Крутов, выпуская очередь за очередью. Один из самолетов попал под струю пуль, и с него, как с подбитого рябчика перья, посыпались куски краски. Сердце радостно вздрогнуло: «Попал! Вдруг упадет...» Но пикировщики, прочесав перед собой дорогу и поле из пулеметов, ушли. Разбежавшиеся по сторонам бойцы стали возвращаться.

Как ни в чем не бывало подошел Лихачев, хлопнул Крутова по спине:

— А ты так никуда и не бегал? Молодец, не сдрейфил...

— Драпанули, нет, чтобы помочь... Чуть из-под станка выкарабкался. А теперь — молодец.

— Бежал бы со станком, чудак! — Лихачев захохотал.

Сумароков принес тонкие пластинки отбитой засохшей краски — ее нетрудно было разыскать на снегу.

— Братва, смотри, это ведь с самолета! Здорово влушил!

— Правильно сделал, — сказал Лихачев. — От каждого не набегаешься. Теперь, чуть что, будем отбиваться.

Крутов оказался в центре внимания. Увидев ворох стреляных гильз, каждый невольно задерживался.

— Не растерялся, поставил станкач на куст...

— Чуть не сбил, говорят? Кто это?

— Из четвертой роты! — И, посмеиваясь: — С девкой заодно и помирать веселей.

Крутов слышал эти разговоры и досадовал: и растерялся, и испугался, и руки дрожали... Оттого, что он не мог всего этого высказать вслух, ему было неловко, словно он кого-то обманывал.

Но вот повозка, трупы лошадей сброшены в сторону с проезжей части дороги, и колонна снова змейится по дороге, течет. Погода начала проясняться, рыхлые тучки сгрудились у горизонта, освободив небо в зените, и колонну стали донимать самолеты. По два-три, они налетали, сбрасывали по нескольку бомб и улетали, чтобы вскоре вернуться вновь.

На пути стали попадаться разбитые повозки, машины, брошенные боеприпасы и снаряжение, которые не на что было погрузить. Откуда-то справа доносилась глухая артиллерийская канонада. Крутов был еще не искушен во фронтовых делах, не различал оттенков пальбы и не мог понять, в чем тут дело. Он только с беспокойством поглядывал в ту сторону: неужели нас опередили немцы? Не хотелось этой мысли верить, но она точила душу.

Навстречу общему потоку шли два артиллериста.

— Эй, земляки! — окликнул их Лихачев. — Эта дорога по этой дороге идет?

— По этой.

— А куда это вы назад?

— Послали. Орудие где-то отстало. Не видели?

— Пашка, это не то, где нас первый раз бомбили?

— Возможно... Какое, дивизионка?

— Ага, — ответил артиллерист. — Далеко отсюда?

— Часа два ходу. Нет закурить?

Артиллерист полез за кисетом, пулеметчики остановились. Перекур. Пять минут не решают дела, поскольку рота все равно топает где-то впереди и за стрелками не угнаться — они налегке.

— Может, познакомимся? — предложил артиллерист. Был он молод, красив собой, подтянут. На петлицах — «пила» — по четыре треугольничка. — Гривев. Замполит батареи. А вы?

— Из четвертой роты, — ответил Лихачев и назвал себя и остальных. — Не знаете, где это палат?

— Черт его знает. Говорят, на станции Панино склады жгут, снаряды рвутся, — ответил Гривев. — Кисло, вот и жгут, а то еще нашими же снарядами да по нас палить будут!

— А что, там уже немец?

— Нет еще, но скоро, наверное, будет. А вывезти не успели... Так, значит, часа два ходу?

— Может, быстрее, если пойдете форсированным. Вы ведь порожняком. Не знаете, куда топаем?

— На Старицу, говорят... Бывайте!

Пулеметчики пошлелись дальше размеренным, усталым шагом.

Крутов попытался представить карту Калининской области, но ничего не вышло: не было ясного представления, где и что.

— Оля, за Старицей какой город? — спросил он.

— Я что-то забыла. Кажется, Калинин.

— Вы туда будете добираться?

— Нет, думаю поехать в Тайшет. Там у меня тетя. Вот только с деньгами на билет не знаю как выйдет.

— Какие сейчас билеты... Доедете. Сибирь — хорошая сторона.

Сибири! Отсюда, издали, она казалась ему удивительно привольной, и даже лютые морозы куда лучше, чем слякоть. Сибирь — Иринка, Иринка — Сибирь.

Его тело продолжало брести вперед по разбитой дороге, ноги месили грязь, а мыслями он был в прошлом. Усилием воли он подавил в себе эту хандру, отогнал тоскливые воспоминания. Рядом с его большими солдатскими ботинками топают по грязи дешевенькие туфельки. Они уже раскисли, ощерились, и ноги в них мокрые по щиколотку.

«Простудится, — озабоченно подумал он. — Ботинки бы надо, чтобы не в одних чулочках, а с портянками».

В кювете валялась разбитая, покореженная взрывной волной и осколками авиабомбы грузовая автомашина. Крутов уже насмотрелся на такие картины и равнодушно прошел бы мимо, когда вдруг под ногами увидел сгусток раздавленной краски. Изумрудная! Откуда она здесь? Неужели... Он боялся даже подумать, что это означает, и, чтобы не ошибиться, обошел машину вокруг. На кузове были следы крови, а чуть в стороне от нее валялись остатки этюдника, отданного им на хранение Женьке Лаптеву. Осколком ящик разрезало почти пополам, только наискосок. Пустые тюбики из-под красок втоптаны в землю. Кто-то из любопытства брал их, выдавливал и потом обтирал пальцы о кабину, расцветив ее мазками.

Крутов нашел тюбик, в котором еще оставалась краска — солнечно-желтый кадмий, и спрятал его в кармане. Вот и все. Что-то словно оборвалось в его груди, и там возникла острая и тягучая боль. Сжав зубы, он снял каску, прощаясь сразу и с прошлым, со всем, что там было в его жизни безмятежного, хорошего, со своими мечтами достигнуть в искусстве чего-то значительного, а может, и с другом заодно.

— Ты чего? — увидев, что Крутов приотстал, спросил Лихачев. Но, подойдя, он сам все понял. — А-а... Не судьба, значит.

— Не судьба, — горько усмехнулся Крутов.

— Не тужи, Пашка. Перемелется — мука будет, так говорил в таких случаях мой батька, — сказал Лихачев и, приобняв за плечи, подтолкнул Крутова к дороге: — Двигай, друг, а то от своих отстанем.

Крутов понял: возврата к мирной жизни не предвидится. Тропка выводила его на обширное болото войны, и хочешь не хочешь, через него надо пройти. Хватит ли духу, не засосет ли в кровавую трясицу, хватит ли сил одолеть этот путь? Ему казалось, хватит. Хватило бы только жизни.

## Глава семнадцатая

Шли до самого вечера. Пулеметчики приотстали от своих, и когда пришли в деревню, рота получала ужин. Наконец-то о бойцах позаботились!

— Сумароков, хватай котелки и дуй, занимай очередь! — распорядился Лихачев. — Не забудь про нашего доктора, на нее получи! — крикнул он вдогонку.

Возле полевой батальонной кухни толпилось изрядно народу, и Сумароков вернулся через полчаса. В шинельной поле принес горку сухарей, а в котелках горохового, из концентрата супу.

— Оля, подваливай к любому котелку! — распорядился Лихачев. — Не стесняйся, ты теперь наша, под одной бомбежкой с нами крещенная. Ложка есть?

— Кушайте, я потом, — отказалась девушка.

— Ладно, оставим... Я мигом управлюсь, оглянуться не успеешь, как освобожу тебе инструмент. Погрызи пока сухариков.

Сумароков болтанул ложкой в котелке, пробурчал:

— Не могли сварить как следует. Жидкий, будто детский понос.

— Извольте при дамах изъясняться по-французски, — дурашливо заметил ему Лихачев. — Не порть аппетит.

— Не давать ему добавка, — засмеялся Кракбаев.

Голодные как волки, бойцы вмиг расправились с похлебкой и, похрустывая сухариками, ждали, куда их определят на ночлег. Деревня была забита войсками, и попасть в избу надежды мало.

— Костя, — обратился к Сумарокову Крутов, — как бы нам экипировать Олю? Холода, пропадет без ботинок.

Сумароков немного подумал и хлопнул себя по лбу:

— Идея! У меня в ОВС есть кореш. Пошли!

Танцуру — писаря из обозно-вещевого снабжения — они нашли в транспортной роте. Хмурого вида высокий сутулый детина неохотно вышел за порог избы.

— Ну, что надо, говори, — сказал он.

— Выручай, — сразу приступил к делу Сумароков. — Срочно нужны ботинки.

— Дуй к начальнику, разрешит — выпишу.

— Мне не новые, бэ-у хотя бы.

— Бэ-у бери, не жалко, — равнодушно сказал писарь и молча повел их между повозками, расставленными во дворе. Отыскав нужную, он из-под груды шинелей выбросил связку отремонтированных ботинок. — Выбрай, какие тебе.

— Самые маломерки.

— Кому это такие, Крутову, что ли? — усмехнулся писарь.

— Понимаешь, в роте у нас фельдшер идет, раненых уже перевязывала, а сама раздета, разута, — приврал Сумароков.

Танцура почесал нос, подумал и сгреб старые ботинки.

— Не гоже девку в рванье одевать-обувать, — сказал он и повел их к другой повозке. — Черт с вами, берите новые.

— А не влипнет тебе? — осторожно осведомился Сумароков.

— Ерунда. Из укрепрайона выходили, не столько пожгли барахла всякого, и то ничего. А потом, мне уже не страшно: рапорт подал, ухожу.

— Это куда же ты? — удивился Сумароков. — С такого кормового места.

— К чертям! Надоело. Украину фашист топчет, а я тут буду портянками командовать.

— Да тебе-то что? Одну Украину, что ли?

— Как это — что? Если б ты видел наши места, не говорил бы так. Жинка там осталась с сыном... Уже договорился, в противотанковую батарею заряжающим. Хочу своими руками отомстить гадам за Киев, за все...

— Шальные вы все, хохлы, какие-то, ты только не обижайся! Коваль наш деру дал, к фрицам, наверное, переметнулся, а ты в батарею...

— Гад он, ваш Коваль, из поганого ружья расстрелять его — и то мало, — угрюмо сказал Танцура.

Он говорил ровно, не повышая голоса, будто его несколько не волновало, где служить — в штабе или в батарее, под огнем. За глуховатым голосом писаря Крутов уловил, как непросто и не сразу пришел он к такому решению. «Но уж теперь не свернет, будет ломить, вон у него сила — медвежья, лапищи — по лопате! — уважительно подумал он. — Такие решают раз».

— Так тебе, наверное, и шинель? — спросил Танцура.

— Само собой! Я только просить не хотел, чтобы тебя под монастырь не подвести, а так все надо, — признался Сумароков.

Танцура нашел им ботинки-маломерки, шинель, суконные портянки, обмотки и даже брезентовый ремень.

— Шапок еще нет, — коротко бросил он. — Хочешь пилотку?

— Вообще-то обойдется. Кудлы у нее будь здоров — зимой не замерзнет, но уж для полной формы чтобы — давай и пилотку. Вот только как ты отчитаешься за все это?

— Сказал же, что ухожу. Найдут мне замену, и все. Не марш, так давно бы уже на батарею был. Имущество не бросишь, надо передавать, а маршу конца не видно. Говорят, в Старице уже давно немец, и в Калинине...

— Брось, мы же туда идем!

— Шли. А теперь потопаем в обход, на Калинин. Вышибать оттуда немца будем. — Писарь широко зевнул и равнодушно сказал: — Опять, наверное, поспать не дадут до утра, среди ночи подымут. Как девка, ничего?

— Мировая! Говорю же, что раненых перевязывала!

— Что, разве под бомбежкой были?

— А то нет! Пашка чуть самолет не сшиб. Как влупит по нему...

— «Чуть» не считается, — сказал Крутов.

— Ты же не виноват, что он бронированный. Пули только краску обшелушили. Ну, спасибо тебе, брат, за выручку, — поблагодарил Сумароков Танцуру. — Выпивон за мной!

С узлом в руках Сумароков и Крутов подались в роту.

— Слыхал, Старица и Калинин? Как думаешь, правда? Вообще-то Танцура мужик серьезный, зря трепаться не станет.

— Просто не верится, — сознался Крутов. Он был прямо-таки ошарашен этой новостью и не знал, что ответить. — Выходит, немцы давным-давно впереди нас топают? Как же так? Тут вроде их еще не видели.

— Мы проселками ждем, вот и не видели. А они на танках шоссейками. Что им...

Оля сидела возле кухни на охапке ржаной соломы, склонив голову на колени. Неподалеку похрустывали соломой лошади.

— А где Лихачев, остальные? — громко спросил Сумароков. Девушка вздрогнула, видно, задремала после еды.

— В овине устроились все, на соломе.

— А вы чего же?

— Холодно там, все равно не уснешь, — она поежилась.

Сумароков передал ей узел:

— Оболокайтесь пока, а я пойду присмотрю местечко.

— Что вы, куда мне такие ботинки!

— Чепуха! Наматывайте портянки, тепло будет, — сказал Крутов. — Не до фасонов, идти придется долго, в Калининском немец.

Оля подняла на него глаза, посмотрела внимательно, словно хотела убедиться, не шутит ли он, и вздохнула:

— Куда мне теперь, сама не знаю.

— Куда все, туда и вы. В крайнем случае попросим Турова, может, он похлопочет, чтобы вас в санитарную роту определили. Одевайтесь как следует, да пошли отдыхать.

— Я как-нибудь здесь...

— Э, бросьте, будете корчиться!

В овине раздавался храп усталых людей. По-богатырски по-свистывал носом Лихачев. Он даже не проснулся, когда Сумароков перекатил его от стенки, освобождая место для Оли.

— Спите, не бойтесь, мы вас в обиду не дадим.

— Я не боюсь! — Она завернулась в шинель, подложила под голову свой узелок. — Добрые вы все. Пропала бы я без вас...

— Ерунда, — грубовато бросил Сумароков: — Зарывайтесь поглубже в солому, теплее будет спать.

Роту подняли перед утром, и пулеметчики опять пошли. Перед глазами все время маячило созвездие Большой Медведицы, и Крутов понял, что пачался марш в обход Калинина, занятого немцами. Значит, все правда. Но как же это возможно, ведь от Калинина рукой подать до Москвы?

...Погода стояла отвратительная: сыпал снег, поги разъезжались на обледенелой дороге, падали лошади, которых не успели перековать по-зимнему; падали бойцы, грозя то и дело поддеть печально кого-нибудь на штык.

— Вот, не стало политрука, нет и газет уже неделю, — вздохнул Лихачев. — Узнать бы, что на свете делается.

— Что газеты, — буркнул Сумароков. — «Под нажимом превосходящих сил противника отошли...» А почему превосходящих, все равно не объяснят.

— А тебе обязательно надо объяснять, сам не понимаешь?

Крутов слушал, как они беззлобно переругиваются, и думал, что эти разговоры неспроста: оставлять свою землю нелегко, это понимать надо, и каждый старается найти для себя какой-нибудь стоящий довод, который оправдывал бы и его самого. Без этого трудно смотреть в глаза оставляемому на произвол судьбы населению. Отступай они с боями, было бы совсем другое настроение, все бы видели, что гнет чужая сила. А тут прут которые сутки неизвестно от кого и куда. Когда приходилось идти через деревни, жители выстраивались возле своих изб и смотрели, пригорюнившись, ну в точности как на похоронную процессию, а не на войско. На сердце бывало так пакостно, что шли, уставившись в землю, как виноватые. Хоть бы еще шли по-человечески, а то друг за другом, как попало: ни строю, ни выправки, все небритые, грязные, будто поденщики на работу.

Как-то, когда шли вот так же через деревню, выскочила из ворот девчоночка лет семи-восьми, как была в платице, косички за спиной болтаются, и к пулеметчикам:

— Дяденька, возьмите!

Не разобравшись, принял Крутов, а как глянул, что в руке у него горбушка ржакого хлеба, — будто пощечину ему отвесили, так и-запылал от стыда. Жамкнул он эту горбушку в кулаке, аж жижа из нее потекла, да что возьмешь с ребенка? Видно, поняла она своим детским разумом, что того надо подкормить, у кого ноша потяжелее, — а нес Крутов станок, его очередь была.

— Возвращайтесь быстрее, дяденька, — говорит, а у самой глазенки как пуговки, голубые, бесхитростные.

— Спасибо, — ответил Крутов, — вернусь, постараюсь, — а у самого голос перехватывает.

На них уже не сердились, на них не надеялись, а только жалели, бедненьких, — вот как понял чувства этого ребенка Крутов. Да и другие, на чьих глазах это произошло, тоже понимали: не доведись никому принимать такие подаяния!

«Вот и приходится судачить, искать оправдания», — горько усмехнулся Крутов.

Он глянул назад: Оля идет замыкающей в отделении, понурая, усталая. Он поймал себя на мысли, что часто думает о ней, беспокоится. Им, мужчинам, тяжело, а ей и подавно. Идет, ни с кем не разговаривает, задумалась. Сейчас все думают. Вот и у него не выходит из головы: а вдруг возьмут Москву? Что тогда делать? И сам себе ответил: биться, биться до последнего дыхания, потому что за этим все, вся жизнь.

Вот только скорей бы! Неужели командиры не понимают, что пора останавливаться?

\* \* \*

Даже для Горелова война становилась непонятной: сплошное маневрирование. Он понимал, что прорыв танковых соединений противника ставит армию в чрезвычайное положение, но нельзя же допускать такое непостоянство! Три дня назад Маслов самолично поставил дивизии задачу: форсированным маршем двинуться на Ржев — дивизия требовалась, чтобы прикрыть город, через который отходили войска.

Но марша не получилось: части вели арьергардные бои с противником, который нажимал со стороны станции Осуга. За это время произошли большие изменения в обстановке, и теперь Маслов надеялся использовать дивизию для выполнения задачи уже под Калинином.

Энергичным вмешательством ему удалось навести относительный порядок в соединениях Толкунова и создать видимость обороны на линии Ржев — Старица; способствовало этому наличие такого естественного рубежа, как Волга, через которую противник пока не делал попыток перешагнуть. Видимость, потому что противник удерживал небольшой плацдарм на левом берегу в излучине Волги близ Зубцова — следствие самовольного оставления боевого участка Толкуновым, — и если еще не наступал, так потому, что не имел пока нужных для этого сил. Танки его прорвались далеко вперед, а пехота была занята под Вязьмой ликвидацией окруженной группировки генерала Болдина.

Успехи противника хоть и были велики, но не все шло у него гладко. Так, гитлеровцы предполагали, что с окруженной в Вязьме группировкой справится пехота, по они просчитались: сопротивление окруженных советских армий было настолько серьезным, что задержало здесь и значительную часть танковых сил. Все это путало карты противника: приходилось, вопреки надеждам, ослаблять свою ударную группу. А цели противник ставил перед собой большие: охват Москвы с севера и северо-востока и выход на тылы Северо-Западного фронта.

Конечно, об этих замыслах стало известно позднее, в ходе дальнейших боев, а пока Маслов начал принимать меры по укреплению фронта перед своей армией. В первую очередь необходимо было ликвидировать этот «тет-де-пон» южнее Ржева. Маслов начал подтягивать силы, чтобы сбросить гитлеровцев с плацдарма за Волгу, но ему не дали довести дело до конца.

В связи с угрозой охвата Москвы Калининское направление вставало в ряд важнейших, и Ставка решила выделить войска правого крыла Западного фронта в самостоятельный Калининский фронт. Перед командующим ставилась важнейшая задача — не только отбить у противника город Калинин, но и остановить его на этом рубеже. А чем, какими силами? Кое-что находилось под рукой, в районе Калинина, кое-какие силы выделил Северо-Западный фронт. Все это с ходу было брошено в бой, но сил, чтобы остановить натиск противника, явно не доставало. Приходилось, хочешь не хочешь, снимать дивизии с других участков, еще более ослабляя и без того жидкую оборону перед лицом наступающей немецкой пехотной армии.

Усталая, замаршировавшаяся пехота теряла последнее представление об истинном положении дел на фронте и воспринимала любое передвижение как отступление. «Отступаем, отступаем, отступаем», — вот что думали бойцы и даже командиры.

То, что знал Горелов, не доходило до основной массы войск, глохло, оседало в штабах полков, в батальоне. Если что-то и просачивалось ниже, так в искаженном виде, как слухи, которые никак не способствовали подъему духа. А разъяснить было некому, да и времени на это не оставалось.

Когда дивизия Горелова достигла города, новый приказ потребовал немедленного сосредоточения где-то за тридцать—сорок километров от Ржева, чтобы там с ходу форсировать Волгу и наступать на Рязаново, резать все коммуникации, питающие танковый клин противника. По силам ли это измученной дивизии, успеет ли она — об этом мало кто задумывался всерьез.

Марш пришлось совершать днем при непрерывных пале-

тах авиации, с потерями. Все-таки дивизия вышла в указанный район, саперный батальон наладил паромы и плоты для переправы. Новый приказ заставил все бросить и немедленно — опять немедленно! — выходить на Калинин.

Если бы кто взялся проанализировать действия фронта в эти дни, он увидел бы, что они пронизаны нервозностью, торопливостью, в результате чего многочисленные приказы и распоряжения не столько способствовали пользе дела, сколько, наоборот, усугубляли и без того тяжелое положение фронта.

Горелову — исполнителю — казалось, что в штабе фронта все еще не могут отрешиться от шаблонных представлений о войне и продолжают воевать, как где-нибудь в академии на картах: на маневр противника ответить контрманевром, заранее обрекая свои войска на неудачу, потому что забывают: стрелковые соединения могут дать лишь пять километров в час при хороших дорогах, и не дело им соревноваться в скорости и маневренности с танками. Забывали, что если танки сильны огнем и маневром, то пехота — стойкостью, только дай ей время зарыться как следует в землю, оглядеться, да не гоняй ее с места на место.

Но эти его предположения не соответствовали истине. Видимо, такой вывод он делал потому, что не знал положения дел на фронте, судил о них с высоты командира небольшого соединения. Истина же лежала где-то посередине и заключалась в том, что вновь организованному фронту прямо с ходу приходилось собирать разрозненные силы, группировать их в соответствии с новыми задачами и одновременно формировать собственный штаб, различные отделы и службы, а это отнюдь не просто.

При всем этом главной бедой начального периода войны являлась растерянность перед фактом окружения. Окружение — прием не новый в истории войн, но какая же армия загодя рассчитывает на такой исход сражений! — вот он и приводил командование и штабы в смятение. Они теряли управление, теряли веру в необходимость дальнейшего сопротивления.

Этот страх перед окружением, к сожалению, еще не был изжит в войсках к осени сорок первого года и заставлял иных командиров поспешно выводить войска из-под удара, отводить их с рубежа на рубеж. Поскольку же прорывы танковых клиньев были глубоки, то и расстояния между этими рубежами намечались огромные — войска отводились сразу на десятки километров; и вот тут, на пути, опять же возникала беда — штабы теряли связь с подчиненными им частями, управление. А раз нет связи, управления, нет и должной оценки обстановки. Штабу кажется, что угроза едва наметилась, и он готовит грозный приказ: такому-то, немедленно... Но, оказывается, позд-

но, поздно! События давно переместились. В результате вместо дела, ради которого и создаются войска, — защиты своей земли, войска в этот ответственный период — осенью 1941 года — маневрировали, не успевая ни там, ни здесь закрепиться надолго.

Самое же неприятное состояло в том, что мало кто пытался анализировать, оценивать свои действия. Каждому казалось, что сейчас для этого не время.

Горелов раньше других, интуитивно, уловил, что эта война ведется не такими, как прежде, методами, что и ответные меры должны быть другими. Но какими? Его мысль искала выхода, но поиски пока шли вслепую, потому что под руками не было ни фактов, ни времени, чтобы их собрать и как-то проанализировать. Просто он томился в тревоге, голова у него шла кругом от постоянных перемещений, и он мысленно мог только восклицать: «Когда же этому будет конец? Когда дадут хоть день-два, чтобы солдат мог отдохнуть от бесконечных маршей?»

Он сам чувствовал, как твердая воля, настойчивость, которыми он был преисполнен в первые дни, уступают место неуверенности, пассивности.

Приказ ничего не разъяснял, только требовал «скорей!», и дивизия шла вслепую, не зная, какая задача ее ожидает. Однако продолжалось это недолго. В пути — Горелов выехал со штабом вперед — его нашел офицер связи и вручил ему пакет с указаниями Военного совета относительно предстоящих действий.

Видимо, Маслов был очень ограничен во времени, поэтому диктовал указания машинистке, и в его письме не было железной последовательности, присущей боевым приказам и распоряжениям. И все-таки это был приказ.

«Противник развивает наступление из Калинина на Торжок...» К моменту, когда Маслов диктовал эти строки, ему уже было известно из фронтовой информации, что в глубоком тылу его армии, почти в ста километрах от линии обороны (если можно назвать обороной колеблющуюся, неустойчивую линию, на которой старались поддерживать локтевую связь разрозненные, усталые части), противник частью сил наступает на город Клин, к Москве, а первой танковой дивизией и двумя полками мотодивизии решил захватить Торжок и уже овладел поселками Медное, Марьино.

«Задача дивизии, — диктовал Маслов, — двигаясь вдоль Волги, врезаться во фланг противника и захватить мост у Калинина...»

Наверное, он сам чувствовал несостоятельность этого распоряжения, потому что знал: дивизия измотана переходами, артиллерия ее не имеет даже минимального запаса снарядов, потому

что во время налетов авиации побито много лошадей и сил едва хватает на то, чтобы тащить за собой орудия, и если их еще не бросили в пути, так лишь из-за великой самоотверженности бойцов, не щадящих себя. И подкрепить дивизию снарядами он тоже не мог, потому что запасы, накопленные за лето, по вине Толкунова были уничтожены. А теперь каждый снаряд на вес золота.

При мысли о Толкунове у Маслова все закипало в груди: «Это ли не преступление! Расстрелять мало...» Фронт дал ход его докладной, ведется расследование. Равнодушный, нераспорядительный человек уже снят с должности, и что будет с Толкуновым дальше, Маслова мало интересовало. Толкунова могут снять, судить, а следствие его преступной бездеятельности еще долго будет сказываться на войсках.

Маслов опасался, что Горелов может отнестись без должного рвения к выполнению задачи, на этот раз настолько важной, что никакие затруднения не должны приниматься во внимание, поэтому счел нужным разъяснить:

«Задача дивизии — как можно скорее выйти в район Калинина, не давая возможности группировке противника распространяться на Торжок, чтобы он не мог выйти на тылы Северо-Западного фронта. Мало того, что сломан один фронт, этим самым противник может сломать второй — Северо-Западный. От действий вашей дивизии, как видите, зависит, зависит...»

Он хотел продиктовать: зависит судьба Ленинграда и Москвы, чтобы вселить в душу Горелова чувства огромной ответственности, которым был преисполнен сам, но вовремя спохватился, что перехлестнет. Эта задача по силам разве всей его армии, а не дивизии. «Зависит очень многое... Рассчитывать надо только на себя. Воюете только тем, что имеете на колесах...»

Он посчитал ненужным информировать Горелова, что рядом с ним будут действовать еще две дивизии с аналогичной задачей. Незачем ему знать лишнее. Тайна, которую знают даже двое, — уже не тайна, а он хотел, чтобы противник не раскрыл замысла прежде времени, чтобы удар был внезапным. «К тому же, — рассуждал Маслов, — действуя без оглядки на соседей, Горелов будет более осмотрителен».

«Дайте предварительные распоряжения на марш, а приказ оформите потом, — наставлял он. — Установка со снабжением остается старой — за счет местных ресурсов. Продумайте, что из ненужного вам оставить в этом районе, чтобы не тащить за собой. Зенитные установки вашего дивизиона оставить на переправе; взять с собой две мелкокалиберные пушки, а пять оставить».

Читая, Горелов горько усмехнулся: неужели он сам не в состоянии распорядиться тем, что находится в дивизии? «Нет уж,

скорее останусь без тылов, а зенитки не брошу. К тому же дивизион уже на марше», — подумал он.

Наверное, надо было совсем не знать сибиряков, чтобы напоминать в своих указаниях: «Сзади вас фронт остается по-старому. Разъяснить командно-политическому составу и всем бойцам важность этого мероприятия, чтобы не было паники». Или командующий забыл, как, прощаясь, жал руку и говорил, что сибиряки были, есть и будут лучшими войсками Отечества?! Ведь с тех пор не прошло еще и недели.

Но тут Горелов должен был признать, что зря делает упрек Маслову. Неуверенность, недоверие в каждом звене. Но, видно, не пришло еще время для самостоятельных действий, для инициативы, если даже место, откуда он должен руководить боем, предусмотрено: «КП КСД в Чадово».

Горелов развернул карту. Чадово километрах в пятнадцати от Калинина. С одной стороны — справа — хорошее прикрытие — Волга; между деревней и городом — река Тьма. Тоже хорошо. Исключено внезапное нападение противника. Если гитлеровцы ближе к городу, будет возможность разведать, осмотреться.

Проезжавший мимо начальник штаба, увидев командира дивизии, подвернул свою машину к обочине, подошел.

— На, читай, — подал ему письмо Горелов. Когда тот пробежал его глазами, сказал: — Впереди у нас идет полк Исакова. Ему и действовать первым. Распорядись, чтобы к нашему подходу разведка выяснила, где и что. Копаться времени не будет.

— Слушаюсь, — ответил полковник. — Сейчас же направлю всю конную разведку.

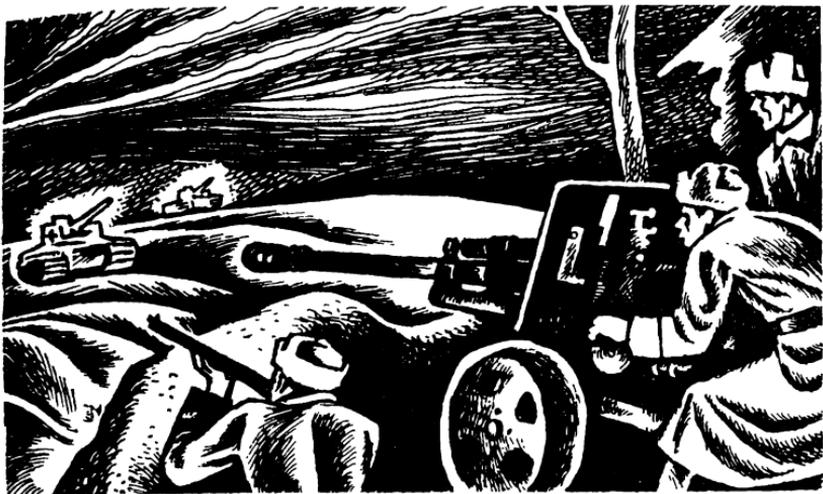
Горелов кивал головой: согласен, действуй, а сам свертывал в трубочку письмо. Чиркнув спичку, поднес огонек к бумаге. Поймав на себе недоуменный, удивленный взгляд офицера связи, Горелов сказал как можно спокойнее:

— Не время таскать за собой лишние документы. Дай сюда свою карту, покажу, где нас искать...



**часть 2**  
**ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ**





## Глава первая

**В** районе между Ржевом и Калининим Волга течет в северо-восточном направлении. Левобережьем двигались войска Маслова, а правобережье до самого Калинина уже было захвачено противником. Гитлеровские танки одиннадцатого октября захватили городок Погорелое Городище, отсюда прорвались на Старицу и тринадцатого октября были в Калининне. Здесь, на дальних подступах к Москве, их задержали. Буржуазные историки потом будут объяснять эту задержку неблагоприятным климатом России. Немецкий генерал Типпельскирх напишет, что «...наступил период полной распутицы. Двигаться по дорогам стало невозможно, грязь прилипала к ногам, к копытам животных, колесам повозок и автомашин. Даже так называемые шоссе стали непроезжими. Наступление остановилось...»

Но туманы, дожди, снегонады, раскисшие, а потом прихваченные внезапным морозом дороги, стужа были одинаковы как для какого-нибудь гитлеровца, так и для красноармейца Крутова, Лихачева. Если одним было тяжело потому, что у них застредали в грязи машины, так неужели легче было другим нести все на плечах, идти впроголодь, да еще с грузом поражений и безысходной тоски?

Нет, дело было не в климате.

За Луковниковым навстречу отступавшим возник поток войск, идущих к фронту. Свежие части шли в порядке — взводами, ротами, как и полагается ходить войскам. Все это невольно взбодрило отступавших. Нет, не иссякли еще наши силы.

Обычно рота выходила утром из деревни и постепенно одни уходили вперед, другие отставали и лишь вечером собирались вместе. И здесь, когда все собрались, Туров объявил:

— Приказываю на дальнейшее: без разрешения командиров строя не покидать, от самолетов не разбегаться, а вести по ним огонь из всех видов оружия. Мы — армия, а не толпа беженцев, и защищаться от врагов должны сами, своим оружием. Хватит малодушничать, земля наша хоть и велика, но не настолько, чтобы отдавать ее врагу без сопротивления. Крутов! — внезапно вызвал он. — Выйдите из строя!

Недоумеая, Крутов сделал три шага вперед и повернулся лицом к строю.

— За инициативу, храбрость, проявленные во время налета вражеской авиации, объявляю благодарность красноармейцу Крутову!

— Служу Советскому Союзу!

— Становитесь в строй, Крутов. А теперь командирам развести свои подразделения на отдых. Завтра весь день отводится на приведение в порядок оружия, снаряжения, одежды. Вольно! Разойдись!

Уже стемнело, когда Крутова позвали к командиру роты.

— Вот тебе записка, — сказал Туров, — отведешь Олю в санитарную роту. Есть приказ о назначении ее санинструктором. У нас, по-видимому, начнутся горячие денечки, и делать ей в роте нечего, а там она будет на месте.

— Это насовсем? — осторожно спросил Крутов.

— Да. На правах обычной военнослужащей.

Оля встретила сообщение спокойно, видно с ней уже говорили об этом. Она взяла свой узелок, попрощалась с пулеметчиками. Крутов быстро нашел пачальника санслужбы, отдал ему записку, представил Олю, и когда его обязанности были исполнены, подал руку девушке:

— Прощайте, Оля. Не забывайте друзей.

— До свиданья. Вы так меня выручили...

— Пустяки. Может, доведется попасть к вам, так уж тогда по благу оттяпаете руку или ногу в первую очередь. Идет?

— Как вам не стыдно так шутить! — Она посмотрела на него грустными глазами. — Я буду рада, если этого не случится.

Сумароков встретил Крутова вопросом:

— Ну как, договорился с ней?

— О чем? Не понимаю.

— Как о чем? Встретаться!

— Да с какой стати? И при чем здесь я?

— Эх ты, лопух! — засмеялся Лихачев и похлопал Крутова по плечу. — Девка по нему сохнет, а он... — И безнадежно махнул рукой: — Какой же ты после этого солдат?

После длительного марша, торопливого, с оглядкой — не догоняет ли противник, не отрезал ли от своих? — день, проведенный спокойно, показался необыкновенным. Какое счастье, что можно помыться, оттереть грязь с шинелей, отдохнуть. Ко всему этому слушок: скоро наступать. Куда, когда — неизвестно, да это и не столь важно, радуется другое — сам факт, что будем наступать. Значит, перелом!

Была и вторая причина, поднимавшая настроение: чем больше нажимать на пружину, тем больше сил она даст при возврате. Это состояние сжатой пружины испытывали сейчас все части, отходившие из укрепрайона, оставившие там отличные позиции хотя и по приказу, но под давлением каких-то других превосходящих сил, которые давили где-то в стороне, а отдавалось-то это повсюду одинаково.

Под действием этого многодневного давления в сознании отступавших происходили медленные, но неотвратимые изменения: от страха, растерянности — к необходимости где-то остановиться, увидеть наконец-то, кто же на тебя давит, своей рукой опробовать его силу, узнать, так ли уж она крепка. Постепенно досада уступала место самому настоящему раздражению и ненависти к врагу.

Крутов по себе чувствовал: он уже не тот, что с тоской смотрел через амбразуру дзота полмесяца назад, теперь он готов драться, будет драться, потому что без этой драки он не сможет чувствовать себя человеком. Будет!

Где-то неподалеку Калинин. Близость города ощущается по всему: гуще стали дороги, чаще деревни и поселки. Полк с утра опять в походе. Но теперь это не отступление, а марш к определенному месту, навстречу бою. На дорогах уже нет сутолоки, беспорядка, которые наблюдались до выхода на Луковниково. Поток войск разлился рукавами по разным дорогам. Полк Исакова держал направление на то место Волги, где в нее впадает небольшая река Тьма.

Боевая задача уже известна командирам: уничтожить гарнизоны гитлеровцев, выставленные по левобережью вокруг города. Деревни: Ширяково, Городня.

На подходе к месту боев подразделения были остановлены:

командирам необходимо время на разведку, рекогносцировку, организацию боя.

На смену снегопадам и туманам пришли неяркие осенние дни с облачностью, сквозь которую иногда проглядывало солнце. В небе постоянно кружились немецкие самолеты, поэтому все располагались по рощам, маскируясь, не разводя костров.

Смеркалось, когда второй батальон выступил из рощи. Следом за стрелковыми ротами шли полковая батарея, батарея противотанковых орудий, минометная рота.

Под ногами песок. Оттепель согнала выпавший снег, отпустила землю, и песок мягко шуршит под колесами орудий, повозок, скрадывает стук лошадиных копыт. По сторонам дороги сырые ельники попеременно с сосняком. Они черными зубчатыми стенами зажимают колонну, идущую словно бы по узкому темному коридору. Чуткая настороженная тишина охватила идущих, приглушила голоса, порохи, позвякивание оружия. Ни стука, ни кашля, ни команд. Хотелось, чтобы даже шинели не шуршали при ходьбе, не топали лошади, так гулко отдавался каждый звук. Непароком споткнувшийся боец, матюкнувшись шепотом, занимал свое место в строю, придерживая в руке болтающуюся на поясе шанцевую лопатку, чтобы не грекнул черепок о приклад винтовки.

«Ш-ш, ш-ш», — шептал, словно предостерегая, песок под ногами идущих.

Через час батальон остановили на опушке леса, развели поротно и вполголоса подали команду: «Ложись!»

Пулеметчики беспечно полегли на землю. Издалека еле слышно доносился собачий беспокойный брех — где-то там деревня Ширяково. Артиллеристы развернули батарею полковых орудий и, отстегнув лошадей, куда-то их увели. Сквозь редкие еловые лапчатые ветки проглядывали мерцающие искорки звезд, совсем такие же, как над Хабаровском, над Листвяной, наверное, как над любым уголком русской земли. Чиркнув по темному бархату неба, скатилась и погасла небольшая яркая звездочка.

— Кто-то помер, — тихо промолвил Сумароков, лежавший рядом с Крутовым, закинув руки под голову.

— Держи карман шире, — насмешливо отозвался Лихачев. — Так тебе и станут из-за каждого дурака звезды с неба валиться. Сейчас нашего брата гибнет столько — звезд на небе не хватит. Под Вязьмой-то, слышали, немец несколько наших армий окружил. Оказывается, поэтому мы и перли сломя голову. Могли не выскочить...

Но сегодня Сумароков не настроен на обычный «критический» лад, на него, как и на других, подействовало предбоевое

ожидание. Разговор гаснет. Ведь скоро бой, кто-то не вернется...

А Крутову о смерти не думалось: никогда он не мог представить такого, что его не будет, что мир может существовать без него. Что думать о смерти, умирать раньше времени! Жизнь, даже трудная, хороша. Но это к нему придет позднее, когда он испытает всякие невзгоды: и замерзнет, и наголодается, и во всяких опасностях побывает, и смерть близких его не минует. Лишь после этого, когда найдет вдруг блажь и начнет он, как скряга монеты, перебирать в памяти пережитое, увидит, что дороже всего для него были взлеты и падения, а не периоды ровной обыденной жизни.

А сейчас не думалось ему о смерти. Бродили в голове мысли, как козы без пастуха, какая куда. Увидев след упавшей звезды, Крутов вспомнил о их с Иринкой гадании в прощальную ночь. Как она тогда вдруг безутешно расплакалась! Любит...

Воспоминание пришло с какой-то непривычно острой болью: словно вот сейчас, рядом с ним она пойдет в бой, а он ничем, никак не сможет ее оберечь. На миг ему представилось, что он теряет ее, и эта мысль заледенила душу. Ни за что! Ему стало страшно за нее: ведь придет время — через какие-то полгода, когда обучение кончится — и ее пошлют на фронт... «Ну зачем, зачем она поехала на эти курсы? Чем она поможет мне? Как несерьезны были наши представления о войне...»

Бывает же так, что все самое лучшее, самые светлые представления о счастье, о назначении в жизни вдруг, как в фокусе, сосредоточатся на одном человеке. Он рядом — и твое сердце распахнуто для всех — подходи любой, на всех хватит и добра, и тепла, и ласки, и сил достаточно, чтоб перевернуть горы. А потерял его — и тогда лучше не жить вовсе. Так и у Крутова.

Темная ночь, казалось, совсем придавила землю. В Ширяково ни огонька, ни звука, будто все вымерло от одного лишь близкого дыхания войны. А наверное, совсем еще недавно и в этой деревне до петухов распевали частушки девчата. Здесь частушки любят, на ходу их сочиняют. Нет, не все вымерло: в той стороне, откуда доносился собачий лай, промаячил огонек.

— Мы тут пикнуть не смеем, боимся, а там какая-то балда с фонарем ходит, — сказал Сумароков и, свернув папироску, чиркнул спичкой.

— Кто курит? — раздался сердитый приглушенный окрик Турова.

— Там с фонарем и ничего, а тут...

— Это Сумароков? Прекратить курение без разговоров! Там — немец...

Пулеметчики привскочили: вот так дело! До противника

рукой подать, а никто не знал. И сразу сердце — тук-тук-тук! — забилось громко и нетерпеливо.

Туров разговаривал с каким-то незнакомым командиром: в темноте ни знаков, ни лица не разобрать.

— Товарищи, внимание! — вполголоса произнес командир роты. — Противник от нас недалеко, поэтому не будем говорить громко. Сейчас мы проведем маленький митинг. Слово секретарю партбюро полка. Пожалуйста...

Старший политрук Катаев начал с того, что Москва в опасности, враг рвется к столице, не считаясь с потерями, и задача у всех одна: остановить врага, как можно больше перемолоть его живой силы и техники, сковать как можно больше вражеских сил на второстепенных участках фронта, не допустить их переброски под Москву. Задача каждого коммуниста и комсомольца личным примером отваги, стойкости вести за собой бойцов и тем способствовать выполнению боевого приказа. Почетного приказа причем, потому что в Ширяково находится мотопехота противника — его ударная сила...

— Кто желает высказаться по существу? — спросил Туров. — Может, пулеметчики...

— Пашка, давай, — подтолкнул Крутова локтем Лихачев. — От имени всего отделения. Так, мол, и так, заверяем...

Крутов не любил предварительных заверений, лучше сначала дело свершить, а уж потом разговор, чтоб не сочили за бахвальство, но если нужно...

— Позвольте мне, — поднял он по-ученически руку. Туров узнал его по голосу:

— Слово имеет красноармеец Крутов!

— Нас в отделении комсомольцев — я и Кракбаев. Остальные беспартийные. Но мы все вместе заверяем наших товарищей по роте, что пулеметное отделение не подведет в бою, врага будем разить насмерть, без промаха, и перебоев в работе матчасти мы не допустим. Мы — сибиряки, по в эти решающие дни наше сердце, все наши помыслы с теми, кто защищает столицу. Не щадя жизни, будем громить заклятых врагов-гитлеровцев. Обещаем...

Выступили помкомвзвода Газин, боец Грачев. Они тоже заверили, что не пожалеют жизни, будут громить врага по-сибирски. Лейтенант Туров от имени всех попросил секретаря партбюро передать командованию, что четвертая рота выполнит боевой приказ.

Митинг накоротке закончили.

Пришла разведка. Это ее и ожидали. Туров подал команду: «Становись!»

— Товарищи! Нам приказано захватить Ширяково. Атако-

вать противника надо так, чтобы ни один не ушел. Слева от нас другие роты, а справа — никого. Командиры взводов задачу знают, поведут вас, а я хочу предупредить: подходите тихо и первыми ни за что огня не открывайте. Уж если стрелять, так только наверняка, а лучше всего полагайтесь на штык. Нападем внезапно — деревня будет наша. Вы должны это понять...

Повзводно, крадучись, рота двинулась к деревне. Вскоре подошли настолько, что на фоне неба стали прорисовываться силуэты изб, ветлы; ни огонька, ни звука. Слышно только, как под ногами шуршит стерня. Собаки и те ничего не слышат, умолкли. Взводы развернулись в цепи: два впереди, третий чуть сзади. Пулеметное отделение Лихачева справа, чтобы прикрыть роту от внезапного нападения с фланга, если такое случится.

Какая-то рота достигла деревни раньше четвертой, а может, ее обнаружили немецкие часовые, только там поднялась пальба. Хлестко ударили орудийные выстрелы, и вспышки рванули черный полог ночи. Медлить нельзя, осторожность больше ни к чему, и Туров крикнул: «Вперед!» Стрелки, пулеметчики ринулись к домам.

Навстречу с сухим хлопком, шипя, рванулась ракета, и тут как на ладоши обрисовались избы, сарай, сгрудившиеся возле них автомашины с крытыми кузовами и бегущие по полю бойцы. Частая дробь выстрелов рассыпалась по всей деревне, залились истощным лаем собаки. С хрястом, видно от пинка ногой, распахнулась дверь дома, к которому подбегали пулеметчики, и на крыльцо выскочил первый гитлеровец.

Крутов навскидку выстрелил в него из винтовки, и тот, падая, заорал истощно, длинно.

Сумароков запустил гранатой в черный проем двери, но взрыва почему-то не было, видно, улетела граната вместе с кольцом, придерживающим чеку. В доме поднялся переполох, и едва пулеметчики успели прильнуть к стене, как со звоном полетели оконные стекла. Гитлеровец вышиб раму и выпрыгнул в окно. Машинально, не отдавая себе отчета, Крутов сделал привычный, отработанный за два года службы выпад: раз-два — длинным коли! На мгновение ужас заледенил душу: это же не чучело — человек! Казалось, даже судорога свела руку, но когда тело уже качнулось и левая нога припала на себя всю его тяжесть, удара было не остановить.

Крутов, даже не почувствовав сопротивления перед острым жалом штыка, так же привычно откачнулся назад. Перед ним хрипел, корчился гитлеровец, скреб пальцами землю.

Крутов растерялся: «Я убил человека? Я...»

Ему стало столь омерзительно, что он опустил было руки.

Но это длилось только секунду. В следующий миг он уже кинулся на крик Лихачева, призывавшего во весь голос:

— Братва, ко мне!

Он стоял в простенке между двух окон и принимал на штык прыгавших в суматохе из дому обезумевших от страха гитлеровцев.

— Эй, фрицы, хэнде хох! — заорал подскочивший к Лихачеву Сумароков и завершил свое первое в жизни обращение к врагам виртуозным русским матом. В доме раздался взрыв.

— Вот сволочной народ, какой настырный. Сами себя подорвали, только бы в плен не сдаваться, — сказал Сумароков, тяжело дыша и прислушиваясь, нет ли в этой внезапной тишине какого подвоха.

— Зачем сами себя? Я гранату кидал, — раздался голос Кракбаева. Согнувшись, он катил за собой пулемет. — Дом смотреть надо, может, кто живой есть, раненый...

— Не до них, подохнут без нас, — оборвал его Лихачев и, увидев, что Сумароков стоит только с винтовкой, набросился на него: — Где ленты, чем стрелять будем? Бегом марш за ними!..

Сумароков было заспорил с ним, и в это время мимо пулеметчиков с треском промчались несколько мотоциклистов. Все, кто был возле дома, открыли по ним пальбу, но поздно: та-рахтение замерло где-то вдали.

— Собаки, вырвались! — выругался Лихачев, засылая в магазин винтовки новую обойму патронов.

Бой затихал, все реже раздавались выстрелы. Первый бой в жизни Крутова. Ночь и внезапность помогли захватить деревню да еще и разгромить при этом мотоциклетный батальон гитлеровцев. О такой удаче можно было только мечтать.

По всей деревне сновали бойцы, шуровали в захваченных трофеях. Манили не корысть — любопытство.

Лихачев распорядился поставить пулемет возле дома, пацелить в ту сторону, куда убежали гитлеровцы, назначил дежурных и только тогда разрешил войти в дом, который захватили. Ему доставляло удовольствие распоряжаться, и он делал все обстоятельно, как полагается, не выпуская ни одного бойца из-под своей власти.

Стол был завален бумагами, картамп, ящик был полон какой-то переппски.

— Канцелярпя, — усмехнулся Лпхачев. — Писарп, вот п перли на штык как дурные. Сумароков, бегп доложи командиру роты, мол, захватили штабные документы! — приказал он.

Циркая спичками и перестуная через убитых, пулеметчики обошли всю избу. Кругом валялись чужие, незнакомые им вещи, чужое оружие, снаряжение. Найдя плошки со свечками, зажгли свет.

Лихачев ходил, поддевал, что попадетя, ногой и, если чем заинтересовывался, брал в руки. Противоипритные накидки и бинты похвалил:

— Из бумаги. Здорово придумали, сволочи! В случае драпать, так не жаль и выкинуть. И в походе легко... — и отбрасывал.

Новепьякая кожаная планшетка для карты, пистолет-парабеллум и компас с зеркальцем обошли из рук в руки по кругу, пока снова не попали к Лихачеву.

— Подарим командиру роты от нашего отделения! — И он сложил все в свой вещевой мешок. — В случае чего, чтоб знали...

В кухне пашелся большой шмат сала, масло, хлеб. Перетрясли все фляги — одна была полна.

— Может, шнапс? — Отвинтив флягу, Лихачев понюхал, пригубил: — Паразиты, наш коньяк глушат!

Пристегнув флягу к поясу, он распорядился:

— Всю жратву вали в один мешок, потом па всех поделим.

Прибежал запыхавшийся Сумароков:

— Там в машинах шнапс надыбали, все едят, пьют! Вот. — Он поставил на стол котелок. — Другой посудины не было, пришлось в котелок набрать. Едва успел. Братья-славяне как налетели, сейчас там не пробиться... Пей, братва, наш трофей — законный! Я и консервы прихватил, не из таких, про своих не забуду...

— Ты прежде скажи, Турова видел? — спросил Лихачев. — Доложил?

— А как же! Приказал обороняться и отсюда без приказа ни шагу. Обещал зайти, посмотреть. Ну, чего вы, доставай кружки, сухари! Я-то немного уже...

Что он успел приложиться, было заметно по глазам, да и язык заплетался.

— Ладно, перекусим по-быстрому, — согласился Лихачев. — Только давайте сначала этих дохляков повыбрасываем к чертовой матери, а то противно.

Выкинув трупы гитлеровцев через окно, Лихачев окликнул часовых у пулемета:

— Как вы там, не спите? Сейчас мы вас подкрепим, мы тут кое-что раздобыли. С поста ни шагу, в случае чего сразу сюда.

Собравшись на кухне у стола, пулеметчики поочередно прикладывались к котелку с вином, закусывали. Ели не торопясь,

как следует, потому что неизвестно было, когда их покормят. Ведь наверняка с утра начнется бой, так думалось каждому, а какая тогда еда?

Бой начался много раньше. Разрывные пули хлестко стегали по крыше, стене. Часовой, стоявший у пулемета, забарабанил по раме:

— Эй, вылетай, живо!

Пока бойцы рылись в трофеях, перебирали немецкое барахло, бежавшие гитлеровцы подняли на ноги гарнизон в Городне, Щербово и теперь шли в контратаку. Никто не ждал такого оборота. Беспokoйно взлетали ракеты, тревожно, коротко тыркали чужие автоматы, и трудно было понять, откуда стреляют, потому что пули щелкали будто выстрелы, так что даже оторопь брала — уж не пробрались ли автоматчики в деревню?

— Разрывными садят. Ложись! — крикнул Лихачев.

Припав к пулемету, он дал длинную очередь, сыпанув пули широким веером. «Максим» опробовал свой голос и заработал неторопливо, короткими очередями. Хоть и стреляли наугад, но все равно знали: не так-то просто идти на пулемет.

В темноте хлопотнул орудийный выстрел, и снаряд с визгом пронесся близ дома, разорвавшись где-то сзади. Новая вспышка — выстрел, и пулеметчиков обдало дымом, слежалой чердачной пылью и щепой, сорванной с крыши дома взрывом. Донеслось глухое ворчание моторов.

— Танки! — Лихачев дернул Сумарокова за плечо. — Дуй к командиру, спроси, как быть?

Но Сумароков лишь промычал что-то в ответ и сунулся носом в землю. Он спал, и ему все было ни о чем. А стрельба уже охватывала деревню полукольцом, трассирующие пули прошивали темноту в самых различных направлениях. Невдалеке вспыхнули трофейные машины, и при свете начавшегося пожара Крутов увидел отбегавших из деревни бойцов. Это уже было похоже на отход. Кто-то кричал: «Стой! Назад!..» Крутову показалось, что он узнал голос Турова, но крики остались без внимания, в свете пожара мелькали новые фигуры. Сомнений не оставалось, Крутов тронул Лихачева за плечо:

— Отходят наши. Что будем делать?

— А черт его знает! — Лихачев скрипнул зубами от злости. — Пробрахлились... Может, немного потеряем, а? Ты там понаблюдай...

Пули дырявили избу, заборы, Крутову даже показалось, что немецкий автомат ударил где-то вблизи. Но оказалось, что это стрелял лейтенант. В руках у него был трофейный автомат.

— Эй, пулеметчики! — окликнул он. — Где вы тут?

— Сюда, товарищ лейтенант!..

— Потери есть? — осведомился Туров. — Что с Сумароковым?

Лихачев наступил Крутову на ногу и бодро ответил:

— Потерь нет. Сумарокова маленько оглушило — отойдет.

— Отступаем, немцы уже в деревне.

— Отходите вы первый, товарищ командир, — резко сказал Лихачев. — Мы прикроем немного, да и за вами следом...

— Не задерживайтесь, а то отрежут!

Туров побежал догонять стрелков и скрылся.

— Что будем делать с Сумароковым? — спросил Крутов. — Не бросать же его.

— Я и сам думаю... — Лихачев яростно поскреб затылок. — А хватайте его прямо за воротник и волоките по земле. Нести, так еще убит, дьявола!

— Как же тогда с пулеметом?

— Управимся без вас. Живо!

Завалив мертвецки пьяного Сумарокова на плащпалатку, Крутов и Кракбаев поволокли его за собой. Отбежав метров двести от деревни, присели перевести дух и дождаться остальных.

— Эге-ге-е! Лихачев!..

— Чего орете? — раздалось вскоре. — Никуда мы не денемся.

Лихачев тяжело дышал, видно, тоже бежал, да еще катил за собой пулемет. Развернув пулемет в сторону деревни, он лег рядом. Возле повалились усталые подноски патронов с коробками.

Над полем посвистывали пули. Стреляли из деревни автоматчики. Значит, заняты опять гитлеровцами. Урчали танки.

— Бегите дальше, — скомандовал Лихачев. — А я сейчас еще немного причешу фрицев! — И он стал вдевать в пулемет ленту.

Суматошная это была ночь. К утру рота опять оказалась на опушке леса, откуда выходили к деревне. Только теперь лежали за деревьями в наспах вырытых окопчиках. Батарея, стоявшая здесь вечером, куда-то перешла. Теперь, днем, оставлять орудия на опушке, на виду у противника, значило погубить орудия. Это было понятно всем.

В четвертой роте только пулеметное отделение Лихачева не пострадало, хотя они и отходили последними. Сумароков мучился — болела голова. Проснувшись, он совершенно не понимал, как опять очутился в лесу, когда был в деревне. Когда ему Лихачев сказал, что его вытащили из деревни на себе, он сначала не

поверил, а потом кинулся пожимать всем руки и благодарить за спасение.

— При чем здесь мы? — сказал Кракбаев. — Командир приказал, его благодари.

— Кореш, спасибо... — схватил Сумароков Лихачева за руку.

— Иди ты... — Лихачев впервые длинно и грязно обругал Сумарокова. — Из-за таких, как ты, деревню отдали. Если б не Крутов, и не подумал бы даже вытаскивать.

Тут случилось то, чего никто не ожидал: Сумароков вдруг заплакал и, опустившись перед бойцами на колени, забормотал:

— Братцы, спасибо вам всем... Вовек не забуду. Назовите меня самой последней сволочью, если еще когда-нибудь подведу отделение. Вот, не надо мне одному ничего, пусть на всех достанется...

С этими словами он лихорадочно принялся расстегивать противогазную сумку и вытряхивать на землю ее содержимое. Посыпались кольца, часы, золотые безделушки.

— Где взял? — строго спросил Лихачев. — Убитых обшаривал?

— Ты что? — опешил Сумароков. — Еще чего... Когда ты меня к лейтенанту послал, возле мотоцикла гляжу — убитый фриц. Заглянул в коляску, а там саквояжик. Ну, я и подумал: может, там что есть. Крышку пожом чикнул, а под ней вот это все. Чем добру пропадать, решил взять. Все равно кто-нибудь попользовался бы.

— Собери, — приказал Лихачев. — Сдай командиру роты по списку. Чтоб тютелька в тютельку, ничего не пропало. Мой батька в первую германскую восвал и мне пастрого наказал: на войне чужим не пользуйся — добра не будет. Это все с наших людей награблено, и я руки пачкать не хочу. Верно?

— Сдать и дело с концом! Пускай на оборону идет.

— Так разве я против? — сказал Сумароков. — Как на духу, вот хоть обыщите, ни одного колечка не утаил. Провались оно все. Отнесу...

— Садись, вписывай все в список, — сказал Лихачев. — Мы все подпишемся, чтоб веры больше было, а то ещехватишь мороки с этим добром.

Предосторожность оказалась не лишней: сдать это «добро» было нелегко. От командира роты Сумароков прошагал в штаб батальона. Комбатау Бородину некогда было разбираться с этим барахлом, и он отправил Сумарокова в штаб полка к Матвееву. У комиссара оказался оперуполномоченный, и он стал дотошно!

выспрашивать, как и при каких обстоятельствах пайдены ценности, и лишь после этого приказал сдать их начфину полка.

Вернулся Сумароков, когда время перевалило за полдень.

— Ну, братцы, зарок дал: под ногами будет золото валяться — не подниму.

## Глава вторая

Перед уходом из укрепрайона, когда из дивизии пришло указание откомандировать несколько человек из младшего политсостава на курсы, желательно из тех, кто еще не проявил себя на деле или слабо к политработе подготовлен, Матвеев, не колеблясь, включил в список младшего политрука Кузенку. Не оправдал доверия. Еще не видели боев, а в четвертой роте больше всего происшествий. Если за два года службы в мирное время не нашел подхода к людям, значит неспособен к политработе. Будь другое время, можно было бы не торопиться с выводами, подождать, глядишь, приобрел бы опыт. Не сразу, конечно, а с возрастом. Но война не терпит ни одного дня. Нужно уметь работать сейчас, сию минуту. Люди угнетены слухами о неудачах под Киевом, беженцы преувеличивают силы гитлеровцев. (За последнее время много беженцев шло через укрепрайон.) Что ж, неспособен — ничего не поделаешь. А строевой командир получится: исполнительный, дисциплинированный, и воля есть. Этих качеств у него не отнимешь.

Командир полка бегло, не задержавшись взглядом ни на одной из фамилий, пробежал список, подписал. Матвеев догадывался, почему список не вызвал возражений: Исаков ни одного из названных не помнил в лицо, да и бумаги разные идут потоком, приходится подписывать не задумываясь.

Исаков выглядел озабоченным, усталым. Под округлыми по-птичьими глазами — мешки, лицо пожелтело, морщин стало больше: за последнюю неделю-полторы навалилось столько хлопот, что дня не хватало. Строители сдавали оборонительные сооружения, пришлось много ездить, разбираться с делами комиссий, устраивать стрельбы на проверку прочности, уточнять схемы, устранять недоделки. Уйдут строители, тогда все придется брать на себя, а кому это интересно? Строили много, и, конечно, качество не везде было на уровне. При стрельбе оказалось, что снаряд из полковой пушки не только вскрывает земляную обсыпку дзота, но и ломает накатник. Слабоват оказался и бетон дотов. От одних этих волнений у любого голова пойдет кругом, а тут еще слухи, что вот-вот начнется наступление гитлеровцев.

Свет из окна падал на Исакова со спины, серебрил тусклые

волосы. Синеватые вены бугрились па кистях рук, лежавших поверх бумаг и карт. Побарабанив в раздумье пальцами, Исаков неожиданно спросил:

— Какой батальон у нас более надежен?

— В смысле чего? — резко, будто его ожгло, спросил Матвеев. — Я не понимаю такой постановки вопроса: сомневаться в преданности целого подразделения! Двадцать лет советской власти не прошли для народа напрасно. Да и мы хлеб едим не задаром...

— Я имею в виду подготовку, — уточнил Исаков, попявший, что неточно сформулированным вопросом действительно оскорбил комиссара. — Скоро придется воевать, и от первого боя многое будет зависеть. Вы лучше меня знаете наши кадры.

— Второй, — не раздумывая, заявил Матвеев. — На капитана Бородина можно положиться.

— Да, я тоже так думаю, — согласился Исаков.

Этот разговор у них произошел в укрепрайоне, за несколько дней до немецкого наступления. Полку потом приказали вступить в бой под Осугой. Исаков направил туда первый и третий батальоны, наверное, считал, что заткнуть брешь не удастся, положения не восстановить, а раз так, зачем губить лучшее подразделение. И лишь теперь, для захвата деревни Ширяково, он выделил второй батальон. Значит, не забыл рекомендации.

Второй батальон еще засветло вышел в район сосредоточения. По времени, так уж должен бы приступить к выполнению задачи, но донесений еще нет. Связисты потяпули за ним нитку, однако линия еще молчит. Может, Исакову уже и доложили, как там дела, но идти к нему Матвееву не хочется. Пока числился комиссаром полка, Исаков с ним, хоть и скрепя сердце, считался, а как стал заместителем по политчасти, просто игнорирует. Раз, мол, единоначалие, так знай свою политработу, обеспечение и не лезь в командование. Хоть и не говорит этого вслух, но по тону понять можно, по отношению.

Матвеев нервничает: неужели не понимают, что о них беспокоятся? Давно могли послать с донесением связного. Потом, подумав, берет себя в руки: нельзя так. Он ждет, поэтому для него каждая минута кажется вечностью, а они заняты делом и времени не замечают.

С батальоном ушел старший политрук — секретарь партбюро полка. Ему поручено обеспечить надлежащее выполнение задачи батальоном. Внезапно пришло на ум, что не мешало бы еще раз проверить, как развернулась санитарная рота. Ведь к утру, наверное, поступят раненые. Матвеев надел шинель и вышел на улицу.

Черное бархатное небо узвано сияющими большими звездами. Осенняя прохлада бодрит и прогоняет беспокойные мысли. Дышится легко. Тишина. Покой. Но впечатление покоя обманчиво. Ведь где-то недалеко, быть может, гуляет смерть, льется кровь. Оглянувшись, Матвеев увидел, что на северо-востоке, в той стороне, куда ушел батальон, над горизонтом начинает растекаться красноватая муть. Пожары. «Значит, идет бой», — решил Матвеев и ускорил шаги: быстрее добраться до телефона, может, что-нибудь уже стало известно.

В санитарной роте, кажется, все в порядке: столы застланы белым, хирургический инструмент поблескивает никелем, банки с лекарствами и салфетками расставлены на полках. Врачи, санитары отдыхают на полу, но в любую минуту готовы подняться. Дежурный по роте тихим голосом, приглушенно, рапортует: рота готова к приему раненых.

Матвеев жестом останавливает дежурного и подходит к телефонисту:

— Со вторым хозяйством есть связь? Немедленно Бородина...

Связь уже есть, но немедленно не получается: комбата долго не могут найти.

— Ну, что у вас? Докладывайте! — потребовал Матвеев, когда комбат появился на другом конце провода.

Бородин докладывает обстоятельно, но Матвеева сейчас эта обстоятельность только раздражает: важнее трофеев, захваченных батальоном, надо знать, выполнена ли задача.

— Где вы сейчас находитесь, в Ширяково?

— Противник перешел в контратаку с танками, а поддержки артиллерией нет, и роты отошли на исходное...

— Почему не доложили сразу? Хозяин знает? — возмущенно спросил Матвеев. — Оставили деревню и молчат!

— Связь только что дали, — спокойно отвечает Бородин. — К тому же обстановка была неясной...

— Приводите подразделения в порядок. Задача должна быть выполнена. Понятно? Я сейчас выхожу к вам! — Больше, чем на комбата, не сумевшего удержать деревню, Матвеев негодовал на Исакова: как он может проявлять инертность в такую ответственную минуту! — Да, Бородин, позовите к телефону секретаря партбюро полка. Он где-то у вас.

— Отсекр ранен в ногу, — тем же невозмутимым голосом сказал комбат. — Сейчас эвакуируем...

— О, черт! — Матвеев позвал дежурного: — Скоро подвезут раненых. Если что не готово к приему, поднимайте людей и делайте.

Он не решился по телефону справляться у комбата о поте-

рых, но если выбиты из деревни, так не без этого. Однако, куда могла запропаститься батарея, ведь посылали?! Надо идти и самому во всем разобраться.

\* \* \*

Время близилось к полудню, а никаких приказов не поступало: ни назад, ни вперед. Пулеметчики лежали на опушке леса в мелких окопчиках для стрельбы, отрытых по собственной инициативе. Пора бы уже пообедать, но команды отправлять людей за едой не было.

Небо затянуто серой мглой, однако вражеская авиация летает. Остроносые, с хищно вытянутым туловищем и распластанными крыльями истребители, издали похожие на крестик, патрулируют над окрестностями. Сама деревня кажется дальше, чем была ночью, в синеватой дымке избы выглядят плоскими, будто вырезанными из картона, все на одно лицо.

Из-за деревьев вынырнул командир роты Туров, пригнувшись, подбежал к пулемету и лег рядом с Лихачевым.

— Сейчас будем наступать. Приказано выбить противника из деревни. Рядом с нами пойдет и первый батальон. Наша рота во втором эшелоне, за пятой. Как только ударит артиллерия, сразу вперед. Держаться, как и ночью, на фланге роты. Тебе понятна задача, Лихачев?

— Ясно, товарищ лейтенант! А как огонь вести, если впереди будут боевые порядки пятой?

— Это ничего, будете вести огонь в промежутки между наступающими. К тому же наша рота фланговая. Ленты снаряжены?

— Да, набили все восемь.

— Ну и хорошо, патронов не жалеть. А там, если возьмем деревню, боеприпасов подбросят. Как настрояние расчета?

— На уровне, товарищ лейтенант. Свою задачу выполним, за нас не беспокойтесь.

— Я на вас надеюсь, Лихачев. Газин будет находиться с другим расчетом, поэтому действуйте самостоятельно.

Вскоре ударила артиллерия. Полковые орудия били откуда-то сзади залпами. Сизые клубки разрывов расползлись по окраине деревни. Зачастили вразнобой батальонные минометы. Пятая рота пошла на деревню. Когда она отдалилась от опушки метров на сто, вслед за ней поднялась и четвертая рота.

— Вперед! — кричали командиры. — Не отставать!

Батарея, сделав пять залпов, примолкла, только минометы еще постреливали, но уже не скороговоркой, а будто раздумывая,

цедили сквозь зубы по слову: выстрел, потом через некоторое время еще.

— Выдохлись! — зло бросил Лихачев. — А пятая еле ползет...

Наступающие шли молча, не открывая огня. Когда до деревни оставалось метров триста, противник поставил заградительный минометный огонь, раздались первые очереди из пулеметов. Хотя наступление вела пятая рота, а четвертая просто следовала за ней, потери несли обе роты в одинаковой степени. Упруго, хлестко посвистывали пули, будто кто-то па всю отмашку стегал по воздуху бичом. Разбрасывая землю и куски дернины, часто ложились разрывы мин. Осколки под машинку стригли траву вокруг воронок, зло фурчали на излете.

— Вперед! Бегом!

В грохоте и свисте глохли человеческие голоса, падали бойцы. Одни поднимались, перебежали, другие оставались лежать навсегда. Новые залпы накрыли наступающих. Дымом заволокло все поле. Роты залегли. Боевые порядки смешались.

Коротко, зло тыркали вражеские пулеметы и автоматы, не прекращался минометный огонь. «Мессеры», патрулировавшие над окрестностями, закружились вокруг Ширяково. Стреляли и бомбили они мало, зато все время носились над самой землей, временами взмывая вверх, чтобы оттуда тут же спикировать с ужасным воем. Казалось, что желтые крылья с паучьей свастикой закрыли все небо, потому что, как ни взглянет кто вверх, видит только их. Когда самолет становился на вираже на крыло, за прозрачной стенкой фонаря можно было различить голову пилота. Обнаружив что-либо подходящее, летчик выбрасывал из кабины мелкую бомбу или обстреливал из пулемета.

Крутов впервые попал в такую обстановку, и сердце его тоскливо замирало всякий раз, когда слышал мгновенно возникающий свист падающей бомбы или надсадный вой и визг пикирующего самолета. «Вот сейчас, сейчас...» — и он мысленно прощался с жизнью, полагая, что мина летит именно в его спину.

Как маяки, отметившие рубеж, на котором наступающих встретил огонь неприятеля, лежали среди жухлой осенней травы серые бугорки убитых.

Лихачев оборачивается назад, потом говорит:

— Видал, Пашка, как приходится расплачиваться за трофеи, за беспечность? — На его побледневшем осунувшемся лице зло щурятся голубоватые, под стать хмурому небу глаза. — Если б ночью не отошли, мы бы их столько положили, а не они нас. Эх, сильны мы задним умом, — с горечью признается он.

— Не от нас одних зависело, — ответил Крутов. — Что пулеметчики... Мы и так отходили последними, сам знаешь.

Сумароков чувствует себя виноватым и глядит в сторону. Потом неожиданно предлагает Лихачеву:

— Слышь, командир, по-моему, застряли надолго, давай рыть окопы.

Лихачев приподнял голову над щитом пулемета, огляделся.

— Лежат все. Черт их знает, то ли их побил, то ли притаились. Рой окопы каждый себе, — распорядился он. — Если пойдем, так не жаль и бросить.

Работали лопатами лежа. Глядя на пулеметчиков, стали окапываться стрелки. Крутов резал податливый сырой суглинок и укладывал его перед собой. За работой не заметил, как разогрелся. Когда окоп углубился настолько, что можно было сесть, решил отдохнуть. Лихачев копал споро и успел нагромоздить вокруг пулемета высокий бруствер. Увидев, что Крутов сидит, облокотился на край окопа, достал кисет.

— Перекурить, что ли, — сказал он. — Почти в полный профиль отгрохал. А у тебя?

— Видишь, сижу. Притомился малость.

— Гляжу, слабаки вы все, — усмехнулся Лихачев. — Знаешь, перелазь ко мне, тут просторно, поместимся. А то одному сидеть — тоска.

Медленно, будто нехотя, ползет время. День никак не хочет уступать место вечеру. Только мглистое небо вроде бы ниже придвинулось к земле, стало сумрачней, и самолеты улетели. Хочется есть, но об этом нечего и думать. К роте с термосами не пройти, да и кто пойдет, если раненых и то не выносят. Надо ждать ночи, тогда уж что-нибудь одно: либо отведут, либо заставят брать деревню.

Поле кажется обезлюдившим, но гитлеровцы знают, что наступающие лежат, пикуда не делись, и размеренно бьют из пулеметов и минометов. Бьют по желтым бугоркам окопов, по мелькнувшей над бруствером руке с лопаткой, бьют по тем, кто неожиданно вскакивает и меняет место. Пули щелкают, взбивают фонтанчики земли. Нет-нет да поднимется вдруг раненый и, опираясь на винтовку, заковыляет в тыл, почему-то полагая, что, поскольку он пострадал, посвистывающие пули уже не про него.

Как хотелось Крутову, чтобы скорее кончился этот проклятый день!

Стрелки огня не ведут, считают, что бесполезно жечь патроны, не видя цели. Да и что толку! Артиллерия молчит, кончились снаряды, а пулей врага не вышибить, если он не показывается. Пулеметчики тоже молчат: «максим» сразу обнаружат, начнут

крыть по нему из мппометов, а куда с ним тогда денешься? И пулемет разобьют, и расчету не сдобровать. Так думает Крутов, так думает Лихачев, так, по-видимому, считают командиры, потому что никаких приказов не поступает.

Сидеть скорчившись уже не под силу. Душа окоченела, как иззябшие негнущиеся пальцы, как посинелые неповинующиеся губы. Застыло в ней все, и нет больше ни страха, ни жалости, ни других чувств. Только когда поблизости со свистом падала мина, Крутов старался прикинуться к земле-спасительнице поплотнее. А волнения нет, нервы перестали реагировать на опасность. Можно волноваться час-два, но не сутки подряд, нервы не железные — сдают.

— Жрать хочется, — разлепил посинелые губы Лихачев. — Сейчас бы вчерашнего шнапсу...

Он сплюнул тягучую слюну и резко двинул плечами, чтобы разогреться, разогнать застоявшуюся кровь. При этом не весьма осторожно задел Крутова, и тот нехотя тоже пошевелился.

— Противная штука — войпа, — говорит Лихачев. — Лежишь под обстрелом, а пичего сделать не можешь. Не знали мы ее.

— Как не знали: и читали про нее, и в кино — помнишь, Чапай в крылатой бурке?

— Ну, тогда не такая война была...

— Такая же. Война во все времена, видимо, одинакова, только одно дело смотреть на нее со стороны, другое — лежать вот так под обстрелом...

Вечерело, когда от командира роты приполз связной, передал, чтобы сразу после артналета поднимались все в атаку. Особой команды не будет.

— Вот это другой разговор, — повеселел Лихачев. — Считай, что команда принята, крой дальше. Гляди только пузо не протри.

Раздались первые залпы, снаряды заголосили в воздухе.

— Эге, Пашка, — присвистнул Лихачев. — Пока мы тут лежали, уткнув носы в землю, дивизионки подтянули. Теперь дело пойдет па лады. Знаешь, я думаю, что нам надо продвигаться.

— Одним, без стрелков?

— А что! Видишь, пятая и наша четвертая перемешались, не разобрать, кто в каком эшелоне. В атаку подыматься вместе придется. Пока орудия бьют, самое время, а то потом начнет садить — тошно будет...

— Давай, пошел.

— Пулеметчики, вперед! — зычно крикнул Лихачев и полез из окопчика. Он толкал перед собой пулемет тачкой, укрываясь

за его щитком, и полз. Крутов помогал. Бойцы из расчета подтягивались по-разному: одни так же по-пластунски, другие перебивали это расстояние броском. Перебежками выходили на рубеж атаки стрелки.

Интенсивность оружейного огня возросла — валет! Деревня окутана дымом разрывов, снаряды срывают с крыш щепу, буравят стены, выносят окна. Забегали между домами гитлеровцы, — ага, припекает!

До ближайших домов деревни остается метров сто—сто пятьдесят. Сейчас придет решительная минута, когда только атака, только острый штык могут завершить дело.

Лихачев приподнялся, осмотрелся и крикнул Сумарокову:

— За пулемет, живо!

— Пусть Кракбаев, — заудрямился тот. — Я с вами! — И просяще: — Кореш, дозвошь?

Лихачев понял чувства друга, которому надо было снять с себя вину перед товарищами:

— Ладно. Керим, к пулемету!

Рядом с Кракбаевым лег за пулемет вторым номером боец из приписного состава. Остальным в атаку.

— Смотри, не горячись, — паставляет Керима Лихачев. — Прикрывай нас, и пока не ворвемся — с места ни шагу. Да не расплавь ствол.

Керим зло щурит маленькие глазки и кивает: понятно, мол.

Налет кончился. В первый момент, как стало тихо, разнеслась команда: «Па-а-дымайсь! Вперед!»

Поднялась пехота, ожило поле. Почти тотчас же отозвались вражеские пулеметы, застрочили, затыркали автоматы.

Оглушительно, будто свинцовой хлесткой струей, ударил сзади свой «максим». Жутко. Попади под струю — перережет, разнесет в клочья. Но где-то теплится надежда, что невозмутимый и зоркий, как птица, Кракбаев не поддастся азарту, не зацепит своих.

Нет ничего тяжелее, чем отрываться от земли, подставлять незащитное, будто раздетое тело под цивкающие пули. Крутов потряс головой, словно хотел прогнать дурманящий сон. На мгновение острая жалость к себе защемила сердце: вроде жалко стало своей непрожитой молодой жизни, вроде тяжело прощаться с белым светом. А может, это страх шевельнулся в оттаявшей, пока полз, душе? Но велика сила товарищества. Ни за что не поднялся бы один, не пересилил бы себя, а когда вместе, так не отставать же!

Чтобы быстрее остервениться душой, чтобы легче было поставить свою солдатскую жизнь на ребро, как пятак, — орел или

решка! — помянул Крутов бога и — прости, родная матушка! — тебя, что породила ты его для такой тяжелой доли. Помянул не молитвой, не мольбой о помощи, а крепкой русской сквернословщиной. Помянул и, стиснув до боли в суставах винтовку, кинулся на автоматы, на огонь...

Зверев с каждым шагом, думал об одном — только бы долететь, дорваться до строений, среди которых хоронится враг, не свалиться на полпути! И уж тут, когда затоптал в своей душе все хорошее, человеческое, заглушил жалость к самому себе, готов был пороть штыком, рвать врагов зубами, такая поднялась злость. Казалось, сто лет проживи, не отойдет сердце к бывшему врагу.

Падали товарищи рядом: одних знал хорошо, не одну миску щей выхлебал с ними из общего котла, других знал меньше. Что ж, не все родились под счастливой звездой, не всем умирать в одно время. Падали, и никто на них не оглядывался — не до того. Все перли вперед, хрипели, как Сумароков, что бежал рядом:

— Врешь, сука, всех не перебеешь! Врешь...

Брали врага нахрапом, даже огня никто не открывал, — когда тут стрелять! — били только на психику, на русскую молодецкую удаль: вот, мол, хоть и бьешь нас, а все равно дорвемся до тебя...

И враг не выдержал: как-то неожиданно угас его автоматный и пулеметный огонь, и деревню будто метлой подмели. Вырвавшись с задворок на улицу, Крутов не увидел ни души. Пахло взрывчаткой, еще синий дым не разошелся в вечернем мглистом воздухе, валялся в изорванном осколками тряпье гитлеровец, — видно, попал под самый разрыв, а живых не было.

— Да воп они! Бей гадов! — крикнул Сумароков.

Деревенскими огородами во всю прыть бежали к лесу враги. Пулеметчики стали к плетню и открыли по ним стрельбу из винтовок.

Деревня Ширяково была взята, теперь уже навсегда. Сгустившаяся темнота прикрыла всех: живых, убитых, раненых.

## Глава третья

Разведка донесла, что из Ржева выступает сто шестьдесят первая пехотная дивизия. Она высвободилась после того, как ликвидация окруженной в районе Вязьмы группы наших войск стала близка к завершению. Дивизия поспешно перебрасывалась на помощь танковым и мотомехвойскам в Калинин. Это могло серье-

езно ухудшить положение наших войск, которые вели бой за город, и Фронт дал директиву Маслову тоже начать наступление, перехватив прежде всего пути подхода врага. На выполнение этой задачи Маслов двинул дивизию Горелова и другую, действовавшую с ним по соседству. Операцию требовалось провести быстро.

Так Исаков получил приказ переправиться на правый берег Волги неподалеку от Калинина и здесь перерезать шоссе Старица — Калинин, освободив деревни Толутино и Некрасово.

Тревога не покидала подполковника; он пытался ее скрыть, но она прорывалась в суетливых, перевозных движениях рук, в раздражительности. «Ну, удалось взять Ширяково, так нет, опять же ему и Толутино, — думал он. — Будто других полков в дивизии нет».

Пока вся надежда на внезапность да на ночь-заступницу. А подошел день — и беда: немец контратаками, минометным огнем дожимает, авиацией давит. Да еще танки. Там, в Ширяково, в Городне был всего один мотоциклетный батальон и штаб полка, а тут, если не врут, — пехотная дивизия. Если что и удастся па первых порах, так потом, когда поднавалятся, не сдержат. «Что греха таить, не умеем еще воевать, — думал Исаков. — Каждый надеется, что есть где-то какая-то сила, которая задержит лавину нашествия. И, чуть что, бегут. А чуда не бывает, и никто за тебя врага не остановит. Сильный ломит слабого. Во всех войнах так бывало: один побеждал, другой проигрывал. До войны надеялись, что будем побеждать мы, а вышло наоборот. Враг у Москвы. Это факт, и положение теперь никакому Матвееву, будь он и семи пядей во лбу, никакими душещепательными беседами не поправить. Боюсь я — боится и другой, — самокритично признался Исаков. — Каждый хочет уцелеть. Не важно — как...»

Основания для тревоги были: немецкая пехотная дивизия превосходила гореловскую, особенно после того, как был проведен бой за Дудкино, почти вдвое и по численности и по техническому оснащению, особенно по автоматам, минометам. Короче, она могла дать больше огня, чем дивизия Горелова, у которой к тому же каждый снаряд, мина на счету. У гитлеровцев позади несколько кампаний: какие ни есть, а войны, опыт. Это было известно Исакову, вот он и побаивался за последствия, потому что хорошо представлял, какой будет с ним разговор, если полк разбежится. Но приказ определенный: разгромить, захватить, держаться!

Исаков выехал в Хвастово, где должны были навести переправу через Волгу. Выехал с ординарцем и адъютантом. Дело

близилось к полудню; ровные валки серых туч вроде бы приподнимались над землей, голубели, открывали синеющие на горизонте дали. Хвостово — не то церковь, не то монастырь. Скорее монастырь, кирпичное, беленое здание, за давностью облупившееся, в окружении традиционных для верхневолжских селений ветл и берез, обвешанных черными шапками грачиных гнезд. Птицы, обеспокоенные шумом и движением людских масс, машин, гомонили над деревьями, то и дело взмывая в воздух, как поднятые вихрем палые осенние листья.

Отсюда, из Хвостово, с высокого берега открывался широкий вид на заречные дали — густые сосняки, ельники, терявшиеся в синеве, на реку, плавно струившую воды в сторону города Калинина. На левобережье лес отступал от реки, наверное его потеснили деревни, лежавшие здесь более часто, чем на правой стороне.

Под прикрытием монастырских стен, различных пристроек, служб, под сенью деревьев теснились машины с понтонами. Чуть поодаль готовили огневые позиции расчеты зенитных малокалиберных орудий. Среди машин Исаков увидел знакомый черный газик Горелова.

Хотя Исаков ехал, чтоб встретиться с командивом, сейчас он сразу засуетился, оглядывая, куда бы приткнуть лошадей. Все хорошие места были заняты, пришлось привязать лошадей у дерева. Адъютант хотел следовать за ним, но Исаков жестом остановил его: «Побудь здесь!»

Переправу наводил саперный батальон дивизии. Одна часть саперов орудовала лопатами и кирками, выравнивала косой пологий срез, по которому можно было бы спускаться к воде орудия и машины; другая — большая — налаживала паромы, плоты. Лодки, собранные из прибрежных деревень, уже курсировали взад-вперед по реке, перевозя связистов, разведчиков, пехоту.

Здесь, на срезе, Исаков лицом к лицу и столкнулся с Гореловым. Генерал был в реглане, ставшем для него неизменной формой одежды за последние дни, в сдвинутой на затылок фуражке, раскрасневшийся от движения. На белой коже лба резко выделялась красная, как шрам, полоса, отдавленная клеенчатым рубцом фуражки.

— Товарищ генерал, вверенный мне полк сосредоточен для форсирования в указанном районе. Докладывает командир...

— погоди. Сам вижу, что командир, — остановил Исакова Горелов. Жестом, ставшим для него привычным, генерал перебросил планшет с картой с бедра на живот. — Гляди. Видишь шоссе? Ночью должен выдвинуть батальоны к самой деревне, но

сначала вперед разведку... Поддерживать тебя будет второй дивизион. Начальник артиллерии задачу ему уже поставил, по ты с командиром дивизиона договорись сам, как и что. Словом, устанавливай контакт. Я буду в Ново-Путилово, на той стороне. Видишь? Переправу начинай немедленно, не жди, пока наведут мост. Мост для артиллерии, а ты на чем есть...

Речь Горелова прервали крики «Воздух! Самолеты!». Горелов поднял голову, обвел взглядом небосвод. К переправе, увеличиваясь, плыли три звена бомбардировщиков. Сначала казалось, что они пройдут мимо, к какой-то другой цели, но, когда они стали разворачиваться, сомнения отпали: станут бомбить. Вот первое звено уже пошло на переправу...

— С тобой ясно, — сказал Горелов Исакову. — Поторапливайся с переправой; руководи...

Он резко оттолкнулся плечами от вертикального земляного среза, у которого они стояли прижавшись, чтоб не мешать движению и работающим, и поднялся на берег.

— В укрытие! — раздался его зычный голос. — Всем в укрытие! Под берег! — командовал он кому-то паверху, словно сам он паходился в падежной от осколков и пуль броне. — Живо!..

Ноги Исакова будто пристегнуло к земле хватающим за душу воем и визгом, с которым устремилось на переправу первое звено бомбардировщиков. Он хотел бежать, куда-то скрыться, но не мог и что есть силы прижался к земле плечами.

Хлестко и часто ударили первые выстрелы зениток, но странно: они били не по тем самолетам, которые уже пикировали, а по другим, испятнали вокруг них небо, усеяв его, будто клочками грязной ваты, разрывами. Исаков увидел еще, как под воздействием этого огня самолеты вдруг нарушили строй... Визг падающих бомб сдавил ему сердце. Шалыми от страха глазами он обвел вокруг, ища, куда бы юркнуть, упрятаться с головой. Защита с одной стороны, со спины, казалась ему недостаточной, когда бомбы летели прямо на него.

— Ложись! — Кто-то толкнул его в бок, навалился сверху, придавил к земле.

Запах махорки, пота смешался с сырым прелым духом слежалой глины, в которую ткнулся Исаков лицом. Бомбы ухнули неподалеку, встряхнув землю. Гул, грохот, шум сыплющихся сверху комьев, удаляющийся рев самолетов. Шуршание обессиленного; на излете, крупного осколка. Волною воздуха нанесло приторный запах взрывчатки.

Тяжесть с плеч Исакова исчезла.

— Извините, товарищ подполковник, — сказал боец со смуг-

лым, давно не бритым лицом. — Вижу, летят... Думал, как бы уберечь... Не зашиб?

— Кто просил? Себя побереги! — раздраженно бросил Исаков, не желая принять добрых побуждений бойца.

Сапер пошевелил черными узловатыми пальцами, потемнел лицом:

— Нам что... Нам все едино. Заслону, думал...

Несмотря на огонь зениток, новые самолеты заходили на бомбежку. Исакову показалось, что у воды, под береговым обрывом, безопаснее, но он не отважился переменить место, сознавая, несмотря на страх смерти, что находится на виду у других. Он остался стоять у среза, лишь чувствуя, как белеет лицом, потому что кровь отхлынула от сердца и в нем образовалась тупая, ноющая, как боль в зубах, пустота.

«Та-та-та!» — колотили часто и нервно зенитки. Бомбы сотрясали землю, песок с откоса с шорохом сыпался Исакову под ноги. Кипели, захлебывались от частой стрельбы счетверенные пулеметные установки роты ПВО, ревели, выли надсадно моторы самолетов, выходявших из пике, с визгом и стоном опрокидывались к земле очередные, чтобы сбросить в гущу паромов, плотов и лодок две-три бомбы.

Странно, что вместо сжимающего душу страха наступило состояние отрешенности, словно он смотрел на происходящее со стороны, а его это не касалось. Одна из бомб угодила в край парома, застигнутого на полпути между берегами. Паром был забит до отказа солдатами: человек двадцать—тридцать. Взрывом взметнуло кверху воду, обломки парома, разбросало людей. Когда водяной смерч осел, Исаков увидел, как к месту гибели понтона устремилась чья-то гребная лодка, увидел, как за доски хватаются многие руки, увидел барахтающихся в воде солдат. Все это медленно относилось течением вниз, в сторону...

— В укрытие! Не скапливаться! — прорвался откуда-то голос Горелова.

«Что ему надо? Зачем? — подумал Исаков. — Разве есть укрытие, которое спасло бы от бомбы?..»

Ему казалось, что налет продолжается целую вечность, а на самом деле не прошло и пятнадцати минут. Самолеты, отбомбившись, уходили. Вдруг за одним потянулся дымок, тут же превратившийся в черный шлейф.

— Горит! Подбили! — загалдели вокруг Исакова. Он обернулся туда же, куда смотрели остальные.

Самолет, отвернув с курса, снижаясь, шел на посадку. Наверное, летчик высмотрел где-то поле, но не дотянул до него, вильнул и врезался в землю. В наступившей неожиданно тишине

отчетливо стал слышен каждый звук. Исакову показалось, будто с плеч у него свалилась тяжесть. Сердце, как усталый путник шага при подъеме в гору, стало замедлять свой стук. Среди отчаянных галочьих вскриков и других голосов выделился властный голос Горелова, отдававшего какие-то приказания.

Вокруг как-то враз все ожило, зашевелилось. Исаков удивился: так много вокруг людей, а он до этого их не замечал! Ему не хотелось, чтобы комдив застал его на прежнем месте, и он, сутулясь, стал подниматься по срезу паверх.

Он ожидал увидеть страшные разрушения, но ничего подобного не было. Деревья, монастырь, машины вокруг стояли как и прежде. Правда, кое-где виднелись воронки с рваными краями, был разбит понтон. Был пулеметный обстрел с самолетов — он отчетливо помнил, как вокруг него сочно, будто первые крупные градины по притихшей листве, зашлепали пули, и, возможно, они тоже нашли свою жертву, и кого-то не стало или мучается раненый. Но главное — страх. Он настигал всюду...

Исаков нашел лошадей и адъютанта на прежнем месте, но бока лошадей были взмылены. Адъютант принялся сбивчиво рассказывать, как они с ординарцем увидели самолеты и, чтобы не погубить лошадей — особенно вашу гнедую, товарищ подполковник! — вскочили в седла и галопом в лес, подальше от греха. А как только они улетели, — обратно...

— Как раз успел, товарищ подполковник! — радовался он. — Наши все в лесу, товарищ подполковник. Я сначала думал: они лес бомбить, а потом вижу — сюда. Ну, тут я...

Исаков ехал молча, тяжело переживая, что за страхом, вызванным этим внезапным налетом, ему ни разу не пришла в голову мысль о батальонах. Чувство неосознанной вины глодало ему душу. Мучительно стыдно, а никому не признаешься, и надо носить это, прятать в глубине, переживать. Хорошо адъютанту, коноводу. Вскочили в седла — да и были таковы. А вот он вынужден был стоять с Гореловым до последней минуты и слушать наставления о взаимодействии, будто контакт с каким-то командиром дивизиона важнее собственной жизни. Черта с два он станет его искать! Слишком много чести для капитана. Придан полку, так пусть пшет его — Исакова.

На въезде в рощу его поджидали комбаты. Навстречу Исакову метнулся майор Артюхин, кинул руку к фуражке:

— Товарищ подполковник, командир третьего батальона прибыл для получения боевого приказа.

Невыразительное, тяжелое, побагровевшее от стужи лицо, горбом выпятившаяся па спине мятая шинель, даво не чищен-

ные саногн. Он самый старший в полку Исакова, ему сорок пять лет, и у подполковника не повернулся язык напомнить ему о необходимости должного воинского вида. Человек достиг «потока», сам это прекрасно чувствует, и замечанием делу не поможешь. Тем более, что и другие не лучше. У Лузгина — командира первого батальона — влажный покрасневший нос, лицо в желтых пятнах, на шинели подпалины, как у солдата. Впрочем, сейчас всем приходится одинаково: походы, бои, ночи коротают у костров.

— Вот что, товарищи командиры, — цедит сквозь зубы Исаков, — наступаем.. Вам, Артюхин, брат Толутино. Как только возьмете, из-за ваших флангов выдвигаются первый и второй батальоны. Лузгин слева, Бородин справа. И развить наступление на Некрасово. Все понятно?

Комбаты долго рассматривают карты, пытаются определить, в каких условиях придется действовать. Кругом лес, болота. И хорошо и плохо.

Исакова раздражает их молчание:

— Все уточнения — на месте. А сейчас переправляться. Первым Артюхин, потом Бородин. К ночи чтобы были в исходном районе. Выступать поротно, немедленно.

Он проследил взглядом за удалявшимися комбатами, пока они не скрылись в лесу, и лишь тогда тронул свою лошадь. В облачном небе появились голубые просветы. Плохо! Уж лучше бы туман, дождь, снег, что угодно, только не ясная погода.

Штаб полка располагался неподалеку от батальонов, в глубине леса. Когда Исаков подъехал, из палатки, пригнувшись, вышел майор Сергеев. Прямой крупный нос у него покраснел от холода, на щеках желтизна пятнами от озноба. Мерзнут все: в лесу сыро, лежит нарастающий снежок, а тут ни костра развести, ни в деревню ступить.

Исаков окинул тревожным взглядом сбившиеся под деревьями машины, повозки, увидел дымки — кое-кто, вопреки приказу, грелся у огонька, — прихмурил жиденькие брови:

— Распорядитесь немедленно, чтоб ни одного костра. Кухню комендантского полка — подальше!

— Слушаюсь, — с хрипотцой ответил Сергеев, и вскоре его гулкий голос уже разносился в лесу.

В палатке, несмотря на распахнутый полог, — сумрачно. Исаков пригнул голову, шагнул к раскладному столу, притянул к разостланной карте. Голубела перед глазами ленточка Волги, кривящаяся среди зеленых пятен — лесов. На ее берегах, неподалеку от Хвастово, — город Калинин. К нему радиально бегут дороги. Одну из них — главнейшую — предстоит перерезать. Фронт под

Ржевом и далеко впереди, под Москвой. А здесь, глубоко во вражеском тылу, силами одного полка (другие-то все будут лишь обеспечивать фланги) предстоит сковать и не пропускать к горю целую дивизию. Если рассматривать теоретически — это безумие. Нелегко будет. Ох, нелегко!

Шумно, неуклюже вошел Сергеев, потревожив раздумья.

— Подготовьте боевой приказ, — сказал ему Исаков и стал излагать, кому где действовать. В основе приказа — решение, принятое при встрече с комбатами.

Прервав разъяснения, Исаков прислушался: где-то в отдалении гудели самолеты. Он нервно и зябко потер руки:

— Слышите? Гудят... Понимаете, чем это пахнет?

У переправы торопливо захлопали зенитки, затрещали часто и густо, сливаясь в клокотание, пулеметы. Земля дрогнула под ногами от тяжелых разрывов.

— Не дадут переправиться, будут висеть над рекой.

— Может, распорядиться, чтобы и наша рота ПВО тоже прикрывала Хвастово? — предложил Сергеев.

— Вы что? — Исаков поднял на него усталые, с голубыми обводами круглые глаза. — Потерять машины, а потом...

Он не договорил, торопливо вышел из палатки. Самолеты гудели над лесом, делая новый разворот.

\* \* \*

Не желая снова попасть под бомбежку, как на переправе, Исаков не стал задерживаться в штабе. Распорядившись, чтобы штаб снимался и шел к переправе, он выехал в Хвастово.

По реке, выше и ниже парома, сновали лодки, плоты с пехотой и полковыми орудиями. На главной паромной переправе хозяйничали дивизионные артиллеристы. На многих из них болтались черные трофейные автоматы. Это из Ширяково. Там было захвачено много оружия, десятки различных автомашин, свыше двухсот мотоциклов. Первые по-настоящему богатые трофеи дивизии. И взяты его полком. По правде, так Исаков об этом даже не мечтал. Он хотел, чтобы все трофеи были собраны и сданы его полком, но Горелов сказал, что сейчас не до того, надо воевать, а барахла всякого у немца еще много — наберем, успеем.

Командовал артиллеристами рослый, бравого вида чернородый капитан, перекрещенный со спины по телогрейке ремнями полевого снаряжения. Исаков узнал в нем командира дивизиона, который поддерживал полк в недавних боях за Ширяково и будет поддерживать в этом новом наступлении. Фамилия его Селиванов.

По-хорошему бы, так подойти, перемолвиться словом, так, мол, и так, снова вместе, тиснуть бы по-приятельски руку, но укоренившаяся уже в характере Исакова пелюдимость, замкнутость погнали его мимо. Он прошел берегом, не повернув головы в сторону капитана, хмуро уставясь в землю: приказ есть, о чем тут еще говорить... Лезть с лошадьми на паром, когда того и гляди могла налететь авиация, рисковать Исаков не хотел. Да и места свободного на парамах не остается. На паром уместается не более одной пушки с шестипарной запряжкой и орудийным расчетом. Все это вплотную, что называется «впритирку».

Ординарец Селиванов тронул капитана за локоть:

— Товарищ капитан, командир полка... Прошел, даже не посмотрел...

Селиванов перебросил потухшую трубку из одного угла рта в другой, посопел ею, раскуривая, и сказал с кривой усмешкой:

— Ну и хреп с ним... Па-а-думаешь...

Лузгин завидел Исакова и ведомых за ним лошадей издали и сразу же распорядился, чтобы подгоняемый к берегу плот никто не занимал.

— Артюхин и Бородин переправились? — спросил Исаков.

— Так точно! Они уже с полчаса, как на той стороне, — ответил Лузгин. — У меня остается две роты... Это на час-полтора...

— Поторапливайтесь, плавсредства пужны для других подразделений.

— Слушаюсь. Пойдете на ту сторону? — кивнул через плечо Лузгин. — Как раз свободный плот.

— Да. Коновод, заводи лошадей! — обернулся Исаков к ординарцу. — Меня не жди. Пошел...

Саперы гребли, не жалёя сил, и плот ходко подался наперез течению. Исаков проследил за ним взглядом, и когда плот достиг середины реки, стал спускаться к воде. Как раз подошла подходящая, надежная, по его мнению, лодка.

Уже усевшись на банку, Исаков сказал Лузгину, чтобы тот не засиживался у переправы, а сразу вел батальон в назначенный район — к Толутино. А еще лучше, если поручит вести батальон старшему адъютанту, а сам поспешит вперед, чтобы успеть засветло провести рекогносцировку.

— Ясно, товарищ подполковник. Счастливо плыть! — ответил Лузгин, помог столкнуть лодку на воду и помахал вслед.

Гребцы налегли на весла, Исаков стал глядеть вперед. Лузгин постоял минуту и поднялся на берег, чтобы оттуда распоряжаться переправой.

С берега глядеть, так Волга не широка — каких-то триста

метров, а то и поменее, но с лодки расстояние показалось много большим. От холодной, отдающей синевой воды, словно бы загустевшей перед ледоставом, веяло зябкой свежестью. Не приведи бог купаться в такой, сразу скует руки и ноги.

Как бы подтверждая его опасения, донеслось гудение самолетов. Своей авиации ждать не приходилось: если она и есть, так где-то на другом фронте. Поэтому Исаков сразу заерзал, завертел головой, отыскивая взглядом налетчиков. Открыли огонь зенитки, расставленные вокруг переправы. Лишь по темным комочкам разрывов Исаков обнаружил звено истребителей, шедших со стороны города. Круто взмыв к облакам, они ушли из-под огня, чтобы прорваться к переправе в другом месте. Так он считал. Каким надежным и желанным казался с лодки береговой обрыв! Только бы успеть, пока самолеты где-то лавируют.

Наверное, и гребцы были охвачены этим желанием, потому что лодка пошла резвее, рывками, вода заклокотала, закипела у бортов. Едва днище коснулось земли, как все стали проворно выскакивать и прятаться под берегом. И вовремя. С визгом, прямо из облаков, несмотря на испятнанное разрывами небо, на переправу ринулись два истребителя. Исаков ждал взрывов и свиста бомб, но вместо этого ударили короткие, отрывистые очереди крупнокалиберных пулеметов. Первые трассы прошли левее парома с орудием, застигнутого на середине реки, обозначив себя на воде множеством белых фонтанчиков.

Одна из пуль — падо же такому случиться! — перебила трос, и паром повлекло по течению. Находившиеся на нем артиллеристы успели захлестнуть ускользящий из петли конец за какой-то столбик и, как только трос снова натянулся, паром стало прибывать к правому берегу.

Как выводили с парома лошадей в неподготовленном для этого месте, выкатывали орудие на берег, Исаков уже не видел. Едва смолкли выстрелы, он выскочил из укрытия и ходу, ходу по натеренной дороге, под защиту леса, где его ждал ординарец с лошадьми.

Дорога шла мимо колхозного огорода, засаженного сочной капустой. Вилки давно созрели, и большая их часть была срезана. Но и проходившие мимо красноармейцы не обошли капустное поле вниманием. От поля к дороге тянулась приметная тропка, усеянная белым капустным листом. Наверное, вид кочанов не у одного Исакова вызывал желание похрумкать хрустящего, хватающего за зубы холодком сочного овоща. Вот и лакомилась. Тем более, что неизвестно, удастся ли хозяевам собрать остатки: кто знает, как обернется бой, не достанется ли через день-другой все это добро немцу?

Вот почему Исаков ничего не сказал, а только хмуро глянул на своего коновода, когда тот при его появлении поспешно отбросил в сторону огрызок и утерся рукавом шинели.

Лес вскоре расступился, и на обширном пустыре показались дощатые легкие постройки Ворошиловских лагерей для гарнизона города. Под ногами все тот же песок. Дорога то ныряла в низину, то взбегала на пригорки. Крупные сосны были порезаны, но мелочь, кустарники оставались. На таких пригорках, вокруг пеньков, охотно селится земляника. Сейчас время ее миновало — побуревшие листья сливались цветом с землей. Влево расстилались обширные болотины с хилым сосняком, вправо и прямо — лес.

Завидев идущие впереди подразделения, Исаков пришпорил коня. Поеживая селезенкой, лошадь перешла на крупную рысь. Пехота своевременно уступала одну сторону дороги для кавалькады всадников, и командир полка очень скоро обогнал колонну стрелковых рот. Он надеялся настигнуть Артюхина, который уже должен находиться где-то близ указанного ему места.

Лес с густым подлеском зажал дорогу с двух сторон. Внезапно вблизи раздался торопливые выстрелы и какие-то возгласы. «Что такое? — Исаков придержал коня. — Ведь впереди Бородин и целый батальон Артюхина». Он прислушался: вроде речь русская. Свои! Он тронул лошадь: вперед! Развилка. Вправо от основной дороги, достаточно натоптанной, уходила дорожка еле приметная, заросшая травкой, и на ней Исаков увидел столпившихся бойцов. Он подъехал. Бойцы расступились. На обочине валялся мотоцикл. Колеса его еще вращались, видать, опрокинулся на ходу.

— Что здесь происходит?

Навстречу Исакову шагнул адъютант батальона, доложил:

— Товарищ подполковник, захвачен мотоцикл.

— Ну, вижу. Кто захватил? Как?

— Они вот... — возбужденно блестя глазами, указал адъютант на рослого широкоплечего бойца, стоявшего с винтовкой, казавшейся игрушечно легкой в его могучих руках. — Навстречу нам фриц ехал и как увидел нас — в кусты. А он вот — по нему из винтовки, да мимо...

— Эх вы, «язык», можно сказать, в руки шел, упустили... Как фамилия?

— Командир пульотделения Лихачев. Поторопился немного, товарищ подполковник. Мы ведь на себе по очереди пулемет несем, один — станок, другой — тело. Остановились перемениться, а он тут как раз...

Только сейчас Исаков заметил, что бойцы вокруг с пулемет-

ными коробками в руках и разобранным «максимом», и не один Лихачев тут отличился, а и еще кто-то, может, даже вон тот, с горячими, глубоко посаженными глазами, толстогубый, что так и рвется что-то сказать...

— Ладно, — сказал он. — Хорошо, что вы по нему пальнули, а не он по вас. А то врезал бы из автомата по колонне, да и был таков. Без разведки идете, адъютант, без охранения.

— Так впереди меня целый батальон, товарищ подполковник!

— Все равно... — Исаков пожевал топкими губами, подумал, отчего лицо его снова стало холодным, отчужденным. — Куда эта дорога идет, не смотрели по карте?

— На Курково, товарищ подполковник, — бойко ответил адъютант. — Не дорога — тропа.

— Все равно. Мотоциклист вон ехал. Как ни назови. Можете считать, что немцы теперь о нас предупреждены. По вашей милости, старший лейтенант. Учтите. А вам, пулеметчики, объявляю благодарность.

Странное дело, но этот незначительный, по сути, факт, когда при виде бойцов гитлеровец обратился в бегство, немного взбодрил Исакова, заставил его оптимистичней взглянуть событиям в глаза. В самом деле, чего раньше времени переживать? Ведь провели бой за Ширяково и Городню. И неплохо. Глядишь, и здесь удастся. Надо только нацелить комбатов, вывести их под самую деревню и ткнуть носом: вот она, берите. Чтoб потом никаких отговорок: не нашли в темноте, сбились с дороги, опоздали с выходом на исходное...

Он догнал батальон Артюхина в полутора километрах от Толутино, на привале. Бойцы сидели, лежали, освободив проезжую часть дороги. Здесь она была почти ненаторенная, даже пешеходной тропки не выбили по желтой травке — топтуну, которой обычно зарастают все деревенские дворы. И не мудрено: дорогой на Хвастово в это лето пикто не пользовался.

Подшли комбаты Бородин и Артюхин, доложили, что прибыли в район сосредоточения.

— Ну что тут у вас, Артюхин, докладывайте!

— Еще полкилометра — и опушка. Мои разведчики там, наблюдают. Обе деревни — Толутино и Некрасово — хорошо видны. По тракту на город движение. По-моему, обычное. Вести батальон на опушку до темноты рискованно; могут обнаружить, тогда все сорвется.

— Ладно, посмотрим. — Исаков потер озябшие руки. — Сейчас должен подойти Лузгин, проведем небольшую рекогносцировку на местности.

Подожли запыхавшиеся усталые связисты с катушками проводов и аппаратами. Не полковые — дивизионные, своих Исаков знал. Старший сержант обратился к нему с вопросом, где развернется командный пункт.

— А вот тут чуть в стороне и развертывайте. А разве Горелов уже на КП, на правой стороне?

— Да. Штаб дивизии в Ново-Путилово. Генерал приказал сразу же давать связь к вам, — ответил сержант. — Чуть не бегом бежали, чтобы вас нагнать.

## Глава четвертая

Селиванов встретил Исакова на опушке леса перед Толутино, где тот проводил рекогносцировку с комбатами. Судя по всему, работа была закончена, и теперь шел неторопливый, лаконичный разговор о деталях предстоящего боя, которые хотя и важны, но не имеют решающего значения, и их всегда оставляют на потом.

За поскотиной, вдали, в сгустившихся сумерках силуэтами просматривались деревенские избы. Противник ничем не выказывает беспокойства, значит, не подозревает о предстоящем нападении. Тишина.

Встреча была несколько неожиданной, за Селивановым следовала целая свита нужных ему командиров, поэтому капитан постарался подавить в себе чувства, владевшие им при виде чопорного, суховатого Исакова. Служба обязывает работать с людьми всякими, симпатичными и неприятными, тут ничего не поделаешь, ради пользы дела надо с этим мириться.

Он поздоровался, доложил, что получил задачу поддерживать полк в предстоящем бою. Насчет того, что начальник артиллерии дивизии приказал ему обеспечить захват деревни и воспретить в дальнейшем всякое движение войск противника по шоссе Старица — Калинин, он не стал распространяться. Исакова это не касалось. Дублировали задачу многим: Селиванову, Исакову, Горелову, командиру соседней дивизии, которому Маслов приказал захватить деревню Даниловское. Всем им одна задача: захватить и не допустить движения противника по шоссе. Каждый будет стараться исполнить, потому что, хотя задача общая, ответственность на каждом порознь, в особицу: Селиванов отвечает перед начальником артиллерии, Исаков — перед Гореловым, а с генералов спросит Маслов.

— С кем из ваших комбатов я должен держать контакт? — сдержанно спросил Селиванов.

— С Лузгиным и Артюхиным. В основном с Артюхиным. Он — главная скрипка. Договоритесь с ним сами.

— Начало работы в шесть? — Под «работой» Селиванов понимал артподготовку. — А если что-нибудь помешает? — допытывался он. — Вдруг противник обнаружит пехоту...

— Тогда начинайте самостоятельно. Сигнал — красная ракета, — ответил Исаков. — Что не так, завтра утром на НП столкнемся. Не смею задерживать.

Исаков козырнул небрежно, будто отмахнулся, и пошел к своей лошади, не попрощавшись, не пожелав успеха.

— У-у, зануда, — прошипел ему вслед Селиванов и сжал кулаки. Его бесило: пеужели не понимает человек, что без артиллерии — бога войны — он ни черта не сделает?! Прижмет, к нему же станет звонить: подави, Селиванов, то, подави другое, подбрось огонька. Так нет, гнет что-то из себя...

В ночной темени дорога, еще несколько часов назад пустая, едва натеренная, теперь дышала, бугрилась конскими крупами, постукивала оружием, всхрапывала, щетинилась стволами карабинов и винтовок, шелестела стылыми плащ-палатками, остро пахла конским потом и навозом, переговаривалась вполголоса. Артиллерийские упряжки занимали середину дороги, люди топтались по сторонам, ездовые подкармливали лошадей, навесив торбы с овсом им на головы, присматривая, чтобы какая не вздумала заржать.

Исаков глядел и не узнавал дороги. Какая все-таки сила! Его волновала предстоящая схватка, и, может, поэтому он смотрел на все с некоторым преувеличением. Вот кто-то приказал — и, независимо от него, собиралась в кулак огромная сила, много большая, чем его полк, которая его страшила уже одним тем, что он не знал, как она себя поведет. А отвечать должен он... Слепая сила. Нет, это не так. Слепо повинуются, если он скажет «вперед!», а прикажи он что-то другое, противоречащее цели, и из ее массы тотчас отпочкуется новый поводырь. Может, в этой кажущейся слепоте и заложена мудрость...

К приезду Исакова штаб полка раскинул в лесу палатки. Сергеев доложил, что связисты потянули «нитки» к батальонам, что тылы полка переправились и остановились в районе стрельбища, в лагерях. Там им и стоять.

— Генерал меня не спрашивал?

— Звонил. Я ответил, что на рекогносцировке.

— Ладно. Проследите за выходом на исходное. Будет еще звонить, доложите ему обстановку сами. А я что-то намотался за день, прилягу.

Постоянно терзаемый муками возложенной на него ответ-

ственности, страшась, что ему придется командовать полком в бою, когда надо все решать самому, а как, никто не знает, не желая себе признаться, что такой пост ему не по плечу, что он просто до него не дорос, Исаков выглядел старше своих тридцати восьми лет — чуть ли не пятидесятилетним. А тут еще промозглая погода, походная жизнь, тяготы...

Ночная студеная сырость заполонила лес, проникла в палатку. В шпеле, шапке было зябко. Исаков с удовольствием подставил плечи под тяжелый длинный — до пят — тулуп, принесенный ординарцем. В нос ударил кислотоватый запах выделанной овчины, который непроизвольно вызвал в памяти цепную реакцию: русская печка, тепло...

Исаков повалился в тулупе на походную складную кровать, лежа проглотил поданный поваром ужин. После горячего до пота чая его потянуло на сон. Уткнув нос в меховой щекочущий воротник, Исаков задремал, нисколько не заботясь о том, когда проснуться. Знал — разбудят, без его команды не начнут.

\* \* \*

Полковая батарея сорокапятимиллиметровых орудий сопровождает батальон Артюхина огнем и колесами. Старший лейтенант Дианов — командир батареи, высокого роста грузный брюнет — поставил задачу личному составу еще с вечера, сразу после рекогносцировки. Вся артподготовка возложена на приданный дивизион, а батарее вести огонь только по требованию пехоты, уже в бою.

Дианов сидит рядом с Артюхиным. Они знакомы уже около двух лет, жили с семьями на одной станции. Странно было бы жить в одном гарнизоне и не знать друг друга.

У Артюхина взрослая дочь. Широкоплечая, грудастая, она фигурой удалась в отца, но характером... О ее непостоянстве ходили вечные сплетни среди командирских жен, из-за нее посмеивались над незадачливыми родителями сослуживцы.

Артюхин знал об этом, но, видимо, давно махнул на нее рукой. Отбилась девка от рук, когда он около полугода находился под следствием. А может, проглядели что-то в ее воспитании раньше, или уж такая судьба ей на роду...

Поговаривали, что раньше он шагал широко: член партии с двадцатого года, из рабочих, активист, вся жизнь связана с армией. Он умел постоять за себя, где надо, доказать правоту, с ним считались. Но тревожное время вышибло его из седла. Хотя все, в чем его сначала обвиняли, оказалось наветом и обвинения с него сняли, восстановили в партии и на службе, что-то

надломилось в его характере. Стал ходить сутулясь, будто что-то потерял и все надеется найти, так не так — помалкивать, никому не перечить. Зайдет разговор по службе или так между сослуживцами, что, мол, надо настаивать, бороться, — Артюхин мнет-ся-мнется, потом с виноватой улыбкой скажет: «Начальству виднее... А наше дело такое — под козырек!». Словом, оставались в нем исполнительность, здравый, от природы, ум, по огонек, тот, что толкает на риск, на открытие, на подвиг, угас безвозвратно. Может, поэтому и с дочкой не сладил: «Э-э... взрослая! Сама знает, как жить». Попивал горькую один, втихомолку, однако на службу приходил вовремя, не дебоширил, и на этот его грех смотрели сквозь пальцы. Правда или нет, но ходили в поселке слухи, что сватался к дочери какой-то младший лейтенант из его батальона, просил руки, но Артюхин будто бы сказал: «Эх, ми-и-лый! Зря это ты все. Дочка-то красива, это ты верно, да только б..., намучишься ты с ней. А если ты из-за того, что у меня зарплата большая, так тоже напрасно: я все деньги сам пропиваю...»

Сказал ли он так потому, что не мог сказать неправды, или потому, что сразу раскусил, с какой целью тот клипышки подбивает, но только после такой «откровенности» женихов больше не находилось.

Дианов и сам при случае не прочь был посудачить за спиной Артюхина, а вот пришло время поддерживать его, и он теперь размышлял, каков «старик» в бою. Говорят, что под Осугой, когда батальон вел сдерживающие бои с гитлеровцами, «старик» был неплох: не шарahalся, не психовал, и хотя батальон там здорово потрепали, сумел задачу выполнить и людей вывести.

Сейчас Артюхин полулежал у небольшого костерка, разложенного в глубине леса, метрах в полусотне от опушки, и подремывал, привалившись плечами к елке. Вокруг комбата сидели, лежали связисты, адъютант и ординарец — молодой, черный как жук парнишка, которого Артюхин взял из муззвода, как только полк стал собираться на войну. Парнишка и следил за огнем, подкладывал ветки, смотрел, чтобы не прожгло шинель комбата. Фамилия парнишки — Рамазанов. Дианов не раз его видел раньше, когда полк занимался строевой подготовкой под оркестр. Безотцовщина, вырос в детдоме, где-то в Одессе, в армию пришел раньше срока, добровольцем, потому и в муззводе служил. Парнишка худенький, роста среднего, еще неокрепший: угловатость плеч заметна даже под зеленой ватной телогрейкой. На нем черный немецкий автомат, даже у костра он не снимает его с шеи, на поясе фляга.

— Сам достал или дали? — кивнув на автомат, спросил Дианов.

— Сам, — отворачивая лицо от огня, вполголоса, чтоб не разбудить командира, ответил Рамазанов. — Под Осугой автоматчики прямо на КП батальона пришли. Когда отбили, подобрал. Легче нашего.

— Ну, а он как? — указывая на Артюхина, допытывался Дианов.

— Ничего не боится. Нас автоматчики атакуют, а он хоть бы что, занимается своим делом, по телефону разговаривает. В батальоне целая ячейка управления из музвзвода была, человек десять, а осталось трое. Дали нам здорово...

Дианов слушал, сопоставлял с тем, что знал от других, — выходило, что не врут. Ну что ж, тем лучше. За свою батарею он не беспокоился: как только будет команда, на руках докатят орудия до самой деревни. В расчетах сейчас даже больше людей, чем следует. Это про запас, если пришлют новое орудие вместо разбитого в бою под Ширяково. Бойцов в батарею набирал он сам. Какие люди! Не любил он слабосильных, нечего им делать у орудия. Артиллерист должен быть что лошадь: надо — на себе чтоб пушку вытащил. Словом, по себе подбирал. А чтоб не ошибиться, посреди беседы, будто в порядке шутки, брал себе седника за руку, ставил локоть на стол: а ну, кто кого? Тут без обмана, если сила есть, сразу почувствуешь.

Мало находилось таких, чтоб сопротивлялись ему долго, а вот недавно, на Танцуре, сам погорел. Писарь, а сила прямо медвежья. Даже не напрягся, а руку к столу пригвоздил, что пушечным колесом придавил. Теперь за орудие можно быть спокойным: доведись, так Танцура и дивизионку докатит. Отменный наводчик, завтрашний командир взвода, силач, не ведающий страха. Все эти качества уже проявились в бою за Ширяково...

Мысли текут петоропливые, а язычки пламени пляшут перед глазами, втираются в течение мыслей, как тире среди точек в телеграфной ленте. И чем дальше, тем больше тире, и ласковым теплом склеивает веки, клонит усталую голову на грудь. Кажется, не у костра, а где-то в домашней обстановке сидит, в семейном кругу, и так ему покойно, хорошо... Вскрапнув, пугается, резко вскидывает голову:

— А... что? — и смотрит непонимающими глазами: где он, что с ним?

— Вздремнули малость, — скалит зубы Рамазанов. — Ложись бы, чего сидя будете мучиться.

— И верно. Умаялся сегодня. Ты покарауль, в случае чего...

Дианов поднимает воротник шинели, умащивается на земле поудобнее. Сповидений больше нет.

В пять часов у костра появился с термосом и чайником повар. Принес завтрак комбату и остальным. Артюхин потянулся, зевнул, сел:

— Ну, что там у тебя, давай!

Рамазанов подал ему чашку масляной пшеничной каши, хлеб и «наркомовский» паек. Батальону предстоит бой — положено. Поболтав в кружке — что там сто граммов — на донышке! — Артюхин выразительно глянул на Рамазанова:

— Там у тебя, кажется, оставалось. Добавь.

Ординарец мялся в нерешительности: чужой человек в батальоне, что подумает...

Артюхин понял:

— Ничего, старший лейтенант меня знает. И я его тоже. Долей и ему. Ночь холодная, продрогли.

Рамазанов добавил. Артюхин поднял кружку, чокнулся с Диановым:

— Давай, комбат, за победу! Чтоб поддержал моих ребятшек на совесть.

Выпил, занюхал корочкой хлеба, потряс головой:

— Хороша штука, горячо пошла... Надо же, придумал кто-то. Для всех отрада... невзирая на ранги... Сейчас бы по сто граммов моим подбросить, да нельзя. Ладно, деревню займем, кто уцелеет, за двоих выпьет.

— А что, возьмем! Селиванов две батареи на прямую поставил, да и наши огонька подбросят, вот и будет ладно.

— Правильно сделал, что на прямую. Я в его годы был тоже — оторви да брось... Помню, в тридцать четвертом, — я тогда отдельным железнодорожным командовал — только поднялся с постели, звонок: немедленно к наркому. Являюсь: в приемной человек пятнадцать уже сидят. Вошел нарком, походил взад-вперед и с такой хитренькой усмешкой спрашивает: «Ну, кто из вас с утра водку пьет? Сознавайтесь...» Все мнутя, молчат. Я подумал, подумал: э, что теряю?! «Я пью, товарищ нарком!» — «Один сознался. Может, еще кто?» Смотрю, в другую дверь повар заходит, начинает на стол накрывать по числу персон. Нарком повару и говорит: «Ему, — указывает на меня, — и мне налей, а остальные непьющие, пусть так завтракают...»

Дианов усмехнулся: старая басня, заливай больше. Оспаривать, доказывать, что ни в каком железнодорожном не служил, а не то что на приемах у наркома бывал, — не стал. Как говорится, не хочешь — не слушай, а врать не мешай!

Пока завтракали, разговаривали, прошло с полчаса. Артю-

хин еще не видел за чащей рассвета, но чувствовал, что уже около того. Глянул на часы: батюшки, полшестого! Он вскочил, заторопился:

— Скоро начинать. Пойдем, поглядим, как там наши, все ли в порядке.

Когда вышли на опушку, то увидели, что хоть и скупо, но небо посветлело, вдали обозначились деревенские крыши.

Артюхин шел споро, ординарец ни на шаг не хотел отставать от него, и Дианову пришлось идти третьим. У орудия их окликнули. Артюхин было напустился: почему возле самого КП стали? Начнется бой — фрицы управлять не дадут...

— Это мои, — примирительно сказал Дианов. — Как только начнется, их тут не будет. Ну, как дела?

— Орудие к бою готово. Ждем сигнала. Докладывает сержант Танцура.

— Смотри, чтобы от пехоты ни на шаг. Я на тебя надеюсь.

— Постараемся, товарищ комбат. Мух ловить не будем.

— Где командир?

— Прилег отдохнуть. Я за него.

— Пора будить...

Будить не пришлось. С опушки, с НП Селиванова, взвилась красная ракета, и тут же раздались громкие команды.

\* \* \*

Селиванов в эту ночь вовсе не спал: с вечера долго мотался по батареям, проверяя, как они станут на позиции. Пушечные он распорядился поставить на опушке, чтобы они могли вести огонь прямой наводкой, и только гаубичную — на закрытой. Это было рискованно — оказаться во время боя батареям на виду у противника; уставы, наставления по артиллерии предусматривали возможность ведения огня прямой наводкой только в исключительных случаях, и то не батареями, а отдельными орудиями, но Селиванов сознательно шел на риск, считая, что он оправдан. Каждый выстрел пойдет в цель, значит, потребуется меньше снарядов, которых такая нехватка, а эффективность огня возрастет во много раз. Никакой противник не выдержит огня прямой наводкой. Тут недолеты-перелеты исключены. Достаточно вспомнить бой за Ширяково.

Бойцов и командиров волновал предстоящий бой, все знали задачу, поэтому работали споро, как при пожаре, когда никого не надо подгонять, упрощать, как вообще работают в минуту опасности. Да такая и существовала: противник в километре от них, достаточно ему заподозрить неладное и... Но об этом никто не говорил, не хотел даже думать.

Селиванова, несмотря на усталость, встречали бодрыми улыбками, уверенными ответами: «Понимаем, товарищ капитан!», «Будет сделано, товарищ капитан!».

К часу ночи Селиванову — он только что явился в землянку, которую ему оборудовали на опушке леса, — командиры батарей доложили о готовности. Связь работала исправно, и он в свою очередь тоже доложил в штаб артиллерии дивизии о готовности. Снаряды на огневой, расчеты у орудий, разведка наблюдает, командиры бодрствуют.

В землянке сидело человек семь — весь его штаб, было душно, сыро, пакурено так, что свет коптилки, которую жег телефонист, еле пробивался сквозь дымную пелену от степки до стенки. Землянка сооружена наспех: квадратная яма, по краям оставлены бортики для сидения, сверху накат из длинных чурок. Стоять в ней нельзя — низка, можно только сидеть. Один накат из хрупкой сосны — на худой случай защита от осколков, а прямого попадания мины или снаряда не выдержит. И все-таки убежище.

Рядом с землянкой, на густой развесистой ели, Селиванову оборудовано «гнездо» — НП. Туда он еще не лазил, но разведчики уверяют, что деревни Толутипо и Некрасово просматриваются хорошо. В «гнезде» — телефон. Там, на дереве, будет его место завтра, как только начнется бой.

Потянулась длинная томительная ночь. Спать нельзя, чтобы опасность не застала штаб врасплох. Сидели, вяло, вполголоса вели отвлеченный разговор. Боролись с дремой, которая сводила шею, словно клейким сиропом склеивала веки. Марши, переправы, подготовка к бою изнурили всех в равной степени: командиров, начальников, связистов. Но спать нельзя — война!

Этим словом объяснялось все. На исходном, близ деревни, лежит пехота — батальоны Артюхина и Лузгина. Гнутая, мерзнут бойцы в норках-ячейках, открытых маленькой шанцевой лопатой, может, дремлют, положившись на своих начальников, на разведку, на артиллеристов, которые прикроют огнем в случае опасности. Никак нельзя спать Селиванову.

Когда становилось невтерпеж, кто-нибудь вставал посреди разговора, наступая другим на ноги, пробираясь к выходу. За откинутым пологом из плащ-палатки темнело тяжелое осеннее небо, свежесть врывалась в душную яму, заставляла поеживаться, широко, смачно зевать. Поругивали выходявшего:

— Какого черта «дверь» расхлебенил!

— Не можешь потише по ногам!

Селиванов, блестя золотыми зубами, потянулся с хрустом,

аппетитно, закинув руки за голову. Борода цвета вороньего крыла — лопаткой кверху. Смеется:

— Эх, жизнь! К Марфутке бы теперь под бочок...

— Где-то они там сейчас, милахи наши?! Может, у фрица под боком...

Пока стояли в укрепленном районе, кто хотел, позаводил себе «милашек» в окрестных деревнях. Да что там, тысячи женщин и девушек из Ржева, Калининна были на месяцы оторваны от привычного семейного круга и брошены на строительство укреплений. Было из кого и где выбирать.

Селиванов — тридцатипятилетний мужик, здоровый, широкогрудый, и в службе и до любви азартный. Богатырь! Женщины, оставшиеся без мужей, засматривались на его статную фигуру, таяли от его золотозубой щедрой улыбки, от соленых шуточек.

Сослуживцы, знавшие «тайны» друг о друге, начали вспоминать, посмеиваться. Вроде и сон отлетел на время. Лишь о женах, семьях помалкивали: думы о них в глубине, словно за гранью, где всякая шутка могла перерасти в обиду, в оскорбление. Поэтому их не касались.

— Выйти, пос-смотреть, как там с-собаки на с-саблях с-сражаются! — поднялся Селиванов и, качаясь, по ногам, медведем полез к выходу, никого не оставив в покое.

После света копилки сначала ничего не видать. Сзади лес черной стеной, впереди, на востоке, тоже черно. Нет, там, где лежит Толутино, вроде сереет. Постоял, подождал, пока глаза освоятся. Да, светает. Шести еще пет, но уже прорисовываются избы, ветлы. Пора начинать. Глянул на часы — без двадцати. Чего ждать? Пока проснутся фрицы да обнаружат за деревенскими огородами пехоту?!

Селиванов решительно крутнулся на каблуках, скатился в землянку.

— Телефонист, вызывай комбатов! — Когда те откликнулись, скомандовал всем разом: — По местам! Будем начинать.

Исакова разбудил зуммер телефона; сонным голосом он спросил, в чем дело.

— Докладывает Селиванов. Ну как, начнем «работу», товарищ подполковник? Самое время, пока фриц спит.

— Не возражаю... — Трубка клацнула, замолчала.

— Красную ракету! — скомандовал Селиванов пачальнику штаба. И засмеялся: — Сейчас матушке-пехоте подъем сыграем, живо вскочит!

Ракета прочертила бледную искристую дугу, разгорелась в вышине, поморгала, будто крыльями помахала над лесом неведомая жар-птица, и угасла. В деревне ни одной ракеты в ответ,

никакого беспокойства. Спит упоенный легким и быстрым продвижением, уверенный в своей непобедимости фриц. Спит и видит во сне златоглавую Москву, о которой ему денно и ночью толмачили газеты, радио, офицеры.

Артюхина и Дианова первый залп застиг у орудия Тапцуры. Молнии орудийных выстрелов резанули столь неожиданно и оглушительно, словно комбаты стояли не в стороне, а в пределах преддульных конусов орудий. Сырой воздух упруго ударил в лица, заложил уши.

Пригнувшись, Артюхин побежал вперед к своим ротам, которые лежали близ деревни.

Дианов, крикнув своим: «Давай, двигай!», не оглядываясь, пошел следом за Артюхиным. Он считал унижительным для артиллериста гнаться при выстрелах своих орудий, а бежать не хотел — тяжеловат стал.

Сухие языки огня рвали предутреннюю мглу, отползавшую с открытых мест к опушкам. От хлестких орудийных залпов вздрагивала земля. Первые же снаряды прошли стены деревенских изб, будто старое полотно, с брызгами огня взметнули красную кирпичную пыль, щепу, бревна. Огопь, пыль, дым, грохот... Вспыхнули факелами стабупившиеся у сараев и под навесами машины. Гремел, перекатывался грохот взрывов, а вдогонку им хлестали новые залпы. Будто в лихорадке-трясучке билась близкая лесная опушка.

Селиванов в это время стоял в своем «гнезде», ухватившись руками за клейкий от смолы еловый ствол, и скалил золотые зубы в дьявольской ухмылке. Для него эти считанные минуты буйства «бога войны» искупали все: и длительные марши под бомбежками, и переправы, и хлопоты, и бессонные ночи. Он — справедливый карающий меч, настигший наглого врага в его временном логове. Получай по заслугам, фриц! Тут для тебя и колокольный московский звон, и свечи, и дым кадила. Все, чего ты жаждал, за чем пришел!

Поднялась, зашевелилась пехота. Пригибая головы под свистом своих снарядов, пошла в атаку.

— Огни! — скаля зубы, орал комбатам по телефону Селиванов. — Четвертая, шестая, не ослаблять темп огня! Давай! — кричал он, сдабривая матерщиной это привычно-русское словцо, вмещавшее в себя и приказ, и подбадривание, и похвалу. — Давай, богатыри! Огоны!

Порядки деревенских изб стояли по касательной к направлению огня батарей, и снаряды простреливали деревню на всю глубину улицы. Кромсали, рвали сумеречную мглу огненные всполохи залпов, наотмашь били в барабанные перепонки, зво-

ном отдаваясь в голове. В этой вакханалии вспышек и грохота Селиванов зорко наблюдал за поведением врагов. Вот пестрая толпа полураздетых гитлеровцев, поднятых в чем спали по избам, выплеснулась на юго-восточную окраину деревни.

Селиванов перебросил трубку из одного угла рта в другой, намертво стиснул ее зубами. В глазах торжествующий блеск: ага, припекло!.. Он дождался, пока бегущие достигнут намеченного им рубежа, и взялся за телефон:

— Пятая! — И, когда командир пятой батареи откликнулся, скомандовал: — «НЗО» три! Пятью снарядами, взрыватель осколочный, беглым, по фашистским захватчикам — огонь!

Глухо, издали ударила гаубичная батарея. Снаряды шипели, вспарывая сырой воздух, словно шепелявили; казалось, летят они над головой, и Селиванов даже поднял глаза к небу, надеясь увидеть черные точки. Гаубичные снаряды, если в момент выстрела стоишь у орудия, как и тяжелые мины, можно проследить взглядом, но теперь, на снижающейся траектории, набрав скорость перед падением, они намного опережали звук и были неуловимы для глаз. Еще всхлипывали, замирали свистящие звуки, а приземистые клубки сизо-белых разрывов накрыли бегущих. Разрывы встали двухсотметровой дымной стеной заградительного огня, отрезав гитлеровцам путь на Некрасово.

Все пространство между деревнями было открыто взору Селиванова. Разогнав, уничтожив гитлеровцев, которые пытались убежать в Некрасово, он перенес заградительный огонь гаубичной батареи на опушку леса восточнее Толутино, потому что заметил, как гитлеровцы из деревни потекли туда.

Четвертая и шестая батареи смолкли. Комбаты доложили, что пехота ворвалась в Толутино. Потерь в личном составе нет, расход боеприпасов такой-то, остаток...

— Стоять на местах! — приказал Селиванов. — От орудий ни на шаг. Возможны контратаки.

## Глава пятая

Танки и мотопехота, прорвавшиеся в Калинин тринадцатого октября, после овладения городом пытались развить успех и наступать на Торжок, но получили ряд сильных и неожиданных для них ударов во фланг, отступили к городу и теперь ждали подкрепления — сто шестьдесят первую пехотную дивизию, которая была уже в одном переходе от города.

Авангард этой дивизии ночевал в селе Даниловском, а голов-

ной полк — в Некрасово и Толутино. Здесь же скопились штабные машины дивизии, тыловые части, штаб полка.

Все домики деревни были до отказа набиты солдатней; спали, настелив сено на полу, вповалку. Ни начальство, ни рядовые нимало не беспокоились и уж никак не ожидали нападения. Караульные, выставленные у штабов и вокруг деревни, ничего подозрительного не заметили ни вечером, ни ночью, когда бойцы артюхипского батальона подползали к самым огородам.

Ужасно было их пробуждение: свист снарядов, стрельба, разрывы, истошные вопли и стоны раненых. Одни бросались в двери, другие, более проворные, прыгали в окопа, вынося на себе рамы. Никто не понимал, что происходит, что горит, кто стреляет, а снаряды и тяжелые мины полковой минометной батареи выламывали в стенах огромные дыры, обрушивали кровлю, и каждый разрыв в этой обезумевшей от страха толпе укладывал навечно десятки гитлеровцев.

Раскаты «ура» атакующих подтолкнули оставшихся к бегству в Некрасово. Там спасение.

Пока гремела артиллерия, орудие, при котором паходился Танцура, догнало стрелковые цепи. Расчет, прячась за орудийным щитом, вкатил пушку на деревенскую улицу. Какой-то гитлеровец, обогнув деревню задворками, выводил автобус на шоссе, стремясь удрасть в сторону Калинина.

Не раздумывая, Танцура крутанул пушку в ту же сторону. Первый же снаряд, посланный его рукой, навсегда пригвоздил шофера к сиденью; автобус качнулся и остался в кювете. Гремело солдатское «ура». Сердце Танцуры ликовало при виде убитых врагов. Смерть застигла их где попало и разметала по деревне, как вихрь разбрасывает снопы, которые не были уложены в суслоны.

«Так, так вам, гады, за Киев, за Украину!» — мысленно восклицал он, и в сердце не было ни жалости, ни сострадания к тем, кто еще не успел распрощаться с жизнью. На войне воюют, а не рассусоливают по всякому поводу. Знали, зачем шли и куда шли.

Хлестко гремела сорокапятка, выковыривая гитлеровцев из домов и сараев, где они пытались зацепиться. Каждый снаряд проходил через руки Танцуры, и он мысленно вел им счет. Трудно сказать, что в этом больше проявлялось: душа рачительного мужика-хозяина или вкоренившаяся за два года службы писарем ОВС привычка вести счет имуществу.

Дняков не напрасно на него полагался: вместе с пехотой орудие вышло на окраину деревни. Впереди расстпалось поле-поскотина, за которым виднелось Некрасово.

Поле, как кочками, было усеяно трупами гитлеровцев, а позади горели дома и машины, и Танцура подумал, что если пожар не загушат, то погорит много добра, которое он видел на повозках и машинах. А ими забита вся деревня. Добро, чье бы оно ни было, — жаль...

Командир орудия приказал закрепляться, рыть окоп для пушки. Рядом окапывались пулеметчики. Глядя на них, Танцура вспомнил про Сумарокова. Где-то сейчас неразлучная тройца? Говорят, второй батальон па этот раз в резерве командира полка. Его здорово потрепали в прошлом бою. А было бы хорошо, если бы рядом окапывались Костя и Крутов. В случае чего, друзья бы поддержали.

Тогда, подбирая барахлишко для девки-фельдшера, Сумароков клялся, что за ним должок не пропадет. Чудак! Будто дело в каком-то вознаграждении, когда надо попросту везде оставаться человеком. Танцура никогда не гонялся ни за едой, ни за выпивкой, ни за барахлом. Вои пехота — волокут все: и консервы, и хлеб, и бутылки! Обоз-то с продовольствием. А ему хоть бы что!

В бою время летит незаметно, птицей: кажется, только началось, а уже солнце встало над лесом, самое малое — полдевятого.

Стрельба поутихла, только позади, где горели дома, что-то трещало и рвалось: наверное, огонь добрался до машин с боеприпасами.

К дому, за которым укрылось орудие Танцуры, подошло начальство: Артюхин, Дианов и с ними комиссар полка Матвеев. За время отступлений, маршей, с тех пор, как кончилось более спокойное против нынешнего житье в укрепрайоне, командиры потеряли былой бравый вид. Матвеев же исхудал больше всех. Движением, ставшим для него привычным, он поддергивает левой рукой сползающие с тощего живота штаны, а правой рубит воздух и что-то выговаривает комбатам. Лицо у него обострилось, потемнело, глаза ввалились и сверкают из глубины как уголья, непримиримо.

— Разъясните бойцам, — доносится до Танцуры, — мы выполняем важнейшую задачу. В Калинин у противника только танки да немного мотопехоты, которыми он не может пока наступать. Наш долг — не пропустить к нему подкрепления — сто шестьдесят первую дивизию. Это будет наш, сибиряков, вклад в дело защиты столицы.

— В Москве-то, говорят, паника, все бегут, — вставляет слово Дианов.

— Поменьше надо слушать, — обрывает его Матвеев. — Что бы там ни было, нас это не касается. Мы — сибиряки, мы — армия, и обязаны выполнить свой долг. Вам необходимо знать, что мы действуем не одни: ближе к Калинин, за Даниловское ведет бой другая папа дивизия. Обойти нас противнику негде, вокруг, сами видите, леса и болота. С тыла нас не ударят, шоссе будет перехвачено в нескольких местах. Он будет атаковать только в лоб, возможно нацелит авиацию. Надо ко всему быть готовыми. Проследите, чтобы все немедленно окапывались, запасались бутылками с КС и грапатами. Ни шагу назад! На самых важных участках назначьте ответственных из коммунистов и комсомольцев. Напомните им, чтоб не забывали о своей авангардной роли. И смотрите, чтоб не получилось как в Ширяково. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина! У нас за спиной Волга, отступать нам некуда. Стоит кому-нибудь дрогнуть в одном месте — и противник сомнет всех. Кто держит, может быть, за душой мыслишку отсидеться за чужой спиной, пусть сразу ее выбросит. Всем стоять на местах и драться, держать деревню. Сколько стоять? Командование знает. До тех пор, пока нужно. Проверьте, чтобы из подразделений никто не отлучался...

— Мои люди на месте, — гудит басовито Дианов. — Сами видите — работают, окапываются. Вот, — он указывает на Танцуру и остальных бойцов расчета, — прошу о представлении к награде. Первыми, вместе с пехотой, ворвались в расположение противника, подбили штабной автобус, уничтожили до пятидесяти гитлеровцев. Сопровождение огнем и колесами — дело трудное...

— Вы что, ждете, пока я за вас подам наградной материал? — перебивает его Матвеев. — И вы тоже, Артюхин! Распорядитесь, чтобы командиры рот представили всех отличившихся к наградам. И еще: не хотите, чтоб кончилось как в Ширяково, так прекращайте этот базар с трофеями. Учтите, будем распенивать как мародерство, и всех, кого захватим у этих машин, судить... Людей накормили? — без всякого перехода спрашивает он.

Артюхин мпется, прячет глаза:

— Я распорядился, кухня должна вот-вот подъехать...

— Давно пора было побеспокоиться. Сами-то небось успели поесть? О себе подумали?

— Кто сейчас эту болтушку есть станет, товарищ комиссар? — вступает в разговор Дианов. — Каждый боец тут на неделю запаса. Всего завал...

— Я сказал: трофей учесть и сдать! — рубанул воздух рукой Матвеев. — И пошевеливайтесь, Артюхин. Не ждите, чтоб я при-

шел напоминать вторично. Тогда у нас разговор пойдет по-иному. Уж не взыщите...

При этих словах Артиухин ежится, вбирает голову в плечи, и сутулая спина выпирает горбом. Он молчит, будто не находит слов. Даже Дианову понятно, на что намекает Матвеев. Ох и строг, принципиален комиссар! Умеет нажать где следует!..

Матвеев поворачивается, уходит, а комбаты некоторое время, как на привязи, следуют за ним.

Завтракали артиллеристы в каретнике, куда закатили свою пушку, чтобы ее не обнаружил враг раньше времени. На раздвинутую станину настелили досок, положили еды. Пока бойцы рыли окоп, командир орудия разжился всем необходимым.

Плотный, черный и зачерствевший немецкий хлеб, хоть и в красивой бумажной обертке, Танцура не понравился. Не то! Что поделаешь, привык человек к мягкому свежеспеченному хлебу, еще теплomu, который сам в рот просится. Это что у русских, то и у украинцев. Разве сравнить высокую пышную пшеничную булку-паляницу, которую бабы садят в печь на капустном листе и корочка получается, аж слюнки текут, с этим бруском, больше похожим на замазку, чем на хлеб?!

Танцура развязал свой мешок, достал горсть сухарей, щедро сыпанул их на «стол»:

— Налетай, не стесняйся!

Они не успели закончить еду, потому что по деревне ударили из минометов. Командир выскочил из каретника посмотреть, в чем дело.

— Орудие к бою! — крикнул он.

Вмиг со станины смахнули доски вместе с едой, выкатили орудие в окоп. Из Некрасово выползли танки. За машинами двигалась цепью пехота. Какой-то ретивый гитлеровский пулеметчик уже сыпал по деревне пулями, и они сердито цивкали в воздухе.

Танки! Танцура почувствовал, что сердце колотится, будто он поднимается в гору, а не стоит, пригнувшись, за щитом, со снарядом на руках.

— Заряжай! — подал голос командир.

Молнией блеснул золотистый снаряд, клацнул замок. Танцура прикинул глазом к панораме, навел перекрестие на идущий танк. Увеличенный, он казался близким и больше обычного. Черное жерло пушки смотрело на Танцуру. «Т-4», — определил он. — Одно семидесятипятимиллиметровое орудие, пулемет. Лобовая броня шестьдесят миллиметров...» Взблескивали, покачивались гусеницы, подминая под себя русскую землю. Его, Танцуры,

родную землю, щедро возвращавшую что золотистую пшеницу, что голубые васильки, что духовитую мяту...

Желваки выступили буграми на суховатом, длинном лице Танцуры, в глазах огонь, зубы стиснуты, и руки будто пристыли к механизму пушки.

Толутино, где засел третий батальон, сыпануло из пулеметов по танкам, по пехоте противника. Но орудия, минометы еще чего-то выжидают: может, момента, когда враг перейдет рубикон? Молчит, что-то высматривает, высчитывает командир, и Танцуре приходится то и дело подкручивать винты, чтобы не выпустить из-под перекрестия танк, с которым он мысленно уже давно ведет единоборство.

Винтовочные выстрелы, что орешки, трещат: пах, пах, пах... Пулеметы торопятся, захлебываются в скороговорке: та-та-та! До танков уже метров пятьсот. Враз ударили батареи с опушки леса, и Танцура через панораму успел увидеть, как разрыв взвихрил землю возле самой гусеницы его танка.

— Огонь! — Казалось, не голос командира, а его собственная душа выкрикнула это единственно возможное слово и толкнула руку. Он не успел приготовиться к выстрелу, и в голове у него зазвенело, как от пощечины.

Орудие дернулось и встало на место. Танцура прикинул к панораме, нимало не беспокоясь, что уши заложило: «Пройдет». Гусеницы танка не подмипали больше землю, они застыли неподвижно. Попал!

Что-то непонятное происходило с танком: откинув люки, из него полезли гитлеровцы. Танцура оглянулся, чтобы крикнуть пулеметчикам: «Чего ж вы, неужто не видите?!» И только заметив, как бежит, дергается лента, а гильзы отлетают в сторону, он понял, что не слышит их выстрелов, оглушенный резким хлопком пушки.

— Глянь, горит! — крикнул ему командир.

Танцура обернулся, куда ему указывали, и увидел, что танк, его первый танк, окутывается дымом.

Все шесть танков, шедших в атаку, загорелись в первые же минуты от огня орудий прямой наводки, и пехота, которая шла за ними, сначала залегла, а потом побежала обратно. Ее преследовали до самой деревни минометными разрывами.

Командир орудия хлопнул Танцуру по плечу и принялся поздравлять с первым танком. Танцура улыбался, кивал, только догадываясь, о чем ему говорят. Хороший день!

Будто лишь по случаю победы радостно сияло над деревней солнце, которого не видели уже несколько дней. Пожухлые на полях травы, облетевшие к зиме березки и ветлы снова засвети-

лись не броской, но милой русскому сердцу красотой. Если бы к этому да еще мирную осеннюю тишину! Но ее разгоняли самолеты, то и дело налетавшие на деревню; покружив, они сбрасывали бомбы или просто обстреливали из пулеметов.

Танцуру представили к ордену Красного Знамени. Это была столь необычная для полка и такая большая награда, что многие не верили в ее реальность. Как, человека с фронта вызовут в Кремль и сам Михаил Иванович будет пожимать ему руку?

Не верил в это и Танцура. Но вечером в батарею пришел корреспондент армейской газеты, — как он успел прознать про это, даже дивно? — и стал расспрашивать Танцуру, как да что. Человек не велеречивый, скупой на слова, Танцура отвечал односложно, сам чувствуя, что с его слов не написать в газету, и злясь на себя за свой характер.

И тогда на помощь пришли бойцы расчета. Они стали рассказывать, как Танцура с орудием ворвался в деревню Ширяково (видите, это у него не первый подвиг!), как он там порол штыком и кидал через себя гитлеровцев, которые выскакивали без памяти в одном исподнем из домов. Это же надо было успеть заскочить в деревню с орудием одновременно с пехотой! Учтите это обстоятельство, товарищ корреспондент!

Рассказывали они и про нынешний бой, и получалось вроде, что с орудием управлялся чуть ли не он один, а весь расчет лишь при сем присутствовал. И тогда Танцура возмутился:

— А идите вы к бису! Что ж я, один воевал, что ли? А вы где булы? Чого ж брехать чоловіку...

Даже корреспондент не выдержал, расхохотался и стал спрашивать Танцуру уже не о бое, а о его прежней довоенной жизни и о том, что заставило его променять «теплое» место писаря в ОВС на должность наводчика противотанкового орудия.

Корреспондента проводили ночью, насовав ему в сумку подарков: трофейных зажигалок, пистолет «вальтер», консервов и флягу с пристегнутым к ней плоским стакачиком.

\* \* \*

В первый же час боя из донесений комбатов Исаков понял, что дальше Толутино пехота не пошла: потеряли темп, побоялись отдать деревню, захваченную первым рывком. Конечно, в бою подразделения перемешались, пужно время, чтобы их снова собрать, организовать должный порядок. Он это понимал, но задача ему ставилась шире — вырезать у противника изрядный кусок шоссе, чтоб ни обойти, ни объехать.

Исаков теребил подбородок и, уставившись в карту-километ-

ровку, размышлял, как быть. Конечно, если сразу Некрасово не взяли, то теперь в лоб брать трудно: противник опаматовался, успел подготовиться. А вот обойти лесочком и нанести удар во фланг — вполне возможно. Сколько тут: три-четыре километра — максимум. За час вполне можно выйти. В резерве второй батальон, ему и поручить.

Вечером, отдавая приказ комбатам, Исаков намеревался руководить боем с наблюдательного пункта. Но бой начался раньше намеченного срока, менять место в такое время — рискованно. Да и не очень ему этого хотелось. И так сидит в полутора-двух километрах от места боя, чего еще? А когда начался бой, звонок за звонком из дивизии, от телефона ни на шаг не отойти.

Бородину Исаков поставил задачу по телефону. Сумерки, мгла только на руку: полнее внезапность. Бородин вызвал командиров рот и приказал выступать на исходное. Направление выдерживать в лесу по азимуту. А чтобы не потеряться во время движения — держать локтевую связь, почаще сверяться с компасом и картой.

Где-то на открытых местах светало, а в лесу держался плотный мрак. Роты долго путались по чащобе, которой, казалось, конца не будет, продирались сырыми ельниками, кочкарниками, и к тому времени, когда вышли наконец на редколесье и впереди замаячили домики деревни Некрасово, Бородин терял последнее терпение. Он клял себя, что остался со штабом на месте, когда надо было идти вместе с ротами, быть рядом. Все проклятый устав, где все записано, кто и где должен находиться.

Начальник штаба Сергеев все время донимал: скоро ли начнете атаку? Уточните положение!

— Выходят, — лаконично отвечал Бородин, сдерживая хлопотавшие внутри резкие и гневные слова.

Роты двигались, поэтому телефонной связи с ними не было, и ничего не оставалось делать, как гнать им вслед связных. А человек — не птица. Походило на бросание камешков в воду — бульк! — и нет ничего, только круги на поверхности. Ни связного, ни вестей.

Он отчетливо представлял трудности перехода без дороги да еще по такой чащобе, по сути, почти ночью. Разумней всего — ждать, когда роты откликнутся сами. Но в полку с этим не желают считаться, дергают, когда он и так сидит будто на иголках.

Известие, что роты находятся близ Некрасово, совпало с сообщением о первой контратаке на Толутино.

Сергеев быстренько вывел на своей карте красную дужку, острием нацелившуюся на деревню, потом, синим, другую. Протянув ее острие до Толутино, он загнул его и вернул назад.

Получилось нечто похожее на рыболовный крючок. Так принято было обозначать на штабных картах отбитые атаки. Три поперечные черточки на крючке означали, что контратака проводилась силой батальона. Сбоку время и число месяца.

Исаков выслушал сообщение, потер руки и передернул плечами, прошелся по палатке. Он ужасно мерз без движения и мечтал о тепле, о какой-нибудь, хоть деревенской, крыше над головой. А тут еще сообщения, от которых мороз по коже.

— Да, — раздумчиво произнес он, — противник собирается с силами и может повторить контратаку. Надо приказать Бородину, чтобы ускорил нападение. Этим мы сорвем планы противника. И, не теряя времени, — разведку. Тут можно ждать чего угодно...

Рядом с невзрачным, щуплым Исаковым Сергеев выглядел богатырем. Опершись на полусогнутые кисти рук, так что аж козанки побелели, он глыбой навис над картой, размышляя, какой каверзы надлежит ждать от противника.

Исаков обежал вокруг стола, схватил телефонную трубку:

— Горелова... Товарищ генерал, докладывает Исаков! У меня контратака. До батальона пехоты, шесть танков. Атака отбита, танки сожжены. В Некрасово скопление противника, слышим шум моторов. Прошу подкрепить меня артиллерией. Нет огурцов для моих больших труб и приданных, а без них, сами понимаете...

Горелов что-то отвечал, видно наставлял, как поступать в дальнейшем. Сергеев, не слыша слов комдива, по интонации, односложным ответам Исакова пытался уловить смысл разговора.

— Да, да... Приказал второму батальону... Уже на исходном. Разведку выслал. Как только будет «язык», немедленно доложу.

При этих словах Исаков выразительно глянул на Сергеева: видишь! Действуй, не теряй времени, гони разведчиков...

Сообщение Горелова несколько взбодрило Исакова. Как же теперь его полк действует не в одиночку. Справа выдвигается полк Афонина, чтобы занять Курково. Полк Фишера одним батальоном занимает Путилово, другим седлает большак севернее Толутино. За фланги, тылы можно не бояться.

\* \* \*

Четвертая рота, растянувшись безбожно, медленно двигалась к Некрасово, обтекая деревню с западной стороны. За редким соснычком тянулась невысокая жердяная изгородь — поскотина, которой жители обнесли свои огороды со стороны леса. Изгородь

могла служить неплохим укрытием, как бы рубежом, на котором можно было собрать силы перед атакой.

Опустившись на колени, Туров стал осматривать деревню. Где-то за ней, у Толутипо, вспыхнула горячая пулеметная стрельба, загревели орудия. Здесь же, на южной окраине деревни было спокойно. Расхаживали гитлеровцы, к стенам домов жались какие-то машины. При въезде в деревню, на шоссе, стояло до десятка разномастных средних танков, которые почему-то не участвовали в бою. Может, только подошли, может, командование держало их в резерве для какой-то особой надобности.

Туров прикинул: почти триста метров чистого поля до первых домов, до шоссе. Там танки, а с ротой — ни одного противотанкового орудия.

К забору подошли и повалились на землю усталые пулеметчики. Молодец Лихачев! Стрелки еще тянутся сзади, а он со своими уже тут. Стали подтягиваться остальные. Народ чувствовал себя беспечно: ходили в полный рост, не пригибаясь, и это могло кончиться плохо. Туров махнул рукой: ложись!

Так и есть, прилетела и разорвалась первая мина, срезав осколками ветки с ближайшего дерева. Сладковатый синий дымок растекался вокруг. «Случайная или заметили?» — мучительно размышлял Туров, чувствуя щекотание в носу от приторного запаха взрывчатки.

Сомнения отпали быстро: разрывы стали ложиться по всему редколесью, куда по разным надобностям ходили бойцы не только четвертой роты, но и других подразделений батальона.

Получив команду «ложись», Лихачев подкатил пулемет к самой изгороди, просунул его тупое рыльце между жердями, чтобы можно было вести огонь, и весь его расчет полег рядом.

Лихачева удивляло поведение танкистов: разгуливают возле машин, будто они не на фронте, а в тылу.

— Не бояться, сволота, — буркнул он. — Полоснуть бы хорошей очередью.

— Нельзя! — сказал Крутов. — Видишь, наши еще не подтянулись. Начни — такое заварится, не расхлебашь...

— Ты это брось, — поддержал Крутова Сумароков. — Или по башке получить не терпится?

— Наши киргизские люди говорят так: торопливый человек — плохой, — сказал Кракбаев. Он покусывал травинку и смотрел в небо. — Все сидят, пьют чай, бишбармак кушают, а один спешит, всем мешает...

— А что, Керим, вкусная это штука — бишбармак? — спросил Крутов; надо же как-то скоротать время, чтоб не так тоскливо было сидеть под обстрелом.

— О! — воскликнул, приподнимаясь, Кракбаев. — Приезжай после войны, барана зарежем, бишбармак сделаем. Голову тебе, как самому дорогому гостю. У нас хорошо...

— Так тебя и найдешь после войны.

— Как не найдешь! Иссык-Куль, поселок Рыбачий. Спросишь Кракбаева, каждый скажет, где найти... Озеро, как море, самое красивое. Ты художник, посмотришь — навсегда захочешь остаться.

— Толкуй... — подзадорил его Сумароков.

— Что, думаешь обманываю? Знаешь Киргизстан какой...

Кракбаеву лестно, что товарищи интересуются его родными местами. Глаза, черные, как агат, поблескивают, тонкие трепетные ноздри небольшого вздернутого носа подрагивают, будто ловят не противный запах взрывчатки, а острый горьковатый дымок очага, в котором весело потрескивают ветки смолистой арчи. Ох, какой ласковой и манящей кажется отсюда далекая родина — Киргизстан!.. Где найти слова, чтобы рассказать товарищам, как сверкают по утрам сахарно-белые вершины Ала-Тау, подпирающие своими острыми зубцами небо! Если смотреть на них вблизи, шапка валится с головы, так высоки они. Там, на его родине, не бывает таких серых дней, такой мглы, таких болот, как здесь. На горах, где ходят отары, повсюду зеленая густая трава, и золотые пресытившиеся шмели дремлют в раскрытых цветках, разомлев под солнцем от тепла.

Забыты стужа, бураны, внезапные снегопады, после которых можно недосчитаться половины отары, забыты смертельная усталость, когда с утра до ночи не вылезает из седла, скудный чай с пресной лепешкой и сон на жесткой, затоптанной кошме, скорчившись по-щенячьи где-нибудь в уголке кибитки. Только солнце, только свежий ласкающий ветер с гор, только радующая глаз голубизна неба и простор, от которого захватывает дух и хочется неть.

Полжизни отдал бы Керим не задумываясь, чтобы только не было этой войны, чтобы он мог снова гонять отару по зеленым склонам и жить беззаботно, как прежде...

Всегда острые, пронзительные глаза его затуманиваются от грусти, потому что воспоминания всякий раз приходят с радостью и болью, и чего тут больше — не разобрать, как не найти грани, где кончается пресная вода потока, впадающего в соленый Иссык-Куль.

Крутов даже удивился, что молчаливый, сдержанный Кракбаев так разговорился, когда дело коснулось Киргизии.

Нихачев, слушая, косил взглядом на командира: вдруг подает какой знак! Возле Турова собрались командиры взводов. О чем-

то совещаются. Наверное, о том, что делать дальше. Разошлись. Туров оглянулся, подал Лихачеву знак: ко мне!

— Р-разговорчики! — прикрикнул Лихачев на своих, бодро вскакивая на поги. — Кончай травить! Кракбаев со мной, остальные на месте.

Пригнувшись, Лихачев побежал вдоль изгороди к командиру. Кракбаев метрах в пяти сзади. Внезапный свист мины. Взрыв. Острые брызги огня, дыма, изорванной в клочья дернины. Режущий свист осколков и вскрик...

Крутов видел, как Лихачев нырком приник к земле, а Кракбаев будто споткнулся, неловко повалился на землю, выпустив из рук винтовку. Правда, он тут же вскочил, но затем, вместо того чтобы догнать Лихачева, начал поспешно сдирать с себя одежду, будто она его жгла. Дико было видеть голые смуглые плечи и спину, внезапно облитую красным, слышать тягучий крик боли.

Кракбаева притащил Лихачев. Он нес его на руках, как носят большого ребенка, волоча за собой в той руке, которая обхватывала ноги раненого, его винтовку, шинель, гимнастерку — все, что успел сбросить с себя Кракбаев.

— Перевяжите его, ребята, а я побегу! — запыхавшись, попросил он, казнясь в душе за то, что ему взбрело в голову позвать за собой Кракбаева. Мог бы один, и ничего не произошло бы...

Кракбаева перевязывали всем отделением, пакетов едва хватило, такую порцию осколков влепило ему в спину. Глубоки ли, опасны раны или не очень, кто мог сказать? Кракбаев больше не кричал, а только стонал сквозь зубы и что-то бормотал по-своему: может, клял на чем свет стоит фрицев, — никто не знал определенно. Лицо из смуглого сделалось землисто-серым, осунулось, под глазами залегли тени. Чтобы не беспокоить товарища, все говорили шепотом, настроение враз упало.

А тут еще из серой пелены облаков через голубые прорывы вывалились к земле истребители — желтокрылые, с черными крестами «мессершмитты». С ревом, переходящим в натужный стон, они промчались на бреющем полете к Толутино, обстреляли там кого-то и вернулись назад, заставив пулеметчиков прижаться к земле.

— Приказ есть — наступать, — сказал Лихачеву Туров. — Твоя задача — прижать противника к земле, чтобы он носа из деревни не мог высунуть. В первую очередь огонь по этой сволочи! — Туров кивком указал на танкистов, по-прежнему разгуливавших у своих машин.

— Разве ж они дадут нам наступать, товарищ командир?

— Приказы не обсуждают, Лихачев. Будем выполнять, а там увидим, как быть... На всякий случай подготовьте бутылки с КС, гранаты, чтоб никакой папки, если вздумают повернуть на нас. Ты меня понял, Лихачев?

— Сделаем все, что в наших силах, товарищ командир. А насчет папки — не беспокойтесь, не допущу...

Рота открыла огонь по деревне, по танкам из винтовок и пулеметов. Лихачев наблюдает по сторонам, по что-то никто не торопится вылезать за изгородь. Только стреляют. В ответ суматошный огонь из деревни, взлетающие в небо искристые красные ракеты. Люки танков захлопнуты, машины окутываются дымком, разворачиваются. У пулеметчиков засосало под ложечкой: вдруг пойдут на них! Да разве только они так думали! А стрелки?

Но танки, погудев, покрутившись на месте, один за другим уползают и скрываются за крайними строениями.

Лихачев понял Турова. Взять деревню силами батальона без артиллерийской поддержки, когда там сил много больше и к тому же все на ногах, — дохлое дело. Вот и приказал открыть огонь, чтобы по ответному старшие командиры могли судить о реальном соотношении сил. А погубить всех людей опрометчивым решением — нехитро, и кому от этого польза?

Пальба, частая вначале, постепенно затухает. Вог только самолеты свирепствуют. Они прямо виснут над редколесьем, буквально гоняются за человеком, сбрасывают обычные мины вместо авиабомб, жмут всех к земле.

— Суки! — ругается Сумароков, тыкаясь носом в окопчик, когда самолет с бреющего поливает залегшую пехоту и пули смачно чмокаются с землей, взбивая сырую дернину.

За каждым самолетом вслед волной прокатывается ответная стрельба. Всех донимает зло на безнаказанно барражирующих в воздухе стервятников. Криками ликования проводили первый подбитый самолет. Косо срезая пространство, он шел к земле, вытягивая за собой черный шлейф дыма. Пилот кулем вывалился из кабины, какое-то время падал камнем, и вдруг за ним возникла белая полоса шелка, превратившаяся в широкий зонт.

— Глянь, горит...

— Подбили! Ур-ра!.. Сейчас врежется...

— Ах, гад, выпрыгнул. Лови его! Лови-и!..

Самолет взрыхлил землю в километре от роты, срезал крылом сосенку и, разваливаясь на куски, перевернулся. Густой столб дыма и огня поднялся на том месте. Но туда уже мало кто смотрел — все следили за парашютистом. Летчик рывками подтягивал к себе парашют, направляя его полет к лесу. Вот-вот он коснется верхушек и скроется. Десятки бойцов, сорвавшись

со своих мест, бежали наперехват. Не выдержала душа Сумарокова, кинулся и он.

— Я ему, гаду, за Кракбаева! — крикнул он уже на ходу.

Гитлеровец не успел отстегнуть лямки парашюта, его еще волочило по земле, когда он увидел сбегавшихся к нему бойцов. Он расстрелял по ним всю обойму парабеллума, двоих ранил, по остальные навалились на него, вышибли из рук пистолет, заломил локти назад. Вмиг образовалась толпа, в центре которой еще волтузились со строптивым гитлеровцем бойцы. Он пинал их ногами, кусал, норовил бить головой, те не оставались в долгу, били по чему придется...

Тщетно пробивался к гитлеровцу невесть как оказавшийся поблизости старший лейтенант Макаров — веселый, живой, как ртуть, голубоглазый тридцатичетырехлетний крепыш. В мирное время он исполнял должность физрука полка и порядком надоедал всем лыжными кроссами, а в военное возглавил разведку полка и теперь стремился прибрать к рукам знатного «языка».

— Р-разойдись! Приказываю!.. — орал он, плечом врезаясь в неподатливые солдатские спины.

— Чего разойдись! Наш фриц! Хотим берем, хотим нет...

— Не имеете права, это пленный! Гагская конвенция...

— Какой пленный, когда не возьмешь! Вишь, не дается...

Макаров в армию был взят в сороковом году с преподавательской работы и любил при случае щегольнуть познаниями. Но тут все его домогания встречали отпор.

— К черту конвенцию! Он нас колошматит, а мы его на наши хлеба...

— Верна-а! Бей гада!

Велико было озлобление бойцов, достаточно натерпевшихся от фашистской авиации за последние две недели. А тут еще один фриц — и тот не дается в руки.

Толкались плечами, пыхтели, ругались, ярились, стремясь прорваться к центру, до гитлеровца, сплачивались в живую непробиваемую стену с той стороны, откуда насккивал Макаров. Тогда старший лейтенант, охрипший, взъерошенный, как петух, перетерпевший изрядную потасовку, вдруг решил на отчаянный шаг: отступив немного, он с разгону вскочил на спины ближних и пошел было по живым колышущимся плечам, но его тут же стряхнули, зажали, и какой-то боец, обернувшись к нему темным, багровым от натуги лицом, со злым азартом в глазах сказал, скаля белые, как кипель, зубы:

— А ты шустряк, старший лейтенант! Только не выйдем, тут поле боя, а не в тылу, и мы из этого фрица душу вытряхнем. Не посмотрим...

Круг распался внезапно, будто лопнула пружина, обручем теснившая всех к середке. На истоптанной земле валяется убитый гитлеровец. Кто убил — не найти. Все!

— Отвечать будете! — грозит, строжится запоздало Макаров. — Командованию «язык» нужен, а вы! Ведь летчик, все знал!

— Знал, да не про нас, — огрызаются бойцы. Хоть и старший лейтенант, а не подчиненные они ему. У каждого есть свой командир, с тем другое дело, с тем не поговоришь. — Сволота был, до последнего стрелял. Такой бы рассказал, держи карман...

— Чего там, убили — и правильно. Для того и брали. Собака был, не человек...

И тот же остроязыкий боец, всего лет на пять моложе Макарова, обозвавший его шустряком, сказал, непринужденно хлопнув по плечу:

— Не горюй, старший лейтенант! Вон полпа деревня «языков», да глянц, еще на машинах подваливают. Бери — не хочу.

В Некрасово и в самом деле входили крытые брезентом машины с пехотой.

— А ты меня не хлопай! Понял? — озлился, заливаясь гневным румянцем, Макаров. — Встань как положено, когда с командиром разговариваешь! Ваша фамилия? Вот я запишу, тогда запоешь...

— Что фамилия... — Бойца не испугала угроза. — Обыкновенная. Брагин Иван Иванович, образца тысяча девятьсот двенадцатого года. Коренной сибиряк. Так и пиши. Может, к себе в разведку возьмешь — не пожалеешь.

Он, видать, тертый был калач, этот Брагин Иван Иванович.

— И возьму! Посмотрю, каков тогда будешь.

— Товарищ командир, — перебили Макарова, — тут вот документы у фрица какие-то, карта. Может, сгодятся. Опять же пистоля — куда ее? Оставить себе или вам отдать?

Макаров сунул документы и карту в свою пухлую изрядно потертую сумку и пошел. Вместе с ним шагал Брагин и вел переговоры, как перейти в разведку. Это ему, видите ли, больше по душе.

Вернувшийся в отделение Сумароков не застал там Крутова, да и настроение у бойцов было не ахти какое.

— Что такое? Он что, ранен?

— В штаб вызвали, — ответил Лихачев хмуро. — Заодно Керима повел. Тут, брат, все одно к одному. Пока ты бегал, Газин накрылся. За пулеметом лежал, а снарядам из танка щиток прошло. Из двух отделений теперь одного не наберешь...

Сумароков обалдело глядел на него и молчал.

## Глава шестая

Более чем опрометчиво было назначать место для командного пункта дивизии, считал Горелов, в Ново-Путилово, рядом с переправой. Она как магнитом притягивала к себе вражескую авиацию.

Переправ было две: одна у Хвастово, где наводили мост на понтонах, и вторая близ Избрижья. На этой последней на правый берег переправлялся полк Афонина, вот гитлеровцы и стремились помешать этому, подвергая переправу непрерывным бомбежкам.

В очередном донесении Горелов попросил у Маслова разрешения перевести командный пункт на левый берег. Где-то подспудно жило опасение, что дивизия долго не продержится на правом берегу, и когда придет пора убираться за Волгу, отход может получиться далеко не планомерный. В таком случае громоздкий штаб окажется серьезной помехой для частей. Так не лучше ли сразу убрать штаб в более безопасное место? К тому же эти непрерывные налеты. По пути на переправу и с переправы обязательно два-три самолета пройдутся из пулеметов по деревне, а то и отбомбятся. Все это держит штаб в напряжении, мешает нормальной работе.

Второе и главное, о чем просил Горелов, — это снарядов для зенитных батарей и артиллерии. В дивизии два артиллерийских полка, и только легкоартиллерийский помогает пехоте своими пушками — дивизионками, а гаубично-артиллерийский бездействует из-за того, что нет снарядов.

А что может сделать пехота без гаубиц при нынешней насыщенности боевых порядков противника огневыми средствами? Вот и получается, что вместо широкой полосы дивизия вбила только клин, острием вышедший на Толутино. Батальон Фишера, которому было приказано выйти на шоссе, чтобы обеспечить левый фланг Исакова, проплутал в лесу, и когда подошел к большаку, то встретил там автоматчиков и танки. Таким образом, вся дорога от Даниловского до Толутино оставалась в руках противника, а батальон сидел в заболоченном лесу, скучившись. Другой батальон, посланный, чтобы захватить Путилово и Курково, тоже обнаружил, что деревни заняты мотоциклистами, и перешел к обороне, не выполнив своей задачи.

Противник же спешно подбрасывал два других полка из Старицы и сосредоточивал силы в Некрасово. Похоже, что сто шестьдесят первая пехотная дивизия готовится к решительным боям за большак на Калинин.

В такой обстановке Горелов мог надеяться лишь на полк Афонина, что, переправившись, он займет Курково и тем упрочит положение Исакова.

Привязанный к своему пункту, Горелов не мог видеть истинного положения дел, приходилось полагаться только на информацию, а она, как известно, не всегда бывает объективной, ибо тот же Исаков да и другие попросту преувеличивали силы противника, видели опасность там, где ее могло и не быть, донимали Горелова настойчивыми просьбами пополнений, снарядов, авиационной поддержки и тем сбивали его с толку.

Главной бедой во всем этом Горелов считал большую удаленность командиров от места боя; не видит поля боя и своих войск он сам, не видят командиры полков, не видят комбаты. Вся надежда на телефоны, а надежда ли это?

Однако перешагнуть через требования, через навыки, устоявшиеся за предвоенные годы, не хватало решительности у самого. Не мог он допустить такое и у подчиненных. «Положено», — это было как шоры на глазах лошади, и плохо ли, хорошо ли — выполнялось.

Третье, что он просил у Маслова, — людей! Нужно не меньше двух тысяч человек, чтобы довести полки до нормы. Оружие найдется, его достаточно собрано на складах, а кое-кого можно вооружить и трофейными винтовками. Не беда!

И, наконец, чтобы ускорить переправу Афонина, нужны понтоны, потому что собственных средств дивизии уже не хватает — за утро двадцать пятого октября бомбежками разрушено и потоплено семь лодок полупонтонов, два парома. Сделать это нетрудно, достаточно приказать дивизиям, оставшимся на левом берегу, чтобы они передали свои переправочные средства тому, кто в них нуждается.

Так полагал Горелов, по праву считая, что его дивизия решает наиглавнейшую задачу. Значит, ей и внимание.

Но ни один из этих вопросов не был решен положительно. Когда Горелов уже терял надежду получить ответ, к аппарату его вызвал Маслов.

Телеграфная лента тянулась невыносимо медленно, отстукивая бесконечные точки-тире, точки-тире, испытывая терпение генерала.

«Выполняйте задачу паличными силами, — передавал Маслов. — Снарядов крупных калибров нет, сами знаете, пожгли. Переправу Афонина форсируйте за счет большей организованности. На КП наведите порядок, маскировку, не будут бомбить. Пополнений не ждите. Штабу оставаться на месте...»

Горелов читал, заглядывая через плечо телеграфиста, первую комка подбородок. Под пальцами колючие, третьего дня волосы. Ни минуты свободной, чтобы побриться.

— Передайте, — глухо сказал он телеграфисту, — продолжайте выполнять задачу. Горелов.

Все ясно: надо выкручиваться самому. Если по правде, так он просил пополнений, исходя не из практической в этом нужды, а из посылок мирного времени, когда на исходе дня учения обязательно объявляли: ваши части пополнены до нормы согласно штатному расписанию, продолжайте воевать... Посылки эти были совершенно неприемлемы сейчас. Что значило ввести две тысячи человек в дивизию во время боя, новых, необстрелянных, когда части действуют в лесу, а люди не знают ни своих командиров, ни товарищей; об этом Горелов просто не задумывался. Полагалось просить пополнение, поскольку убыль была, вот он и просил.

О том, что его опасения были не чужды Маслову, он узнал вечером, получив шифровку, которую тот направил дивизиям, оборонявшимся на левом берегу справа и слева от переправ.

«Имейте в виду важность обороны рубежа как прикрытия переправившихся дивизий, — приказывал Маслов. — От ваших действий зависит их судьба и исход борьбы за Калинин».

Из итогового за день донесения армии Горелов узнал, что дивизия, работавшая с ним в паре на правом берегу, овладела деревнями Ребеево и Опарино, а Даниловское взять не смогла, увязла в боях на окраине этого поселка.

Горелов устало опустил голову на раскрытые ладони: веки сомкнулись сами собой. Как хочется спать! Третьи сутки без сна... Крепкий телом и духом, он все же еле держался на ногах. Выказывая небывалую стойкость, он выполнял свой командирский долг, как его понимал. Понятия долга распространялись у него не только на работу. Они являли собой целую систему, вобрав в себя лучшее, что накопила армия: от обращения с рядовым, поведения в обществе и кончая главным, тем, как должен умереть, если придет необходимость отдать жизнь за Отечество, чтобы и смерть твоя была примером. Только сила этих убеждений заставляла его во время бомбежек, когда бойцы и командиры прятались по щелям, оставаться на виду, чтобы командовать людьми, руководить ими, направлять их.

Но человек, каков бы он ни был, остается человеком, и ничто человеческое ему не чуждо: ни радости, ни страх, ни усталость. Горелов завинчивал свои нервы до отказа, и все-таки не выдерживал. Иногда, сидя за рабочим столом, он вдруг ронял голову на руки и закрывал глаза. Нет, он не спал, но все шорохи,

голоса, шаги людей глохли где-то на полпути, не достигая сознания. Он мог глядеть на карту и ничего не видеть, не разбирать слов, слушать и не слышать, стараться вникнуть в смысл сказанного и не понимать. Ужасное состояние, когда организм перестает повиноваться и требует отдыха...

К счастью, вторая половина дня после овладения Толутино выдалась спокойной: не наступали полки, не делали больше попыток вернуть утраченную деревню гитлеровцы. Положение определилось. Горелов попросил своего начальника штаба Бочкова присмотреть за дивизией и прилеж. Спал он часа четыре, потом приказал отдыхать Бочкову.

Это было кстати: двадцать шестого октября началось такое, что нельзя было отключиться от руководства войсками и на минуту.

\* \* \*

Ночь выдалась тревожной, темной, сырой. Моросил дождь вперемешку со снегом, все, к чему ни прикоснешь, отдавало студеной, до дрожи острой сыростью. Танцура стоял в окопе, прислонившись к орудийному щиту. Плащ-палатка, которой он был окутан, напиталась влагой, задубела, и Танцура старался не шевелиться, чтобы не греметь ею.

Опять, как и в прошлую ночь, ему выпало стоять в карауле перед утром. Самое тяжелое время. Спать хочется зверски. К тому же та ночь была спокойная, тихая, а эта озарялась всполохами ракет, и тогда изгородь, пушка, дома мокро взблескивали острыми гранями, уцелевшими стеклами, бревнами стен, обращенными к свету. Темнота раздвигалась неохотно, затянутая негустой, но все-таки плотной сеткой дождя и снежинок. Дождь и снег. Однако земля, крыши, доски, сорванные вчерашней артподготовкой, оставались черными; снежинки не скапливались даже на орудийном металле.

Ракеты вспыхивали над деревней Некрасово, — на этот раз гитлеровцы уже не спали столь беспечно, — и где-то правей, чуть ли не у Волги, тяжело приподнимая темень неба над черными зубцами леса и деревенскими крышами.

Танцура всматривался в зловещую темень, вслушивался в неясный шепоток дождя, больше полагаясь на зоркость глаз, чем на слух, подпорченный во вчерашнем бою: надо же, в поспешности не подготовился к выстрелу!

Но все это пустяки — думает он. Главное, что в душе у него укрепилось чувство силы, уверенности. Когда брали Ширяково, он еще мог считать, что им просто повезло. Но вот таким же путем взято Толутино. Опять случай? Помилуй бог, как гова-

ривал Суворов, — где же тогда умение?! Второе, что приподнимало его в собственных глазах, это паграда. Приятно все-таки знать, что представлен к такой высокой паграде.

Мысль делает неожиданный поворот: паверное, списки будут опубликованы в «Известиях», а эта газета расходится по всей стране. Значит, узнают и в деревне, там у них остались дошлые старики, которые за всем следят. Нет, в Киевскую область уже никакие газеты не дойдут, там пемец. Неизвестно даже, когда туда вернемся, и вернемся ли? Ведь па очереди Москва, решается судьба столицы. Говорят, что правительство, кроме членов Комитета Обороны, уже переехало в Куйбышев. Значит, положение серьезное.

При мысли о столице в душе Танцуры закипает: нет, не должны оставить Москву! Не должны! Вот он стоит со своим оружием поперек дороги, которой еще позавчера немцы подбрасывали силы к Москве. Пусть это не прямая дорога к столице, а все равно, ведь от Калинина до Москвы рукой подать. Но больше не подбросят. Пока он, Танцура, жив, ни один гитлеровец здесь больше не пройдет. Найдутся такие же добрые хлопцы и па других дорогах, перекроют пути.

Киев — что, с его потерей можно смириться, потому что, пока стоит Москва, до тех пор живет падежда в каждом, что мы туда вернемся. Судьбы украинского и русского народов сплелись намертво, и ключи от счастья, величия, процветания Украины лежат в Кремле. Нельзя отдавать Москву, нельзя даже и в мыслях допустить, что Гитлер ступит па брусчатку Красной площади, опоганит своим дыханием покой Ленинского Мавзолея. Нельзя... Сейчас весь народ горит желанием дать решительный бой врагу. Танцура не слепой, видит, какое у солдат настроение.

Ракеты взлетали не только впереди, но и позади, в стороне Калинина. Он хоть и не глядел туда, но боковым зрением ухватывал, как бледный трепещущий свет, идущий сзади, трогает, щупает темное неподатливое небо.

Что там? Сидят ли гитлеровцы где-то, как в Некрасово, в деревне, или уже обходят, ищут перед собой слабинку? Хоть и говорят, что немец боится леса, что ночами он отсиживается в деревнях, да верить этому не приходится. Болтает тот, кто судит о войне со стороны, понаслышке. Немец такой же человек: и не дурак, и сильный, и смелый, и организованности у него пока больше, и техники. А что фашист, так это делает его лишь более опасным, жестоким, и только. От такого жди любой пакости, всего, кроме пощады.

«Сейчас и наши озлились, — размышлял Танцура. — Вчера сбитого летчика не захотели в плеч взять, ухлопали. Допекло...

Для войны сейчас нет ни правил, ни законов. Каждый бьет как умеет. В том и закон: ты думаешь, что противник будет действовать так, а он делает все не по правилам. Война не на жизнь, а на смерть».

Танцура смотрит во все глаза, стараясь не шевелиться. Сзади, в каретнике, битком набито людей — артиллеристов, пехоты, — и все полагаются на него. Как тут не смотреть? На то он и часовой!

Правда, ему сейчас не положено ни о чем думать, кроме своих обязанностей часового, но мыслям не прикажешь, и воображение, память рисуют перед его взором картины прошлой жизни. Кажется Танцуре, что кто-то острым режет по сердцу, чтобы навсегда отделить свет от тьмы, счастье от беды, радости от горячи, которою полнится сейчас земля. Наверное, сам Кожемяка так глубоко не прокладывал борозды, когда делил землю на свою и змееву, как глубоко пролегла пропасть между прошлым и настоящим в душе у каждого. «Гитлера бы, собаку, — думает Танцура, — утопить в слезах людских, как Кожемяка того Змея-Горыныча».

— Ничто не вечно в этом мире, даже такая нудная ночь кончается. Линяет, блекнет черный полог темени, доносится дребезг и повизгивание повозки по стылой земле, так и не оттаявшей под этим слякотным дождем. Раздаются голоса, хриплые, неуверенные спросонья, бречание котелков.

«Приехала батальонная кухня, — догадался Танцура, и от этой догадки сразу проснулся аппетит, под ложечкой засосало. — Горяченького бы сейчас...»

Сгорбившиеся, помятые фигуры, как серые тени, пробираются близ стен, через ломаные палисадники, надрывно кашляют, спотыкаются, матерятся. Тут и спрашивать не ходи, сразу видно — свои, пехота, подались на кормежку.

\* \* \*

С утра двадцать шестого октября Селиванов на НП. Он наблюдал, как в Некрасово поднялась подозрительная суета, как гитлеровцы группками и в одиночку пробираются от дома к дому, как они скапливаются на окраине, обращенной к Толутино, и тревога охватывала его. Хотелось скорее схватить телефон и кричать: «Люди, готовьтесь, они сейчас пойдут!» Из «гнезда», в котором он сейчас находится, так хорошо все видно в бинокль. Но он понимал, что спешить, будоражить всех раньше времени — значит просто обнаруживать свою невыдержанность, недостойную командира. Не он один смотрит, многие.

На нем добротный овчинный полушубок, ватные штаны, шапка-ушанка. Одет плотно, потому что неизвестно, сколько придется просидеть в этом «вороньем гнезде», а погода самая отвратительная. Ствол, ветки дерева, за которые приходится держаться, мокрые, холодные, от них уже стали скользкими рукава полушубка и полы, сырость пробирается дальше, и озноб пробегает по плечам от одного вида промозглой погоды.

Нет сомнения, гитлеровцы замышляют педоброе.

— Пятая! — окликает оп по телефону комбата. — Доложите готовность.

Командир пятой откликается сразу: батарея на огневых, к бою готова.

— Всем находиться на местах! — быстро распорядился Селиванов.

Еще вчера он приказал всем батареям сменить огневые. Противник мог засечь их расположение, чтобы потом нанести потери в первые минуты боя. К тому же держать все орудия на прямой наводке в обороне значило бы ослаблять себя: артиллерия будет лишена возможности маневрировать огнем, сосредоточивать его в нужную минуту по решающей цели. Это раз. Второе — противник может потеснить пехоту первым натиском, и она останется без поддержки. Все это очень хорошо продумал Селиванов.

— Как самочувствие? — интересуется оп, слыша на другом конце провода близкое от трубки дыхание комбата.

— Не мешало бы... — многозначительно отвечает командир пятой и смеется: — А как у вас, товарищ капитан?

— Ты это брось, всему свое время. Фриц что-то затевает, смотреть надо в оба. Понял?

— Да я сам на «глазах», — вижу! Тут ясней ясного — полезет скоро...

Вчера Селиванов с комбатами обходил Толутино. Хотелось посмотреть, что там захвачено из трофеев, заодно увидеть результат своей работы. Артюхин — командир стрелкового батальона, который они поддерживали, сидел в избе, заваленной трофейным оружием и разным барахлом. Он был рад как-то отблагодарить «богов войны» за поддержку, поэтому не скупился: выбирайте, что понравится. А что выбирать — оружие свое есть, бинокли тоже. Вот разве зажигалку?

Артюхин выдвинул ящики с «железными крестами» — высшими гитлеровскими орденами:

— Берите на память, сколько кому требуется.

— Кинь их в огонь! — посоветовал Селиванов.

— Нельзя. Приказано доставить в штадив. Трофей... Может, тогда шансу?

Селиванов и комбаты взяли по бутылке: «Погода собачья, можно и погреться».

Потом они не спеша шли по деревне, заглядывая из любопытства в автомашины, приподымая брезенты на огромных фурах. Повсюду были видны следы хозяйничанья пехоты, все перерыто. От дома к дому они обошли всю деревню, глядевшую на них развороченными стенами, сорванными кровлями, сожженными и покореженными остовами машин, мотоциклов, десятками вражеских трупов, застывших в самых неожиданных позах. На них глядело лицо войны, и отвести взгляд, пройти равнодушно мимо было свыше сил человеческих.

За деревней, па отшибе, накренившись, стоял в кювете автобус. В кабине, за рулем, валялся убитый шофер. Снаряд прошил боковое стекло, тело гитлеровца и стенку кабины, оставив за собой круглые отверстия.

— Чистая работа, — сказал Селиванов, оглядывая кабину. — Из сорокаятки, бронебойным.

Обойдя автобус, он дернул на себя задние дверцы и, распахнув, отпрянул: на груди чемоданов сидел рыжий верзила с длинными волосами в офицерском мундире.

Втянув голову в плечи, он затравленно глядел на Селиванова. Встреча была столь неожиданной, что ни тот ни другой долго не могли произнести ни слова. Лишь спустя минуту-две гитлеровец вскинул кверху руки и хрипло промолвил, как прокаркал:

— Гитлер капут!..

Все пальцы верзилы были унизаны золотыми кольцами и перстнями, на руках браслеты. Заметив, что Селиванов смотрит на его руки, гитлеровец стал спешно сдергивать с себя кольца и браслеты.

— Мародер! — жестко и зло сказал Селиванов. — Не торюись, с тебя все снимут...

Видимо, гитлеровец хотел отсидеться до темноты, чтобы потом удрать, и приходилось только удивляться, как пехота, все обшарившая, оставила без внимания этот автобус. До сих пор стоят перед глазами Селиванова застывшие в животном страхе глаза гитлеровца и белые, как алебастр, пальцы, с которых никак не снимались перстни. Мародера расстреляли. Селиванов об этом не сожалел ни минуты: сволоту надо уничтожать! Солдаты, какие б они ни были, убегали, гибли, живые часом позднее шли в контратаку, а офицер трясся за свое барахло. Надо же столько нахватать! Пришлось составлять целую опись, когда сдавали ценности начфину. Сдали все, кроме шоколадных конфет в какой-то красивой коробке и двух бутылок коньяку, найденных в чемодане,

среди беля. Знать, припас какой-то офицеришко, чтоб отпраздновать взятие Москвы. Трофей закопный! Они оказались сейчас очень кстати, в добавление к шпайсу, чтобы отметить коллективно победу.

Отмечали прямо на НП, совместив это с ужином. Получилось неплохо: выпили, поговорили по душам, как товарищи. На войне это тоже необходимо — поговорить, потому что иногда дружеское слово значит не меньше, чем приказ. Правда, долго засиживаться не пришлось, комбатам необходимо было идти проверять, как готовятся новые огневые. Сейчас все они на своих НП. Все бы ничего, да снарядов маловато, не особо разгонишься. Но и тут Селиванов надеется на свою меткую стрельбу, опыт артиллериста.

Вдали гулко ударили вражеские орудия. Свист, вой снарядов и сизо-черные клубы разрывов вырастают по деревне. В сыром промозгом воздухе дымки выстрелов растекаются не сразу, и Селиванов стал отыскивать в бинокль позиции стреляющих батарей, чтобы отметить на своем планшете. Хотя контрбатарейную борьбу вести ему не по силам, а привычка старого артиллериста и тут берет верх: надо засечь!

В орудийную пальбу вплелись минометные выстрелы, разрывы плотно обкладывают южную окраину деревни Толутино. Дома окутало и закрыло дымом. Минометы бьют из Некрасово; это такое оружие, что для него позиция за любым сараем, стеной, в любой подворотне. Что миномету, что самовару — места нужно немного.

Однако налет интенсивный. Началось...

Селиванов стоит, прильнув телом к стволу елки, чтобы меньше быть заметным на фоне темных ветвей, упираясь ногами в перекладыны. Ему видно, как под гул пальбы из деревни густо валит гитлеровская пехота, на ходу разворачивается в цепи. Ого, порядочно! Не менее полка...

Он переводит взгляд на Толутино: как-то там Артюхин, сумеет ли удержать свою пехоту на месте, не драпают ли кто? Так и есть, бегут. Ах, черт!..

Селиванов обкладывает кренким словом бегущих, но потом, приглядевшись в бинокль, видит, что драпают те, кто оказался в Толутино по случаю: кого привлекли туда трофеи, любопытство, всякие порученцы, то есть тот люд, которого всегда полно возле воюющих, когда на поле боя не свищут пули. Поток бегущих жидковат и вскоре иссякает. Между опушкой леса и деревней становится безлюдно. Значит, основные на месте.

Но шутки в сторону. Контратака не похожа на вчерашнюю, а много серьезней. Гитлеровцы не прекращают огня, а их пехота

между тем подвигается к Толутино. Селиванов мысленно прикинул, на каком рубеже накрыть ее огнем дивизиона, чтобы сразу взбудорить своих, и, склонившись над планшетом с циркулем и линейкой, стал готовить дашные для стрельбы.

Телефонист из своей норы под деревом следит за ним взглядом, чтобы не прозевать ни секунды и тут же продублировать команды на батареи. Наконец сверху доносятся четкие, отдельные слова команды. Телефонист передает их и ждет, когда батареи доложат о готовности.

— Четвертая — готова! Пятая — готова!..

И тогда сверху падает веское, емкое, единственно необходимое в эту минуту слово:

— Огонь!

Земля вздрагивает от близких залпов батарей, спаряды поют, высвистывают свою смертельную песню над наблюдательным пунктом, и разрывы степой ложатся в боевых порядках наступающей пехоты. Селиванов прикинул к биноклю, в зубах торчком трубка; черная, блестящая от оседающей мороси борода лопаткой вперед. Хорошо! Он скалит в улыбке зубы, блестят передние золотые, дает поправку, и снова команда «огонь!».

В боевых порядках противника смятение. Толутино откликается частым пулеметным и минометным огнем.

Селиванов в эти минуты чувствует себя не менее чем богом. Он может казнить и миловать, от него зависит, пропустит гитлеровцев еще на сотню шагов вперед или положить там, где они находятся. Его голос решающий, и это сознание своей значимости заставляет его забыть на время об опасности, об усталости, обо всем, кроме управления дивизионом. Даже сообщения о потерях на батареях — противник нащупал их и старается подавить — как-то проходят мимо сознания, не вызывая ответных чувств. Позднее он будет горевать и переживать гибель и ранения своих сослуживцев, а сейчас, в момент наивысшего взлета всех духовных сил, в момент творчества, когда сгорает сам, он глух ко всему.

Какая это контратака, вторая, третья? Не все ли равно! Его злит, бесит всякое промедление на батареях. Какого черта не докладывают о готовности? Что, потери? Разве нечем заменить? Огонь!.. Почему молчит пятая? Где пятая? Немедленно дайте связь с пятой!..

Полушубок на нем давно нарастает, шапка сдвинута на затылок, он работает как одержимый, не щадя себя, и требует этого от остальных. Он даже не успевает сообразить, что это за внезапный свист, как упругая волна взрыва швыряет его с дерева, что-то больно бьет его в плечо. Сырые гибкие ветки прини-

мают его па себя, перевертывают, царапают лицо и руки и сбрасывают на землю. В первый момент он не может понять, что с ним, почему рука висит плетью, потом видит, что полшубок распорот...

К нему подбежали, помогли подняться.

— Вы ранены, товарищ капитан?

— Не знаю, кажись... — Он вдруг видит у своих ног большой зазубренный осколок мины. Сырая земля парит под ним. Горяченький...

— Ваше счастье, товарищ капитан! Чуть-чуть — и все бы...

Селиванов отшвыривает осколок сапогом, поводит плечами: острая боль во всем теле, но крови нет. Значит, ушибы.

— Пить! Дайте воды, — хрипло попросил он и, когда поднесли кружку, жадно приник к ней.

И тут он видит, что на опушке повсюду лежат раненые, которых еще не отправили в санбат, что почти под деревом, на котором он находился, лежит какой-то странно знакомый старший лейтенант с восковым лицом. У него перебиты обе ноги, синие диагональные брюки заплыли спекшейся кровью, кровь пропитала и наложенные сверху наспех бинты, кровь и под ним. Он недвижим; хромовые сапоги со стоштаннами каблуками и сбитыми ракушками вчера принадлежали командиру пятой... До Селиванова вдруг доходит, что перед ним и есть командир пятой. Еще утром он, смеясь, намекнул: «Не помешало бы...». Не мешало бы опохмелиться. Что другое он мог иметь в виду, только это!

Острая боль стискивает Селиванову сердце: он скрипит зубами и, закрыв глаза, мотает головой, не в силах перенести утрату товарища. Бог мой, вот она, вторая сторона дела, которому он отдавал весь пыл своей души!

Селиванову дали опомниться от потрясения, потом начальник штаба дивизиона осторожно спросил:

— Что делать, пятая не отзывается?

— Связистов послали?

— Так точно. По времени уже давно, должны быть, а ни связи, ни их...

Селиванов обвел всех взглядом, потом остановил глаза на разведчике дивизиона:

— Пойдете вы! Возьмите с собой пулемет, человек десять — пятнадцать! Через час доложите, что с батареей.

Не ожидая ответа, Селиванов повернулся и тяжело стал вскарабкиваться на дерево в свое «воронье гнездо». Из-под насупленных бровей сверкали мрачные ожесточенные глаза.

## Глава седьмая

Захват Толутино явился для гитлеровцев большой неожиданностью, их попытки восстановить положение были с уроном отбиты, и теперь они мстили тем, что беспорядочно обстреливали лес, из которого в Толутино и обратно шмыгали группами и в одиночку русские. Из Некрасово все это хорошо видно наблюдателям, которые засели на чердаках.

Огонь вели из минометов, наугад, вразброс, в расчете на то, что такой обстрел в какой-то мере помешает дальнейшим планам русских и деморализует их.

Так оно и случилось: разорвавшаяся среди палаток мина одним ударом вывела из строя двух помощников начальника штаба и трех писарей. Они все были поранены осколками, причем двое очень тяжело и без надежды на скорый возврат в часть. Сергеева — начальника штаба полка — осколком задело по руке; хотя ранение было легким, кость цела, но боль заставляла его морщиться и стискивать зубы, когда фельдшер делал ему перевязку.

Этот удар имел еще и то последствие, что в поднявшейся суматохе некому было подталкивать Бородина, и наступление батальона на Некрасово обернулось простой демонстрацией, огненным боем, хотя и не без потерь. Пока еще трудно было судить, чего здесь больше — вреда или пользы, ибо, не взяв Некрасово, батальон сохранил свои силы на дальнейшее, а это не менее важно для решения задачи в целом.

Оставшись один, Сергеев долго глядел на искромсанную, будто изрезанную ножами палатку, на бумаги, оставленные в момент ранения, с застывшими на них пятнами крови, на следы поспешных сборов: с каждым из раненых надо было отправить и его личные вещи. Как все нелепо получилось, думал он. Одним ударом лишит штаб работников, на которых все держалось! Нет помначштаба первого, нет ПИШ четвертого, нет писарей, знавших полк много лучше, чем любой офицер.

Где-то в Толутино находился Макаров — ПИШ по разведке. Сергеев послал его туда, чтобы тот уточнил на месте, какие трофеи взяты батальоном. А то наговорят вгорячах с три короба, а на поверку не окажется и половины. Тогда выкручивайся. Кроме того, Макарову поручено установить положение батальонов, где, какое подразделение находится. Все это попутно с основной задачей — организацией разведки. Надо срочно вызвать его в штаб.

Сергеев подтянул к себе телефон, крутнул ручку, придерживая коробку локтем раненой руки, висевшей на перевязи.

«Ч-черт, как скверно!» — выругался он, чувствуя себя беспомощным. С одной рукой, что без рук совсем. Да, надо передавать обязанности и уходить в санбат.

Но Макарова в штабе третьего батальона не оказалось, и Сергееву что-то расхотелось его разыскивать: придет время, явится сам.

Из комендантского взвода никто не приходил, чтобы поправить палатку и навести внутри порядок. Может, просто не решились беспокоить, и Сергеев подумал, что вот надо вставать, приказывать, следить, чтобы люди исполняли свои обязанности, а тут чертовски болит рука, ноет хуже, чем зуб. Сиди не сиди, а, наверное, надо идти докладывать Исакову и в санбат...

Полог палатки бесцеремонно отшвырнула чья-то рука, и раньше, чем показался сам хозяин, Сергеев узнал по шевронам на рукаве Исакова. «Легко на помине...» Он хотел сначала встать доложить командиру полка, как положено, но многодневная напряженная работа, потрясение, пережитое полчаса назад, суматоха, потери как-то враз лишили его прежней собранности и стремления быть пунктуальным даже в мелочах. «Все равно уходить», — уныло подумал он.

— Сидим?! — желчно сказал Исаков и прошел к столу, но не сел, а остался на ногах, раскачиваясь с носков на пятки и заложив руки за спину. — Сколько раз приказывал, что нужно сразу рыть щели для укрытий, так нет... — напустился он на Сергеева с запоздалыми упреками. — А теперь сидим! Вам что, — продолжал он после небольшой паузы, — в санбат, и вы — святой, а тут как хочешь, так и руководи. Ни штаба, ни помощников, хоть разорвись. Вот она, наша русская разболтанность: все авось да небось. Как же, солдат мозоли натрет, устает — жалко! А когда по башке осколком стукнет — не жалко?..

Сергееву тошно было слушать эти нудные причитания, он злился, морщился, но молчал, не поднимая головы. К чему все это? Разве он был застрахован и любой осколок не мог уложить его почище, чем уложил ПНШ Сырова? Разве объяснишь человеку, что щели тут ни при чем, что это не в укрепрайоне, где для штаба понастроили блиндажей в шесть и семь накатов. Не станешь же ради одного боя строить в лесу землянки и блиндажи, а в щели не загонишь писарей с бумагами. Как человек этого не понимает! Да он и не помнит, чтобы Исаков говорил до этого случая что-нибудь подобное. Конечно, знай Сергеев наперед, что так случится, разве он не принял бы мер...

Еще пять минут назад он ни о чем другом не думал, как о том, чтобы доложить по команде о случившемся и отбыть в санчасть. Теперь же, в связи с глухим протестом, вызванным

словами командира полка, в душе его зрело решение сделать что-то такое, противоречащее тому, о чем думает Исаков.

«На свой аршин меряет. Пусть не думает, что все такие...» Но четко оформившейся мысли насчет того, как следует поступить, еще не сложилось, и Сергеев сказал:

— Я думаю, можно вызвать в штаб адъютанта второго батальона Тупицина и командира взвода из противотанковой батареи. Там без них обойдутся, тем более, что второй вообще еще не у должности. На первых порах сойдут...

— Там-то обойдутся, да я не обойдусь. Разве они потянут такой штаб? В штабной работе ни один из них ни в зуб ногой, их надо не меньше как две недели патаскивать, пока освоятся...

— Что ж, будем натаскивать...

— Да кто, кто будет натаскивать, когда?! «Будем»... Мне с ними валандаться некогда. Полк ждать не будет. Сейчас звоню генералу, пусть делают что хотят, а без штаба я не могу... Попрошу вас, будете ехать в санбат, заверпите в штадив, доложите положение...

— Да с чего вы взяли, что я поеду, товарищ подполковник? Это решение пришло к Сергееву как-то неожиданно, быстро, как вспышка света, но он с радостью осознал, что оно будет самое верное.

Исаков круто обернулся к нему, уставясь долгим немигающим взглядом, и Сергеев подумал, что глаза у подполковника в этот момент очень похожи на птичьи — такие же круглые, невыразительные, а сам он даже жалок, несмотря на «шпалы» в петлицах.

— Вот как. Ну что ж, распорядитесь, вызывайте кого нужно, не возражаю. Будете писать донесение, укажите, что штаб остался без командиров! — Исаков вдруг доверительно дотронулся до раненой руки Сергеева: — А сможете? Не подведете? Мне ведь без вас, голубчик, никак... — На губах его появилась улыбка, более похожая на гримасу виноватого человека, но он тут же прогнал ее со своего лица. — Я вам очень буду обязан...

Словно боясь, что может растрогаться и тем проявит простые бесхитростные чувства, которых придется потом стыдиться, Исаков стремительно покинул палатку.

«В сущности, слабый, безвольный человек, — подумал о нем Сергеев, чувствуя, как с души спадает какая-то тяжесть. — Расстался, всего бонтятся... Однако кого же взять писарем?»

В данный момент писарь, толковый писарь, который мог бы не только исполнить под диктовку донесение, но и вычертить схему, нанести на карту обстановку, был для Сергеева более важен, чем иной помпачштаба. Для проверки в батальоны он

может послать любого незанятого командира, а за переписку не усадишь — обидится.

Прежние писари отлично знали свое дело, почти самостоятельно вели переписку, собирали в подразделениях сведения по боевому и численному составу, вели отчетность, свободно владели формой приказов, приказаний, распоряжений, а форме в штабной практике отводился не последнее место. Командирам, по сути, оставалось, только подписывать донесения, сводки, рапорты, приказы... Недаром ходила притча, что в мирное время полком командуют писари, а не командир, потому что они лучше знают положение дел, лучше знают людей, кто на что способен...

На память пришла ночь перед войной, в лагерях. Сергеев тогда одурел от работы и попросил часового полить воды на голову. А ведь тот парень говорил, что он художник и умеет чертить. Вот только жив ли он?

Сергеев взялся за телефон. Он не мог припомнить ни фамилии, ни внешности этого бойца, тогда не думалось, что это может пригодиться, и теперь надеялся, что в батальоне подскажут. Должны же они знать своих людей...

Так решилась судьба Крутова. Его прямо из боя вызвали в штаб полка. Он помог дойти до эвакуационного пункта ослабевшему Кракбаеву, донес его винтовку, пожелал ему выздоровления и с тяжелым сердцем подался в штаб.

Сколько народу гибнет! Раненых везут на подводах, ведут под руки, некоторые идут сами, а вот убитых никто не подбирает, они лежат там, где скончались. В тылу народу ходит много больше, чем находится на передовой, никто не бережется, все надеются на авось, а в результате попадают под осколки мин и снарядов. Как-то бы надо не так. А как? Крутов не мог понять, в чем тут дело: в слабой ли организованности или в чем другом. Просто при виде убитых, при виде крови, которой льется так много, у него всякий раз больно сжималось сердце: педеля боев, а в полку не остается и половины людей. Эдак и воевать скоро будет некому!

Он знал, что многим из тех, кто сует в Толутино и обратно, делать там нечего, что гонит их туда не боевая необходимость, а любопытство, желание поживиться трофеями — едой, вышивкой, барахлишком, какой-нибудь диковинкой, вроде завинчивающейся пластмассовой коробочки из-под масла, в которой удобно поспить махорку, или зажигалки. Люди почему-то так падки до всего чужого. Ну, достать автомат — это понятно, всякому лестно: убил фрица, забрал оружие. Это не каждому удается. Но рисковать жизнью из-за какой-то фляжки или масленки глупо. И все-таки многие лезут, а враг этим пользуется, бьет...

Посреди этих грустных размышлений пришло воспоминание об Иринке: как давно пет от нее вестей! С тех пор как вышли из укрепрайона, почта не работает, ни написать кому, ни ответ получить. В любой момент может убить, ранить, а она и знать не будет. Пошлет письмо, может, мысленно поговорит ему самых хороших слов, а его уже не будет в живых. Страшно даже думать об этом...

Он попытался представить ее лицо, но черты почему-то всплывали словно в тумане, и сердце тревожилось не по ней. Где-то глубоко, будто присосавшись, оставалась другая боль. В эти дни все чувства притупились: не думается ни о любви, ни о прежней жизни. Сейчас, как и у всех в эту трудную осень, когда смерть так широко шагает по земле, сердце занято другим — там накрепко поселилась тревога за судьбу Родины. Россию надо спасти! В этой короткой фразе все — остальное второстепенно. Вот почему непростительно расточительство людских жизней ни для командиров, ни для самих бойцов, которые играют с опасностью...

— Где ты так долго болтался? — сердито спросил Сергеев. — Вызвали, так надо бегом.

Сергеев был раздражен, к тому же его дожимала боль, и он ходил по палатке, баюкал руку. И без того длинное лицо осунулось, под глазами залегли темные полукружья, на щеках, скулах, подбородке желтые пятна озноба перемежаются с бледной синевой.

Зазуммерил телефон, Сергеев схватил трубку: «Да, слушаю!» Минуты полторы слушал, потом закричал:

— Да у вас голова есть? Видите что надо, так делайте! Не ищите нянек, решайте сами... — Он бросил трубку, поморщился: — Ах, черт... — и стал раскачивать руку. — Приучили каждый шаг согласовывать, а теперь хоть за руку води. Ну ладно, подходи, Крутов, садись. Будешь с этого дня работать в штабе. Видишь какое дело — один остался. Бери бумагу, пиши: «Противник силами 161 пд обороняет Некрасово...» Учти, первым пунктом всегда надо указывать, что делает противник, а уж потом о своих войсках, — поучал он Крутова. — Запоминай...

— Там у него с десяток танков подошло, — сказал Крутов.

— Мы же указываем: контратака проводилась силой до батальона с танками...

— Эти в бой не участвовали. Когда бой шел, они на шоссе перед Некрасовкой стояли.

— Откуда знаешь? Видел?

— Видел. Мы от них метрах в трехстах за изгородью лежали. С пулеметом...

— Тогда давай, пиши, — согласился Сергеев. — Штабник должен все видеть, все замечать. На то он и штабник...

В отдельных местах Сергеев излагал Крутову только суть дела, предоставляя ему возможность формулировать мысль своими словами. Для контроля он нет-нет да заглядывал ему через плечо.

Крутов писал: «3 сб при поддержке артиллерии отразил вражескую контратаку. Убито до 100 немцев...»

— Стоп! Откуда тебе известно, что это были немцы? А может, итальянцы или финны? Пиши: до ста гитлеровцев... Военный язык не терпит неопределенности, двойного толкования. — И, без перехода, неожиданно: — Тупицина знаешь?

— Так точно, знаю! — ответил Крутов.

— Тебе придется с ним работать. Он, как и ты, начинает, с него командирских забот хватит. Поэтому не жди, когда тебя ткнут носом, сам заботься, чтобы все донесения в срок, вникай в дело. Война, брат, не смотрит на звание, с любого спрашивает...

Во второй половине дня к Сергееву привели пленных. Сначала одного, хмурого рослого гитлеровца с нашивками ефрейтора: нашли, прятался в подвале дома.

Сергеев владел немецким неважно, поэтому допрос вел старший лейтенант Макаров. Ему не удалось отстоять летчика, и теперь он надеялся, что этот случайный «язык» кое-что расскажет. Руки ефрейтора были связаны за спиной, он горбился, изредка пошевеливая мускулами плеч. На все вопросы Макарова он не издал ни звука, смотрел отчужденно куда-то в сторону, будто перед ним никого не было. Лишь изредка облизывал пересохшие губы.

— Да что он, глухой, что ли? — спросил Сергеев, которому начинала надоедать эта волюпка. — Может, ты не так формулируешь фразу? Кто ты? Какого полка? — спросил он гитлеровца.

Тот поднял на него глаза, посмотрел и отвернул взгляд в сторону.

— Видите, он просто не желает отвечать, — сказал Макаров. — Он все понимает, а говорить не хочет. Заядлый фашист...

— Дерьмо он собачье, а не фашист! — Сергеев сгреб его за грудки, тряхнул так, что у гитлеровца болтанулась голова. — Попался в плен да еще говорить не хочет, выкобенивается. Вот прикажу расстрелять, тогда узнаешь... Уведи его, — приказал он Макарову. — Все равно он ни черта не знает, с утра в подвале сидел... Пусть в разведотделе с ним разбираются.

Второй пленный оказался сговорчивей. На вопросы отвечал четко, каждый раз вытягиваясь перед Сергеевым. Крутову было странно видеть, как он прижимает руки ладонями к ляжкам,

отставляя локти в сторону. Ну и стойка! Из показаний пленного, а также по его солдатской книжке Сергеев сделал заключение, что в Некрасово сосредоточен полк сто шестьдесят первой пехотной дивизии, что они получили задачу выбить русских из Толутино, освободить дорогу на Калинин, и, если не сделали этого сегодня, надо ждать, что повторят попытки на другой день.

## Глава восьмая

Пятая батарея переходила на новые огневые позиции вечером двадцать пятого октября. В темноте подошли упряжки, пристегнули орудия, зарядные ящики, и артиллеристы оставили опушку леса. В ранней осенней темени черпел по сторонам от дороги лес, и едва ли кто из рядовых знал, куда переходят и зачем. Да об этом никто и не задумывался: служба на батарее такова, что мало когда приходится видеть противника, по которому стреляют.

Километра два шли по паторенной дороге в обратную от Толутино сторону, потом свернули направо. На каком-то пригорке среди редколесья стали, развернули орудия фронтом на юго-восток. Коноводы тут же увели лошадей подалее от огневых позиций. Расчеты уселись возле своих орудий.

Замполит пятой Гринева обогнал батарею. Никто не работал, все чего-то ждали. Гринева исполнял обязанности командира орудия, а замполитом являлся как комсомольский активист. Два года назад он окончил полковую школу артиллеристов, причем с похвальным результатом, получив знак «Отличник РККА». Однако в подразделение так и не попал, потому что был избран секретарем комсомольской организации школы, и его захлестнула общественная и политическая работа. Так и дослужил бы срочную службу, если б не война.

Когда дивизия выезжала на фронт, то всех курсантов, а также и командиров распределили по батареям. Комиссар школы Шабалин, с которым Гринева за два года успел крепко подружиться, получил назначение в первый дивизион военкомом, а он, Гринева, попросился в батарею, где потруднее, и ему дали назначение в пятую. Он не желал где-то отсиживаться, когда начнут греметь пушки, тем более, что зарекомендовал себя мастером и имел такую необходимую боевую специальность.

С тех пор Гринева в батарее.

— Товарищ замполит! — окликнули его. — Располагаться на ночлег или как?

— Спать не придется, за это не беспокойтесь. — Гринева

узнал по голосу своего земляка Береснева. — Будем оборудовать огневые, чтобы к утру полная готовность. А когда — скажут... Или, может, война кончилась, а я не слышал?

— Нет, я к тому, что сидим.

— Это ничего. Посидеть да поспать солдату никогда не во вред. Пользуйтесь.

Бойцы рассмеялись:

— Наш Женья за словами в карман не лезет.

Береснев что-то им ответил, разговор пачался общий, вполголоса, и Гринев уже не разобрал слов.

Батареек привел на это место командир огневого взвода лейтенант Поляков; видимо, он ждет комбата, чтобы тот уточнил задачу.

Комбат Соловьев, которого за веселый нрав и любовь к песням звали еще Соловейчиком, появился через полчаса в сопровождении разведчика.

— Малость подзадержался у Селиванова, — объяснил он Полякову. — Решили отметить победу, размочить счет... — От него здорово пахло вином, но держался он в норме, стоял на ногах твердо. — Собрай командиров!

— Командиры орудий, к командиру батареи! — от одного к другому разнеслась команда.

Когда все собрались, Соловьев коротко поставил задачу: подготовить огневые, готовность к шести часам утра, потому что к этому времени возможны контратаки противника из Некрасово.

Ночь выдалась сырая, холодная, с пронзительно колкой ледяной моросью, падавшей на разгоряченные руки и лица. Несмотря на это, бойцы работали в одних гимнастерках, скинув плащ-палатки, шинели, ремни.

Гринев обошел расчеты, разъяснил момент: есть сведения, что противник собирается выбить наших из Толутино, освободить шоссе на Калинин. А это дорога, хоть и не прямая, но к Москве.

— Сами понимаете, не маленькие, что это значит. Отсюда наша задача как можно быстрее и лучше оконпаться, поднести к орудиям и укрыть снаряды. И не будем тянуть подготовку до шести утра, вдруг фрицам вздумается сунуться раньше. Мы, артиллеристы, не станем подводить пехоту, своих земляков — красноярцев. Били гитлеровских вояк в Ширяково, били в Толутино сегодня, дадим им прикурить и завтра...

— Все понятно, товарищ замполит. Постараемся...

— Лодырей среди нас нет. Сделаем...

Гринев знал: на батарее народ дружный, пообещали — делают все в срок. Он вернулся в свой расчет, взялся за лопату.

Земля была податливая — песок, суглипок, лопата входила на полный штык. Постепенно вырисовывалось круглое, как чаша, углубление для орудия, вырастал бруствер спереди и по бокам. Все работали с воодушевлением, потому что острые переживания утреннего удачного боя не успели еще изгладиться и волновали. Каждому хотелось, чтобы и будущий, завтрашний день прошел так же удачно, а для этого стоит постараться.

К полуночи связисты дали связь с дивизионом и наблюдательным пунктом комбата. Телефонисты сказали, что Соловьев устроил НП в подбитом немецком танке, впереди своей пехоты. Ни один фриц не догадается... Бойцы покачивали головой: «Ну, Соловейчик! Придумает же...»

Но в голосе вместо осуждения сквозило восхищение смелостью и находчивостью комбата.

Гриневу следовало бы радоваться вместе со всеми, но он не мог. С тех пор как отступили из укрепрайона, его не покидала тревога за мать. Даже бойцы заметили перемену в его настроении, иные подшучивали: по невесте, мол, парень тоскует, другие пытались разузнать, какая кручина его гложет, но он считал, что не вправе обременять людей своей маленькой личной бедой, и молчал. И без того у всех горя хватает. Был бы еще рядом Шабалин, может, решился бы посоветоваться с ним, как быть, но военком где-то далеко, говорят, что первый дивизион поддерживает полк Фишера.

А дело в том, что Гринева был сибиряком-красноярцем по духу, по характеру, который окончательно сложился за время пребывания в полковой школе, по принадлежности к дивизии, а сам он смоленский, родился и вырос в Ярцево. С октября этот тихий городок стал ареной больших боев, а теперь оккупирован гитлеровцами. Вот и гложет Гринева тревога: успела ли выехать мать из города, жива ли?..

Отца Гринева почти не помнил, тот умер рано, потому что вернулся с германской войны с тяжелым ранением, и в какую-то критическую минуту жизнь его оборвалась внезапно, будто кто взял и дунул на горящую свечу. Был человек — и нет! А человек он был, по словам матери, большой души и не мог стоять в стороне от чужой беды, горячий, напористый, и если за что брался, то доводил до конца. Мать любила его настолько сильно, что после его смерти сама чуть не отдала богу душу, а уж о том, чтобы связать свою судьбу с другим, и слышать не хотела. Всю свою нерастратенную любовь, нежность она обратила на сына, который каждой черточкой — прямым носом, слегка удлинённым, мягко очерченным овалом лица, разлетом бровей, светло-голубыми глазами — был вылитый отец.

Однако, несмотря на свою, казалось бы такую безграничную, любовь к сыну, растила его в большой строгости. Работала она простой ткачихой, приходилось вести счет каждой копейке, и она не могла позволить ни себе, ни ему каких-то излишеств. Женя рано познал, что на свете есть бережливость и обязанности в отношении других. Любовь и строгость, честность и прямота в большом и малом были основными принципами их маленькой семьи. Зато не было человека на свете, которого Женя любил бы больше, чем мать.

Как ни странно, но за время службы в армии ему пришлось по душе суровый и строгий Красноярск. Один Енисей чего стоит! А заповедник «Столбы»! Да и возможностей для развития, когда ты молод и вся жизнь, по сути, у тебя еще впереди, в Красноярске куда больше, чем в Ярцево. Хочешь — учись, хочешь — работай, везде открыты дороги!

Если б в Ярцево не оставалась мать, этот родной городишко занимал бы в памяти Гринева совсем маленький уголок, тот самый, где хранятся воспоминания детства, он бы оставался там, как пекая розовая Аркадия, в которую никогда не бывает возврата. В детстве, каким бы безрадостным оно ни было, всегда найдутся моменты, свет и тепло которых согревают душу человека до конца его жизни.

Так и у Гринева. Едва ли когда ему придется еще ловить пескарей в пещириковой речушке Вонь, резвиться на весенней мягкой травке, аукаться с матерью в лесу, до которого рукой подать от города.

Явись он в Ярцево через год, два, пять, — все равно он ничего не найдет из того, что так врезалось ему в память в детстве, никогда не покажется ему Вонь могучей, манящей в дальние страны рекой, а будет лишь речушкой. Только в детстве, только раз в жизни бывает такое, что мир даже в малом представляется огромным до бескрайности и менее познанным, менее обжитым, чем во времена Колумба.

Вот почему без особых сожалений оставлял он Ярцево, когда ехал в Ленинград учиться на инженера, вот почему без щемящей тоски вспоминает сейчас о нем. Если б там не осталась мать... Мама!

Думая о ней, Гринев чувствовал, как его ненависть к фашизму обретает какое-то иное звучание, глубину: появлялся свой, личный счет к фашизму, перераставший за рамки абстрактного понятия противника. Этот счет жег ему душу, требовал действий.

Ночь была долгой и трудной, все порядком притомились, но, когда работа окончилась, оказалось, что стужа прямо-таки льнет

к потному телу. Пришлось близ орудий рыть маленькие неглубокие ровики-норки, чтоб улечься в них по двое, для тепла, потеснее, одну палатку подстелив на дно, другой укрывшись сверху от мороси. Без этого не вздремнуть, а поспать хоть часок надо, ибо неизвестно, каков будет день.

Гринев распорядился насчет очередности дежурства у орудия и тоже втиснулся в нору, под плащ-палатку, где его напарник уже успел надышать, и теперь оттуда пахло теплым жилком.

Люди укрылись в земле, остались лишь пушки с высоко задранными кверху стволами, и батарея казалась вымершей, всеми покинутой, какой-то чужеродной на притихшей, прислушивающейся к шороху дождя и снега земле. Но вот со стороны дороги пришли с термосами трое ездовых, раздалась команда «Па-а-дымайсь!», и оказалось, что людей на батарее много, они вылезали, как грибы после дождя, прямо из-под земли, помятые, бледные, словно выжатые чьей-то рукой. К еде приступали вяло и неохотно, хрипло откашливаясь, но после первых ложек горячего густого кулеша глаза постепенно светлели, улыбки загуляли по небритым лицам, и забористое словцо воробьем порхнуло у кого-то с языка, чтоб помянуть Гитлера и всех, кто к нему близок...

Допить чай не удалось.

— Батарея! По местам! — это Поляков, оставшийся на батарее за главного, подал команду, принятую телефонистом с НП.

Бойцы, как встрепанные, повскакали, побросав ложки, кружки, котелки где попало, и кинулись по местам. Наводчики прильнули к панорамам и крутили маховички, проверяя, послушно ли им орудие, заряжающие застыли у разверстых пастей орудий, вторые номера держали на руках снаряды, подносчики приоткрыли плащ-палатки над ровиками, где лежали очередные выстрелы. Все застыли, как бегуны в ожидании хлопка стартового пистолета, чтобы ринуться... то бишь молниеносно сделать то, чему учились два года: одному загнать снаряд в казенник, другому навести перекрестие панорамы на визир — тонкую веху, воткнутую на болоте перед батареей, третьему ждать команды «огонь!», чтобы, рубанув рукой воздух, передать это слово на орудие...

Все видят перед собой болото, редкий соснычок вдали, вешку, серое небо. Нужна недюжинная фантазия, чтобы представить, что где-то в эту минуту на пехотинцев, прижавшихся в окопчиках, движутся танки, цепями идет враг... Как правило, батарейцы видят противника в лицо редко, когда дело совсем швах, когда пехота своя смята и врага надо отражать огнем в упор. В остальное время глаза батарей — НП — наблюдательный пункт, где командир подсчитывает, под каким углом к вешке навести ору-

дие, какой установить прицел, взрыватель, чтобы снаряд поразил цель. Командир — бог, батарейцы — его послушные слуги.

— Прицел, угол, взрыватель такой-то, — объявляет Поляков.

— Первое орудие — готово! Второе... Третье... — отзывается батарея.

— Огонь!

Орудийный залп рвет серую тягучую тишину леса, уносятся вдаль снаряды. Все как одержимые бросаются к пушкам, чтобы через мгновение орудие снова было готово выплеснуть огонь, дым, смерть.

Если сила артиллерии в маневре огнем, колесами, то мастерство батарейцев — в исполнительности: умри, но исполни, что требует от тебя команда, пусть над тобой режут тысячи смертей, а наведи именно так, как приказано, и ни па деление, полделение меньше-больше.

С НП требуют безостановочной стрельбы в высоком темпе. Значит, где-то жмет враг не па шутку. Все это понимают. Как во время ночной работы, опять летят прочь с плеч шинели, ремни, потому что счет идет на доли секунды, тут мешкать не приходится.

Гринева искоса поглядывал на ровики, в которых лежат снаряды. Их очень мало, а темп стрельбы таков, что они убывают на глазах, пустые гильзы уже мешают под ногами. О чем думают командиры? Или решили стрелять до последнего? Как бы там ни было, пока подают команду «огонь», он обязан стрелять...

— Перекур! — радостно объявил телефонист, и пружина, стискивавшая людей в упругий комок мускулов, отпускает, и бойцы расслабленно расслаиваются кто куда: на бруствер, на станину пушки, на землю. В котелке чей-то недопитый чай, как раз впору смочить глотку холодненьким. Котелок гуляет по рукам, пальцы крутят газетные сигарки, синий дымок плывет над головами.

От недавних мыслей, тревог у Гринева ничего не осталось: в голове пусто, как в дырявой бочке. Все вымело гулом пальбы, остались только желание тишины и усталость, будто долгое время спускался с горы, до дрожи в коленках. Даже голосу, чтоб говорить, нету. Такое, наверное, не с ним одним, потому что все молчат. Наконец кто-то решился разомкнуть рот:

— Товарищ замполит, узнать бы, что там?

Гринева кивнул: хорошо! Пора узнать, ради чего так старались. До Полякова рукой подать, но сдвинуться с места и пройти это расстояние трудно, как взобраться на красноярские «Столбы». Гринева туда ходил однажды, знает. Пересилил себя, поднялся. Подошвы не оторвать, прямо липнут к земле.

— Как там, товарищ лейтенант, кого громили?

— До полка пехоты... Из Некрасово. С тапками. Пехоту отсекали, положили, четыре танка подбиты. Начало хорошее.

— Это одна наша батарея?

— Нет, дивизионом. Да там и полковые «трубы» работали, так что трудно разобрать, кто и сколько... Соловейчик бранился, что «хозяин» не дает ему рта раскрыть, все сам. Ради какого черта, говорит, я в этой коробке сижу...

Гринева догадался, что под хозяином Поляков подразумевает Селиванова. Вот почему и стреляли так много, ему не надо спрашивать, сколько стрелять, сам знает, какой расход установить.

— Ну, спасибо. Так я передам ребятам?

— Да, пожалуйста. Буду обязан! — Поляков интеллигент, привык к вежливости. Сам же прикажет что-нибудь, а придет боец докладывать, он ему: «Спасибо. Буду обязан...». Гринева это нравится, хотя бойцы почему-то отдают предпочтение Соловейчику. Может, за удачу, молодечество, некоторую бесшабашность? Но, как бы там ни было, а Поляков дело свое знает, на батарее у него порядок.

Перекурить как следует не дали: команда «По местам!» подняла всех на ноги. Снова все у орудий. Теперь батарея ведет огонь по каким-то отдельным целям: прежде чем перейти на поражение, делает пристрелочные выстрелы. С НП уточняют, и тут от наводчиков требуется особая точность. Перелет, недолет, повернуть правей на полделения, левей... Бойцы расчетов то и дело выжидают, пока последует для всей батареи команда на огонь. А когда не шевелишься, сырость, холод донимают.

К огненным подъехали повозки, доставили снаряды. Гринева проследил, как будут уложены боеприпасы в ровики. Повозки тотчас же ушли. Батарея снова ведет огонь. Теперь и противник отвечает, нащупывает батарею. Его снаряды то и дело посвистывают над бойцами. Но пока только перелеты, куда-то в глубину. Оказалось, не так уж далеко.

К Полякову прибежал связной, доложил, что под огонь попали упряжки. Пострадало много лошадей. Есть убитые и раненые среди личного состава. Что делать?

Поляков покусывает спичку, хмурится:

— Принимайте меры сами, эвакуируйте раненых. У меня ни одного человека свободного... — Ну что, что другое он может сказать? — Я доложу по команде...

Он старается не выказывать беспокойства, которое им владеет. Оно же просто перехлестывает через край. Докладывать-то некому. С НП командира дивизиона разведчики только что доложили ему, что Соловейчика тяжело ранило: перебиты обе ноги.

Они перевязали, как сумели, вынесли на наблюдательный пункт. Комбат скончался у них па руках. Наверное, потерял много крови.

Поляков был просто ошеломлен этим сообщением, потом спросил, как это случилось.

Стапятимиллиметровый угодил в танк, разворотил броню. Они-то, разведчики, сидели в окопчике под днищем, уцелели, а комбат находился в «коробке», корректировал огонь. Наверное, фрицы заподозрили, что в танке сидят, и долбанули...

Что толку донскиваться причин, когда не стало человека. Не мирное время — война!

А тут еще и это. Батарее здорово не повезло. Полякова мучила тревога, и он не знал, как поступить: сейчас сообщить бойцам о гибели командира или потом, после боя? Пожалуй, пока ничего говорить не надо. Команды поступают с НП командира дивизиона, батарея работает, и нечего преждевременно волновать людей.

— Идите на свое место, — строго приказал Поляков связному. — О том, что сказали мне, никому здесь ни слова. Не паниковать. Поняли?

— Понятно, товарищ командир, — ответил связной. Ему так не хотелось уходить назад, где только что было столько страшного. Ведь это нелегко — видеть, как гибнут твои товарищи, как бьются, путаются в постромках раненые лошади, как льется кровь. Жутко! Ему кажется, что здесь, на батарее, совсем другое дело. Тут люди ведут огонь, тут они словно бы под защитой своих орудий.

Он еще медлит, смотрит, как орудия толчком откатываются назад при выстрелах. Он сначала не понял, почему орудия стреляли вверх, а разрыв появился впереди, совсем близко. В клубе дыма покачнулась и упала срезанная сосенка.

Да ведь это же разорвался немецкий! Недолет, перелет, потом возьмет в вилку. Скорее отсюда!

Связной, пригнувшись, втянув голову в плечи, словно ожидая удара в спину, бросился назад в свое подразделение.

Гринев тоже заметил разрыв. Плечи повело ознобом: неужели нащупает? Сейчас бы батарее смолкнуть на полчаса, переждать, но Поляков выкрикивает команды, темп огня усиливается. Наверное, на передовой опять напряженная обстановка. Неужели всякий раз, как от них требуют бешеного темпа, там, на передовой, контратаки?

За гулом своей пальбы разрывы вражеских снарядов остались почти не замеченными, они впились в общую канонаду. Но клубы дыма, инородный запах на батарее запах взрывчатки,

наконец, осколки, стеганувшие по огневой, не заметить было невозможно. Просто люди видели смерть и не могли сразу понять — откуда?

Прямое попадание в крайнее орудие — и оно нелепо завалилось на одно колесо. Расчет там выбит почти полностью. Загорелись ящики с боеприпасами, и черный дым за клубился на огневой. Вот-вот начнут рваться снаряды, тогда беда всей батарее.

Бойцы из других расчетов оставили свои орудия и бросились туда, чтобы раскидать снаряды и затушить возникший пожар. Батарея поневоле смолкла. В наступившей тишине сразу возникли звуки: треск горящего дерева, шипение, стоны раненых, отдаленная расстоянием пальба на передовой.

Гринев тоже кинулся на пожар. Подхватив чей-то ватник, он хлестал по горящим ящикам, сбивая пламя. Он просто нарочно в эту минуту не хотел смотреть, не хотел видеть убитых и раненых, потому что прежде всего огонь, надо унять огонь... Пламя забили, забросали ящики песком и землей. Дымок лишь чуть-чуть пробивался струйками, но уже можно было подступиться и пинком перекинуть обуглившиеся, промасленные, такие смолистые и жадные до огня ящики, чтобы потом, когда снаряды выкатятся со своих гнезд, отшвырнуть тлеющее дерево в сторону.

Быстро нарастающий свист снарядов, — они всегда так свистят, если летят не куда-то, а именно в то место, где находишься, — заставил Гринева метнуться к орудию. Какое ни есть, а укрытие, защита! Он не добежал, споткнулся о чье-то тело. Убитые и раненые лежали возле пушки, кого где достигли осколки, и он споткнулся о кого-то из них. Гринев упал, втянул голову в плечи, обхватил каску руками. Близкие разрывы пахнули на него душным ветром, по металлу орудий застучали осколки. Последние где-то еще фурчали в отдалении, когда он приподнял голову.

Прямо перед ним лежал убитый, не сейчас, а еще в тот, первый налет, когда возник пожар. Сквозь рваную ткань одежды Гринев увидел что-то желтое и красное и долго не мог понять, что это. Потом, сообразив, что это обнажившаяся под ударом ткань тела, он почувствовал, как спазма перехватывает ему горло. «Ну что тут особенного», — говорил он себе, но его согнуло, и он подумал, что его начнет рвать тут же возле орудия. Тягучее чувство тошноты не отпускало, и он замешкался у этого орудия.

Батарею снова окутало дымом близких разрывов. Видно, гитлеровцы всерьез решили доконать ее. Многие кинулись от огневой в стороны. Гринева поднял крик Полякова:

— Назад! — кричал он. — Кому говорят — назад! К орудиям...

Для него, командира, это тоже было первым столь жестоким испытанием, он страшился, но долг повелевал ему вернуть всех на место, иначе какая же это батарея! Он пережегал слова команды с площадной бранью, в глубине сознавая, что часом позже будет мучиться от стыда, потому что брань шла от страха, а страх — это стыдно. Но ничего другого он не мог придумать в эту минуту.

Гринев броском перебежал к своему орудью.

— К орудью! — подхватил он крик командира.

Однако какой плотный огонь! Невозможно заставить себя оторваться от щита, к которому приник всем телом. А надо! Этот бой — проверка всех моральных и физических сил. Бойцы вернулись к орудиям, должен и он заставить себя не обращать внимания на огонь. Должен!

В голове неотступно мысль, что огонь на батарею кто-то наводит. «Нет, ерунда, — говорит себе Гринев, — просто засекли, и все. Что бы там ни было, падо работать...»

Вели огонь лишь два орудия. Это напоминало последние рывки утопающего.

— Огонь!..

Пока Поляков подавал команды, батарея обязана была жить, сопротивляться, команды словно подхлестывали ее.

Смогло еще одно орудие. Что с ним, Гринев не знал. Не до этого, когда в собственном расчете смело сразу троих. Ведь огневая прикрыта лишь щитом орудия спереди, а сбоку открыта всем ветрам и осколкам, а расчет работает в рост.

В расчете остался подносчик снарядов — Толя, молоденький, обсыпанный брызгами веспушек боец из вятских. Он сам о себе в шутку любил говорить: мы — вятские, ребята хватские, все можем, окромя лестницы и часов: в лестнице долбежки много, а в часах с топором не повернуться.

Он и в самом деле был проворный парень, потому что успевал подавать снаряды, заряжать. Гринев наводил, и они стреляли.

Что с остальными, Гринев не мог сказать, потому что силы его были на исходе. Он еле держался на ногах от нервного напряжения, у него уже не хватало сил следить за другими. Убитые лежат ничком у бруствера, им теперь все равно. Кто и когда их туда оттащил, он не помнил. Да это и неважно. Кто-то, видимо, увел раненых, потому что оставлять пострадавших товарищей без помощи тоже нельзя. Вот и приходится им управляться у орудия вдвоем.

Чертовски плотный огонь! Внакладку к орудийному сдают еще из тяжелых минометов. Мужество не только в том, чтобы

идти в атаку, отбиваться от врага, мужество, огромное мужество нужно, чтобы стоять под огнем и еще выполнять свое дело.

Смолк голос Полякова. Можно пригнуться, запрятаться под самое орудие, никто не осудит. Металл орудия — это защита от осколков.

— Командир! — крикнул Толя. — Снарядов мало! Я на соседнем возьму!

Гринев кивнул ему головой: действуй! Сам он тоже встал, прикинул глазом к папоре, чтобы навести орудие на ориентир. Когда подадут команду, не надо будет терять на это время. Он не успел ничего сделать: близким оглушительным взрывом его отбросило в сторону от пушки. Небо, земля стали запрокидываться, их накрыло черной тьмой, как пологом, и посреди этой тьмы возникла вспышка, заплясало, закружилось черное, желтое, красное...

Больше Гринев ничего не помнил.

Сколько он пролежал без сознания, угадать было трудно. Очнувшись он от тишины, посреди которой струился тонкий звон. Так звенят туго натянутые провода, когда почти нет ветра, и, чтобы услышать их, надо прикинуть ухом к столбу. Гринев прислушался и понял, что это звенят не провода, а тягучий звон рождается в его ушах. Тотчас же припомнилось, почему и как он очутился на земле, и мгновенный страх, что он лежит искалеченный и, быть может, звон — это последнее, что он слышит, заледенил ему душу. Он не мог более находиться в неизвестности относительно своего положения и открыл глаза.

Над ним серое низкое небо, мелкая морось чуть покалывала лицо. Небо тотчас же сдвинулось со своего места и поплыло, поехало в сторону. Гриневу показалось, что он куда-то падает, хотя знал, теперь уже твердо, что падать ему больше некуда — и так на земле. Пересилив головокружение, он приподнялся.

Из обоих рукавов текла кровь: пока он лежал, она скопилась в рукавах гимнастерки, и теперь холодные струйки поползли по рукам до кистей, до пальцев. Ранен...

Ранения были выше и ниже локтей, он определил это по дыркам в шинели. Но руки шевелились, работали. Это его немного взбодрило: значит, не опасные, будет жить! Теперь бы только перевязаться, найти пакет. Неужели он один на батарее?

Обернувшись к орудью, он вдруг увидел такое, что ужас заледенил на нем кожу и волосы напряжинились и, наверное, приподняли бы на нем каску, не будь она пристегнута ремешком за подбородок. По болотистому редколесью, прямо на вешку, по которой он наводил орудие, двигались двумя цепями гитлеровцы. Их было до роты. Они шли цепь за цепью, в полусотне шагов

одна за другой, без опаски, видимо считая, что батарея уничтожена и никто и ничто им не угрожает. Гринев уже различал цвет их шинелей, голубоватый сквозь сетку мороси, черные автоматы на груди, круглые, с гофрами, коробки противогазов на боку у каждого.

Только тут он понял, откуда такая поразительная точность вражеского огня. Значит, их батарея давно находилась под наблюдением!

Откуда взялись силы, как это ему удалось, он и сам не знал, но рывком вскочил на ноги и кинулся к оружию. Снаряд уже находился в казеннике, оставалось повернуть орудие чуть влево и вниз, чтобы взрыв произошел перед ногами гитлеровцев. Тогда осколки широким пучком ударят навстречу врагам и вырубят брешь в обеих цепях. Все это — дело секунды. Огонь!.. Выстрелом с такого близкого расстояния, когда враг находился почти у преддульного конуса, обе цепи были смяты. Одних опрокинуло, изорвало осколками, других привело в страшное смятение и заставило показать спины. Напрасно пытался один, видимо, офицер, остановить своих солдат, бросить их на ожившую батарею. Новый выстрел! Гринев работал с лихорадочной быстротой, не имея возможности даже задуматься, оценить результаты своей стрельбы. Он видел, что враг смешался, кинулся наутек под защиту близкого леса. Ага! Вот вам! За батарею! За моих товарищей! Вот... Он выпускал снаряд за снарядом, ничего не видя вокруг. Одна только мысль владела им: вот вам! Вот! Гады...

Где-то справа от дороги, по которой пришла сюда вчера вечером батарея, пришла в полном составе, а теперь от нее почти никого не осталось, застучал короткими очередями пулемет, потом автоматы. Гринев понял, что он не один, что на помощь к нему идут свои, сразу успокоился и тут же почувствовал, как болят израненные руки.

Гитлеровцы скрылись в лесу, только теперь их путь назад отмечали зеленоватые бугорки убитых, частые на рубеже, где их встретили первые выстрелы, и более редкие к лесу. Вражеские орудия и минометы снова принялись долбить по батарее. Меткость вражеского огня больше не удивляла Гринева, он знал, что где-то сидит корректировщик и направляет стрельбу. Черт с ним!

Один разрыв лег позади орудия, и осколок, совсем маленький кусочек железа с рваными краями, ударил Гринева под каску, в затылок.

Лишь позднее, три дня спустя, узнает Гринев, что вынес его, раненого, земляк Береснев, вернувшийся на батарею с подмогой, что все в полку посчитали его погибшим, потому что он

не приходил в сознание. Все это ему рассказали раненые, лежавшие с ним рядом.

Положение его и в самом деле было почти безнадежным. Так считали даже врачи, с первой же партией эвакуировавшие его в тыл. Но в глубоком тылу нашелся нейрохирург, решившийся на очень рискованную операцию, и для Гринева наступила долгая полугодовая полоса мучительной борьбы за жизнь, а потом и за место в этой жизни. Он оставался замполитом.

## Глава девятая

Неприятное создалось положение у Горелова: всю жизнь он готовился к войне, к тому, чтобы командовать войсками, а пришли бои — и он не имеет возможности помочь своим частям организовать отпор. На учениях, в мирное время, он командовал, мог в любое время поехать в полк, поправить кого необходимо, и все это своевременно. А тут он вроде сборщика информации, только «в курсе». Да, он знает, что произошло в полках, но сведения эти все время отстают, потому что на их прохождение нужно большое время. Комбаты не в тот же миг докладывают командирам полков, не всегда решаясь сказать правду сразу, надеются, что опасность рассосется как-то сама собой, выжидают, пробуют своими силами ликвидировать ее; командиры полков — тоже, каждый, прежде чем сообщить, проверяет, и в результате Горелов оказывается в хвосте событий.

Он приказывает одно, а события переместились в другую фазу, они не ждут, и распоряжения повисают в воздухе, они опоздали. Комбаты, от которых требуются немедленные ответные действия, вынуждены принимать решения на свой страх и риск, и знания, которыми обладает генерал, которые он накопил за двадцатипятилетнюю службу, не могут пойти на пользу войскам в самый критический миг, в бою.

Уже от одного этого больно человеку, у которого нет другой жизни, у которого нет иной семьи, как только родная дивизия, выпестованная им чуть ли не с пеленок.

Казалось бы, командир дивизии — величина, куда захотел, туда и поехал, где хочешь, там и находишься, а нет: уедешь в один полк, а в это время в другом может черт знает что произойти. Ни для кого не секрет, сколь рискованна операция, проводимая дивизией почти в отрыве от остальных войск армии. Все готовились к тому, чтобы захватить Горбатый мост в Калининне. Это основная цель — уничтожить врага, прорвавшегося так глу-

боку в наш тыл. Даже бои за Ширяково, за Городню выполнялись попутно, по ходу дела. И вдруг неожиданный приказ: не допустить подхода в Калинин сто шестьдесят первой пехотной дивизии противника, перерезать шоссе Старица — Калинин.

Даже гитлеровцы не верили, что русские осмелятся на столь рискованный шаг — их авиация все время следила за передвижением дивизии, бомбила переправы, — не верили, пока не получили удара в Толутино.

Левый фланг дивизии никем не прикрыт, это знают все. Малейшая неустойка — и враг может прорваться к переправам, тогда катастрофа для всех. Вот почему все взвинчены, а Горелов буквально виснет на телефонах.

Он занимает в Ново-Путилово небольшой домик из прихожей, она же и кухонька, и горницы. Связь то и дело нарушается, порывы на линиях из-за обстрела, бомбежек. Когда самолеты врага появляются над деревней, приходится выходить на улицу. Все это тоже отрывает от управления боем, мешает. Но тут уж ничего не поделаешь, такова война.

Постучавшись, вошел комиссар дивизии:

— Ты извини, Александр Иванович, что отрываю тебя от дела, но...

— Что там? — вскинул брови Горелов. — Опять что-нибудь у Исакова?

За последний месяц ему частенько приходится вмешиваться и налаживать отношения командира полка с военкомом. Признавая на словах необходимость и важность политработы, Исаков на деле полностью игнорировал Матвеева. А ведь если по правде, то хороший полк, доставшийся Исакову, стал хорошим благодаря дружной воспитательной работе Сидорчука и Матвеева. Большая сплоченность в подразделениях, инициативность, ставившая этот полк в число первых в дивизии, оставались от времен, когда там командовал Сидорчук. Как его не хватало сейчас в полку!

— Да, к сожалению, у Исакова. В Толутино скопилось много раненых, нужны экстренные меры к их эвакуации, а Исаков и слушать не хочет Матвеева: раненые на твоей, мол, совести, ты и выкручивайся. А тот не успевает попутным транспортом, поток большой. И вообще, хоть на глаза не кажись, знать его Исаков не желает. Вот еще гонористый барин...

— Их давно бы пора развести. Это наше с тобой упущение, Дмитрий Иванович. Займемся этим после боя...

Горелов почти два года жил бок о бок со своим военкомом, у них никогда не возникало разногласий, которые не удавалось бы согласовать в течение получаса, потому что разногласия их

были по существу тактики, а не по цели. Цель у них всегда была едина: добиться высокой боевой готовности дивизии. У Исакова дело в ином, он не признает политической работы в армии, считает, что достаточно приказа — и все завертится само собой. Скрытая приверженность к буржуазному философскому учению, которое делает ставку на технократию. Мол, будущее принадлежит людям науки и техники, а остальные лишь слепые исполнители.

— Матвеева я знаю еще по Сивашской дивизии, — сказал военком. — Он не ангельского характера, но умеет поставить себя выше мелочных соображений. Вспомните, он же прекрасно ладил с Сидорчуком, хотя тот был человеком крутого нрава. Если уж ставить вопрос о том, чтобы развести командира полка с военкомом, значит надо убирать Исакова. Хотя у него вроде и достаточная подготовка, но я что-то не вижу, чтобы он спешил на практике применить свои познания. Судя по информации, которую я получаю, в полку не чувствуется его твердой руки...

— Мы потом разберемся. Бой все покажет, все неясное обнажится. Надо подождать. А пока я прошу тебя, пошли кого-нибудь из своих, пусть посмотрят, что можно предпринять. Может быть, использовать наши попутные машины, не беда, если дадут крюку, или выбросить ближе к полку отряд из медсанбата... Полковая санрота просто не в силах справиться с потоком раненых. Почти беспрерывные контратаки...

— А у нас стоит без снарядов гаубичный артполк...

— Армия ничего не обещает, снарядов нет. Позарез надо бы побывать в полку, но не могу оторваться и на час. Я тут как раб, прикованный к галере. Дико — но именно так. От телефона ни на шаг не могу отойти.

Горелов мог говорить с военкомом с полной откровенностью: вместе формировали дивизию и жили в это время на одной квартире. Горелов был вообще одинок, а военком холостяковал временно, поскольку семья оставалась на Украине. Занимались изучением истории ВКП(б) по одному учебнику, сообща пользовались библиотечкой, где видное место занимали труды Маркса, Ленина. По военным вопросам были Полевой устав, труды Суворова, Энгельса, Фрунзе, журналы «Военная мысль» и другие, издававшиеся Министерством Обороны. Жили почти по-спартански, работали много, лишь изредка позволяя себе короткий отдых — партию в шахматы или в бильярд в дивизионном клубе. Знали друг о друге буквально все...

Из поступавших сообщений было видно, что обстановка в полку Исакова складывалась не так, как хотелось бы. Гитлеровцы продолжали подбрасывать в Некрасово пехоту и усиливали

нажим. Оббитые раз, они окапывались там, где их прижимал огонь, а потом, после сильных минометных и артиллерийских налетов, поднимались в новую атаку. Хуже всего, что даже легкий артиллерийский полк испытывал нужду в снарядах и не мог вести ответный огонь на полную мощность дивизиона. Не хватало тяжелых миин для полковых минометов — каждая на счету. Батарея противотанковых орудий потеряла всю матчасть, уцелевшие артиллеристы ведут бой в рядах пехоты.

Вошел Бочков, положил на стол карту с обстановкой:

— Вот, посылая в полк своего командира из оперативного отделения. Он уточнил положение батальонов.

Горелов сравнил со своей картой. Левофланговый батальон Лузгина, занимавший оборону много южнее Толутино, сейчас примыкал почти к деревне. Значит, потеснили, а Исаков молчит. Впрочем, тут может быть и другое: народу осталось мало, вот и поджимаются друг к другу теснее, чтобы видеть соседа, чтобы противник не разобцил.

— Ладно, — сказал Горелов, — все это не беда, важно, чтобы они держались. Что там еще докладывает твой оперативник?

— В полку большие потери, просят людей, просят миин и снарядов. Начальник штаба ранен, но остается пока на посту. По данным разведки, в Некрасово сосредоточены уже два полка пехоты. Надо ждать, что завтра там будет вся сто шестьдесят первая дивизия.

— Вы не интересовались, почему Исаков не ищет связи со своим соседом слева? Он обязан это делать...

— Я говорил. Он отвечает: я веду бой, кому эта связь нужна, пусть ищет ее сам, а мне на это нет времени.

Горелов понимающе перекинулся с военкомом взглядами: видал такого?! Нет, Горелов не собирался прощать такой распушенности. Кончится бой, он спросит...

День подходил к вечеру, когда даже до Ново-Путилово докатился гул артиллерийской пальбы.

— Что там у тебя, Исаков, докладывай! — запросил обстановку Горелов.

— Сильный артиллерийский и минометный налет на Толутино. Пехота противника накапливается для контратаки...

— Ты не жди, — гроыхая на всю горницу басом, заговорил Горелов. — Где твой резерв? Сейчас же поднимай всех, кто только есть, на ноги и готовься поддержать своих. Понял? Не жди, говорю... Пусть Селиванов не скупится, «огурцов» подбросим, я сам прослежу, чтобы машины вышли к нему. Ты потреби, чтобы он работал всеми трубами, будь хозяином...

Гул каюпады не ослабевал с полчаса. За все это время Горелов не знал определенно исхода боя. Исакова спрашивать бесполезно, он не видит боя со своего командного пункта. Надежда на артиллеристов. И действительно, первые вести пришли от них, но какие!.. Наша пехота отходит из Толутино...

\* \* \*

Танцура был ранен в грудь, когда стоял у орудия. Кто, как вынес его с передовой и положил на полу крестьянской избы, он не помнил, потому что сознание покинуло его в ту же минуту. Очнулся он от нестерпимой боли: чьи-то неумелые грубые руки перевязывали его, а другие держали, приподняв, чтоб можно было окручивать грудь бинтами. Он застонал, скрипнул зубами.

— Терпи, браток, — произнес чей-то мужской голос.

Танцура открыл глаза и увидел близко от себя лицо пожилого небритого бойца. На потном лбу прилипло две пряди русых волос, выбившихся из-под пилотки. Усталые, равнодушные к чужим страданиям глаза. Нет, скорее привычные. Другой, что держал его под мышки, заголив до плеч рубаху, спросил:

— Верти быстрее, руки зашлись... — И к Танцуре: — Ну и тяжел же ты, браток. На хороших кормах рос, что ли...

Он понял: санитары. Рядом с ним на полу, вповалку, бок о бок, другие раненые, с окровавленными повязками, стонущие в бреду и молчаливые, с бледными испитыми лицами, с печатью перенесенных страданий. Лежат, сидят, привалившись плечами к стенкам и печке. Раненых полно изба, даже в сенях — и там лежат.

Он жадно прислушивается к тому, что делается вокруг. Кипит, клокочет пулеметная частая стрельба, бухает артиллерия, от разрывов мин вздрагивает пол. Окна в избе выбиты и завешаны плащ-палатками, и при близком разрыве палатка выпячивается парусом. Значит, он в Толутино. Сколько же прошло времени? Жажда мучит, будто он не пил целую вечность. Кажется, даже язык распух и липнет к гортани, а губы спеклись.

— Пить, — просит он. — Дайте воды.

— С этим потерпи, браток, — отвечает санитар, который все еще держит его за плечи. — Хуже будет. Потом дело такое, что из деревни сейчас носу не высунешь. Сам видишь, бой... Не доберешься до колодца-то. Вот поутихнет немного, принесут воды.

Перевязка закончена. Рубахи опускают на тело. Танцуру запахивают в шинель и кладут на пол. Даже от этого незначительного движения боль пронзает его с головы до пят, и созна-

ние опять мутится. Но мокрые, напитавшиеся кровью рубахи холодят тело и приводят его в чувство. Кажется, что какие-то болевые волны плещутся в нем, то поднимаясь и стискивая нестерпимо сердце, то опускаясь в глубину, и тогда он переводит дух. «Только не шевелиться», — шепчет он себе, боясь повторения боли, от которой он может больше вообще не очнуться.

В избе холодно, тянет сквозняком, и дрожь сотрясает крупное тело Танцуры. Тревожно на душе у него, хочется спросить, серьезно ли это с ним, но он понимает, что санитары ничего не ответят на его вопрос, потому что им некогда над этим задумываться, им хватает перевязок. А ведь смерть прошла с ним рядом. Мелькнула же у него мысль, полная отчаяния: «Убит», — когда пуля ударила его и черная мгла мгновенно скрыла от него белый свет. Он тогда здорово испугался, вернее, успел испугаться, что так нелепо гибнет, когда падал, проваливался в ничто. Страшный миг: ни боли, ничего, только мысль, как вспышка, что убит...

Напрасно он поднялся из-за щита. Хотелось занять позицию поудобнее, чтобы лучше видеть врагов. Он поднялся, стал целиться, положив винтовку на полусогнутую руку, и в это время — удар. Обыкновенная пуля, а оказалось, что в грудь саданули бревном.

Кто же его сюда затащил? Артиллеристы, свои или стрелки? Впрочем, какая разница. Вытащили, не бросили — и спасибо. Его многие знают в полку, никто не упрекнет, что он кого-то прижимал без нужды, когда был писарем в ОВС, никто не скажет, что прятался за спины других, когда перешел в батарею к противотанкистам. Сейчас батареи нет. Его оружие требует большого ремонта. Будь оно исправно, разве он полез бы с винтовкой, он бил бы снарядом. Нельзя безнаказанно вести дуэль с танками, второй день стоять на одной линии со стрелками. Враг тоже бьет, бой идет на уничтожение. Кто кого! Гитлеровцы из кожи лезут, чтобы убрать пробку со своего пути. Весь день непрерывный натиск. И сдержат его с каждым часом труднее. Война...

Однако в шуме боя что-то изменилось. Раненые, те, что могли двигаться, полезли к окнам, зашевелились, забеспокоились. Что-то их встревожило. Танцура следил за ними взглядом, не понимал причин, но неясное беспокойство овладевало и им.

На пороге внезапно выросла фигура бойца: глаза блестят, сам запаленно дышит, будто за ним долго гнались.

— Наши отходят! — выпалил он. Эти слова были подобны спичке, брошенной в котел с горючим, и вызвали бурю стонов и криков отчаяния.

А злой вестник, будто подхваченный ветром, уже исчез,

посеяв панику. Напрасно санитары старались сдерживать страсти, их никто не хотел слушать, раненные упрямо лезли к дверям, ибо смерть не так страшна, когда ей смотришь в лицо.

— Товарищи, успокойтесь, сейчас все узнаем! — старался перекричать галдящую толпу охваченных паникой людей старший из санитаров. И тоном приказа к своему: — Васильев, сбегай узнай, в чем там дело.

Но уже вырвался из чьей-то груди истошный вопль:

— Нас предали!..

— Бросили! Ы-ых... — бессильно уткнувшись в порог, до которого успел доползти, рыдает, сотрясаясь всем телом, контуженный боец с перебитыми ногами. С того места, откуда он приполз, влажный след по полу от панитавшихся кровью бинтов. — Братцы, не бросайте! Братцы...

Вслед Васильеву, который крутанулся, чтобы выполнить приказ своего старшего, истерический крик:

— Не смей уходить! Слышите! Застрелю-у!..

— Не пускай! Подыхать, так всем...

— Дайте оружие! Где наши винтовки?! Оружия!

В этой сумятице, среди охваченных отчаянием беспомощных людей, санитары пытаются установить хоть какой-то порядок, но это плохо им удается. Каждый кричит, стонет, занятый лишь своей болью, своей судьбой.

— Молчать! — перекрывает шум чей-то властный командирский голос.

Все невольно умолкают и оглядываются. С пола, хватаясь за стену ослабевшими неуверенными руками, поднимается раненый, и на петлицах у него все видят зеленые полевые кубики. На бледном, словно алебастровом лице горят темные глаза, ноздри узкого прямого носа трепетно подрагивают, губы сжаты.

— Первого, кто посмеет перешагнуть за порог, — он расстегивает кобуру и в руке у него оказывается пистолет, — первого... и любого я положу на месте. Всем, кто может держать оружие, занять оборону. В сених я видел винтовки, яши и трофейные...

Наверное, сознание его в эту минуту мутится, потому что он закрывает глаза и некоторое время стоит покачиваясь. Кажется, он сейчас упадет. В избе стоит гробовая тишина.

— Ну, что ждете? — разлепил он бескровные губы. — Особой команды не будет...

Раненые перемещаются, уступая места против окон тем, кто посильнее, по рукам из сеней плывут винтовки и подсумки с патронами. Все это видит Танцур, и не будь он так крепко пригвожден к полу, он тоже взял бы винтовку. Все его симпатии на стороне этого еще молодого лейтенанта, сумевшего в реши-

тельную минуту вернуть людям их человеческое достоинство. Один миг может бросить человека вниз, к стадному скотскому состоянию, а может и поднять на огромную высоту.

А время идет, перестрелка в деревне продолжается, значит, кто-то еще сражается, и маленькая надежда засветилась перед взорами измученных страданиями людей. Возвратился санитар Васильев:

— Товарищи, зря паниковали, этот тип набрехал. Фрицам удалось ворваться в крайние дома, по деревня еще почти вся наша. Комбат говорит, что никто никуда не отойдет..

Раненым сейчас стыдно этих кратких, только что пережитых минут малодушия, они молчат.

— Паникер. Сволота. Расстрелять мало...

— Морду памылить, чтоб знал...

— Ищи его теперь. Сами хороши...

Напряжение, владевшее всеми, начинает спадать, среди раненых идет негромкий говорок, все возвращаются к своим охам и стонам. Боль, о которой забыли, когда перед глазами замаячила смерть, потому что ни у кого не вызывало сомнений, что им, раненым, на плен рассчитывать не приходится, снова напомнила о себе.

Танцура тяжело дышит: грудь, словно обручем, стискивает боль. Неужели конец, неужели ему больше не выкарабкаться? Так хочется жить, дышать полной грудью, пить пригоршнями воду из студеных ключей. При этой мысли сушь во рту становится прямо невыносимой: хоть бы глоток, пусть из канавы, из болота, из копытного следа! Он провел сухим, шершавым, как наждак, языком по спекшимся губам. Просить бесполезно: кто станет рисковать, когда идет бой? Надо ждать. Видно, человек рождается не на одни радости. Через все надо пройти: через ненависть, что обжигает крутым кипятком, через кровь, через страдания, через всю эту страшную вторую сторону войны, чтобы в полной мере познать прелесть воздуха, которым дышишь, радость отдыха, вкус хлеба насущного.

Кажется, вечерет, потому что в избе замаячили огоньки самокруток. Сумраку способствуют палатки на оконных проемах, но и без них видно — вечерет. Может, ночью затихнет и их вытащат из деревни в санбат? Надо терпеть, надеяться...

Снова короткая, яростная вспышка боя, но теперь молотят преимущественно наши орудия. Танцура уже опытный артиллерист и сразу определяет это по «голосу», по направлению, откуда катится этот гул пальбы. Он явственно представляет, как наша пехота накапливается, группируется перед решительной минутой, когда надо бросаться па «ура».

Такая минута наступает, раненые слышат голоса своей пехоты, и неизвестность за судьбу атаки начинает будоражить сердца. Но через полчаса над деревней опускается тишина.

В дверях снова возникает чья-то фигура, и басовитый голос спрашивает:

— Ну, как вы тут, заждались, паверно? Сейчас вас будем по одному выносить. Сначала тяжелых... Эй, там, с фонарем, давай сюда, чтоб кого не затоптать...

Танцуру везли на повозке. Обоз состоял не меньше чем из десяти подвод: он это понял из разговоров вокруг, из команд, а еще по тому, как обоз вытягивали из деревни. Земля к ночи стала подмерзать, и колеса погромохивали, в разболтавшихся за долгие марши повозках что-то бречало, позвякивало, повизгивало. Ездовые старались поскорее покинуть деревню, находившуюся в опасной близости от противника, понукали лошадей. Все бы это ничего, но на ухабах разбитой дороги сильно потряхивало, и острая боль током пронизывала тело Танцуры. Он стискивал изо всех сил челюсти, закусывал губы, чтобы одной болью унять другую, более сильную, от которой хотелось взвыть в голос.

Рядом с ним находился еще один раненый, тоже лежачий. Наверное, ему было еще хуже, потому что он часто вскрикивал, а порою начинал бормотать несвязные слова, видимо, впадая в беспамятство. На этой же повозке, на передке рядом с ездовым, примостились двое раненых из тех, что могли сидеть. Они курили — дымок махорки то и дело наносило на Танцуру, — о чем-то беседовали вполголоса, по смысл их разговора ускользал от Танцуры, потому что он все свои силы напрягал, чтобы не потерять над собой контроля.

В Толутино опять горело, наверное, загло дом или сарай снарядом или вспыхнула где бутылка с КС — самовоспламеняющейся жидкостью. Этими бутылками вооружали всех для борьбы с танками, но бутылка есть бутылка, ее всегда могли разбить нечаянно. Пламя увеличивалось, и Танцуря видел отблески огня на фигурах сидящих впереди раненых, на черном пологие неба. Багрянец пожара все ярче подшивал низко нависшие над землей облака, окрашивая их в мутно-красный тяжелый цвет. Казалось, кровью захлестнуло не только землю, но и облака, кровь сочится отовсюду. Как много крови!

По открытому месту повозки гнали рысью, с минуты на минуту ожидая обстрела. Некстати начавшийся пожар освещал дорогу, противник мог заметить обоз. Но все обошлось. Наверное, противник после упорных и безрезультатных атак сам заливался раны, и ему было не до стрельбы.

Танцуря терял последние силы, когда подводы въехали в лес

и остановились. Он с трудом перевел дыхание. Ездовой соскочил с повозки, чтобы поправить сбрую на лошадях, потом подошел:

— Ну как, живы? Не растрясло? Нельзя было иначе, он же видит все, гад. Сейчас дорога лесом пойдет, шагом поедем...

Он поворошил сено, проверяя, не сбилось ли оно в сторону, чтоб раненый не стучался головой о голые доски, и спросил:

— Может, закурить кому, так говорите, пока стоим — за верну.

— Ты следи, чтоб не так трясло, — проговорил Танцура. — А то сил нет терпеть...

— Это еще мороз. Схватывает... Словом, все не ко времени. Днем размесило дороги, а сейчас будто по кочкам. Потерпите, голуби, теперь самое страшное позади...

Как ни бесконечна для раненых дорога, но и она кончается. К середине ночи повозки добрались до сапроты. Ездовой спрыгнул с передка, сказав: «Вот и прибыли, голуби». Он ненадолго исчез, наверное, убежал докладывать о прибытии раненых. Понеслись голоса, кто-то осветил повозку фонарем, властным голосом приказал:

— С носилками, сюда.

Танцуру бережно приподняли, положили на носилки, понесли. В большой парусиновой палатке топились железная печка, и первое, что почувствовал Танцура, это живительное ласковое тепло, по которому так истосковалась его душа. Вроде сразу ослабились напряженные от нестерпимой боли мышцы, вроде сама боль куда-то отступает, и стало легче дышать. Его опустили на доски, которыми была застлана земля в палатке. Подошла сестра, сделала укол.

— Постарайтесь уснуть, — сказала она и ушла.

Танцура попросил пить, ему принесли кружку горячего чая. Это было так кстати, обогреть внутренности, и он выпил его до дна, поблагодарил. Девчужка, поившая его, сказала: «Не за что. На здоровье!», поправила под косынкой густые волосы, и ему показалось, что он ее знает. Света семилинейной керосиновой лампы не хватало на всю палатку, он не мог разглядеть ее лица, но было что-то знакомое в ее облике.

Танцура не стал ее спрашивать. Вскоре он задремал. Снился ему бой, кругом все горело, огонь жег его тело, и он куда-то карабкался, с кем-то дрался. И все-таки спал, набирался сил.

Утром, когда его понесли в другую палатку, где находилась перевязочная и шел осмотр раненых, он чувствовал себя немного лучше. Боль в груди вроде бы локализовалась, уже не стреляла по всему телу и, если не шевелиться, была терпимой. Здесь Танцуру раздели, вернее, сняли только шинель, а рубахи взре-

зали. Старые бинты сняли, рану обработали, в пулевую дырку забили тампон. Он скрипел зубами, напрягался, как струна, но терпел. Только обильный пот катился с него крупными каплями, и хирургическая сестра не раз утирала ему лицо марлей.

Он долго не мог прийти в себя после перевязки. Лежал, закрыв глаза, в полной прострации, не в состоянии ни мыслить, ни чего-то желать, и эта его мертвенная неподвижность лица, всего тела, паверное, пугала сестру, наблюдавшую за подопечными ранеными. Он слышал ее маленькие шажки, чувствовал, когда она брала его руку, прощупывая пульс, по ничем не реагировал на это. Ему было все равно.

Наверное, из-за такого его состояния Танцуру решили пока не беспокоить, когда других раненых грузили в машины, следовавшие порожняком в тылы дивизии. На опустевшие в палатке места подвезли на подводах новых раненых. Танцура приоткрыл глаза, надеясь увидеть кого-нибудь знакомого, повернул голову. К нему подошла сестра.

— Как себя чувствуете, больной? — спросила она.

— Спасибо, немного легче, — ответил он, и опять в ее облике что-то показалось ему знакомым. — Я вас, кажется, знаю.

— Да? — она изогнула недоуменно бровь. — Откуда?

Теперь он сам отчетливо вспомнил, как к нему пришли Сумароков и Крутов просить ботинки. А потом все обмундирование. Ведь это для нее. Сумароков еще сказал: «У нее кудлы — будь здоров!»

— Мне говорили пулеметчики...

— Они живы? Вы их видели? — встрепенулась девушка. — Я о них ничего не могу узнать. Все время такие бои! — Лицо ее погрузнело, в голосе прозвучала печаль. — У кого ни спрашиваю, никто ничего о них не знает... Так страшно, столько раненых...

Они успевали поговорить только урывками, потому что заботы о других все время отрывали Олю, — так она назвала себя. Танцура понял скоро, что ее интересует больше остальных Крутов. «Черт долговязый, успел закружить девке голову», — усмехнулся в душе Танцура.

Время подходило к полудню, а машин, которые должны были забрать на обратном пути раненых, все не было. Боец санроты, посланный на дорогу, чтобы узнать причину, принес неприятную весть: дорога в полк перерезана, машины были кем-то обстреляны и проскочили на полном ходу. Командир санроты раздумывал, что ему предпринять, как ускорить эвакуацию раненых, когда вблизи палаток раздались чьи-то автоматные очереди. Он выскочил из палатки и, не веря своим глазам, уставился на

солдат в незнакомых темпо-зеленых мундирах и касках, бежавших к палаткам. Санитары и ездовые, кто в чем был, удирали к лесу. Первой его осознанной мыслью было тоже — бежать! А раненые?!

Военврач круто повернулся и вошел в палатку. Его встретили настороженным молчанием, готовым вот-вот прерваться воплями отчаяния и упреков.

— Спокойно, товарищи! — Он поднял руку. — Мы, кажется, подверглись нападению противника. Всем оставаться на своих местах. Закон и международное право охраняют учреждения Красного Креста...

— Хальт! Хенде хох! — В палатку ворвался гитлеровец. В руках его наготове автомат. За спиной встал еще один.

Оля вскрикнула и прижалась к Танцуре. Он положил тяжелую, широкую, как лопата, ладонь ей на голову, погладил по волосам:

— Не бойся, Оля, все будет хорошо...

Военврач сделал шаг навстречу гитлеровцам:

— Здесь раненые. Я требую покинуть помещение. Красный Крест.. Врач, — он ткнул себя пальцем в петлицу, где находился значок — чаша, обвитая змеей, потом в сторону забинтованного бойца: — Раненые... Понимаете?

— Что он говорит, Вилли? — обратился по-своему гитлеровец, стоявший сзади, к первому. — По-моему, он что-то требует... Может, навести порядок в этом балагане?

— Не стоит. Видишь, лазарет. Еще паживешь неприятности. Красный Крест. Пусть с ними разбирается начальство, оно имеет на этот счет указания...

— Тогда нечего терять время. Я тут видел какие-то повозки, пойдем пошарим, может, найдем шнапс. У русских хороший шнапс, одним стаканом валит с ног.

Гитлеровцы повернулись и вышли. Военврач опустил на поленья возле печки, где стоял. Раненые молчали.

## Глава десятая

Помначштаба Тупицын сказал Крутову:

— Собирайся, пойдем в батальон.

Крутов не спрашивал зачем. При нем начальник штаба Сергеев распорядился поднимать второй батальон, чтобы контратакой выбить гитлеровцев из Толутино. Это необходимо сделать до темноты, пока там не закрепились. Что там, как там, никто

не мог сказать определенно. Связь с первым и третьим батальонами не было, видимо, линии где-то перебило, ни Артюхин, ни Лузгин не докладывали о положении. Артиллеристы же утверждали, что видели, как гитлеровцы ворвались на окраину деревни. Бой идет...

— Разберетесь на месте, — папужествовал Тупицина Сергей. — Приказ определенный: восстановить положение, выбить противника из деревни. Я Бородину все, что надо, растолковал, ваше дело проследить, чтобы они там долго не копались.

Разговор происходил в штабной палатке. Тут же комиссар полка Матвеев кричал по телефону — из-за плохой погоды слышимость была слабой:

— Але, але!.. Вы меня слышите?.. Принимаю меры! Лично прослежу...

На худом ожесточившемся его лице угольями сверкали глаза. Комиссар дивизии требовал ясности, требовал решительных мер, требовал обеспечить успех предстоящей атаки личным участием всех коммунистов полка. В выражениях не стеснялся. Перепало Матвееву и за доклад о том, что Исаков игнорирует его как комиссара: ты, мол, сам не можешь поставить его на место, пасуешь, вот и результат...

Нажим на командование полка дублировался по всем каналам. Заскочил в палатку Исаков, метнул на Матвеева гневный взгляд, но ничего не сказал, только передернул плечами и сразу к Сергееву:

— Как там Бородин? Скоро он?..

— Ваш приказ передан. Посылаю штабных офицеров для проверки и уточнения. Тупицина — во второй, а Макарова — к Артюхину.

— Меньше копайтесь. Быстрей... Лузгину прикажите: с места, где находится, всеми наличными силами атаковать. Сигнал — артналет.

— С ним еще нет связи.

— Связь на вашей совести, — отрезал Исаков. — Шевелитесь сами. А то чуть что, сразу: командир полка зажимает, игнорирует... — Камешек был предназначен явно в огород Матвеева, но тот промолчал, сделал вид, что не слышит. — Не знаешь даже, кто ты, — продолжал Исаков, — командир полка или нянька...

— Связь будет, — сказал Сергеев. — На линию высланы две команды.

Крутов не слышал, чем кончился разговор, потому что Тупицин покинул палатку. Он шел впереди Крутова, закинув автомат за спину. На нем каска, плечи его обтянуты ремнями полевого снаряжения. Хоть он и командир, но вид у него неважнецкий.

будто у рядового бойца: небрит, шинель с обхлестанными полами, в глине. По ночам довольно холодно, а спать приходится где кто сумеет приткнуться: кто у коистра, кто в окопчике, накрытом плащ-палаткой, кто в машине или на повозке. Уж которую неделю не спимают с себя шинелей ни бойцы, ни командиры. Война...

Шли к батальону лесом, напрямик, быстро, и ветки хлестали по телу.

В батальоне застали суету сборов, роты строились в походные колонны. Бородин стоял в окружении своих командиров, распоряжался, кому в каком порядке действовать. Голос зычный, далеко слышно, никому пересказывать не приходилось. Как и все остальные, он в каске, она затеняет его лицо, отчего глубоко посаженные глаза кажутся и вовсе провалившимися.

— До исходного двигаться ротными колоннами. В голове — Туров. Развертываться без особой команды, как только появится к этому необходимость...

Увидев Тупицина, Бородин кивнул ему едва приметно: мол, сам видишь, действуем!

В строю четвертой роты Крутов увидел своих друзей — пулеметчиков. Лихачев махнул, подзывая его к себе.

— Привет, Пашка! Смотрю, будто ты, будто не ты. Потом, когда ты повернулся лицом, узнал. Ты чего здесь, с нами пойдешь или как? — Хлопнул по-приятельски по плечу и сказал: — Повезло тебе, брат, что ты в штаб приткнулся. А тут, сам видишь, не сегодня, так завтра всем паведут решку.

Крутов был так рад встрече, что не обратил внимания на эти слова товарища.

— Братцы, ну как вы тут? Я так рад, что встретились...

Он чистосердечно признался, что, хотя работа в штабе интересная, без друзей одному скучно. Будь его воля, убежал бы обратно в отделение.

Четвертой подали команду «шагом марш!», Крутов тиснул руки приятелям: «До встречи в деревне!». Пулеметчики шли в роте замыкающими. Крутов проследил за ними взглядом, пока они не скрылись за деревьями. Надо идти, чтобы не потерять Тупицина. Народ вокруг Бородина зашевелился, связисты снимают телефон, чтобы двигаться за комбатом. Не мешкая более, Бородин пошел вслед за четвертой ротой. Шагал крупно, размашисто. Крутову вспомнилось, что вот так же он ходил в лагерях, когда поднимали батальон по тревоге, так водил за собой роты на занятиях строевой подготовкой: шаг на все семьдесят пять сантиметров, так что задним приходилось то и дело переходить на рысь.

За комбатом устремилась ячейка управления, связисты, и свита получилась порядочная. Предстояла решительная минута, когда всем без исключения придется идти в атаку. Всем. Командирам и рядовым, коммунистам и беспартийным. Волнение овладевает Крутовым, дрожь встряхивает все тело. Страха нет, но и оставаться спокойным он не в силах: уж такова его натура, наверное.

Телефонисты, несшие кроме оружия еще и катушки с проводами, разматывали на ходу «нитку», чтобы, как только комбат остановится, дать связь с полком.

Со стороны Толутипо доносится стрельба, она говорит о том, что там есть паши, что кто-то еще держится в деревне, и это вселяет надежду на успех атаки. Главное — не попасть под внезапный огонь, когда подразделения еще не развернулись в боевой порядок. Туманная мгла, морось пока на руку подразделениям, они скрывают от противника сосредоточение сил на исходном рубеже.

Вот и опушка леса. Впереди маячат серые силуэты деревенских изб. Слева от наблюдательного пункта артиллеристов взвилась красная ракета — сигнал открывать огонь. Тотчас ударили орудия и минометы.

— Вперед! За мной! — Это командиры поднимают в атаку своих бойцов.

Команда прокатывается разногласием от роты к роте, и нестройная редкая цепь батальона движется к деревне по открытому полю. Крайние теряются где-то в тумане, определить, много бойцов идет в атаку или мало, почти невозможно. Только возле командиров бойцы группируются более густо. Кто идет, приравливаясь к шагу командиров, кто, более осторожный, — короткими перебежками, залегая и вскакивая. Противник ведет огонь пока по другим, автоматная и пулеметная пальба достигает ушей, когда вдруг возникнет пауза в артиллерийском обстреле.

Но вот над головами хлестко прошлась пулеметная очередь. Значит, и сюда противник обратил внимание. Зябко стало на душе. Крутов пригнул голову, но идет вровень с Тупициным, кося на него взглядом.

— Вперее-д! Бегом... — Голос Бородина тонет среди участвовавших разрывов. Наша артиллерия садит и садит по деревне, по той окраине, которая занята противником. Молодцы артиллеристы, без них было бы плохо. — Ур-ра-а!..

Цепь ломается, рвется местами, бойцы устремляются к домам, за которыми засел враг. Подгонять никого не надо, каждый понимает, что надо быстрее проскочить открытое место, а уж там, в деревне, легче.

Сам Бородин не бежит, он только прибавил шагу. В его кряжистой, плотной фигуре уйма силы, и Крутову кажется, что рядом с ним никакая опасность не страшна. Вот бы всегда так, чтоб командир шел рядом... Ему показалось, что правее метнулась поджарая фигура командира четвертой — Турова, что там, где бойцы скучились, непременно должен быть Лихачев со своими, иначе чего бы им группироваться, как не возле пулемета.

Сознание, что он в одном ряду с товарищами в самую ответственную минуту, наполняет душу Крутова гордостью. А вокруг посвистывают пули; судя по характерному треску, с которыми они впиваются в землю, бьют из автоматов. Потом сыпавшие разноцветными — трассирующими, паверное, указывали на цель, но уже гремело «ура!» повсюду, уже достигли более резвые бойцы строевний, и гитлеровцы ударились из Толутино наутек.

В горячке боя Крутов потерял-таки Тупицина из виду. Кинулся вместе с остальными к деревенским избам, а там артиллерия наворочала, наломала, кругом валяются убитые гитлеровцы, да и своих, в серых шинелях, изрядно поосталось от недавнего боя. Разведчики в пятнистых халатах поверх телогреек обыскивают убитых гитлеровцев, собирают солдатские книжки, письма, все, что представляет интерес, а заодно и ценности — часы, валюту, пу и автоматы, конечно. Крутов уже видел, как сдавали в штаб груды бумаг, часов, орденов, вот только автоматы оседают в подразделениях.

Здесь, на окраине деревни, смешались люди разных подразделений, трудно даже разобрать, кто и откуда. По бегущим гитлеровцам пальба из винтовок и автоматов вслед. Крутов тоже не утерпел, пристроился за угол дома и начал бить с упора. И тут он стал свидетелем, как гитлеровцы из Некрасово ударили из пулеметов по своим. Широким веером прошли светляки-пули над головами объятых паникой солдат, прижали их к земле на полпути между деревнями. Из Некрасово выползли несколько танков и стали курсировать перед деревней. Гитлеровцы начали окапываться на рубеже, где их остановили свои пулеметы.

Все поле перед Толутино было усеяно трупами в темных шинелях и мундирах. Сотни... Дорого обходились гитлеровцам атаки.

Командиры рот и взводов наводили порядок, собирали своих бойцов. Неслись выкрики: «Пятая! Ко мне!», «Где восьмая? Кто видел, где восьмая?».

Только тут хватился Крутов, что надо и ему разыскивать Тупицина. Где ему быть, как не в штабе батальона. Самое верное — не спрашивать, а отыскивать по линии связи. От дома к дому побежал он по деревне, пока не увидел провода. Все они

пучком тянулись к наиболее уцелевшему дому. В избе полно командиров. У стола грудились старшие. Крутов увидел комбатов — Бородина, Артюхина, Лузгина, комиссара Матвеева, артиллеристов, каких-то еще незнакомых офицеров из политотдела дивизии. У них на рукавах вместо шевронов красные матерчатые звезды, указывающие на принадлежность к политсоставу.

Матвеев уточнял с комбатами, где находятся их подразделения. Оказывается, Лузгин, увидев, что Артюхина потеснили, оставил свои окопы юго-восточнее деревни и присоединился к нему, чтобы не потерять с ним локтевой связи.

— Почему не докладывали? — спросил Матвеев.

— Связи не было, — ответил Лузгин и, немного помявшись, признался: — Боялся, что могут отрезать от остальных сил полка, поэтому решил действовать с Артюхиным вместе.

Матвеев пожевал тонкими губами и ничего не сказал, видно, сам еще не решил, как это расценить — хорошо или плохо.

Тупицин находился тут же, уточнял, сколько осталось в подразделениях бойцов и техники. Собственно, общий опрос вел Матвеев, а Тупицин все это брал на карандаш. Состояние полка почти плачевное: еще один день такого боя — и можно оставшихся сводить в батальон неполного состава, в отряд, с которого и спрос соответствующий. Матвеев слушал, зло пошевеливая желваками скул, глядел на говоривших тяжелым колющим взглядом, словно они были в чем-то виноваты, да не хотят признаться. Однако не ругался, никого не распекал, понимая, что ничьей вины тут нет. Может, что и не так делали, как надлежало бы, но делали, как разумели сами, по совести. Теперь предстояло решить, что делать дальше. Слово за командиром полка.

Исаков позвонил сразу, как только дали связь. Артюхин предложил было трубку Матвееву, но тот сделал протестующий жест — докладывай сам. На правах хозяина Артюхин доложил обстановку, потом сказал, что у него находятся и все остальные. Исаков не пожелал больше ни с кем говорить, а просто приказал, чтобы все закреплялись в Толутино и ни шагу назад.

— Давайте решим, кому какой участок взять, — глухо сказал Артюхин и пригласил комбатов к карте.

Люди, примолкшие было пока Артюхин говорил с Исаковым, снова загомонили, выясняя каждый свое, и о чем совещались комбаты, Крутов разобрать не мог, но видел, что Тупицин виснет над их спинами, делает какие-то пометки на своей карте. К Матвееву, как к старшему, то и дело обращались за советом. Потом все стали подниматься из-за стола, расходиться.

Крутов ни на минуту не спускал глаз со своего помначштаба, и как только тот поднял голову, немедленно подошел к нему.

— Ты тут, это хорошо, — сказал Тупицин. — Время писать донесение. Укажешь, что общей атакой полк восстановил положение. Я тебе покажу на карте, где какой батальон, ты запомни, чтобы потом мог нанести обстановку на карту начальника штаба. Тут у меня записано, у кого сколько и чего в наличии, — сказал он, вырывая листок из записной книжки. — Я останусь, надо проверить, как закрепятся, уточнить сведения, а то комбатам на слово поверь, потом будешь хлопать глазами. В донесении так и укажи: сведения предварительные. Понял?

— Все понятно, товарищ старший лейтенант, — ответил Крутов, пряча листок в нагрудный карман гимнастерки.

— Ты вот что, раз уж в штабе, так заведи сумку, чтоб там было все: бумага, карандаши, карта, копирка... Ладно, я тут поищу сам, нашу полевую командирскую или трофейную. Беги, не задерживайся...

Сумерки уже окутали деревню довольно плотно, вот-вот станет совсем темно. Закинув винтовку за плечо, Крутов шел, всматриваясь под ноги, чтоб не попасть в воронку, которых наковыряли повсюду и наши и гитлеровцы. Впереди показались бойцы. Они окапывались. Велики были удивление и радость, когда Крутов узнал в бойце Лихачева.

— Пашка! — воскликнул тот. — Во нам везет сегодня на встрече! В штаб подался, да?

— А вы тут в обороне?

— Пока поставили здесь. Окопы отроем да надо поспать, а то днем едва ли удастся. Круговая оборона. Запомнят фрицы Толутино надолго. Я выходил за деревню, так их там как снопов наложили. Знатно дали прикурить...

— Видел и я... А Сумароков где?

— Послал за ужином. У нас никто не пострадал сегодня.

— Ладно, завтра увидимся. Мне теперь по всему полку бывать приходится. Будь здоров. Тороплюсь.

— Что ж, служба. Не забывай, — тряхнул руку на прощанье Лихачев. — Два года вместе, это не фунт изюму...

Над деревней Некрасово взвились первые ракеты. Их свет еле пробивался сквозь мглу до Толутино, лишь чуть трогая темное небо. Крутов вышел на проезжую дорогу, которой к батальонам подвозили боеприпасы и еду. Сзади погромыхивали по стьлой к почти земле подводы. Он оглянулся. В деревне занялся огнем какой-то сарай, пламя жадно лизало соломенную крышу, выныривая из-под стрехи длинными языкамп. В багровом свете подводы и люди, сидевшие на них, казались черными. Ездовые нахлестывали лошадей. Повозки промчались мимо, и не знал Крутов, что на одной из них, стиснув зубы от боли, лежит его

знакомый — Тапцура. Знал бы, побежал бы рядом, только бы поглядеть, проститься с товарищем, перемолвиться словом.

Позади, на свет пожара, тянулись из Некрасово трассы пулеметных очередей, словно напизанные на пилку красные, зеленые, желтые звездочки бежали, догоняя друг друга. Лишь потом, секунды спустя, доносилось приглушенное расстоянием kloкотание выстрелов. Ночь не принесла тишины.

\* \* \*

Утром двадцать седьмого октября машины отвезли в полк Исакова снаряжение и боеприпасы, а на обратном пути заехали в санроту за ранеными. И тут, уже при выезде на основную дорогу, их обстреляли. Кто — шоферы сказать не могли, потерь, к счастью, тоже не оказалось. На всякий случай шоферы доложили своему командиру.

Когда эта весть дошла до Горелова, он не очень-то этому поверил: у страха глаза велики. Какой-нибудь разгильдяй мог в порядке пробы запустить очередь из автомата, не думая, куда пойдут пули. Все части стоят на своих местах, откуда тут взяться гитлеровцам? Наверняка что-то напутали. Можно было б допросить раненых, но Горелов не счел нужным их беспокоить по такому пустяку.

Однако это сообщение почему-то прочно засело в голове и не давало ему покоя. Поразмыслив, он позвонил своему заместителю по тылу и приказал, чтобы следующую партию машин отправляли не разрозненно, а колонной, с охраной и под командой офицера из артснабжения дивизии.

Меры предосторожности не помешали: в полк колонна прошла, а на обратном пути машины были обстреляны из пулемета. Шоферы прорвались через опасное место на полном газу, не заглянув па этот раз в санроту.

Горелову стало ясно, что где-то враг нашел лазейку и, не сломив сопротивления фронтальными атаками, пытается взломать оборону дивизии изнутри. Но где? В Толутино, после вчерашних атак, противник активности больше не проявляет, теперь он сосредоточил все силы на другом участке: полком пехоты жмет из Курково на батальон Фишера и на Афонина. Полный, не битый еще полк против двух малочисленных батальонов.

Афонин принял полк пограничников после того, как в контратаках за Дудкино был убит командир полка майор Попов. Осталось тогда около двухсот активных штыков. Их-то и вручил Горелов Афонину, к этому времени оказавшемуся за штатом.

Афонин молодец, впервые командует полком, всего-то под-

месяца, а не поддается панике, собрал вокруг себя все паличные силы и не дает противнику разобщить их. Бой идет в лесу, противник потеснил обороняющихся километра на два, но прорваться не может.

Горелову нравится, как ведет себя Афонин. Значит, не ошибся, когда рекомендовал своего бывшего командира разведывательного батальона на эту ответственную должность. Ничего, что полк у него малочисленный, пусть пока наберется опыта. Придет время, полк будет развернут до полного состава. За эти бои он присмотрится лучше к своим командирам, будет знать, кто па что способен.

Афонина Горелов знал давно, еще с тех дней, когда формировал свою дивизию. Приняв разведбатальон, Афонин активно взялся за сколачивание подразделения, за обучение личного состава. Он никому не давал поблажки, и эта требовательность к себе и к подчиненным пришлась еще тогда очень по душе Горелову. Приятно было посмотреть на Афонина. Когда бы его ни встретил, он всегда опрятен, подтянут, смуглость шеи подчеркивает белая как снег полоска подворотничка, черные, слегка волнистые волосы гладко зачесаны назад, в глазах живой блеск.

Горелов судил о командирах не только по впечатлениям от встреч. У него в военном городке был своеобразный наблюдательный пункт. Дело в том, что одно окно его кабинета смотрело в сторону плаца, и Горелов, работая, нет-нет да приподымал на нем штору и тогда мог видеть, как уходят и приходят с занятий подразделения, как они следуют в столовую, в клуб. Отсюда он мог безошибочно судить об их строевой подготовке, дисциплине, о многом, вплоть до того, уважают своего командира бойцы или не очень. Иногда он покидал свой НП, чтобы перехватить «вольншатающегося» и узнать, по какой причине тот отлынивает от занятий, иногда чтобы просто потолковать с бойцом или командиром или учипить разнос, если боец не поприветствовал командира, а тот, в свою очередь, прошел мимо, не сделав замечания. Все это потом становилось предметом разговора на коротких совещаниях с командирами, и те порой удивлялись, как это генерал попадает именно на такие случаи. Только комиссар знал «тайну», но помалкивал. Уже в то время меньше всего разболтанности и нарушений было у Афонина. А теперь он проявил и боевые качества.

Цель противника для Горелова стала ясна: отрезать войска от переправ, окружить в лесу. Поэтому и автоматчиков заслали в тыл, на дороги, чтоб создать панику. Что греха таить, от одного слова «окружают» многие уже теряют способность трезво оценивать положение. Но одно дело, если автоматчики проикли

на стыке полков близ Курково, и хуже, если нащупали слабо прикрытый левый фланг дивизии со стороны Даниловского. Тогда жди «гостей» еще, не последние.

Горелов вызвал к телефону Исакова:

— Что за стрельба у тебя в тылу? Машины не смогли пройти в твою санроту за ранеными.

— Не знаю, товарищ генерал. Мне никто ничего об этом не докладывал. Может, шоферы просто поленились заехать, а теперь выдумывают...

— Ты это брось! Я тоже так думал, когда мне доложили утром. А на этот раз машины шли колонной. Пробоины на бортах. Чего еще надо? Немедленно вышли туда надежного человека, да не одного, а с командой, и выясни, что там делается. Полчаса сроку тебе...

Напрасно ждал Горелов звонка от Исакова. Прошел положенный срок, генерал занимался другими неотложными делами, ставил задачу командиру своего резерва, надо было срочно поддерживать Афонина, поэтому он только удивлялся, насколько разболтался Исаков.

С озабоченным видом вошел Бочков и доложил, что связь с полком Исакова прервана. И не только с полком, но и с батальоном Фишера, который держал оборону в лесу у большака. Судя по всему, не случайная потеря связи, а похуже.

— На линию вышли? — спросил Горелов.

— Ушли две группы связистов, но пока молчат.

Горелов потер лоб, пригладил ладонью бритую голову. Вот оно! Не зря он так беспокоился за свой левый фланг. Наверняка противник двинул автоматчиков из Даниловского навстречу своим из Курково, чтоб создать видимость окружения...

На улице взвыла сирена, оповещающая о приближении вражеских самолетов — своих в эти дни ждать не приходилось. Горелов взглянул на начальника штаба. У того на лице полная невозмутимость: мол, как вы, так и я. Хотите продолжать служебный разговор, готов и я.

— Выйдем, посмотрим, — предложил Горелов. — Не стоит зря рисковать в такую ответственную минуту.

До десятка самолетов заходили на бомбежку, делая разворот над деревней. «Хейнкель» — пикирующие бомбардировщики. Все небо вокруг них было испятнано черными разрывами. Это работали батареи зенитного дивизиона, стоявшие у переправ. Кипела пулеметная стрельба счетверенных установок, белые пушистые трассы тянулись вдогонку за самолетами, но те ускользали от них, и со стороны казалось, что самолеты и взрослые люди на земле затеяли какую-то страшную игру.

Вот первое звено самолетов резко клюнуло на нос и торчком пошло в пике. Надсадный вой резал по ушам. К вою присоединился визг падающих бомб. Черные капли — бомбы — уже оторвались от фюзеляжей...

— В укрытие! — крикнул Горелов, толкнув вперед себя начальника штаба, который еще глядел на бомбы, задрал вверх голову. Они едва успели спрыгнуть в щель и упасть, как землю затрясло от громовых разрывов. Дым, пыль, комок земли, щепы и солома с крыш, бревна разбитых строений, доски взметнулись вверх. Хуже взрывов, свиста бомб действовал на нервы надсадный вой самолетов, вызывая в душе чувство безысходности и бессилия. Ну что он, Горелов, может противопоставить этому нападению с воздуха?! Батарея бьет, а им на это паплевать, бомбят. И ведь наверняка знают, паразиты, что в деревне штаб дивизии. Специально направили самолеты, чтоб дезорганизовать управление.

Отбомбившись, самолеты улетели. Из укрытий стали показываться бойцы и офицеры штаба. Почти никто из людей не пострадал от бомбежки, но дома были порасколочены. В доме, который занимал Горелов, повышибло последние стекла, хотя серьезных разрушений не было. Пришлось завешивать оконные проемы одеялами и плащ-палатками. Бойцы комендантской роты за десять минут справились с этой задачей, успели даже вымести битое стекло и глину, осыпавшуюся с печки.

Хуже всего была весть: разбита дивизионная радиостанция.

— Как же вы не смогли уберечь? — упрекнул Горелов начальника связи. — Надо было укрыть как следует, ведь не в первый раз бомбят.

— Машина стояла в аппарели, сверху замаскирована, но бомба упала рядом, и осколками изорвало весь кузов так, что о ремонте нечего и думать. Все перекорежено...

Телефонисты тем временем снова навели связь внутри командного пункта, срastили все провода, перебитые взрывами и осколками, и как только об этом было доложено Горелову, тот сразу спросил, вернулись ли с линии посланные группы.

— Уже бы пора им вернуться или дать о себе знать, — ответили с узла связи, — но почему молчат — неизвестно...

— Так чего ждете? — повысил голос Горелов, которого начала всерьез беспокоить и раздражать эта неопределенность. — Принимайте меры...

— Мы приняли, товарищ генерал. Вслед посланы еще две группы. Им дано задание подключиться и докладывать о состоянии линии через каждый километр пути.

— Чтоб связь мне была, — предупредил Горелов. — Учтите, там могут быть засады, и посылать одних связистов без прикрытия запрещают. Нечего посылать противнику «языков».

Опасения его сбылись раньше, чем он думал.

В штаб пришел раненый сержант из связистов Фишера, — командир полка принимал свои меры к наведению связи с батальоном, находившимся в лесу у калининского большака. Сержанта сразу провели к генералу, поскольку он говорил такое, во что трудно верилось: в тылу дивизии гитлеровцы, его группа нарвалась на засаду. Его товарищи побиты автоматчиками, а он уцелел просто чудом, потому что приотстал в этот момент от своих по небольшой нужде. Его тоже зацепило, он упал и затаился. Гитлеровцы думали, что со всеми покончено, и без опаски вышли из засады. Среди них один не то офицер, не то унтер все покрикивал на своих «форвертс» — вперед, мол, чего опасаться...

— Я его, гада, первым выстрелом положил, а уж потом по другим стал палить. Они, как стадо баранов, сразу — круть и назад, наутек, даже своего офицера бросили. Ну, а я тем временем тоже назад, назад и сюда, что было сил... Гады, моих дружков положили... — Сержант еще находился во власти пережитого.

— В каком месте засада? — спросил Горелов.

— Мы уже подходили к Ворошиловским лагерям, когда по нас вдруг огонь...

— Ладно, пусть там тебя перевяжут... Нет, погоди, я сам вызову сюда фельдшера. И спасибо тебе за службу, — Горелов пожал сержанту руку. — Мне нужны хорошие солдаты. Выздоровеешь, приходи прямо ко мне, я представлю тебя к награде. Вот видишь, записываю твою фамилию: сержант Григорий Житов — радист. Это чтоб не забыть. А ты напомни. Благодарю за хорошую службу, сержант Житов.

— Служу Советскому Союзу!

Положение не из приятных. Горелов не сомневался, что и с полком Исакова нет связи по такой же причине: на пути автоматчики, иначе уже давно кто-нибудь пришел бы. Надо принимать какие-то решительные меры, а единственный резерв — батальон — давно уже в бою, брошен на помощь Афонину.

— Узел связи, — потребовал Горелов, как только услышал голос телефониста в трубке. — Вы там послали своих на линию, так вот, как только они откликнутся, прикажите, пусть немедленно возвращаются. Там впереди засады. Я сейчас прикажу дать вам в помощь взвод из охраны штаба, тогда пойдете...

Горелов вызвал к себе начальника штаба Бочкова:

— Укажите в боевом донесении, что связи с полком нет с четырнадцати часов. Я прошу помощи для прикрытия своего

левого фланга, иначе автоматчики все у меня дезорганизуют. Положение дивизии крайне тяжелое...

Бочков быстро записывал, а Горелов диктовал, сосредоточенно глядя перед собой, словно воочию видел опасность. Дверь приоткрылась:

— Товарищ генерал, к вам...

Горелов хмуρο глянул и продолжал ходить по избе.

— Кто там? Пусть подождет, я занят...

— Товарищ генерал, срочно...

— Срочно, так чего молчишь, не докладываешь? Давай...

В полутемную горницу вошел незнакомый Горелову лейтенант и, назвав свою фамилию, доложил, что он прибыл по приказанию начальника штаба армии Гулина. Генерал Гулин находится в Хвастово и просит Горелова прибыть туда для очень важного и срочного разговора.

— Хорошо, сейчас поедем, — сказал Горелов. — Адъютант, вызывай машину! А вы, Бочков, отправляйте донесение и добивайтесь связи с полками. Любими путями надо к ним пробиться. Мобилизуйте на это дело разведчиков...

К крыльцу вырулила выдавшая большие дороги и бомбежки полуторка, шофер распахнул дверцу перед Гореловым. Лейтенант, не ожидая приглашения, прыгнул в кузов, и машина помчалась по деревне мимо разбитых домов и глубоких воронок. Некоторые избы напоминали перезрелые грибы, у которых подгнившая ножка не выдерживает тяжести огромной шляпки. Так и крыши у домов прикрывали разрушенные стены и огромные русские печи. Среди этих развалин вынуждены располагаться и работать многочисленные отделы штаба дивизии, руководить войсками, ежеминутно ожидая новых палетов. Не дело. Надо, пока не поздно, добиться разрешения и перебросить штаб на левый берег.

Горелов потирал переносицу, думал, что приезд начальника штаба неспроста, опять надо ждать каких-то перемен, скорее нежелательных.

Машина быстро достигла переправы. Здесь Горелова уже ожидала лодка. Гребцы налегли на весла, и она пошла ходко, взрывая тупым носом холодную тяжелую воду. Цветом она была свинцово-серая, под стать небу, сплошь затянутому низкими облаками, которые наплывали откуда-то из-за темного леса, с северо-запада. На реке было много прохладней, чем вдали от нее, влажный воздух заползал под кожанку Горелова, лакированный козырек фуражки сразу отпотел.

Лодку подвели к береговому парому бортом, гребцы придержали ее в таком положении, давая возможность Горелову сойти.

И опять лейтенант резво выскочил первым и побежал по косогору наверх.

— За мной, товарищ генерал.

Он привел Горелова к хвостовскому монастырю. Там, за каменной оградой, под сенью громадной ветлы, стояла черная эмка. Навстречу Горелову от легковой машины шагнул генерал в шинели:

— Прежде всего, — начал Гулин, — я хотел бы узнать, в каком положении находится ваша дивизия? — Он взял Горелова под руку и повлек за собой в сторону, чтобы их разговор не достигал ушей шофера и лейтенанта. — Не возражаете?

— Пожалуйста...

Они остановились у дерева, Гулин отвел руки за спину и прислонился к шершавому стволу, кивком давая понять, что он готов слушать. Горелов вкратце обрисовал положение дивизии, не преувеличивая и не умаляя трудностей. Гулин не спускал с лица Горелова пытливого взгляда. Он знал его больше заочно, как командира дивизии, а встречался лишь однажды, на коротке, когда приехал в Махерово, чтоб подготовить дивизию к переброске на Можайскую линию. Тогда Горелов расстроил его и Маслова планы, добившись своего через Генштаб, оставив о себе не очень лестное впечатление строптивостью. Но это мимолетное, а настоящая оценка дается не по словам, а по делам, по тому, каков он в сложной, опасной обстановке. Вот и присматривался к Горелову, чтоб составить себе мнение по тону, жестам, по виду, придавая им не меньшее, чем словам, значение. Ему imponировали сдержанность и даже, пожалуй, чрезмерная суровость Горелова, его озабоченность судьбой дивизии, прямота, с которой он высказывал мнение, как надлежало бы планировать операцию, чтоб добиться успеха. И хотя в армии существовал иной взгляд на происходящие события, более верный, Гулин не перебивал, не поправлял Горелова. Он ценил в людях самостоятельность, цельность, без них никогда не получится большого военного специалиста. Слепому бездумному исполнителю никогда не блеснет удача, хотя, может быть, он более гарантирован и от ошибки, чем человек, ищущий новых путей.

— Что ж, спасибо. Я согласен с вашей оценкой положения. Прямо скажем, — не блестящее. Я только что побывал у вашего соседа слева. Его тоже бомбят, нанесли урон и на КП и на переправе, а надежды взять Даниловское, по-моему, нет. Реально положение таково, что дальнейшие потуги ни к чему не приведут. Да и вам долго не продержаться. Дело не только в том, что силы ваши на пределе, хотя и это важно. Разведка донесла, что со Старицы подходит еще одна пехотная дивизия — сто десятая.

Ее авангардный полк уже в Чадаевке, это в десяти—пятнадцати километрах выше вас, гитлеровцы нащупали там брод и собираются переправиться через Волгу. Это может произойти в самое ближайшее время, а у нас там прикрывает побережье один «бегающий» полк. Не в смысле неустойчивости, а из-за расстояния. Вы меня понимаете?

— Да-да, продолжайте, — кивнул Горелов. Он уже догадался, к чему клонит речь начальник штаба армии. Если эта сто десятая пехотная переправится, то ей на левом берегу открытая дорога в тыл дивизиям, ведущим борьбу за большак...

— Так вот, Маслов приказал: начинайте постепенно выводить части из боя и переправлять их на левый берег в район Хвастово. Делать это надо осторожно, чтобы не создавать паники у своих, и незаметно для противника. Иначе он может вам все скомкать и сорвать переправу. Завтра к вам прибудет отдельный понтонный батальон, наведете вместо паромов мост. Надеяться на свой «бегающий» полк мы не можем, поэтому не мешкайте, чтобы гитлеровцы не опередили вас с переправой...

— Я прошу, чтобы мне прикрыли левый фланг, — сказал Горелов. — Только в таком случае я смогу все силы сосредоточить на правом и выручить свой полк, который держится в Толутино.

— Хорошо, я доложу о вашей просьбе командующему. Думаю, он не станет возражать. Тут, неподалеку от вас, находится кавдивизия Соколова, она все равно сейчас в резерве, ее легче всего к вам подбросить.

— А что делается на других участках? Как там Западный фронт? Мы давно живем без газет, информацию получаем от случая к случаю.

— Если вы имеете в виду группу генерала Болдина, то с ней покончено. Можно, конечно, надеяться, что какая-то энная часть бойцов и командиров еще прорвется оттуда, но организованное сопротивление уже сломлено. Иначе разве могла бы здесь появиться сто десятая пехотная? Надо думать, что через несколько дней подойдет из-под Вязьмы вся девятая пехотная армия, и тогда нажим на Калининский фронт усилится. Попыток прорываться из Калинина в сторону Торжка противник больше не делает, для наступления на широком фронте у него просто не хватает сил. Будем считать, что положение на этом участке стабилизировалось, и в этом большая заслуга и вашей дивизии, товарищ Горелов. Военный совет армии высоко оценивает ваши действия, это я заявляю с полной ответственностью.

— Благодарю, — наклонил голову Горелов. — Я выполняю свой служебный долг перед народом и партией. Жаль только, что приходится платить за успехи очень дорого...

— Война. Ничего не поделаешь. Все мы представляли себе войну, ждали войну. И она пришла. Но не такая, какую ждали. Вот и приходится все пересматривать, ко всему привыкать...

Гулин оттолкнулся от дерева и пошел к машине. Перед распахнутой дверцей он остановился, подал Горелову руку:

— До свиданья. Не смею вас больше задерживать в столь ответственный час.

Горелов постоял, проводил взглядом машину и медленно пошел к перевозу, мысленно намечая очередность дел. Прежде всего на левый берег — штаб дивизии, чтобы потом не связывать себе руки. Потом всеми силами, вплоть до прорыва, пробить дорогу на Толутино и вывести оттуда полк. Лучший полк дивизии. Горелов готов был положить собственную голову за такой полк.

На командном пункте его ожидали комиссар и Бочков. Ничего утешительного они доложить не могли: связи с полком установить не удастся. Куда команды ни сунутся, натыкаются на автоматчиков. Будь бы цела радиостанция, попробовали бы связаться по эфиру с артиллеристами, узнали бы, в чем там дело. Придется ждать темноты, может, тогда положение изменится: гитлеровцы не любят воевать ночью.

Выслушав Бочкова, Горелов в досаде махнул рукой:

— Что не сделали днем, еще труднее выполнить ночью. Ладно, готовь штаб к перемещению на левый берег. Здесь останемся только мы с комиссаром и небольшая опергруппа. — Горелов обернулся к военкому: — Предлагают, Дмитрий Иванович, свертывать операцию, выводить части из боя.

Он стал объяснять, какая складывается обстановка и чем вызвано такое решение.

— Переправа — решающий участок. Прошу тебя, Дмитрий Иванович, возьми всю подготовку моста под свой контроль. Тогда я буду спокоен...

## Глава одиннадцатая

Маслов поддержал просьбу Горелова: вечером, через несколько часов, он приказал Соколову — командиру кавалерийской дивизии, чтобы тот прикрыл левый фланг Горелова. Немедленно!

Но кавалеристы рассудили, что с лошадьми действовать среди лесов и болот будет бесподручно, кроме того, переправа лошадей на пароме — дело канительное, в любой миг может налететь авиация противника, и тогда пиши пропало. Бралось в расчет и время, необходимое для переправы громоздкого соединения.

Немедленно не получалось. При этом исходили не только из сообщений времени: Соколов был тоже в курсе обстановки, и его больше беспокоила обратная переправа, которую, быть может, придется совершать, имея на плечах противника.

Практика последних недель показывала, что бросаться по первому сигналу выполнять приказ не всегда резонно. Часто приказы отдавались без достаточно вдумчивого анализа обстановки, и, повремени полдня, глядишь, надобность в выполнении такого приказа уже миновала, надо делать совсем иное.

Кавалеристы послали запрос командующему: нельзя ли ограничиться переправой на правый берег только личного состава, а лошадей оставить на левом, поскольку они там не потребуются? В ожидании ответа никто и пальцем не шевелил. Считалось само собой разумеющимся, что до получения ответа на запрос первоначальный приказ как бы повисает в воздухе. Так прошла ночь. Соколов не спешил, поскольку в операции, которую проводила армия на правом берегу, предусматривалось участие кавалерии лишь в случае глубокого прорыва. А этого пока не было. А раз так, то ничего, кроме шишек и лишних потерь, кавдивизию на правом берегу не ожидает. Потерями же и без того сыты по горло: на маршах, когда шли от Ржева, не раз попадали под авиацию, под бомбежки и обстрелы, и если бы сейчас кто прошел по тем дорогам, то там по обочинам не счесть конских трупов...

Как и всякий кавалерист, Соколов ценил лошадей, пожалуй, больше, чем людей: бойцов пришлют, мало ли таких, кто умеет ездить верхом, а вот потеряешь лошадей — и не заметишь, как окажешься на задворках. С ним считаются, пока он командует дивизией, подвижным маневренным соединением. Кто же враг себе?!

Утром принесли телеграмму: командующий разрешил действовать в пешем строю, с собою на правый берег взять в конном строю всего два эскадрона. Лишь после этого два полка кавдивизии начали переправу на правый берег. Оттуда шли в район деревни Семеново, где им надлежало занять исходное положение для действий на левом фланге стрелковой дивизии.

Ночь не принесла Горелову ни тишины, ни ясности. Наоборот, как он и предполагал, в темени действовать стало много сложнее. В тылу частей в самых различных местах взвивались осветительные ракеты, раздавались автоматные очереди. Противник начал активно прощупывать перед собой местность. Около двух рот автоматчиков двигались через заболоченный лес со стороны Даниловского, и рота просочилась из Курково через разрыв в боевых порядках на стыке полков. Днем они сидели на тропях

и дорогах, не пропуская никого ни в полк Исакова, ни из него, полностью отрезав батальоны от тылов дивизии. Вспышки ракет, продолжительные всполохи света, автоматные очереди. Казалось, леса кишат автоматчиками противника, все части в огненном кольце. Полная иллюзия окружения. Может, в силу этого команды, выделенные штабом из состава разведчиков и бойцов командантской роты, действовали неуверенно, командиры подразделений выжидали, на что-то надеялись. Автоматчики же настолько обнаглели, что стали обстреливать Ново-Путилово, где находился командный пункт Горелова, и переправу.

Маслов, когда ему об этом донесли, нашумел на Горелова и приказал принимать решительные меры для ликвидации вражеских автоматчиков. Каким путем? Лучше всего организовать истребительные группы, прочесать лес и окрестности. Какие угодно меры, но только действовать, действовать, не допустить, чтобы противник сел на шею! На месте виднее.

Пожалуй, это была самая трудная ночь для Горелова за все минувшие недели войны: части разобщены, одни находятся в окружении, отрезаны, у других силы на исходе после целого дня боя, их нельзя трогать с места, иначе противник тут же пойдет в брешь. А тылы наводнены автоматчиками, и какими силами с ними бороться? Тем более ночью. Надо ждать дня...

В эту ночь мало кто спал в дивизии.

Вот почему Горелова возмутила медлительность кавалеристов. С него, спрашивают, требуют, судьба дивизии на волоске, а тут еле шевелятся! Да такими темпами им и за неделю не сосредоточиться, а не то что дожидаться от них помощи. В дополнение к такому досадному факту где-то застрял в пути обещанный понтонный батальон.

Горелов донес Маслову: ваше распоряжение фактически игнорируется, кавалеристы медлят, а мой левый фланг открыт, и тылы блокированы автоматчиками.

Маслов и сам сидел как на иголках: две ударные его дивизии в крайне опасном положении. Что он, Соколов, не понимает простых вещей? Играть с ним будут? Его послали на правый берег, чтобы он оказал содействие Горелову, а вовсе не для отсидки в какой-то там деревушке...

Маслов был разъярен: находишь Соколов под рукой, он бы накричал на него, разбил бы его самыми последними словами, буквально смешал с землей, не посмотрел бы на его полковничье звание. Права командарма столь же велики, как и его ответственность. Тут не до церемоний.

Маслов был крутого нрава человек; если он достиг нынешнего положения, так не только потому, что умнее других, — есть

умники и похлеще, да остались позади. Важно уметь быть твердым в любых обстоятельствах, диктовать свою волю даже тогда, когда и шансов на успех почти нет, чтоб люди повиновались без рассуждений. Честолюбие было сильной стороной Маслова, и он гордился, что сумел выйти с честью там, где другие растерялись, сорвались. Тот же Толкунов. Что он, враг? Да ничего подобного, просто инертный человек, размазня. Командующий, а в его армии каждый делал то, что вздумает: лейтенант, ответственный за подготовку взрыва моста, по своей инициативе произвел установку капсулей в заряды и соединил их шнуром, вот они и рвапули от детонации при близкой бомбежке; другой, объятый паникой, срывает с места штаб в самый ответственный момент, а в результате потеря управления в армии; третьи жгут, взрывают склады, вместо того чтобы эвакуировать имущество насколько это возможно. А Толкунов об этом просто не знает, он со спокойной душой в это время сидит где-то, и никто ни о чём его не ставит в известность.

Это теперь не домысел, а факт. Докладной Маслова занимались сведущие люди, они сказали, что Толкунов не виноват. А не виноват ли?.. Во всяком случае, такой человек далеко не пойдёт сам и другим мешать будет. Для Маслова даже падение Толкунова пошло на пользу: на фоне почти полной дезорганизации в одной армии резче, контрастней проявились порядок и дисциплина в другой — у Маслова, хотя обстановка и там и тут одинакова. Сейчас армия Маслова — ведущая во фронте. Одно сознание, что там, где другой опростоволосился, он выдвинулся, окрыляло Маслова. Действия его армии под Калинином когда-нибудь станут изучать в академиях.

Как же тут без честолюбия? Разве это порок? Да без него в армии и делать человеку нечего, даже хорошим рядовым не станешь. И какой-то Соколов смеет игнорировать его приказ, смеет не повиноваться, нарушать железную дисциплину, совать палки в колеса.

Телеграмма в кавдивизию ушла за двумя подписями — Маслова и Гулина: «Ваше бездействие преступно и пагубно сказывается на дивизии Горелова. Немедленно выполнить приказ о действиях на его левом фланге. Свяжитесь с ним, доложите о вашем полном подчинении Горелову. Донесите о виновных, открывших левый фланг дивизии».

Последняя фраза являлась напоминанием, что этот грех не будет забыт, за него еще спросится.

— А вы, товарищ Гулин, свяжитесь с Гореловым и проверьте, как будут действовать кавалеристы. Пусть только попробуют у меня финтить, я с них шкуру спущу...

Маслов при всем своем негодовании не мог высказать в короткой телеграмме и десятой доли обуревавших его чувств и мыслей, поэтому еще несколько минут сердито мерял шагами помещение, давая выход своему раздражению. Наконец подсел к столу и набросал вторую телеграмму. Эта адресовалась командующему фронтом: «Положение Горелова явно опасное. Полки дерутся в окружении. Другая дивизия с большим трудом отбивает контратаки. Обстановка диктует немедленный отход этих дивизий на левый берег. Резерва нет. Прошу разрешения».

— Подпиши, — протянул он бланк Гулину. — Надо форсировать это дело. Ты объяснил Горелову все, как положено?

— Да, он меня понял. Беспокоит другое: сумеет ли он оторваться от противника? Дивизия ослаблена, инициатива переходит в руки врага, так что тот вполне может навязать свою волю. Надо жать и жать на Соколова, чтобы тот помогал в полную силу, иначе дело плохо...

— Как думаешь, Горелов не растеряется, сумеет выполнить задачу?

— На меня он произвел на этот раз хорошее впечатление. Серьезный, вдумчивый командир. Положение оцепивает трезво, без преувеличений...

Гулин поставил под телеграммой свою подпись. Эта вторая телеграмма была датирована лишь пятнадцатью минутами позже первой. Никогда бы Маслов не согласился с утверждением, что преувеличивает опасности, что кривит душой, испрашивая разрешение на действия, которым день назад уже дал ход, исходя из собственной оценки обстановки.

Как бы там ни было, кавалеристы, подстегнутые гневной телеграммой командующего, зашевелились. Один полк, не мешкая, выдвинулся в лес, севернее того места, где сидел без связи батальон Фишера, перекрыв пути автоматчикам, проникшим из Даниловского; другой, обосновавшийся в Семеново, начал планомерное прочесывание леса в направлении Ворошиловских лагерей. Там находились плененные гитлеровцами санрота и обоз исаковского полка. Кавалеристы действовали совместно с истребительными группами Горелова, в которые вошли разведчики, автоматчики, подразделения охраны штаба дивизии, все, кто мог быть на время оторван от своих обязанностей не в ущерб основному делу.

Короткие ожесточенные схватки разгорелись на обширной лесисто-болотистой территории правого берега в тылу частей, стоящих фронтом против сто шестьдесят первой пехотной дивизии, которая четвертый день билась и не могла прорваться к Калинин.

В санитарной роте тревожная подавленная атмосфера; врачи и сестры старались не покидать без крайней необходимости палаток с ранеными, говорили вполголоса, ходили на цыпочках. Даже сами раненные старались не стонать. Каждый стук, голос за палаткой заставляли тревожно прислушиваться. Давал знать себя голод. Вторые сутки все находились в плену, без еды, а идти на поиски продуктов, когда кругом гитлеровцы, никто не решался. К тому же вокруг то и дело раздавалась стрельба. Все жили ожиданием развязки: одни ждали вызволения из плена, другие считали, что немцы вот-вот их эвакуируют, и тогда прощай свобода, третьи говорили, что в такой обстановке гитлеровцы запросто могут пойти на расправу с ранеными...

Близился к концу короткий осенний день, когда за палатками раздались выстрелы, а потом закипела частая пулеметно-автоматная стрельба. Пули защелкали о кусты и строения вокруг палаток. И раненные и персонал санроты прижались к земле. Что это — случайная стычка или паши идут вызволять из плена? Кто-то бежит к палаткам, топот все ближе.

И вдруг русская речь:

— Карнаухов, Смышляев! Проверить, нет ли в палатках фрицев. Быстро!..

И тогда напряженная тишина сменилась гомоном и радостными криками:

— Свои здесь! Свои! Раненные! Братцы!..

Все, кто мог, повалили из палаток навстречу бойцам с синими петлицами на шинелях. Подошли командиры. Один, со шпалой в петлице, спросил врачей:

— Кто здесь старший?

Ему указали на командира санроты..

— Немедленно организуйте подводы и вывозите своих раненных. Мы не можем тут больше задерживаться. Вы поняли?

— Да-да, спасибо. С кем имею честь?

— Начальник штаба пятьдесят седьмого, — капитан козырнул и, считая разговор оконченным, обернулся к стоявшему рядом лейтенанту: — Собирайте эскадрон и — вперед!

— Ч-черт, как здорово болит плечо, — промолвил Селиванов и начал скидывать с себя ватник и гимнастерку. Правая рука выше локтя и плечо были затянуты синевой и опухолью. — Вот гады, долбанули, — продолжал он, ощупывая руку. — За такое

дело не пожалел бы гаубичного снаряда па башку тому, кто это сделал.

— Вам еще повезло, товарищ капитан, — сказал, смеясь, начальник разведки дивизиона. — Скажите спасибо, что осколок па излете был...

— Погоди, вот пересчитаешь своими боками сучки на елке, тогда посмотрю, какой ты будешь добрый, — пробурчал Селиванов.

Он весь день опять просидел на дереве, замерз, а тут еще боль. Правда, день прошел более спокойно, огня почти не вели, берегли снаряды, которых осталось совсем мало. К общей усталости примешивалось и беспокойство. Часов с двух не стало связи со штабом дивизии, ни телефонной, ни по рации, ни посылками. Как отрезало.

Весь день бой кипел в районе деревни Курково и к вечеру отдалился к переправе. Значит, гитлеровцам удалось потеснить наших.

Ординарец занес в землянку хлеб и консервы, поставил закопченный па костре чайник:

— Ужинать, товарищ капитан!

Селиванов оглядел «стол».

— Что так скудно?

— Сегодня ничего не подвезли. Это я из трофейных продуктов сообразил.

Ужинали без воодушевления: рыбные консервы оказались невкусными, а черный, немецкой выпечки хлеб мало отличался по виду и плотности от замазки. Только чай был свой — русский и привычный. Пили вволю. После чая потянуло на сон.

Селиванов решил разогнать дрему, пройтись на ближнюю батарею, проверить, как поставлено охранение. Ему хотелось заодно подбодрить бойцов, которые понимают, конечно, что положение складывается не в пользу дивизии, и тоже тревожатся.

Он обошел все орудия, каждому расчету объявил благодарность за храбрость и меткость огня. Наказал, чтобы караульную службу несли па совесть.

Была ночь, когда он возвращался назад. Гитлеровцы беспрерывно освещали местность перед собой ракетами, тем самым определяя свое положение. Селиванов на мигу остановился, мысленно представил себе весь район, где воевала дивизия, и пришел к выводу, что полк окружен. Он не мог сказать о других частях дивизии, но что полк Исакова отрезан, был уверен, потому что ракеты вспыхивают там, где находятся тылы. Окружены на небольшом участке леса. Поэтому и связи нет.

Из землянки он позвонил Исакову:

— Какие новости, товарищ подполковник? Что у соседей?

— А никаких, — ответил Исаков. — С двух часов не имею связи. Ни с соседями, ни с верхом. Может, к утру что-нибудь прояснится, а пока ничего нового. Мои все на местах...

Селиванов не стал делиться с ним своей тревогой, поблагодарил и пожелал спокойной ночи.

Утром Селиванова разбудили голоса.

— Тише вы, черти, — шипел, как рассерженный гусак, начальник штаба дивизиона, — командир отдыхает. За целую неделю выпала почка поспать — и то не даете...

— Так «язык». Вдруг что важное знает...

Селиванов вылез из «берлоги», как он в шутку именовал свой блиндажик, потряс кудлатой головой, освобождаясь от дремоты и дурмана спертого воздуха, спросил:

— Кого привели? Давайте его сюда!

Разведчики подвели раненного в плечо гитлеровца. Он был без каски, чернявый, спутанные волосы прикрывали лоб, и он постоянно их откидывал с глаз, встряхивая головой. Лицо посинело от холода, губы прыгают то ли от озноба, то ли от страха. Мундир в крови и глине. Морщась от боли, гитлеровец что-то быстро говорил. Селиванов разобрал только несколько слов:

— Никс дойче... Чехословак! — Пленный тыкал себя в грудь и твердил: — Я есть чехословак! Никс дойче!..

— Ладно, не трясись, — сказал Селиванов. — Не съедят тебя тут. Надо его перевязать. Черт его знает, может, он и в самом деле чех. Сейчас у Гитлера кого только в армии нет. Всех собрал, со всей Европы.

Фельдшер дивизиона тут же у землянки перевязал раненого, на плечи ему накинули суконное одеяло, и, когда он перестал трястись, Селиванов с помощью других командиров попытался расспросить пленного, кто он и откуда. Тот опять много говорил, делал здоровой рукой охватывающие движения, стараясь жестом выразить суть.

— Ишь, собака, показывает, что нас окружить хотят, — сказал начальник штаба. — Вот поставить к стенке, чтобы знал, как против своих братьев-славян воевать. Небось сам на нашу сторону не перешел, ждал, пока в плен возьмут.

— Разведчики говорят, что сам на батарею вышел, выходит, перебежчик, — разъяснил начальник разведки.

— В том-то и дело, что «выходит», — съязвил Селиванов, который силился понять пространные объяснения пленного и не мог. А ведь наверняка человек принес что-то важное, иначе б не шел. — Чехословак, свой брат — славянин, насильно мобилизованный, а ты — к стенке. Так начнешь обращаться, так тебе

никакой дурак в плен не пойдет, до последнего будет сражаться. Думать падо, голова...

— Узнать бы, какие части перед нами, что думают предпринять. Может, какую пакость готовят.

— Что ж не спрашиваешь? Давай!

Собралось много любопытных. Видя вокруг доброжелательные лица, пленный перестал твердить, что он чехословак, приободрился и знаками попросил закурить. К нему тотчас протянулось с готовностью несколько рук с кисетами, с пачками трофейных сигарет: отходчиво сердце русского человека, незлобиво.

— Ну, молодежь, — обратился Селиванов к окружающим, — кто хоть маленько кумекает по-немецки? Я-то учился давно, уже и забыл когда, а вы должны знать, помнить.

Знатоков немецкого не нашлось, и тогда Селиванов приказал всем разойтись, нечего устраивать «ярмарку» из-за пленного. Он был раздосадован, что не удалось извлечь ничего полезного для войск из этого словоохотливого пленного. А ведь человек пытается объяснить со всей искренностью. Досадно, очень.

Неотложные дела отвлекли Селиванова от размышлений о пленном. Надо было опять наблюдать за поведением противника, поддерживать готовность на батареях, послать разведчиков, чтобы прощупали путь к пятой батарее. Дело в том, что один из командиров штабной батареи гаубичного полка утром прорвался через расположение противника. Он вез машину снарядов. С ДОПа выехал ночью, в пути соблюдали маскировку, шли не зажигая фар. Машина уже миновала Ворошиловские лагеря, когда на одном из пригорков увидели костры. «Вот черти, никакой маскировки, — ругнулся шофер, считая, что так беспечно ведет себя пехота. — Не признают никаких гвоздей братья-славяне». Командир промолчал: он был предупрежден насчет засад, но снаряды были нужны, и приходилось рисковать. Машина на малом газу поравнялась с кострами, и тут в предутренних сумерках они увидели, что возле костров никакие не «братья-славяне», а чистейшие фрицы. На их счастье, гитлеровцы толпились и горланили возле котла с едой — изголодались, наверное, и тут им важнее было скорее получить котелок с похлебкой, чем терять время из-за какой-то машины. У командира хватило выдержки медленно проехать мимо, и только когда костры остались позади, он кивнул шоферу: «Жми!». Шофер дал полный газ и до самого расположения так гнал машину, что командир побаивался, как бы она не развалилась на ходу.

Эта весть, что автоматчики отрезали полк от переправы и остальных сил дивизии, мигом облетела артиллеристов да и стрелковые подразделения тоже.

Вот почему Селиванов следил не только за противником, но и за порядком на батареях, чтоб кто не вздумал там праздновать труса. Основания для опасений были: за время этой войны в окружениях терялись соединения, целые армии, а тут простые смертные — народ, в тактических вопросах не искушенный.

Сидеть на елке было мутрно, зябко, в животе подсасывало от голода. После вчерашнего скудного ужина и пустого чая на завтрак здоровому человеку скучновато. Помимо воли Селиванов то и дело поглядывал, не показался ли повар: сразу после завтрака он ушел на батареи разжиться там продуктами, да что-то задерживается.

Повар появился с термосами довольный, но какой-то смущенный. Отозвав в сторонку Селиванова, он стал объяснять, что принес суп-лапшу с мясом, но...

— Принес, так чего мямлишь. Народ голодный, а ты тут антимионии разводишь.

— Понимаете, товарищ капитан, у них вчера на батарее Зорьку ранило, пришлось пристрелить. Кобылка молодая, в упряжке первый год. Да вы ее знаете...

— Так у тебя что, суп с копиной? — прямо спросил Селиванов, уже догадавшийся, в чем дело.

— Ну да. Теперь не знаю, как быть, говорить об этом кому или не падо?

— Не надо, разливай по мискам, и все. Кто хочет, пусть ест, не хочет — отваливает. По мне так один черт, какое мясо. Татары, казахи, монголы едят да еще и похваляют. А мы — русские — хуже, что ли?

— На батарее Ибрагимов все и придумал: что, говорит, мясо будет пропадать, когда мы голодные. Нам, говорит, может, еще придется эти пушки на себе вытаскивать, где силы брать?

— Правильно говорит. Не до предрассудков...

— Он и освежевал Зорьку. Ловкий дьявол. В момент. Мы не успели по папироске выкурить. Заверотил ее головой на восток, чтоб, значит, в Мекку, так по-ихнему полагается, и давай. Мне бы, похвалялся, денька два, так я бы, говорит, и колбас наделал. А мясо я сам вываривал, ни запаху, ничего. Специй положил, вкусное мясо...

— Ладно, передо мной не расхваливай, сказал уже.

Селиванов молча принял миску наваристой лапши с большим куском мяса, склонился над ней и принялся хлебать, будто перед ним самый обычный обед. Он не хотел вызывать толков на этот счёт, чтоб не отбить у кого аппетита. Но опасения были напрасны: шутки, смех возникали, казалось, без всякого повода. Подвалил повар кому-то изрядный кус, и тут же возглас:

— Вот это кусочек! И-го-го!

И все хохочут, аж за животы хватаются. «Знают, — решил Селиванов, — солдатское радио уже разнесло весть. Тем лучше».

День перевалил за вторую половину, а гитлеровцы не делали ни одной попытки потеснить батальоны из Толутино. Почему? Неужели им удалось пробиться на других участках в глубь обороны и они надеются взять весь исаковский полк со всеми подразделениями, как перезрелый плод с ветки, лишь подставивши корзину? В Некрасово полно машин, пехоты, и все это чего-то ждет. Чего?

Селиванов решил переговорить с Исаковым. Что ему известно, каковы его планы, что он намерен предпринять? Ведь сидеть сложа руки нельзя.

В сопровождении своего начальника разведки Селиванов отправился на командный пункт Исакова. Заодно прихватили и пленного гитлеровца: быть может, в полку найдется переводчик и тогда удастся его допросить. В штабе Селиванов сразу уловил атмосферу какого-то замешательства: все чего-то ожидали и слонялись по лагерю в тревожной нерешительности.

Исаков находился в своей отдельной палатке и сидел за столом в накинутой на плечи шубе.

— Садись, — предложил он Селиванову, когда тот вошел. — Прибыл ты вовремя: полк отрезан от основных сил дивизии, и сам черт теперь не скажет, что делать. Отрезаны, понимаешь?

— Да, я слышал кое-что. Скажите, а вы посылали разведку, проверяли, действительно ли это так?

— А как же! — воскликнул Исаков. — Если там на дороге три паршивых фрица, так почему ко мне не могут пробиться из дивизии? Ни связи, ни снабжения. Может быть, и штаб дивизии давно уже на левый берег перебрался...

— Не думаю, чтобы нас так просто бросили.

— Война, тут не до благородства. Нажмут, так не то еще сделаешь. Вы слышите, второй день идет бой позади нас, наверное, там уже доколачивают последние наши силы, чтобы потом навалиться на нас. «Не думаю», — с сарказмом повторил он, оставаясь в подавленной, развинченной позе, словно он уже выложил все свои физические и моральные силы. — Сегодня мои взяли двух писарей — шли из Курково в какой-то свой батальон да заплутали в лесу. Знаешь, как они себя вели? Спрашиваю, где ваши войска, так они мне: «аллес», кругом, дескать, и предлагают сдаваться в плен. Они, мол, гарантируют мне, командиру полка, жизнь и хорошее обращение. Такое нахальство неспроста...

— А я, между прочим, тоже привел пленного. Он чехословак и охотно даст показания. Не мешало бы его допросить.

— Да что он пам скажет! Ни черта он не знает. Расстрелять его — и дело с концом, чтоб не валандаться...

— Нет, расстреливать я вам его не отдам, — задетый за живое таким равнодушием, ответил Селиванов. — Лучше уж я сам доставлю его в штаб дивизии.

— Ну, если тебе охота с ним возиться, — пожал плечами Исаков. — А то смотри, еще сбежит, так тебе же хуже будет...

— Ничего, расстрелять никогда не поздно. Так что же мы будем делать дальше? У меня на батареях снарядов совсем мало, подвоза нет.

— Что делать... Подождем, может, наладят связь...

— Ждать, когда нас просто подавят голыми руками, — не резон. Вы же сами высказали мысль, что штаб дивизии на левом берегу.

— Предполагаю, — поправил Исаков.

— Сейчас это все равно. Надо идти на соединение со своими, пока не поздно, пробиваться. Другого выхода я не вижу.

Исаков долго молчал, потом поднял усталые глаза на Селиванова:

— Значит, ты предлагаешь идти на прорыв? Оставить оборону, всех снимать и выходить?

— Да, — твердо ответил Селиванов. — Сегодня нбчью и выходить. Пока люди не потеряли надежды, они будут драться, и мы прорвемся. Я уверен.

— Погоди, это вопрос серьезный, надо выслушать своих, — сказал Исаков и вызвал к себе Сергеева и Матвеева. Когда те вошли и сели, он кивнул на Селиванова: — Вот, предлагает прорываться к своим. Как смотрите? Вы — что скажете? — указал он на Сергеева.

Начальник штаба заговорил не сразу:

— Силы батальонов на исходе, скопилось много раненых, а это обоз. Поступления боеприпасов нет, продовольствия тоже. Думаю, нас не смогут упрекнуть, задачу мы выполнили, четыре дня не пропускаем противника на Калинин. Это большой вклад в исход сражения за Москву. Но дальнейшее ничего хорошего нам не сулит, и для последующей борьбы выгодней сохранить костяк полка, чем всем вместе сложить головы в бесперспективной борьбе за Толутино. Я согласен с мнением командира дивизиона: пока не поздно — прорываться!

Сергеев сел. Менее всех он был озабочен своей судьбой, потому что добровольно нес функции начальника штаба, отказавшись от эвакуации.

— Ваше мнение? — обратился Исаков к Матвееву. Он не мог

в таком вопросе обойти партийную организацию полка, понимал, что без поддержки коммунистов, без их готовности идти на этот решительный шаг ради спасения полка в целом, ему не справиться с задачей, какие бы приказы он не отдавал.

— Считаю, что оценка обстановки правильная. Налицо признаки переутомления у личного состава. И второе: много раненых. Оставить их на произвол судьбы, допустить, чтоб они разделили участь тех, кто будет сражаться с врагом до последнего, мы не имеем права. Поддерживаю предложение — прорываться!

Матвеев сел. Он был убежден, что отказываясь от борьбы в Толутино, он тем самым сохраняет полк для дальнейшего, ведь война на этом не кончается. Даже один бывалый, опытный боец на отделение может создать необходимый для боя настрой. Война не на жизнь, а на смерть, поэтому надо рассматривать эти вопросы разумно, без чванства, без высокопарных фраз. Долг не в том, чтоб погибнуть в невыгодной обстановке, — долг обязывает победить. Кутузов уклонился от боя, когда это было выгодно противнику, но зато заставил в дальнейшем французов есть ворон...

— Хорошо, я распоряжусь, чтобы батальоны снимались, — объявил свое решение Исаков.

Селиванов вышел из палатки и тут же приказал своему разведчику, чтобы тот прощупал дорогу к переправе. Первое донесение через полчаса... Разведчик убежал выполнять приказ, а Селиванов решил подождать его в полку и заодно поинтересоваться, как развернется Исаков. Он дождался здесь первого донесения от начальника разведки. Тот писал, что они наткнулись неподалеку на группу автоматчиков с ротным пятидесятимиллиметровым минометом. Обстреляны, но продолжают движение...

«Ну, такими-то силами нас не сдержать, — подумал Селиванов. — На то пойдет, так картечью пробьем дорогу. Сам встану за орудие».

Взбодренный, уверенный, он вошел к начальнику штаба Сергееву. Того донимала раненая рука, и штаба, по сути, не было: по телефону шумел Тупицин — ПНШ, «клером» ставил в известность комбатов о новом решении командира полка.

Удовлетворенный, что все идет как надо, Селиванов отправился на свой НП. Там он собрал своих командиров и, не оставляя им времени на расспросы, отдал приказ на выход из окружения. Недоуменные вопросы по поводу того, что пехота самовольно оставляет позиции в Толутино, повисли невысказанными.

Началось сосредоточение подразделений близ командного пункта Исакова. Селиванов дождался, когда вся пехота выйдет из Толутино, и тоже отдал команду, чтобы батареи снимались.

## Глава двенадцатая

Второй день Крутов слонялся без дела: донесения писать было некому, на передовой относительное затишье. Чего-то ждут в полку, ждут в батальонах. Вчера он ходил в Толутино, чтобы уточнить сведения о боевом и численном составе, так там на этот счет высказывались довольно определенно. Артюхин спросил прямо:

— Не слышал, скоро начнем сматываться? Не говорят?

Мало ли какие разговоры могут ходить, не мог Крутов высказывать их комбату. Это было бы похоже на ОБС — одна баба сказала. Не к лицу поддерживать штабнику подобные речи, и Крутов ответил, что об этом пока не думают. Тем более, что и противник пока не тревожит.

— Наверное, думать будут тогда, когда бежать будет некуда. Эх, вы... Ну, ладно, выкладывай, зачем прибыл?

Крутов достал строевую записку, составленную вечером после боя, по горячему следу, и, конечно, ориентировочную. При этом его не оставляло чувство какой-то неловкости перед комбатом. За коротким артюхинским «Эх, вы...» крылся не простой упрек, а нечто большее, словно комбат знал такое, о чем штабные командиры и сам Исаков даже не догадываются.

Артюхин отстегнул сумку и начал выкладывать на стол бумаги.

— Вот, весь штаб тут у меня. Сам швец, сам жнец. Сам командир, сам писарь. Осталось хлопнуть меня — и нет батальона, — горько пошутил он.

Когда он стал диктовать цифры, сколько в каком подразделении осталось людей, оружия, Крутов понял, откуда ирония у комбата. Воевать-то почти некому. Как говорится, похозяйничали в тылу у противника, напустили ему холода, но пора и о себе подумать. Конечно же, у Артюхина все бойцы на виду, он делит с ними тяготы, знает, о чем они думают, знает, что силы их на исходе, знает, как нужна хоть маленькая передышка. Третий день в подразделениях живут без горячей пищи. При штабе полка бойцы комендантского взвода и связисты перебиваются чем придется, у них еще есть кое-какие запасы. Повар командира полка утром готовил для Исакова и кое-кого из старших офицеров оладьи — по две-три в руки да еще кипяток, а Крутов в штабе еще чужак, его родное подразделение — четвертая рота. От одного вида оладий у него так засосало под ложечкой, что он вынужден был отойти. Идти просить — совестно, все перебиваются как умеют. Голодно, холодно, неудобно от тревожных мыслей.

С тех пор как прервалась связь, Исаков почти не показывается из своей палатки, никого к себе не вызывает. Комиссар и тот к нему не идет. Он большую часть времени проводит в подразделениях. Казалось бы, дело общее, вот и работать надо сообща, а они порознь. Не ладятся у них отношения. И Матвеев тут ни при чем.

Крутов в штабе недавно, а уже заметил, с какой неохотой идут офицеры к Исакову. Каждый лезет сначала к Сергееву, а тому сейчас не до службы, мучается с рукой, в медсанбат бы ему, но в тыл дороги нет. Нет у Исакова сердечных отношений с командирами, а уж рядовых он и вовсе не замечает. «А ведь от добрых, строгих, справедливых отношений служба только выиграла бы», — думает он.

Крутов сидел у штабной грузовой автомашины, привалившись плечами к скату, и посматривал, не появится ли из палатки Тупицин. И дела вроде бы нет, и отойти нельзя — вдруг позовут.

К Исакову прошел чернобородый здоровяк в ватнике — артиллерист. Исакову не подчиненный, вот и идет смело, хотя по званию капитан. Лейтенант с черным трофейным автоматом на шею остался перед входом с раненым гитлеровцем. Он сел на землю у палатки и знаком указал пленному на место рядом.

У Крутова уже нет прежнего любопытства к пленным: насмотрелся на них достаточно. Приводили всяких — одни смотрели волком, другие со страхом, третьи вели себя развязно — особенно два писаря — ефрейторы. Но когда их повели за палатки — в расход, потому что держать их было негде и охранять некому, а дороги в штадив перерезаны, они выглядели жалкими, как нашкодившие мальчишки. Всю спесь как рукой сняло. Конечно, жаль, когда гибнут такие молодые, ведь из них можно сделать и хороших людей, но идет война. Безжалостная, беспощадная.

Одно Крутову непонятно: ведь есть же среди немецких солдат рабочие, крестьяне, учителя, как у них рука поднимается на таких же трудовых людей России? Неужели не заговорит у них совесть? А если заговорит, то когда? Через полгода, через год?! Как тут быть с интернационализмом: падеяться, что классовое самосознание восторжествует, или бей, не щадя, всех подряд?!

Артиллерист находился в палатке Исакова довольно долго. Затем туда прошли сначала Сергеев, потом комиссар. Значит, надо ждать каких-то важных перемен. Крутов подумал, что и ему пора идти к Тупицину, может, потребуется что-нибудь исполнять.

Но на этот раз все обошлось без бумаги. Когда Крутов вошел в штабную палатку, Тупицин по телефону передавал устный приказ комбатам: сниматься, выходить, с обороной кончено...

Первым подошел батальон Бородина. Люди выглядели усталыми, измученными. Ни смеха, ни шуток. Молчат. На многих повязки. Разве столько их выезжало из Аяра! А есть ли прок в этих жертвах, в том, что могилами сибиряков отмечен весь путь дивизии по смоленской и калининской землям? Где и в чем тот след, тот результат, чтоб потом можно было сказать, что все это не напрасно? Четыре дня держали дорогу, можно сказать, что врага за горло, не щадя жизней. Но сумеют ли этим воспользоваться другие — те, кто обороняются под Москвой? Знать бы, может, не так горько было бы видеть потери...

Бородин, крепкий, как гриб-боровик, отвел колонну направо от дороги и дал команду «вольно». Сам, пружиня широкий шаг, направился к Исакову докладывать.

Тупицын подозвал Крутова:

— Иди, помогай! Будем жечь документы.

Раскрыв ящик, он просматривал папки с бумагами, диктовал в список наименование дела, количество страниц и записывал папку в мешок. Оставили всего несколько дел — самых важных, которые решено вынести с собой и уберечь.

— Сейчас заактируем и будем жечь.

Жгли документы за палаткой: выдирали по несколько листов и бросали в огонь, чтоб не демаскировать дымом место расположения штаба.

— Куда мне теперь? — спросил Крутов, понимая, что предстоит ночь тяжелых испытаний, может, придется драться, а здесь, в штабе, он один.

— Пока свободен. Ночью будем выходить из окружения.

— Разрешите мне быть при своей роте, четвертой?

— Не возражаю.

Крутов нашел свою четвертую на том же месте, где она была остановлена комбатом. Бойцы лежали и сидели, не выпуская из рук оружия. Лихачев встретил его с некоторой бравадой возгласом:

— Поздравляю с «колечком», Пашка!

— Что, соскучился по своей родной? — спросил Туров.

— С вами буду, — ответил Крутов. — Веселей с друзьями.

К вечеру вся дорога близ командного пункта полка была запружена пехотой, подводами с имуществом и ранеными, артиллерийскими упряжками, машинами роты ПВО и штаба. Палатки штаба были свернуты, и командир полка Исаков стоял возле своей машины, прислонившись плечом к борту, в глубокой задумчивости. Едва ли в этот момент он видел кого вокруг себя, едва ли сознавал, что вся эта масса народу ждет его команды, полагается на него.

Сумерки окутывали землю, серые полосы тумана, будто дымок от певидимых костров, заметывали редколесье близ дороги, сплошь усеянное людьми. Уход батальонов из Толутино был замечен противником, и он перешел к преследованию, пока неуверенно, но уже начал прощупывать перед собой местность, и лес вокруг полнился выстрелами, разрывные пули щелкали по веткам, заставляя невольно оглядываться: откуда так близко стреляют? Хлопали разрывы небольших мин, видно, клал их противник наугад из ротного миномета, чтобы деморализовать отходящих.

В ожидании команды на марш батареи были развернуты стволами на Толутино. В сгустившихся сумерках за каждым кустом чудился враг, и пули уже не пролетали невидимками, а прощерчивали воздух огнистыми трассами. Инстинктивно люди жались ближе друг к другу, каждому казалось, что именно в серединке наиболее безопасно, а еще лучше у самых пушек.

Только комбаты не желали признавать опасности и стояли посреди своих. Бородин — прислонившись спиной к тощей сосенке, Артиухин — просто скрестив на груди руки. Рядом с ним, как тень, ординарец Рамазанов. Стояли, ждали команды. Первый батальон Лузгина находился за батареями, и Крутов его не видел.

— Геройские мужики, — кивнув на комбатов, сказал Сумароков. — Мы лежим, а им хоть бы что...

— Правильно делают, — отозвался Лихачев. — Командиры. Ты бы, Пашка, как?!

Ответить Крутов не успел. Со стороны Толутино, оттуда, где недавно стояли батареи, вдруг открылась пулеметная и автоматная пальба. Казалось, искрами от паровоза, быстро летящими мимо окон вагона, заткало все редколесье, где находился полк. Будто вихрем взметнуло палую листву, так быстро подхватились и заметались люди. Одни мчались назад, за батареи, чтоб укрыться за орудиями, другие к машинам штаба, третьи просто врассыпную, подальше от врага. Лишь немногие сохранили присутствие духа в этой панике, поднявшейся столь внезапно. Видно, зрела она в душе у каждого, да вдруг и прорвалась.

— Стой! Назад! — загомонили командиры, стараясь навести порядок. — В оборону! Ложись!..

— Куда, мать вашу так! — орала артиллеристы, отгоняя от своих орудий прихлынувшую пехоту. — В сторону от орудий! Побьем своими выстрелами!..

И паника, взметнувшаяся в первые минуты, столь же быстро улеглась. Образовав нестройную цепь в полусотне метров перед орудиями, пехота залегла, открыла частую пальбу перед собой.

— Досиделись, дождались, — бубнил Сумароков, торопливо вкладывая ленту в приемник пулемета.

Пулеметчикам требовалось время, чтобы выдвинуться немпо-го вперед, иначе они могли посець своих. На батареях уже выкрикивали команды. Крутов слышал голоса, но не мог разобрать слов, они проскакивали мимо сознания. Началось. Вот оно...

Грохнул артиллерийский залп, горячим воздухом, пороховым дымом упруго ударило в затылок, вмиг заложило уши. Только звон, и ни выстрелов, ни голосов.

И опять удар. Еще удар... Крутов скорее чувствовал их по содроганию земли, чем слышал. Орудийные залпы смели с души смятение, охватившее его в первый момент. Орудия вступили в разговор, значит, все будет в порядке. А тут из пулемета длинная очередь — это Лихачев прочесал редколесье, и разрозненная винтовочная пальба, будто множество бондарей колотили на бочках обручи. Смолк огонь гитлеровцев, видно, не по душе им пришелся такой отпор, пули-светляки не чиркали больше по лесу.

Казалось, не будь в ушах тягучего звона, не будь острого густого порохового запаха, и можно было б подумать, что ничего и не происходило. Так быстро все кончилось. Но душу царапали коготки совести, что чуть не поддался общему замешательству, чуть не кинулся бежать, когда надо было сразу действовать, как это сделал Лихачев. В такие минуты бойцам нужны команды, они организуют людей, и Лихачев это понял. Со временем из него выйдет постоянный командир.

В стане третьего батальона какое-то замешательство — все толпятся возле того места, где находился Артюхин. На рысях подогнали повозку, кого-то на нее кладут.

— Узнать бы. Рапило кого, что ли, — высказал мысль Лихачев. — Ну-ка, Костя, сбегай...

— Так и есть, — сообщил Сумароков, — комбата рапило. Говорят, в ногу, кость разбило. Отбегался старик, отвоевался. Поедет теперь в Аяр, с бабами там воевать будет.

— Еще неизвестно, как выйдем, — сказал Лихачев. — Дорога вся впереди, а пачальство что-то не спешит шевелиться.

\* \* \*

— В самом деле, сколько можно стоять? — Селиванов в сердцах ругнулся и подался на поиски Исакова.

Вслед за ним пошел старший политрук. Он уже давно находится при четвертой батарее, помогает, подбадривает бойцов. Кажется, он из политотдела дивизии, но поговорить, расспросить не хватает времени. Хочет — пусть идет. Селиванову он не мешает.

В минуту опасности люди группируются невольно. «Неужели тот не понимает, — раздраженно думает Селиванов про Исакова, — что стоять на месте — это гибель? Подразделения сбились в кучу, ни обороны, ничего. А противник не дурак, он ткнулся, хоть и получил по зубам, зато знает теперь определенно, куда стягивать свои силы. Обложит со всех сторон и зажмет, чтобы к утру разделаться. Спасение только в одном — немедленно двигаться и прорываться».

Размашисто шагая вдоль машин и повозок, сбившихся на дороге в беспорядочную плотную массу, он громко окликал:

— Командир полка! Кто знает, где командир полка?

Иногда ему отвечали: «Дальше где-то...», но чаще отмалчивались. Рядовые не любят таких вопросов от незнакомых командиров. Тут легко нарваться на неприятность — мало ли кто может спрашивать, и лучше промолчать, тем более, спрашивают не тебя козкретно.

Так, идя вдоль дороги, Селиванов поравнялся наконец со штабной машиной.

— Кто спрашивает командира? — Открыв дверцу, из кабины высунулся Сергеев с рукой на перевязи. — А, это вы, капитан! На что вам Исаков?

— Пора начинать движение. Мои готовы.

— Знаете, — сказал Сергеев, — Исаков где-то здесь, кажется, в машине, которая рядом с установкой ПВО. Обратитесь к нему. Я просто не в праве распоряжаться через голову командира полка.

— Благодарю, — козырнув, сухо ответил Селиванов, которого разбирало настоящее зло: черт бы побрал такую субординацию, при которой все смотрят на командира полка, а тот ничего не предпринимает! — Постараюсь его найти. — И не мог не связать: — Наверное, я самое заинтересованное лицо в том, чтобы прорваться из окружения. Всех остальных здесь ждет у немца райская жизнь.

Старший политрук, не проронивший ни слова, как тепь последовал за Селивановым. Через пять шагов, в спину, сказал:

— Не сердитесь, капитан, кому-то надо брать па себя инициативу. Вам скажут спасибо люди...

— Ладно, — буркнул Селиванов. — Не за спасибо работаем. Будем злее — скорее прорвемся...

Он нашел Исакова. Тот лежал в кювете у дороги рядом со своей машиной, завернувшись в овчинный тулуп.

— Кто меня спрашивает? В чем дело? — приподнялся он.

Селиванов чуть не фыркнул ему в лицо: нашел человек время отлеживаться!

— Я, командир дивизиона. Пора начинать движение, товарищ подполковник. Темно. Чего еще ждать?

— Послал разведку. Неплохо бы узнать, что она доложит.

— А что она нам может доложить? Что впереди нас ждет противник? Поравняемся, так сами его увидим, без разведки. Если мелкие группы — разбегутся, а нет — вступим в бой. Не знаю, как пехота, а мои настроены решительно — прорываться, и никаких чертей. Впереди будет идти батарея, на этот счет ей задача поставлена определенная. Неплохо бы вперед для прикрытия и одну вашу машину ПВО. Вдруг внезапный наскок или что иное... Не возражаете?

— Ну что ж, если вы настроены так решительно, начинайте движение, мои потянутся следом, — после некоторого раздумья ответил Исаков. Он смертельно устал и был рад, что кто-то другой возьмет на себя не только хлопоты, но и ответственность за это рискованное дело. У него уже попросту не хватало на это сил. — Там в машине сержант, скажите ему, что он в вашем распоряжении.

Селиванов прошел к установке ПВО, открыл дверцу кабины, приказал шоферу:

— Ваша машина в моем распоряжении. Выезжайте в голову колонны, поведете за собой полк. Дорогу к переправе помните?

— Днем нашел бы, а сейчас не ручаюсь, товарищ капитан, — ответил шофер.

— А вы, сержант?

— Не найду. Помню, что ехали мимо каких-то лагерей, но ведь тут еще всякие развилки...

— Ладно. — Селиванов обернулся, отыскивая взглядом своего невольного попутчика. — Старший политрук, вы из политотдела, дорогу туда найдете. Садитесь в кабину и показывайте.

Сказано это было решительно, словно он наперед знал о согласии. Старший политрук какое-то мгновение колебался, потом кивнул — согласен.

— Сержант, уступите политруку место в кабине, а сами станьте к установке, за пулеметы. И не выпускайте их из рук. Как с патронами, есть?

— Полный боезапас.

— Вот и не жалейте их на сегодня. Выйдем из окружения — пополнитесь. Вперед!

Машина заурчала, двинулась. Шофер, выкручивая баранку, вывел ее из колонны и повел обочиной дороги. Сержант стоял на крыле, покрикивал, чтоб люди сторонились. Счетверепная установка колыхалась на ухабах, шла на ощупь, медленно, не зажигая фар. Селиванов шел следом.

Головная батарея уже была готова к движению, поэтому задерживаться не пришлось. За машиной тронулись орудийные упряжки — одна, другая, третья. Потом зарядные ящики, повозки. Зацокали копыта лошадей по стылой земле, зашуршали плащпалатки, заурчали машины. Мимо Селивапова, вытягиваясь в нитку колонны, стал разматываться весь клубок войск — машин, повозок, людей, орудий. Ни говора, ни вспышек света, только неизбежный глухой шум, хотя каждый берег тишину. Когда мимо пошел один из батальонов Исакова, Селивапов поправил на груди черный трофейный автомат и пустился вдогонку за головной батареей. Его место там. Все будет решаться впереди, а задние не отстанут, будут тянуться, как нитка за иглой, за его орудиями.

Произывая темноту, через дорогу перелетают трассирующие пули, посылаемые откуда-то сзади, с боков. Сплохи ракет высветляют по временам небо, и тогда прорисовываются темная громада ползущей по дороге колонны и кудлатые сосенки по сторонам.

Крутов держался рукой за повозку, чтобы идти вровень с задним колесом. Им разрешили поставить пулемет на повозку, в ногах у раненых. На повозке пулемет можно держать в готовности, только поверни его в пужную сторону и открывай огонь. Раненые понимают это и не ропщут, хотя им и приходится лежать поджавши ноги.

Приказ определенный — на огонь противника открывать залповый огонь из всех видов оружия. Прорываться!

Нервы напряжены до предела, а тут еще густая осенняя темь, не видать ни зги, будто идешь под черным сукопным одеялом. Такие ночи бывают на Дальнем Востоке в середине лета, когда начинается лёт светлячков. Они похожи на блуждающие голубые искорки. Такая искорка, как бы в ритм дыхания насекомого, то угасает, то разгорается. Можно взять светлячка и посадить на волосы любимой. Призрачного голубоватого света достаточно, чтобы увидеть глаза или губы, осветить ладошку, сложенные ковпачком... Сейчас тоже летают «светлячки», но такой приложится — и помпай человека.

Постанывают в повозке раненые при толчках, шумно дышат лошади. Им тяжело тащить перегруженные повозки, они уже который день не видят овса. Лошади тоже прислушиваются, стригут ушами, словно понимают всю глубину опасности и разделяют ее вместе с людьми.

Внезапно в стороне взлетела ракета. Она чертит искристый след, потом, уже в зените, разгорается и заливает светом дорогу с вытянувшейся по ней черной колонной войск. Тени бегут по редколесью, и каждый куст, пепек кажутся фигурами врагов. В прихлынувшей черноте воздух бичами выхлестывают трасси-

рующие пули. В колонне на мгновение наступает замешательство, но уже в следующую минуту уверенно вскипает частая пулеметная пальба. Четыре пулемета установки ПВО покрывают все шумы и буквально секут перед собой кустарники, деревца, все живое. Ленты через два-три патрона пачилены трассирующими пулями и дают огнистую струю.

Вразной несутся над колонной команды на огонь. Бухает гулкой артиллерийский залп. Огненные сполохи орудийных выстрелов кинжалами вспарывают темноту. Теперь и в конце колонны вскипает торопливое клокотание пулеметов: это наращивают силу огня другие установки ПВО. Дробью прокатывается частая ружейная пальба. Гулко, покрывая все другие звуки, бьет с повозки пулемет Лихачева.

Стрельба стихает так же внезапно, как разгорелась. Молчит дорога, молчит и лес в стороне. В черной темени ни огонька, ни вспышки, словно все замерли и чего-то выжидают. Потом раздается глухое урчание машин и общий шум движения.

— Причесали фрица, — удовлетворенно говорит Лихачев. — Не скоро теперь сунется.

— Под таким огнем побывать — второй раз не захочешь, — ответил словоохотливый Сумароков. — Четыре машины — это, считай, шестнадцать пулеметов, да еще наши. Вжарили будь здоров.

Повозка трогается. Крутов на ходу достал из подсумка повую обойму, зарядил карабин. На этот раз он оставался спокойным, выпустил все пять патронов, целясь туда, откуда взлетела ракета. В душе расправляет крылья уверенность. Такое состояние не только у него — у всех, даже у тех, кто бегал во время суматохи вечером. Люди словно почувствовали свою грозную силу и перестали страшиться. У них есть цель — вперед, на прорыв, и эта цель сплачивает их в единую монолитную массу.

Ходят, бродят автоматчики противника по сторонам, не решаясь встать на пути колонны, кусают издали пулеметной внезапной очередью, автоматной трескотней паугад. На каждый такой выпад — шквал, ливень ответного огня. Короткий, яростный, он не дает противнику подступиться даже в темноте.

Но каждый такой ответ — это задержка, остановка, а колонна и так ползет еле-еле, потому что каждый шаг вперед надо делать осмотрительно. А тут еще холодная морось заледенила одежду, оружие, лица, все, за что ни возьмись, скользкое и холодное, как сама дорога, по которой приходится идти.

Сельванова раздражают эти частые остановки. Через каждые триста—четыреста метров приходится разворачивать орудия, вести огонь, отгонять от дороги автоматчиков. И без этого пельзя.

Нельзя противнику позволять безнаказанно вести огонь. Обнаглает — на шею сядет, шагу не даст ступить. Даже бесприцельный огонь приносит потери: есть убитые, раненые, вышло из строя несколько лошадей. Пришлось в артиллерийские упряжки перепрячь нестроевых лошадей, а повозки бросить.

Но теперь он спокоен за исход: как ни медленно движутся, а конец виден. В минуты затишья уже слышна пулеметная стрельба, за которой — паши. Еще немного — и перестанут кусать автоматчики сбоку, сзади, еще километр-полтора — и прорвемся.

Наверное, это чувствует и противник, потому что решил на засаду. Об этом донесла разведка. Теперь она щупает дорогу впереди. Разведчики слышали немецкий говор, подобрались потихоньку и увидели, что гитлеровцы окапываются на пригорке.

Селиванов решил напасть первым. Он остановил колонну и повел вперед автоматчиков, которые как-то сами сгруппировались вокруг него. Сюда вошли своя разведка, полковая, офицеры штаба дивизиона, взвод управления. По дороге, вручную, артиллеристы катили следом орудия. Они горели жаждой отомстить врагу за свои мытарства. Двигались в полной темноте, ожидая, когда противник сам покажет себя ракетой. И как только она звилась, батарея открыла беглый огонь прямой наводкой. Какают сотни метров отделяла ее от противника, не успевшего еще окопаться. Вспышки выхватывали из темноты пригорок, кусты, сосенки, широкую развесистую придорожную рябину. Иногда мелькала фигура гитлеровца.

Батарейцы били почти в упор, сметая все живое со своего пути. Громкое «ура!» и густой автоматный огонь погасили короткое сопротивление врага, застигнутого врасплох. Засада была разгромлена. Сколько там было гитлеровцев — рота, взвод — в крошечной темноте некогда было разбираться. Важно было одно — дорога к своим свободна. Вперед! Быстрее на соединение с основными силами дивизии.

Но мешкали что-то батарейцы четвертой, суетились возле орудия. Оказалось, что пулеметной очередью от ракеты напал убило комбата. Даже не вскрикнул бедняга. Тело командира наконец завернули в плащ-палатку, уложили на лафет орудия. Подошли упряжки, и колонна покатила, застучала по неровностям дороги, зашуршала.

В первом часу ночи на двадцать девятое октября авангард достиг Ворошиловских лагерей, где оборонялись кавалеристы. Через их связь Селиванов доложил в штаб дивизии о своем положении, и Горелов послал в штаб армии внеурочное донесение, что связь с окруженным полком восстановлена, что полк выходит.

## Глава тринадцатая

В одну ночь с Исаковым из окружения прорвался и батальон Фишера, находившийся в заболоченном лесу у большака севернее Толутино. Не будь кавалеристов, которые разгромили группы автоматчиков в районе Ворошиловских лагерей и вызволили из плена тылы исаковского полка, не будь этого встречного патиска, Исакову пришлось бы много труднее.

Но сейчас все позади: потрепаанные боями подразделения сосредоточились в Ново-Путилово. И хотя даже здесь ночью не было тишины, не раз возникала перестрелка с бродячими группами автоматчиков, утомленные бессонной ночью бойцы уже мало обращали внимания на стрельбу. Рядом с КП дивизии они чувствовали себя в безопасности и спали, кто где сумел пристроиться: по уцелевшим сараям, ригам, просто в повозках и под ними, кинув под бок охапку соломы.

Густая низкая облачность давила на землю, и наступающий день больше походил на сумерки. Волга струилась тяжелая, угрюмая, будто налитая свинцом. Ельники на противоположном берегу выглядели не лесом, а острозубчатой скалистой грядой, у подножия которой лепятся маленькие деревенские домишки. Земля казалась вымершей, безлюдной, придавленной тяжелыми зимними облаками.

Только у паромной переправы, куда шел сейчас Горелов, суетились, работали люди. Одни наводили временный, на понтонах мост, другие переправляли на паромах подходивший к Волге транспорт тыловых подразделений.

Горелов стремился в первую очередь освободить правый берег от громоздких тылов, а уж потом браться за переправу боевых подразделений. На строительстве моста бесменно находится комиссар дивизии; теперь здесь самый ответственный участок: наведут своевременно мост — и дивизия оторвется от противника.

Фактически только мост и держит еще Горелова на правом берегу; будь он готов, можно со спокойной совестью уходить на левобережье. Все, что было в человеческих силах, дивизия сделала: захватила Толутино, четыре дня держала дорогу на Калинин, отбивая натиск превосходившей по численности и по технике немецкой пехотной дивизии.

И после этого Исаков сумел еще вывести полк и всю материальную часть из окружения, ничего не оставив врагу.

Утром Горелов успел накоротке побеседовать с Исаковым, хотел уточнить, что все-таки осталось в полку после всех передраг, но Исаков, оставшийся фактически без штаба, ничего опре-

деленного о боевом и численном составе доложить не мог. Днем осмотрятся, подсчитают.

Горелов понимал его состояние и не бранил, не высказывал упреков, хотя их накопилось достаточно за эти несколько дней. Не время разбираться в промахах и ошибках, когда враг виснет на плечах.

Комиссар, увидев комдива, пошел навстречу.

— Ну, как тут дела, Дмитрий Иванович? — спросил Горелов. — Когда обещают мост?

— Одну треть настелили. Если авиация не помешает, сегодня вечером можно начинать переправу.

— Авиация... — Горелов, а за ним и комиссар придирчиво исследуют небо — не видно ли где в облаках прорехи? — Нет, глухо, не должно быть сегодня авиации. Значит, вечером пачем переправу. Надо спешить, чтобы нас не опередила сто десятая...

— Буду нажимать, — отвечает комиссар. — Тылы Фишера уже на левом, сейчас идут машины артиллеристов.

— Надо форсировать, — сказал Горелов.

Комиссар кивнул: они понимают друг друга. Надо в первую очередь выдернуть на левый берег все громоздкое, технику, а с людьми проще.

\* \* \*

Начальник санслужбы полка военврач Спириин привел к Волге обоз с ранеными. На подводах лежали тяжелые и те, кто не мог передвигаться из-за ранения в ноги. Повозки переполнены — по пять-шесть лежачих, и на передках на месте ездовых, которые шагают рядом. Лошади еле-еле волокут перегруженные повозки и на привалах стоят понуриив головы.

Впереди Волга неторопливо катит свинцово-серую до дрожи холодную воду. Правый берег высокий, обрывистый, да еще на нем монастырь и парк, поэтому река кажется неширокой, но коснись, мало кто одолеет ее в такое время вплавь. А положение таково, что того и гляди гитлеровцы заставят купаться. Поджимают, проклятые, видят, что дивизия оставляет позиции, и пытаются посеять панику, прорваться в незащищенные промежутки группами, насаждают на заслоны, стремясь воспрепятствовать отходу дивизии па правый берег.

Небо хмурое, облака ползут, едва не задевая за верхушки деревьев. Авиации нет, поэтому возле паромной переправы столпились машины и орудийные упряжки. Рядом саперы наводят мост на понтонах, но это для пехоты, чтоб отвести ее разом, быстро. А пока надежда на паромы, к которым не подступиться.

Спириин вышел вперед, долго примеривался, откуда лучше

подвести свой обоз, чтоб не стоять в хвосте, а скорее вытащить раненых на правый берег. Там, в Хвостово, их возьмут машины и доставят в медсанбат. Он не может ждать, пока переправится артиллерия. Машины, орудия не стонут, не кричат, не молят о помощи, не страдают от недостатка ухода, от неудобств эвакуации, а у Спирина люди — искалеченные, потерявшие много крови, требующие новых перевязок и обработки ран. Многие пахотятся на повозках уже трое суток, на холоде, в памокшем от крови белье. Каждый час промедления стоит кому-то жизни.

Спирин, измучившийся за эти дни, издерганный всеми, кто только мог его стращать, уже никого не боялся, ни с кем не мог считаться. За его спиной две с половиной сотни раненых — огромный обоз, их надо вытащить, и он это сделает, а там пусть с ним расправляются как хотят. Если он что-то нарушил, какие-то правила или распоряжения.

Приказав ездовым повозок ни на шаг не отставать и никому, кто бы ни был, дороги не уступать, Спирин врезался со своими повозками между головными в колонне артиллеристов орудиями. Ездовые орудийных упряжек не решались напирать на повозки с распростертыми обескровленными людьми. И когда пришла пора спускаться к очередному парому, туда вышли повозки, впритирку одна за другой.

Полковник Найденков, руководивший переправой своих, увидев, что лезут «чужаки», разразился матом и, выхватив пистолет, бросился наперерез подводе:

— Назад! — заорал он грозно. — Немедленно заворачивай! Расстреляю...

Огромный, побагровевший от гнева, он палетел было на ездового, тот юркнул за повозку. Тогда Найденков рванул за узду лошадь, ухватился за дышло и начал заворачивать лошадям морды кверху, чтоб осадить их назад, не соображая, что назад, на подъем, лошадям не вытолкнуть тяжелую повозку, переполненную людьми. Лошади, уже ступившие передними погами на паром, оседали на задние, храпели, грозя разнести ограждение и свалиться с повозкой в воду. Загомопили, закричали раненые, видя, что их не пускают к спасительному правому берегу:

— Что мы — не люди! Нам здесь погибать, загипаться, да? Пока здоровые были, так пужны, а теперь пропадай...

Ездовые, предупрежденные Спириным, напирали, не давая и на дециметр сдать повозку назад. Затоп. Пробка. И орудия где-то за этими обозниками. Раззявы! Позволили вклиниться... Найденков вылетел на береговой срез, чтоб разогнать этот не ко времени обоз, разнести своих ротозеев, мало обращая теперь внимание на то, что повозки одна за другой выстраиваются на паро-

ме. Под руки ему подвернулся Спириин — хозяин этого обоза, Найденков сразу понял, что это он, едва взглянул на его зеленые петлицы со «шпалами» и позлащенными эмблемками медиков — чаша со змеей.

— Это вы, вы! — заорал он на него. — Какое вы имеете право срывать переправу артиллерии! Немедленно в сторону...

— Не орите! — осадил его Спириин. — У меня раненые, я отвечаю за их жизнь.

— Наплевать мне, за кого вы отвечаете! А вот я отвечаю за артиллерию, и если вы сейчас же не уберете свои повозки, я прикажу их вышвырнуть...

— На повозках люди. Трое суток без помощи и пищи...

Они бы еще препирались, один красный от гнева, огромный, другой ему по плечо, с побледневшим лицом и яростно сузившимися глазами, с желваками, перекатывавшимися на исхудалом лице, если б на крик не подошел от моста Шмелев.

— Что здесь происходит? Почему не отправляете паром?

— Этот пахал вклинился со своим обозом...

— Спокойно, не порите горячки. Чьи раненые? Исакова? Пропустить немедленно. Чтоб ни одной повозки здесь не осталось. Сколько у вас?

— Назначил фельдшера, чтоб записал всех и учел, — ответил Спириин. — Примерно — две с половиной сотни...

Лошадей с повозками теперь заводили на паромы беспрепятственно. Найденков умчался куда-то в хвост колонны подтягивать своих, и Спириин немного поостыл, успокоился. «Спасибо, доктор!» — благодарили его раненые, исстрадавшиеся и теперь немного воспрявшие духом, понимая, что на правом берегу их ждет уход и помощь. Многих он знал в лицо, многим лично оказывал необходимую помощь, когда находился при штабе Исакова.

В этом бою за Толутино ему досталось чуть ли не более всех, потому что, когда полк был отрезан, сапрота осталась в Ворошиловских лагерях, а он с фельдшерами батальонов и санитарями вынужден был принимать раненых и как-то их сберегать все эти дни. В батальонах эвакуацией занимались плохо, из-под палки, когда нажимал Матвеев. Наше дело — бой, а ранеными пусть занимается сапрота!

Спириин с самого пачала находился словно между двух огней. В сапроте приходилось с матюками и разносами заставлять шевелиться нерасторопного ленивого врача — командира роты, потом бежать туда, где шел бой, чтоб паладить эвакуацию, проследить, как идет прием раненых. На второй день боя, на пути к штабу полка ему повстречался начальник связи и сказал, что весь штаб и командование погибли: снаряд угодил в штаб...

Спирин бегом помчался туда и действительно увидел там страшную картину: палатка изорвана осколками, на земле валяются раненые писари, помначштаба по строевой части лежит с помертвелым лицом и оторванной по локоть рукой, другой — лейтенант, скорчившись в неглубокой недорытой щели беспрепятственно твердит «холодно, холодно, холодно...», находясь в тяжелейшем состоянии от контузии. Какой-то подполковник сидит на пне, уронив голову на грудь, и череп у него срезан осколком, и лицо залито кровью. «Уж не Сергеев ли?» — подумал Спирин, но это оказался начальник разведки дивизии, застигнутый мгновенной смертью, когда что-то записывал в книжку. Сергеев был в палатке и тоже пуждался в помощи. Спирин быстро организовал тогда перевязку раненых и эвакуацию: к счастью, подвернулась машина, идущая к переправе.

Он мужественно переносил чужие страдания, не терял деловитости и присутствия духа, хотя война с таким обилием крови и для него была впервые. Только белесые брови теснее сходились к переносью да играли желваки на скулах, а в серых глазах появлялся стальной острый блеск.

В батальонах тоже были раненые. Спирин группировал их неподалеку от штаба, и подполковник Исаков негодовал, грозил ему карами, что он посмел собрать их возле штаба, кричал при встречах, что они мешают ему руководить, что они демаскируют штаб. «Убирайся с глаз!» — требовал он. Когда раненых собралось более чем на два десятка повозок, Спирин направил их в сапроту, не подозревая, что дорога туда уже перерезана автоматчиками. Исаков не торопился ставить об этом в известность начальников служб, чтоб не паниковали, и Спирин дал старшему повозочному — коренному сибиряку Воробьеву команду трогать. Повозки быстро скрылись в лесу за очередным изгибом дороги. И тут на Спирина, угрожая в горячке расстрелом, налетел Матвеев: «Да знаете ли вы, что отправили раненых в плен! Вы соображаете что-нибудь или уже ни на что не годны?! Дорога перерезана! Немедленно, как хотите вызволяйте раненых, иначе расстреляю!..»

Для Спирина это было полной неожиданностью, и он, мало думая, чем сможет помочь беде, с одним сапитаром помчался вдогонку. Если сотня раненых попадет в плен — ему не жить, расстреляют. Это он понимал. Но как догнать, предупредить?..

На его счастье, на головной повозке находился Воробьев. Он внимательно смотрел вперед и первый заметил гитлеровцев. Соскочив с повозки, он начал отстреливаться из автомата, давая другим возможность развернуться в обратном направлении. Спирин готов был обнимать находчивого бойца, когда увидел, что обоз возвращается.

В окруженном полку накопилось до двухсот раненых. Они прибывали из батальонов, их число возросло во время прорыва полка, раненые вливались даже здесь, на переправе, потому что пули достигали и сюда.

Вот на повозке Сергеев. В последний день, когда уже готовились к прорыву, ему стало так плохо, что он с трудом держался на ногах и попросил Спирина устроить его на повозку, боясь, что в суматохе с машиной что-нибудь случится, и его забудут. «Не оставляйте меня, доктор», — умолял он. Рядом с Сергеевым в повозке недвижим и похож на бездыханный труп лейтенант с повязанной головой. Он ушел в разведку — Исаков направил группу человек сорок во главе с адъютантом батальона Дудко, чтоб прощупали силы гитлеровцев, да так и не дождался их назад. Вернулся этот лейтенант в пробитой каске и, доложив: «Все погибли... автоматчики...» — почти замертво свалился у ног Исакова и с тех пор не приходит в сознание. Выживет ли...

Спирин провожает их, мысленно подсчитывая численность. Да, он не ошибся; когда докладывал Шмелеву. С каждой отправленной повозкой в душе у него словно бы расправлялась стиснутая пружина, спадало напряжение этих тяжелых дней. Главное — вывезти из-под удара раненых, а за свою жизнь не опасался.

Подошел Найденков, настроен миролюбиво:

— А ты, военврач, молодец, ловко вклинился!

\* \* \*

Полк Исакова переправлялся через Волгу под пулями. Это летучие группы противника нажимали на заслон, стараясь прорваться к мосту и отрезать последних защитников правобережья от основных сил дивизии.

Крутова в Ново-Путилово в штаб не вызвали по той простой причине, что Сергеев сразу уехал в медсанбат на левый берег, — у него сильно разболелась раненая рука, похоже, что началось заражение крови, а Тупицин попросту не знал, что ему делать в подобной обстановке. И, конечно, ему было не до того, чтобы вспоминать про Крутова.

Вот он и не отрывался от своей четвертой стрелковой роты, от друзей. События этой ночи сблизили их так, как никогда раньше. Казалось, нет никого роднее, чем те, с кем прорывался из окружения. Беда всегда роднит людей, а на фронте это проявляется с особенной силой. Даже мысли текли у них сейчас одинаковые. Крутов думал о том, как много осталось позади павших товарищей — Газина, других. Многие так и остались лежать на сырой земле пезахороненными — не успели, не до этого было.

— Знаешь, — сказал Лихачев, — мне теперь Калининская область вроде родной: вовек не забуду. Сто лет проживу, помнить буду. И эту ночь, и все, все...

За одну ночь появилось в его облике что-то новое. Крутов смотрел на него, пытался определить: вроде все знакомое и в то же время не то. Не тот стал Лихачев. Может, суровости прибавилось, жизненного опыта?

— Такое трудно забыть, это навеки...

— Дали фрицам прикурить здорово! — сказал Сумароков. Он почерпел лицом, грубые и без того черты обострились, глубже стали складки от носа к губам, запали глаза. Только блеск их оставался прежним. Он настолько ожесточился сердцем за эти дни, что при слове «фрицы» даже зубами скрипнул: — Гады! Глотки рвать буду...

— Этим их не возьмешь. Пока до их глотки доберешься, они тебя десять раз в землю вгонят. Думать надо, умней воевать надо. Мы их до этого в основном нахрапом брали, да видишь, сколько нас осталось. Надо как-то не так... — Лихачев словно размышлял вслух, неторопливо взвешивая и процеживая каждое слово.

Крутов был согласен: воевать надо как-то умнее, осмотрительнее, что ли.

— Помнишь, — сказал он, — когда я на Ковале зарвался, Туров меня к себе вызывал? Так он еще тогда говорил, что учиться больше надо, в мирное время готовиться к тому, чтобы заменить в бою и командира взвода и командира роты, если пужда в этом появится. Он мне еще тогда на немцев указывал: смотри, мол, как они в Бельгии крепость блокировали. А ну-ка нам доведись, сумеем так?..

— Туров — голова, серьезный мужик. Я бы его уже сейчас на батальон поставил, и, честное слово, проку было бы больше, чем от иных...

— Ну, ты, Костя, слишком! — не согласился Лихачев. — Тебе дозволю, так ты и нас всех в комбаты двинешь.

— А что? — загорячился Сумароков. — Тебя я на командира пулеметы хоть сегодня поставил бы. Что ты, хуже какого лейтенанта, что сегодня из училища вышел? Опыт есть, в бою не растеряешься, что еще надо! Пашку бы в штаб — адъютантом. Карты он понимает...

— Р-ро-та, подтянись! — раздался окрик Тулова.

Он стоял перед спуском с берега, на срезе, и глядел на своих измученных стрелков, пулеметчиков, задымленных, чумазных, тяжело волочивших ноги, в помятых шинелях, шагавших вразброд. Ему хотелось, чтобы на мост они взошли дружно, тесным строем,

как положено воинскому подразделению, потому что при входе на мост стоял полковой комиссар с четырьмя «шпалами» па петлицах шинели и оглядывал проходивших придирчивым взглядом. Было в прищуре его глаз что-то не то надменное, не то иронически усмешливое, и Турову, поймавшему этот его взгляд, очень не хотелось, чтобы он вот так же посмотрел и на его роту. Что вид? Дай людям отдохнуть день-два, помыться, и они станут неузнаваемы. Их мало, но те, что остались, — какие люди! Им все по плечу, сам черт не страшен!

Передние, поравнявшись с командиром роты, чуть придержали шаг, давая возможность задним подтянуться и уплотнить строй.

— По настилу идти не в ногу, — предупредил Туров и зашагал вниз.

Оказавшись рядом с полковым комиссаром, он полуобернулся, подал команду:

— Р-рота, смирно! Р-равнение направо!

И рота, может не блестяще, но исполнила эту его команду и прошла мимо комиссара, прижав руки по швам и повернув голову в сторону начальника. Тому ничего не оставалось, как тоже стать по стойке «смирно», пока мимо шла эта небольшая группа бойцов во главе с таким подтянутым командиром. И Дмитрий Иванович — это был он, комиссар дивизии, — подумал, что, несмотря на вынужденный отход, боевой дух бойцов не сломлен, что пройдет какое-то время — и дивизия снова будет боеспособна, наберется сил, потому что костяк остается крепким. Вот выйдет дивизия из боя, может, дадут ей передышку, пополнят, и тогда придется снова разворачивать подразделения, пересматривать оставшийся командный состав, думать, кого и на какое место поставить взамен выбывших. А выбыло много — и командиров рот, и комбатов, и кое-кого повыше рангом. Этот же старший лейтенант ему понравился тем, что не опускает носа и держит своих бойцов в руках. На людей у него была цепкая память, и он надеялся при случае его вспомнить. Он не стал спрашивать фамилии, потому что знал — мимо проходит полк Исакова, и при нынешнем его составе найти старшего лейтенанта будет нетрудно. В это время опять откуда-то издали прорвалась к переправе пулеметная очередь, и пули жадно зацвкали над речной поверхностью: фью-фью-фью!

— Быстрей! — махнул рукой комиссар, и Туров скомандовал своим: «Бегом!»

Вереница людей, шагавшая по мосту, припустила бегом.

Дощатый настил покачивался, подрагивал, гулко вторил дробному стуку каблуков, и гул этот раскатывался над свинцово-

серой Волгой. А на правом усиливалась, кипела, захлебывалась пулеметная и автоматная пальба, над темным лесом взлетали в хмурое небо ракеты — красные и белые: знать, гитлеровцы нацеливали огонь артиллерии и минометов.

Вот и конец моста. На каждом понтоне дежурили саперы, они беспокойно поглядывали на правый берег, их тревожила эта близкая стрельба.

Четвертая выскочила на береговой обреш. Перед глазами встали грязно-бурое облупленное здание хвостовского монастыря, небольшой прилегающий к нему парк, черные шапки галочьих гнезд на деревьях.

Крутов оглянулся: с противоположного берега сюда на левый шел полковой комиссар. Узким прерывистым ручейком по мосту текли через Волгу люди. С правого берега спускались какие-то запоздавшие артиллерийские упряжки и машины. Может, их и ждут, чтобы, как только они пройдут, взорвать мост? Крутову хотелось посмотреть, как это произойдет, он чувствовал, что этот момент недалеко.

Стрельба усилилась, теперь пули высвистывали свою смертельную ноту и на левом берегу. Стоять тут уже было опасно. Знать, гитлеровцы прорвались к Волге где-то возле Ново-Путилово и теперь обстреливали из пулеметов мост, чтобы как-то помешать переправе.

Рота уходила куда-то вправо от Хвостово, пора было с ней расставаться.

— Товарищ командир, — обратился Крутов к Турову, — разрешите мне идти в штаб?

— Иди, Крутов. Говорят, штаб должен быть в Гильнево, это километрах в трех-четырех. Туда и иди. Желаю тебе удачи.

— Спасибо! — И в порыве охватившей его признательности к этому суровому, но такому справедливому и доброму человеку воскликнул: — Товарищ командир! Я никогда-никогда не забуду, как много вы для меня сделали!..

Крутов покраснел, ему было неловко, что он не смог совладать с волной прихлынувших чувств — обожания, уважения, что не в силах был промолчать и унести с собой невысказанными эти слова.

Но и промолчать нельзя. Время такое, что не знаешь, как распорядится тобой война, — оставит тебя в живых или уложит под кустом навсегда, и человек никогда не узнает, что семена, посеянные им в душе рядового Крутова, проросли, дали всходы. Да и зачем молчать? Если критикуем не стесняясь, так почему хорошие слова те, что окрыляют, приберегать до какой-то особой минуты, будто они испортят того, кто делает большое и нужное

дело? Нет, Крутов готов был, если необходимо, повторить свои слова.

— Хорошо, Крутов. Я рад, если помог тебе в трудную минуту, хотя, откровенно, и не знаю определено, в чем это выразилось. Но раз ты говоришь, пусть так и будет. Я делал не больше того, чем велел долг. Старайся и ты исполнять его всегда и везде, как подобает советскому человеку, комсомольцу. Плати добром не тому, кто тебе когда-то помог, а другим, тем, кто в этом нуждается. Добро, как шапка по кругу, идет от одного к другому, а не возвращается назад. Оно должно нарастать, в этом закон человечности, без этого мы не могли бы существовать. Старайся и ты быть всегда справедливым.

— Спасибо. Я постараюсь!

— И главное — не забывай своих товарищей, свою четвертую. Пусть пройдет война, много-много лет, а ты все равно не забывай.

Туров, приотставший за разговором от роты, пожал Крутову руку и пошел. Шагов через полсотни оглянулся, увидел, что Крутов смотрит ему вслед, и поднял руку: прощай! Счастливо! До встречи!

У Крутова защемило на сердце от острого чувства одиночества. Наверное, таким одиноком бывает в первые минуты щенок, отбившийся от матери и оставшийся наедине с огромным пугающим миром. Надо было искать штаб, свое новое пристанище.

У переправы на срезе стояли комдив и комиссар. Они глядели за Волгу и о чем-то разговаривали — может, о том, как долго еще сумеет продержаться заслон на том берегу и не осталось ли там орудий, тяжелого имущества. Потому что после того, как возьмутся за ручку подрывной машинки и мост взлетит, думать об этом будет поздно.

Из-под берега, как из-под земли, выростали фигуры бойцов, подымавшихся с моста: головы, плечи, руки, зажавшие оружие. Казалось, сама земля рождает защитников, суровых, беспощадных. Крутов заворожено смотрел на эту картину, стараясь впитать, навсегда унести ее с собой, чтобы потом, когда придет время, поведать о ней людям. В этой почти аллегоричной, как сказка о тридцати трех богатырях, картине он, обогащенный событиями последнего месяца, видел разгадку неистребимой стойкости русского народа. Нас не победить, думал он, потому что мы дети родной земли, она дает нам силу...

Он не стал долго задерживаться у переправы, чтобы не попасться на глаза большому начальству, и, не дождавшись взрыва, подался в Гильнево. За спиной, не умолкая, кипела стрельба, накатываясь все ближе к переправе.

Штаб полка расположился в Гильнево часа два назад. Исаков получил приказ занять батальонами оборону по берегу Волги, чтоб не допустить форсирования реки гитлеровцами. Комбаты задачу знали, поэтому подразделения прямо с моста расходились по своим участкам.

Временный мост у Хвастово был взорван, как только гитлеровцы подошли к Волге. За этим наблюдал сам Горелов. Большую часть понтонов, как бы связанных настилом в одну цепочку, прибило течением к левому берегу, но вытащить их на сушу уже не представлялось возможности — противник обстреливал левый берег вовсю.

Когда Крутов появился в штабе, он прежде всего встретил Лузгина — комбата, назначенного только что на должность начальника штаба. Вместо первого помощника Тупицина, отозванного в батальон, из штадива прислали старшего лейтенанта Морозова — бывшего пограничника, не спявшего еще ни зеленых петлиц, ни кавалерийских эмблемок.

Рыжеватый, остролицый, с прозеленью в веселых глазах, он приветливо улыбался и, кажется, совсем не чувствовал скованности в новом для него штабе.

— А вот и ваш писарь, — сказал Макаров, ПНШ по разведке, увидев Крутова.

— Хорошо, что вы так кстати пришли! — Морозов протянул руку. — Надеюсь, мы с вами сработаемся. Морозов Василий Иванович. Это чтоб знали, на всякий случай.

— Постараюсь быть вам полезным, — ответил Крутов, немного польщенный таким уважительным отношением. Тупицин, так тот ни разу не назвал даже по фамилии, не увидел в нем человека. Крутов был для него только писарем, бойцом на худой конец. — Крутов! Рядовой Крутов...

— Вот и познакомились. А дружба придет. Верно? А теперь за работу. Срочное задание. Надо вычертить схему вот этого участка карты. Масштаб пятьдесят тысяч. Это рубеж, на который полку, возможно, придется отходить.

Крутов взгляделся в карту: рубеж обороны проходил по западному берегу реки Тьма — притоку Волги — и по Шостке. Естественная преграда.

— Прощу быстрее, — сказал Морозов. — Я пока кое-что уточню с начальником штаба.

Но Лузгин подошел к нему сам.

— Старший лейтенант, быстро берите в комендантском взводе лошадей — и на рекогносцировку рубежа. Командир полка при-

казал немедленно наметить участки для обороны батальонов. Выезжайте не мешкая. Бумага потом, подождет. Вам задача ясна?

— Все понятно, товарищ капитан!

— Вот и хорошо. Людей свободных нет, поэтому берите своего писаря и поезжайте. В тыл едете, не куда-нибудь. Вся документация потом...

День был хмурый, по-осеннему промозглый. Ехать приходилось то мрачным, будто оцепелелым лесом, то полями, на которых спротливо стояли суелоцы необмолоченного хлеба. Война подобрала мужчин, а женщины не успели свезти хлеб с поля, и теперь в приникших к земле спонах жировали мыши, точили зерно. Рядки пожухлой стерни убегали на край поля и там сливались с полоской кустарника.

Среди полей ехать было как-то веселее, а в глухих ельниках лошади и те стригли ушами, пугливо прядая при неожиданным треснувшим сучке или крике ворона.

Морозов ехал задумавшись, и Крутов не решался затевать пустые разговоры. Лошади шли гуськом, след в след.

Впереди показалась деревня. Избы выглядели опустевшими, на улице тоже ни души. Только проезжая ровень с окнами, Крутов заметил, как мелькнуло за стеклом лицо старухи, и тут же скрылось пугливо в темной глубине избы.

Население, напуганное приближением «германца», не показывалось. Мужчины воевали на фронтах, кое-кто успел эвакуироваться заранее, а старики и старухи остались присматривать за родным гнездом, надеясь, что «германец» их не тронет. Глядишь, как-нибудь и переживут лихо. Так рассуждали многие.

Морозов достал карту из планшета, убедился, что деревня та самая, через которую предстояло ехать (и расстояние, и направление дороги сходились).

— Не будем здесь задерживаться, расспрашивать, — сказал Морозов. — По-моему, ошибки быть не должно. Едем правильно.

Он стегнул прутиком лошадь, и та пошла крупной рысью. Держался он в седле ловко, как истый кавалерист, непринужденно, испытывая явное удовольствие, а Крутову приходилось туго. Где и когда ему доводилось видеть лошадей, служа в пехоте? Лишь изредка, на учениях, когда разрешали брать повозку под пулеметы, да и то падо было бежать рядом, а не ехать. Вот и казалось теперь, что легче было бы самому бежать рысцой, держась за стремя, чем трястись в седле. Но старшему лейтенанту это было, кажется, псевдомек. К тому же он торопился.

Моста через речку Шостку не было. Из воды торчали только остатки свай. Брод был заметен сбоку по колесным следам, впол-

не пригодный, чтобы пройти людям. Вода едва закрыла стремяца и то лишь в одном месте.

По западному увалистому берегу всадники поехали шагом. Морозов остановился и словно бы размышлял вслух:

— Вот тут не мешало бы пулемет, и на километр вправо-влево ни один фриц не подступился бы к воде. Эх, мало у нас еще пулеметов. Но ничего, скоро всего будет вволю. Как думаешь, Крутов?

— Не знаю, товарищ старший лейтенант, я с самого начала в тылу еще не бывал. Когда ехали на фронт, видел, что много станков эвакуировали, целыми эшелонами нам навстречу галп, а вот успели их поставить на новом месте или нет, не знаю...

— Работает, Крутов, народ. Отчаянно работает, сил не падит, и мы это скоро почувствуем. Да-а... А вот здесь нужна пушчонка-сорокапятка. Видишь, дорога — танкоопасное направление. Как там у нас в полку, сорокапятки остались?

— Нету, товарищ старший лейтенант, все в Толутино погребили, ни одной не осталось. Дианов при мне докладывал командиру полка. Полковые — эти есть.

— Тогда полковую и поставим.

Так они проехали по всему предполагаемому участку обороны полка, намечая приблизительно границы между батальонами. Крутов знал примерно боевой состав подразделений и своими подсказками вносил коррективы. Морозову приходилось считаться с наличием людей и оружия, а не только с уставными требованиями.

Вернулись они в штаб полка, когда день клонился уже к вечеру. Впрочем, разобрать, где кончается день и начинаются сумерки, при такой погоде было просто невозможно. Темнело, мрачнело, низкие облака, казалось, вовсе не оставляют просвета над чернеющими вдали ельниками.

Улучив свободную минутку, Крутов сразу же ринулся на поиски кухни комендантского взвода: надо было поесть самому и принести обед старшему лейтенанту. Ведь работали вместе, с самого утра не ели. Кто еще позаботится о нем?

Впервые за последнюю неделю повара сварили настоящий обед. Крутову отвалили полкотелка картошки с мясом. Отличная штука! С первых дней войны полевые кухни готовили и первое и второе вместе, лишь бы погуще.

Он быстро поел, попросил картошки для своего начальника и довольный побежал в штаб. Там было полно офицеров, связистов, все разговаривали, и от этого стоял приглушенный гул, как в переполненном вокзале. Крутов протиснулся к Морозову, сидевшему у телефона:

— Кушать! Я принес вам покушать.

— Некогда, Крутов, потом.

Крутов отошел в сторонку, но тут запах еды учуял начальник связи полка. Он потянул носом, уставился на котелок:

— Это что у тебя, картошка вроде?

— Вот принес Морозову, а ему некогда...

— Ничего, принесешь еще. Я как раз не успел пообедать, мигом опорожню. Давай сюда.

К начальнику связи подсели еще два человека, гребанули по ложке-другой — и нет обеда.

— Молодец, боец, всегда вот так надо заботиться о своих командирах. Дуй еще на кухню, неси, скажи, я велел!

«Нет, дудки, — подумал Крутов. — Эдак мой Морозов и спать ляжет не евши. Повар и так шкрябал черпаком по дну».

На этот раз он не совался к Морозову, которого захватила и понесла текучка, а решил дожидаться, когда наступит передышка, чтобы тут его и перехватить.

Вести из батальонов поступали тревожные. Несмотря на низкую облачность, звено «юнкерсов» бомбило боевые порядки второго батальона и полковую минометную батарею, стоявшую на позициях вблизи Хвастово.

Первый батальон доносил, что гитлеровцы делали попытку форсировать Волгу на наших понтонах, но были обстреляны и вернулись. Но это было еще днем, когда Крутов и Морозов ездили осматривать рубеж, а сейчас первый батальон уже оставил свои позиции, потому что его атаквали во фланг гитлеровцы. Он находился где-то в движении, и связи с ним не было. Откуда могли появиться гитлеровцы, никто толком не знал, и начальник штаба Лузгин погнал Макарова с разведчиками уточнить, что и как.

Лузгин предполагал, что это подошла сто десятая пехотная дивизия. Если это она и ей удалось переправиться через Волгу у Чапаевки, дело плохо. Сейчас, как никогда, требовались какие-то решительные действия, но Лузгин не осмеливался отдавать распоряжения без санкции Исакова. Командир же еще в полдень уехал на передовую, и ни слуху ни духу.

Матвеев сидел напротив Лузгина, барабанил узловатыми пальцами по столу и прислушивался, о чем говорил тот по телефону, стараясь по интонации, репликам, междометиям догадаться о смысле разговоров. Иногда он врезался в разговор, нетерпеливо спрашивал:

— Что вы мелете пустое! Спросите про Исакова. Где он может быть? Запросите еще раз батарею...

И Лузгин послушно вызывал батарею, батальон, всех, кто еще находился на линии связи.

Все ждали, что вот-вот Исаков заявится, и тогда штабу будет приказано переходить куда-то дальше, ведь батальоны уже покидают рубеж, и никто не думал об охране штаба, обброне. К чему: все равно через полчаса-час сниматься.

## Глава четырнадцатая

Исаков ехал дорогой к первому батальону, хотел убедиться, действительно ли существует угроза форсирования Волги противником, как утверждал Тупицин. Хоть и тяжело было оголять батальон, а пришлось взять Лузгина начальником штаба. Никого другого Горелов ему не дал: в других полках положение не лучше, в резерве командиров нет, выдвигай своих, пусть люди растут. Вот и пришлось — Лузгина двинул на НШ, а Тупицина на его место. Это уже второй батальон из трех, где командуют бывшие адъютанты. Старик Артюхин эвакуирован в тыл, теперь его не дожидаться: перебиты ноги, если и выпишут из госпиталя, так все равно не раньше, как через полгода.

Обо всем этом думалось как-то машинально, словно по инерции; мысли скользили не задерживаясь, не оставляя следа, как ольховые листья по поверхности ручья, подгоняемые осенним ветерком. Думал, а в душе ни сострадания, ни сожаления, что в прошедших бурных событиях можно было что-то сделать иначе, лучше, да не успели или не сумели.

В минометной батарее он застал растерянность, вызванную потрясением от внезапной потери многих бойцов. Надо же, при такой погоде откуда ни возмись — «юнkersы». Бомба упала возле огневой, взрывом опрокинуло и покорежило миномет, покалечило расчет. Есть и убитые и раненые.

Огромная и глубокая воронка возле позиции зияла черным нутром. Мелким крошечком земли, гарью взрывчатки позасыпало ящики с минами, орудия, убитых, которых еще не успели ни похоронить, ни прикрыть плащ-палатками. Они так и лежали, изорванные множеством осколков.

Исаков приехал в тот момент, когда на подводу укладывали раненых. Среди них один совсем молоденький, еще тонкий, как парнишка, прямо-таки с девичьей талией. Ему оторвало ногу по колено, он лежал бледный, как свеча, без признаков жизни, обескровленный, и по озабоченному лицу фельдшера, руководившего эвакуацией, Исаков понял, что дело его безнадежно.

— Карманов. Наш кадровый минометчик, — сказал комбат Исакову. — Грамотный парень. Думали двинуть на командира взвода...

— Многие кое-что думали...

Исаков отвернулся, чтоб не видеть этой ужасной картины, неизбежной при всякой войне, потому что не переносил ни вида крови, ни человеческих страданий. Хватит и того, что он, как командир полка, знает обо всем этом. В конце концов, он тоже человек!

Лишь когда подвода ушла и стало возможно говорить о чем-то ином, кроме раненых, он обернулся к комбату:

— Сколько у вас мин?

— Было по десятку на орудие...

— А орудий — два.

— Выходит, теперь, — комбат растерянно развел руками, — выходит, теперь по пятнадцать...

— Огни пристреляны?

— Да чем пристреливать-то? Данные, конечно, подготовлены. И по Хвастово, и перед батальонами на случай вызова огня. Да какой там огонь! — с горечью произнес он. — И в Толутино огня почти не вели, нечем было, и здесь. Даже обидно: потери несем, а на бой со стороны смотрим.

— А что Мышако? К нему обращались? — Мышако являлся заместителем Исакова по тылу, в его ведении находилось и арт-снабжение.

— Посылал к нему командира взвода. Ничего не обещают. Нашего калибра нет и на ДОПе. Как теперь быть, даже не знаю...

— Что «не знаю», что «не знаю»! Стоять в обороне, и все! Всех в оборону! Нет мин — будете отбиваться винтовками. Или я за вас в окоп сяду?..

— Я понимаю, товарищ подполковник. У каждого на этот случай ячейка для стрельбы вырыта, люди места свои знают.

— Ладно, — смягчился Исаков. — У вас связь с батальонами есть? Где телефон?

— Да. Конечно... Пройдемте.

Исаков был зол. Все смотрят на него: нет мин, так ждут, что он скажет: «Нет, так идите, голубчики, в тыл, все равно стрелять вам нечем». А кто, спрашивается, будет оборонять рубеж?! Небось, Горелов не заинтересуется, были снаряды или нет. Умри, а сделай...

Вслед за Исаковым шагал лейтенант — его адъютант. Коновод остался возле лошадей.

Телефонист сидел в неглубокой, по пояс, норе, прикрытой плащ-палаткой, — все не так холодно коротать время. Он тут же вызвал первый батальон и протянул Исакову трубку.

— Как у тебя, Тупицин? — спросил Исаков. — Кто говорит? Исаков говорит...

Трубка пищала долго, и по мере того как подполковник слушал, выражение его лица менялось. Он хмурил брови, порывался что-то возразить, наконец не выдержал:

— Ерунду вы порете! Поняли? Какие могут быть автоматчики, откуда? Противник за Волгой, перед вами, вот и смотрите, чтобы он не переправился. А у вас в тылу им взяться неоткуда, поняли? Ваш этот командир хоззвода просто пьяница и вдобавок — трус! Пошлите разведку и разберитесь! Вот так.

Исаков клацнул трубкой о коробку аппарата и выпрямился. С лица не сошло еще выражение упрямства и презрительности, с которой он только что выговаривал новоиспеченному комбату.

— Утверждает, что у него в тылу появились автоматчики, — сказал он, никому не глядя в глаза. — Мол, не советую ехать, опасно. Нет чтобы тут же проверить и доложить командиру полка определенно...

— Может, и в самом деле не ехать, товарищ подполковник? Может, лучше повременить или взять охрану? — робко предложил адъютант. — Пусть капитан выделит несколько человек...

— Кого я выделю, — мрачно проговорил комбат, — у орудий стоять некому.

— Ер-рун-да! — отрезал Исаков. — Никого там нет. Поехали.

Подполковник держался в седле непринужденно; так привычно сидит в кресле за столом чиновник, получивший небольшую передышку и возможность расслабить мышцы. Впереди ехал коновод, а замыкал кавалькаду адъютант.

На этот раз лейтенант держался не на полкорпуса лошади сзади, а поодаль, порой осаживая лошадь, когда она пыталась занять привычное место. Сам он был настороже, зыркал по сторонам, оглядывая каждый куст, — не кроется ли за ним гитлеровец. Он понимал, что при любых обстоятельствах, если засада будет, командира полка постараются взять живьем, а с ним церемониться едва ли станут — пристрелят, и все. Не хочет человек послушать умного совета, пусть выкручивается как сумеет, в случае чего. Свой автомат он держал не за спиной, а наготове, положив на луку седла.

Когда позиции минбатареи остались позади, дорога пошла перелесками. Исаков ехал в глубокой задумчивости. Слова Туцицина он не принимал всерьез, считал, что это очередная «утка», чтоб пустить пыль в глаза. Противник еще за Волгой. Вот разве сто десятая появилась на этой стороне, помнится, Горелов об этом предупредил. Ах черт, как он сразу не подумал об этом...

Выстрелы — одна очередь за другой — заставили его вздрогнуть, поднять голову. Лошадь коновода впереди силсилась оторвать зад от земли, упиралась передними ногами, по тут же запрокинулась набок и заскребла копытами. Коновод мешком лежал в стороне, и нога в стремях, согнутая в коленке, обнимала седло. Все это произошло столь неожиданно, что Исаков глядел вытаращенными глазами и ничего не мог понять. В чем дело? Кто стрелял? Почему коновод с лошадью валяются поперек дороги? По мере того как он осмысливал происшедшее, испуг сдавливал сердце, разливаясь по всему телу, руки, ноги цепепели, перехватило дыхание, как если бы его враз окунули в ледяную воду.

Тр-р-р! Тр-р! — хлестнула очередь сзади.

Исаков увидел, как впереди посыпались с деревьев ветки. И опять он не сразу сообразил, кто стреляет и зачем. Зато голос, прозвучавший, как клацанье затвора, откуда-то из кустов, вмиг прояснил все, отгнал сомнения; обращались к нему:

— Хальт! Хенде-хох, рус...

Из кустов вышел гитлеровец, держа Исакова на прицеле автомата. Он был не один, за кустами угадывались еще люди, они следили за Исаковым настороженными глазами и готовы были изрешетить его, посмей он не повиноваться.

У Исакова затрясся подбородок, рот непроизвольно раскрылся, он хотел сказать, что же вы, сукины дети, делаете, но вместо слов издал нечленораздельное «а-а-а», словно немой. Это что же такое выходит — плен, его — командира полка в плен?! Но он не хочет, не хочет! Такой позор — плен! Лучше не жить, лучше пулю в лоб! Пусть смерть, но это всего лишь мгновение — нажать на курок, и все. Зато не мучиться по лагерям, зато не станут тыкать в лицо пальцем, как на изменника.

Он слишком редко пользовался пистолетом, мирясь с ним так же, как с необходимостью носить полевую сумку или ремень на поясе. Неделями не расстегиваемая кобура затвердела, да и рука, кинутая к кобуре, не нашла ее на месте, и пальцы, находившие и бесчувственные, неумело заскребли по крышке. Гитлеровец — опытный вояка; разведчик, привыкший выкручивать руки пленным, внимательно следил за ним, за каждым его движением; он мгновенно взмахнул автоматом и огрел Исакова рукояткой по локтю: рука сразу повисла плетью.

— Хенде хох! — снова угрожающе пролаял гитлеровец.

Исаков неловко поднял левую руку, правая не повиновалась, охваченная острой болью. Лицо искривилось от страдания, он выглядел жалко в перекосившейся шинели с подбитыми ватой широкими плечами, вовсе не рассчитанной на такого рода дви-

жения. Помнится, он получил отрез тонкого сукна с синеватым отливом незадолго перед праздником Красной Армии, и жена приняла все хлопоты по пошиву шинели. Исакову только и заботы было, что позволить портному снять мерку да примерить, когда тот приметал рукава, — не жмет ли под мышками. Под плечи портной подвел вату, отчего сам Исаков удивился: неужели он такой стройный и с такими широкими плечами? Хотел заставить, чтоб ваты убавили, но жена запротестовала: сейчас так принято, так модно! Шинель вышла теплой, но движения всегда стесняла. Но ведь командир полка не боец, ему не отрабатывать штыковые приемы! И он мирился.

Гитлеровец, не опуская автомата, толкнул ногой коновода. Мертвое тело послушно и безвольно качнулось, нога выскользнула из стремени. Лошадь еще билась, хрипела, а коновод готов, Исаков это понял. Он настороженно следил за каждым движением гитлеровца. В кустах что-то властно сказали, оттуда вышел второй гитлеровец, наставил автомат в ухо лошади. Выстрелы прозвучали глухо, как в мешке. Лошадь еще раз дернулась и затихла. Гитлеровцы, теперь оба, подошли к Исакову.

— Слезай, приехали! — произнес первый по-немецки мрачным угрожающим тоном. Видя, что Исаков его не понимает или не очень спешит повиноваться, махнул рукой, приказывая ему слезть. — Шпель! — прикрикнул он.

Исаков, оглядываясь, не закатят ли ему в спину очередь, когда он опустит руку, кулем сполз с седла. Ноги отказывались его держать, губы дергались. Он думал, что его сейчас, вот тут же у дороги расстреляют, ведь он командир полка, причем головного в дивизии, причинившего им, гитлеровцам, такие потери. Конечно же, по логике, они его расстреляют.

Второй гитлеровец быстро, будто всю жизнь занимался карманными кражами, прямо с артистической ловкостью выхватил у него из кобуры пистолет — новенький «ТТ»; Исаков проносил его около года, но так и не опробовал — все недосуг. Гитлеровец был молодой, с розовыми оттопыренными ушами, белобрысый, справный, холерный. Он заинтересовался оружием, повертел его в руках, даже принялся к смазке; потом резко передернул его: патрон, находившийся в стволе, отлетел далеко в сторону, а второй из обоймы вошел на его место. Нажал на спуск, бухнул выстрел. Пуля вскинула комок мерзлой земли у ног лошади, и та отпрянула испуганно в сторону.

Гитлеровец рассмеялся довольный и расстрелял всю обойму, целясь в ствол дерева. И опять из кустов офицер или унтер, Исаков не мог рассмотреть кто, сказал что-то повелительное, должно быть относящееся к молодому гитлеровцу, потому что тот

откликнулся короткой фразой. Должно быть, ему сказали — брось, мол, вольтануться, игрушки не видел? — так понял это Исаков, и гитлеровец ответил, что все, кончаю!

Он действительно размахнулся со всего плеча и забросил пистолет в кусты.

Исакова подтолкнули в спину — вперед! Он оглянулся — правильно ли понял, ему кивнули, шагай, мол, в лес. Он послушно сдвинулся с места, и опять ему показалось, что его ведут лишь затем, чтобы пристрелить, и от этой мысли ноги опять стали ватными. Наверное, гитлеровец, что так свирепо смотрел на него вначале, понял это его состояние и решил подбодрить:

— Не бойся, рус. Официрен гут! Плен — гут! — ткнул пальцем в широкие шевроны на рукаве, спросил: — Дас ист регимент?

— Да, да, я командир полка, — ответил Исаков и указал на шпалы в пеглицах. Таиться, что-то скрывать бесполезно!

— О-о, понимайт! — осклабился гитлеровец. — Все есть карашо! — и покровительственно похлопал Исакова по плечу.

Исаков понял, что его не собираются сразу расстреливать, и на душе полегчало. Лишь бы довели до какого-нибудь штаба, а там разберутся. Прежде чем навсегда скрыться в лесу, он оглянулся. Его лошадь, как была под седлом, мирно пощипывала траву на обочине, перебирая губами осеннюю ветошь, а лошадь адъютанта стояла чуть поодаль с окровавленной ногой, но самого лейтенанта близ нее не оказалось, и подполковник понял, что вторая очередь предназначалась адъютанту, но по счастливой случайности задела только лошадь, а сам он улизнул.

А вот у него впереди плен. «Что ж, во всех войнах бывают пленные, — смиряясь с новым для него положением, подумал Исаков. — Значит, надо набраться терпения, приспособиться, чтобы выжить».

Одно плохо, что нельзя об этом сообщить семье. Пришлют повестку, что пропал без вести, будут печалиться, переживать.

\* \* \*

Напрасно ждали Исакова в Гильнево. Звонили во все подразделения, куда только можно, но никто не мог ответить, что с ним, где он, почему до сих пор не объявился.

Отключались от связи батальоны, так как гитлеровцы, появившиеся в их тылу, по сути, свертывали жидкую, непрочную, наспех едва прикрытую с пятого на десятое людьми оборону, вытянутую в ниточку. Батальоны отходили не к Гильнево, не к штабу полка, а дорогами — на запад, и, не имея с ними связи,

Лузгин не в состоянии был как-то повлиять на обстановку. К тому же, зная нетерпимость Исакова ко всякому проявлению самостоятельности, он и не пытался вмешиваться в события. Тут хотя бы уследить, быть в курсе, если спросят.

С надеждой поглядывал он на Матвеева, но тот воротил глаза в сторону, непримиримо вздергивал острые плечи. Он не собирался выручать Исакова из беды: достаточно тот ему поднасоллил! Хочет тонуть — пусть тонет! На целый день оставить полк без руководства, где-то шляться, когда все висит на волоске! Он был уверен, что такое не сойдет подполковнику с рук. Горелов не из таких, кто прощает разболтанность.

Сумерки окутывали землю, в доме уже зажгли свечи, когда в Гильнево, не прикрытое ни единым постом, вошли гитлеровцы. Они вошли на восточную окраину деревни, полоснули вдоль длинной улицы из автоматов трассирующими. В западном конце деревни сразу поднялся шум, гроыхание повозок. Гитлеровцы поддали жару, светящиеся трассы очередей расчертили воздух в разных направлениях.

Крутов сидел у порога, выжидая, когда у Морозова выкроится свободная минутка. Резко распахнулась дверь, вбежал боец, с порога крикнул: «Немцы!» Этот возглас, как взрыв гранаты, всех подбросил на ноги. Как? Откуда?

Но рассуждать было некогда, наиболее проворные уже выскакивали за дверь. Телефонисты торопливо обрывали провода с клемм, хватали аппараты, винтовки — и за порог.

Из деревни бежали скопом, толпой. Впереди гроыхала кухня комендантского взвода, высвечивая дорогу угольками; обгоняя ее, настегивали нещадно лошадей ездовые повозок, порожних и груженных имуществом штаба полка и роты связи. Все торопились под защиту близкого леса.

Пули выхлестывали воздух над головами бегущих, рванулись в стороне две-три мины из ротного миномета.

Крутов бежал не слишком торопко, чувствовал в запасе силы, чтобы наддать в случае необходимости. Придерживая одной рукой винтовку, чтоб не колотила по боку, он в другой нес котелок с картошкой, все еще не теряя надежды покормить своего ПНШ. Он и приотстал потому, что не чувствовал панического страха, как другие, ему и в голову как-то не приходило, что это всерьез, что его могут убить или ранить. Котелок в руке здорово мешал ему, но он не мог выбросить картошку и оставить Морозова голодным. Это было бы не по-товарищески.

И тут он увидел приотставшего от остальных Матвеева. Он узнал его по командирской сумке, болтавшейся на боку и всегда пухлой от разных бумаг. Комиссар шел тяжело и запаленно,

шумно дышал. В сумерках его лицо показалось Крутову черным как уголь. Матвеев остановился, оглянулся, рукавом отер лоб. Сзади почти не оставалось своих, и Крутов решил, что пойдет с ним рядом.

Мимо проносилась повозка. Ездовой подзадержался чего-то и теперь старался нагнать своих.

— Стой! Стой — стрелять буду! — закричал Крутов, бросаая паперерез, и вскинул винтовку одной рукой: проклятый котелок здорово мешал!

Ездовой придержал лошадь, перестал крутить вожжой.

— Какого черта! Уходи, стопчу...

— Я тебе стопчу! Не видишь, человека надо взять. Товарищ комиссар, сюда!

Он помог Матвееву перелезть через борт, усадил на какие-то мешки, и повозка на рысях покатила дальше. Крутов припустил вровень с ней.

«Позор! Ух, какой позор!» — повторял про себя Матвеев. Никогда еще не бывало у него в жизни такого, чтоб бежали скопом, не видя врага в лицо. Как он мог настолько поддаться чувству неприязни к Исакову, настолько, что даже не подумал взять полк в руки сразу, как только тот уехал?! Надо было взять управление, организовать оборону, так не так руководить людьми, а не ждать. Это надлежало сделать сразу, и ни в какой подмене командира его бы не упрекнули. По уставу первым, кому надлежит принимать командование, должен быть начальник штаба, но ведь Лузгин еще не вошел в курс дела, дня не прошло, как принял штаб. Вот и досиделись, дождались, глядели друг на друга, пока не пришлось бежать...

Матвеев отдышался, скосил глаза на бойца, бежавшего легко и пружинисто рядом с повозкой. Тот поймал его взгляд, осклабился:

— Порядок! Сейчас прибежим, лес вот он.

Матвеев не ответил. «Еще и улыбается. Что ж, он вправе улыбаться, — все еще терзаясь, думал он. — Бойцом надо командовать, и он будет стоять хоть насмерть. А если им не командуют, он вправе бежать. Мы забыли про это. Это только моя вина, моя...»

На опушке леса остановились. Пули не чиркали больше во мгле, деревня, покинутая столь поспешно, молчала. Матвеев слез с повозки.

— Всем в оборону! Всем в оборону! — визгливо кричал Лузгин. Вокруг него толпились командиры и связисты.

Матвеев подошел, и Лузгин, увидев его, обрадовался.

— Вроде никто не пострадал, — сказал он. — Думаю, что

прежде всего нам надо установить связь со штадивом и информировать Горелова об обстановке.

— Правильно, — кивнул Матвеев. — До появления командира полка прошу выполнять мои распоряжения. Ясно? Приказываю всем окопаться. Начальник штаба укажет места подразделениям. А вы — начальник связи, организуйте налаживание связи с батальонами. Это недопустимо, что они отключились. Командир взвода конной разведки здесь?

— Я! — откликнулся лейтенант Косулин.

— Приказываю возглавить группу разведчиков и немедленно выйти на поиски командира полка. В первую очередь осмотреть дорогу к первому батальону...

Морозов расставлял в оборону бойцов комендантского взвода. Крутов тронул его за плечо:

— Товарищ старший лейтенант, картошка совсем остыла.

— Да ты что? Таскаешь ее за собой? Выбрось ее к чертовой матери. Разве сейчас до ужина! Или ты чокнулся, не понимаешь?

— Понимаю. Но и без еды на войне нельзя...

Морозов уловил в голосе обиду, смягчился:

— Ладно. Извини меня. Вот сейчас расставим людей в оборону — и мы поужинаем.

Лузгин получил возможность переговорить со штадивом. Произошло это неожиданно. Неподалеку проходила линия связи — шестовка, и связисты подключились к ней. Оказалось — дивизионная линия. С Лузгиным начал говорить начальник штаба, но тут же передал трубку Горелову. Генерал выслушал сбивчивый доклад о том, что батальоны оставили рубеж, что штаб находился в Гильнево, но сейчас оно занято противником, что Исакова до сих пор нет...

— погоди, — прервал Горелов. — Где комиссар? Передай ему трубку.

— Матвеев слушает!

— Какие меры приняты к розыску Исакова? Давно он уехал?

— Часов в двенадцать дня. Запрашивали все подразделения, никто не знает, где он. Сейчас формируем группу разведчиков на поиски.

— Вот что, — после раздумья объявил Горелов. — Пошлите не одну, а несколько групп разведчиков и просто надежных людей. Пусть осмотрят все места, где он может быть. Сейчас ночь, им на руку. До тех пор, пока не объявится Исаков, командование полком возлагаю на вас...

— Да я уже фактически его принял. Правда, надо было раньше, но кто думал, что так получится...

— Ладно, не переживай, а действуй, — сказал Горелов. — Немедленно, не теряя времени, выходите на рубеж, который приказано было подготовить. Ваши батальоны уже здесь, принимайте их под свою руку, и к утру чтоб оборона была. Вам все ясно?

— Все понятно, товарищ генерал!

— Проинструктируйте командиров групп разведки, чтобы они знали, где вас искать...

Матвеев передал трубку телефонисту, распрямился и, оглядев окружавших его командиров, сказал:

— Мне приказано принять полк. Прошу выполнять мои распоряжения...

## Глава пятнадцатая

Полк уже неделю стоял в обороне. Выпал небольшой снег, речку Шостку заковало ледком, и ночами разведчики ходили на другую сторону в тыл противника. Искали Исакова. Постреливали пулеметы, осветляли белое покрывало земли ракеты. Вражеский берег был ниже, лесистый, и гитлеровцы не держали на нем сплошной обороны. Они стояли по деревням, а у речки находились только посты для наблюдения, их боевые охранения, заставы.

О судьбе Исакова стало известно после того как в штадив пришел ночью его адъютант. Он и рассказал, что подполковника взяли в плен, что его предупреждали, в том числе и он — адъютант, чтоб не ехал...

Лейтенанта выслушали. Комиссар дивизии переглянулся с Гореловым и сказал:

— Мы вам верим. Однако учтите, всем об этом знать незачем. Не на пользу дела. Поэтому давайте договоримся, чтоб больше ни одной душе ни слова...

Лейтенанта не стали корить, что он проблуждал до ночи, вместо того чтобы принять меры к выручке командира. Поздно об этом говорить.

— Струсил, сбежал, — сказал комиссар, когда дверь за лейтенантом закрылась. — Надо сказать Матвееву, чтобы поставил его на стрелковый взвод. Пусть проявит себя, тогда посмотрим:

— Не возражаю, — ответил Горелов. — Ты помнишь, что нам рассказывал Селиванов? Мне кажется, что Исаков капитулировал перед врагом много раньше, а мы этого не заметили. Этот его шаг — естественный конец пути... Надо попытаться разведать, где он, может, удастся выручить. А вообще — не у каждого достанет силы воли с достоинством выйти из положения,

оказавшись под дулом автомата. И адъютанта выпить особо не приходится — Исакова погубила самонадеянность...

Он в задумчивости минут пять мерил шагами горницу, потом сказал:

— Плохо, что мы потеряли много людей. Борьба лишь разгорается, народ только сейчас осознал в полной мере, что за враг перед нами.

— Мы воевали, сделали все, что в наших силах.

— Сделали. А так ли сделали, как это требовалось? Ты задумывался над этим, Дмитрий Иванович? С гитлеровцами нельзя воевать вполсилы, вполумения. Я знаю немцев еще по первой мировой войне...

\* \* \*

С того дня, как пропал без вести Исаков, Матвеев продолжал исполнять обязанности командира полка, недоумевая, сколько его могут держать на этой должности. Он несколько раз пыривался говорить с Гореловым, но тот осаживал его спокойным: «Мы знаем, помним. Потерпите».

Наконец, уже накануне праздника Октября, Горелов сам позвонил Матвееву. Тот как раз сел за конспект речи, которую он намеревался произнести перед активом полка по случаю праздника, приказал, чтобы его не тревожили, и вдруг звонок.

— Матвеев слушает. В чем дело? — недовольно спросил он.

— Как обстановка?

— Нормально, товарищ генерал! — Матвеев узнал его по голосу и сразу сменил тон: комдив зря звонить не станет. — Противник активности не проявляет...

— Ты особо на это не полагайся. Не проявляет у нас, потому что все силы бросил на Москву, — ворчливо заметил Горелов. — Распорядись, чтоб на время праздников организовали как следует охранение, предупредительную разведку, командирское наблюдение на твоих «глазах» — (так именовали фронтовым клером наблюдательные пункты). — Смотреть и смотреть надо.

— Все будет сделано!

— Ладно, я не затем тебя вызывал. Сейчас к тебе выйдут товарищи, так организуй встречу, кормежку, баню, все там прочее. Всех, кого можно, — собери, представь новых товарищей, расскажи о традициях полка. Постарайся, чтоб люди себя дома почувствовали, что их с душой принимают, понял? Между прочим, среди них и твой новый «хозяин». Введешь его в курс дела, пусть пока осматривается. Учти, на время праздника за оборону ответственный ты. Как бы там обстановка ни сложилась, за полк спрошу с тебя.

Матвееву хотелось спросить, кто пришел на полк, из своих, дивизионных, или, может, прислали какого-нибудь выпускника академии? Сейчас, в связи с войной, курс обучения сократили, многих выпускают досрочно. Тогда бы знал, как держать себя с новым «хозяином». Но по телефону говорить об этом не стоило. Все же он поинтересовался, много ли будет пополнения? Копечно, опять же не прямо спросил:

— Закладывать полный котел или больше?

— Ишь, размахнулся! Столько мы всего не имеем. Тебе если отдадим, а другим что? Четверти котла хватит. За глаза, — сказал Горелов. — Сейчас все забирает Москва, там решается судьба Родины, а для нас лишь то, что сумели сами «подремонтировать». Придут — увидишь...

Больше Матвеев не мог думать о своей речи перед активом, теперь его заботило, как у него наладятся отношения с командиром полка, сработается ли. Нельзя допустить, чтобы повторилась история их взаимоотношений с Исаковым. Разлад между командиром и комиссаром снижает боеспособность полка.

Ждали пополнение к обеду, и Матвеев распорядился, чтобы в одной кухне заложили борщ, в другой картофель с мясом — такая возможность пошиковать была, снабженцы успели закупить у населения и в колхозах овощей и живности. Ну, и чай, само собой. Бойцы комендантского взвода топили деревенские бапки. Хоть и по-черному, а будет где помыться с дороги.

Матвеев пошел по деревне проверить, как выполняются его приказания, заодно хотел увидеть, прибрано ли здание школы — самый большой дом деревни, где он намеревался собрать и свой командный состав и пополнение для знакомства.

Бани топились, это было видно с дороги по дымкам, подымавшимся над этими крохотными сооружениями. В деревне не было общей бани, каждый житель держал свою, маленькую, располагавшуюся, как правило, на отшибе, в конце усадьбы.

Возвращаясь с обхода, Матвеев еще издали, по скоплению людей перед штабом, догадался, что пополнение прибыло. Он быстро прошел к своему дому, взбежал на крыльцо, досадуя, что маленько не рассчитал с обходом и вместо того чтобы встретить командира полка, заставил его ждать.

Писарь-красноармеец поднялся навстречу (Матвеев имел право держать лейтенанта на должности адъютанта, но поскольку командовал полком временно, знал об этом, то и не хотел никого брать. Придет хозяин, пусть и выбирает, кого захочет).

— Товарищ батальонный комиссар, у вас подполковник...

— Знаю... — Если бы Матвеев не так торопился, он бы обратил внимание на странное выражение лица своего писаря, что-то

хотевшего еще добавить и не решавшегося, на его приглушенный голос. Но он и так задержался, заставляет себя ждать, и новый человек может обидеться. Взмахом откинув одеяло, завешивавшее дверной проем в горницу, он шагнул туда.

— Извините, что заставил вас ждать. Решил лично проверить, как там с ба...

Среднего роста коренастый подполковник, стоявший в его кабинете у окна и смотревший на улицу, обернулся на голос, и Матвеев, как шел к нему с протянутой рукой, так и застыл на месте, не досказав фразы. Перед ним стоял Сидорчук, тот самый, что был взят летом прошлого года.

Правда, позднее Матвеев слышал, что его должны были якобы освободить, но не придавал этим разговорам значения. А теперь, выходит, он не только должен передать ему полк, но и работать с ним. Нет, это положительно невозможно...

— Я вижу, что вы несколько удивлены, но что поделаешь, я не мог иначе, — первым заговорил Сидорчук. — Мне вернули отнятые права честного человека, вернули звание, должность, принадлежность к нашей Коммунистической партии. Оставалось вернуть себе доброе имя среди тех, с кем работал, жил...

— Да-да, я рад... — сказал Матвеев первое, что пришло на ум, но Сидорчук жестом призвал его не перебивать.

— Без этого я не мыслил дальнейшего существования. Вы не можете себе представить, как это тяжело — ходить, дышать и думать, что есть еще люди, которые продолжают считать тебя врагом. От одной этой мысли можно сойти с ума...

Только сейчас Матвеева осенило: вот почему Горелов напомнил ему о гостеприимстве, о радушии, с которым следовало принять пополнение! Он имел в виду и встречу Сидорчука. Поэтому и предупредил заранее. Возможно, что даже заинтересован в их прежних деловых отношениях. А что? Разве Горелов не сидел на парткомиссии, когда речь шла об исключении из партии Сидорчука, разве не голосовал вместе со всеми? Разве в том, что его взяли, есть хоть капля его, Матвеева, вины? Может, другие выступали в защиту Сидорчука, а он промолчал один и не поддержал? Промолчали все, потому что не принято было лезть в дела следствия, спрашивать, как да что. Зайнего заявлял не от себя, он тоже доверенное лицо партии. Так почему он должен считать себя виноватым, почему им нельзя снова вместе работать?

— Мне нелегко было попасть в свой прежний полк, — продолжал Сидорчук, — люди не понимали, почему я стремлюсь именно сюда, ведь по логике вещей я должен был делать обратное — ехать подальше оттуда, где меня обидели. Иные рассматривали мое желание как каприз, прихоть, неуместные в столь суро-

вое время. Если они и правы в чем-то, так лишь отчасти. В любое время честь для человека дороже всего. Так я понимал этот вопрос, и я своего добился.

Сидорчук на мгновение умолк, чтоб собраться с мыслями. Ему нелегко было вести разговор с Матвеевым, хотя он давно к нему готовился, и, как знать, может, именно потребность доказать правоту человеку, который, вопреки закону дружбы, усомнился в нем, заставляла его в течение долгих месяцев искать свою дивизию, свой полк. Он волновался, поэтому до сих пор держал руки за спиной, чтобы не выдать невольной дрожи в пальцах, пробегавшей волнами. Куда проще было явиться в незнакомую часть, где никому нет дела до его прежней жизни. Но это был бы легкий путь, а Сидорчук не привык к легкой жизни. Пусть уж он еще раз перемучится, но зато в последний раз.

Матвеев рывком повернулся, откинул одеяло, завешивавшее прихожую, где помещался его писарь.

— Побудьте в штабе, пока я вас не позову, — приказал он ему и проследил, чтобы тот не мешкал. Когда дверь за ним закрылась, он прошагал к своему столу, крепко сцепил пальцы худых рук с набрякшими, резко обозначившимися венами. Жестом пригласил сестр Сидорчука. — Я должен с вами объясниться...

— Не надо, Вася...

Эти слова больно резанули Матвеева по сердцу, столь больно, что он закрыл глаза рукой. Так, по именам, они называли себя в молодости, когда были дружны, когда ничто не омрачало их жизни. Или, в минуту особого расположения, — Василь. Но зачем это сейчас, если даже два года назад, когда их еще ничто не разделяло, — будь она проклята, эта минута слабости, когда он вслед за другими поднял руку, вместо того чтобы протестовать, сказать «нет», — Сидорчук не позволял себе называть его иначе, чем по имени-отчеству или просто «комиссар».

— Не надо, Вася, — повторил Сидорчук. — Я все знаю, и у меня было достаточно времени, чтобы разобраться во всем не спеша. Меня обвиняли в работе на японскую разведку, но следствием эти обвинения сняты. В свое время мы о многом с тобой говорили, пытались предугадать будущие события. Это в порядке вещей: жизнь требует всегда, чтобы мы смотрели немного дальше. Ты, конечно, помнишь о наших спорах.

— Но ведь ты пострадал. Значит...

— Ничего это не значит, — резко оборвал его Сидорчук, и в голосе его прозвучали так хорошо знакомые Матвееву непреклонные нотки. — Разве пострадал только я, а ты не страдал вчера, позавчера, месяц назад? Жизнь всегда чему-нибудь учит, и пусть этот урок пойдет нам обоим на пользу.

Резким движением он отнял руку с глаз Матвеева:

— Глянь мне в глаза прямо. Разве мы перестали быть друзьями, общниками в деле партии? Так зачем напрасну изводить себя?..

Сидорчук устало опустился на стул.

— Знаешь, давай побережем нервы, они еще пам пригоятся. Неужели ты меня так плохо знаешь, что можешь допустить мысль, будто я только затем и явился, затем и добирался до своего полка, чтоб сводить с кем-то счеты или доказывать свою правоту! Есть дела поважнее, надо думать о том, как спасти Родину.

— Без доверия не может быть и речи о хорошей совместной работе, — сказал Матвеев. — Иначе лучше разойтись сразу, чем наживать конфликт. Я еще не очухался после Исакова...

— Думаю, мы достаточно знаем друг друга, и у нас хватит ума не копать в прошлом, — ответил Сидорчук. — Я требую одного: правды, прямоты во всем, в большом и малом. Вот и рещай сам, способен ты на это или нет!

Матвеев молчал, и Сидорчук опять сказал:

— Что ж ты не спросишь, какая погода в Аяре, как там живут? Или тебе неинтересно, как живет твоя Варя?

— Интересно, но это сейчас не главное.

— Что ж, ты прав, всему свое время. Ты знаешь, пока тебя не было, я стоял у окна, все смотрел, не покажется ли кто из старых служивых, и так никого и не увидел.

— Мало осталось старослужащих, — ответил Матвеев. — Полк прошел через большие бои.

— Горелов мне говорил...

— Говорил — это мало. Вот увидишь сам, тогда поймешь. Скажи, что ты намерен сейчас делать?

— Прежде всего хочу увидеть полк. Можешь ты мне дать бойца или командира, который провел бы меня по всей обороне так, чтоб я случайно не забрел к немцам в лапы?

— Найдем. Но сначала надо помыться, пообедать.

— Вот это как раз и успеется. Я слышал, что ты должен выступить перед пополнением, вот и давай, а то мы и так засиделись.

Матвеев крутнул ручку телефона:

— Штаб. Лузгина. Товарищ Лузгин? Найдите человека, которой мог бы провести нового командира полка по всей обороне. Рядовой? А он знает? А, это тот! Можно. Пришлите его ко мне и заодно моего писаря. Жду.

Через несколько минут дверь в избе хлопнула, кто-то вошел, спросил зычно:

— Можно?

— Да. Заходи! — пригласил Матвеев.

В кабинет вошел высокого роста боец, опрятно одетый, подтянутый. Глянув на петлицы незнакомого подполковника, он обратился к Матвееву:

— Товарищ батальонный комиссар, по приказанию начальника штаба прибыл в ваше распоряжение. Рядовой Крутов.

— Вот что, Крутов, поведешь этого подполковника куда он скажет. Понял?

— Все понятно. — Крутов достал из сумки свернутый лист карты с нанесенной за полк обстановкой. — С возвращением вас, товарищ подполковник!

Сидорчук вскинул на него удивленный взгляд:

— А ты откуда меня знаешь?

— Вы у нас выступали на снайперских сборах. Помните, еще ползать нас по-пластунски учили? А потом вас взяли... Только мы не верили, что вы враг...

— Кто это — мы?

— Ну, мы, бойцы. Если б вы были враг, зачем бы вам надо было учить нас? Наоборот... Так куда прикажете вас вести?

— Да, логика, — покачал головой польщенный Сидорчук. Всмотревшись в карту, сказал: — Думаю, что удобней всего начать с правого фланга. Здесь ближе, к тому же дорога. Пройдем?

— Пройти можно, только... — Крутов замялся, по подполковник требовательно смотрел ему в глаза. — Если прижмет и придется выбираться ползком, прошу не обижаться. Место тут открытое, бывает, что обстреливают дорогу.

— Ну, это ничего, это не страшно, — сказал Сидорчук. Ему было приятно, что его узнал вот этот простой боец, который сумел схватить самую суть всей его, Сидорчука, деятельности: «А зачем бы вам надо было учить нас? Наоборот...» Этой короткой фразой сказано все. Радостное волнение перед первым выходом на передний край охватило его. Как долго он ждал этого момента, сколько раз пытался мысленно представить, как это произойдет, рисовал в своем воображении самые невероятные картины, а выходит все проще, по куда значительнее для него именно из-за этой простоты и душевности. Теплая волна подкатила к сердцу. Боясь, что не сдержится, покажется сентиментальным с этими переживаниями, он рывком натянул на плечи шинель, нахлобучил на глаза шапку, сказал глухо, обращаясь к Матвееву:

— Так я не прощаюсь. Часам к одиннадцати вечера вернусь, тогда и поговорим о деле! — И кивком пригласил Крутова следовать за собой.

## Глава шестнадцатая

Удивительной чистотой и покоем веяло от земли, накрытой белой пеленой снегов. Каждый кустик, каждая былинка, не прикишая к земле, были одеты в снеговую шубку. Ветки казались ручонками в белых варежках. Чисто и бело, и, может, поэтому дышится глубоко, вкусно, как бывает вкусна ключевая водица. Только вдаль чернеют леса: те, что поближе, кажутся выше, словно островки, а дальние сливаются в темную однообразную полоску. Деревни заметны по белым пятнам крыш и по дымкам из труб, поднимающимся свечками в сизое небо.

Сидорчук давно уже не бывал вот так наедине с белым безмолвием, радовался ему, чувствуя, как постепенно гаснет напряжение, охватившее его при разговоре с Матвеевым. Ничего, теперь он призадумается, поймет, что одна лишь исполнительность еще не украшает человека. Жизнь такова, что нельзя сказать, это меня касается, а это, мол, нет. Всему надо уметь дать оценку и, если чувствуешь, что делается не так, отстаивать правоту. На то ты и человек. Впрочем, к черту, хватит! Надо смотреть вперед, а не жить вчерашним...

Идти по укатанной санями дороге — одно удовольствие. Снежок приятно поскрипывает под сапогами. Ведущий останавливается, поджидает.

— Куда пойдем, в штаб батальона или сначала на передний край? Если в штаб, так нам в лесок, налево.

Сидорчук раздумывал недолго: о чем говорить в штабе? Знакомиться? Но это успеется. Лучше сначала посмотреть, что за оборона, а уж потом говорить о деле, сразу. Комбата можно будет вызвать прямо в роту, если потребуется.

Передний край. На жидких колышках подвешен провод — линия связи с ротой. Наезженная дорога свернула в лес, и теперь под ногами лишь пешеходная тропка. В старой покосившейся рубленой пуне, словно бы осевшей под тяжестью крыши, из-под стрехи пробивался дымок. За пуней, в которой раньше сушили хлеба, виднелись снежные окопчики.

Бойцы и командир роты сидели и лежали возле небольшого костерка, разложенного в яме, чтобы не загорелась солома, прямо снопами настланная на земле. На соломе спали почками, зарывались в нее, чтоб было теплее, по, видно, она мало спасала от холодов, потому что руки, лица у всех были черные, зная, больше приходилось отсиживаться ночами у костра, чем спать.

— Так и живете? — спросил Сидорчук командира роты.

— Так, — ответил тот. — Ночью выставляем посты, дежурим у пулемета.

Сидорчук прошелся вдоль окопов, насыпанных из снега, едва прикрывавших бойцов по пояс. Хорошее построение, с которым шел, гасло, он помрачнел, покусывал губы, но молчал, не выговаривал командиру, хотя был страшно недоволен. И это называется оборона! Сидят у костра, а при первом же артиллерийском или минометном налете брызнут в стороны, кто куда! Разве снежный окопчик защита?

— Сколько у вас лопат? — спросил он.

— Малые шанцевые почти у каждого.

— Что малые! — оборвал лейтенанта Сидорчук. — Много вы малыми сейчас нарете! Вас учили в школе обороне? Что полагается делать ротному, если он поставлен в оборону?

— Полагается строить окопы, заграждения, минировать. Много чего полагается, товарищ подполковник, — раздражаясь в свою очередь, ответил лейтенант. — Земля промерзла, нужны большие лопаты, ломы, а где я их возьму?

— На сколько промерзла?

— Может, на штык или больше...

— Такие вещи надо знать точно, — смягчаясь, сказал Сидорчук. — Будем считать так: обороны пока нет!

— Дело ваше, — пожал плечами лейтенант. Он не знал, как держать себя с этим незнакомым подполковником. Крутова он видел не раз, работает в штабе, чужого не приведет. Проверять легко, а вот посади сюда любого, другое запоет...

«Нет, не так надо строить оборону», — размышлял Сидорчук. Пришла на память война, конец которой он прихватил еще будучи молодым человеком. Разве такие были окопы! Идешь по траншее, и только небо над головой. Чтобы выглянуть из окопа, надо было встать на ящик или на специальную ступеньку. По ступенькам выбирался, когда поднимались в атаку. А блиндажи, проволока? При самых сильных обстрелах сидели, ведь не каждый снаряд попадает именно в окоп.

Тут же все на честном слове. Пока враг не лезет — оборона, а вздумает полезть — и бойцу зацепиться не за что. Разве в снегу усидишь, если начнет садить из орудий? Так кого обманываем, себя, что ли? Кому это пужно? Придется всерьез браться за оборону, строить блиндажи, рыть окопы, минировать.

Между ротами разрывы на полкилометра и больше. Чистое поле, и все. Только зайцы наследили да лисы, а человеческого следа нет. Правда, видно всю местность хорошо, как собственную ладонь. Так что зрямая связь есть, друг друга видят. С увала видна и речка, за которой укрывается враг.

Чтоб сократить расстояние, шли по снежной целине, от роты к роте, напрямик. Сидорчук сначала нет-нет да посмотре-

вал в сторону противника. Хоть и далеко, метров восемьсот, а все па виду. Вдруг придет какому фрицу блажь поупражняться в стрельбе? Потом успокоился: враг упоен победами...

Впереди показалась деревня Новинки. Так назвал ее Крутов, и Сидорчук кивнул: мол, хорошо, принято к сведению.

— Кто там у нас?

— Второй батальон, полковая батарея минометов, санрота.

К деревне близко примыкал лесок. Когда шли опушкой, Сидорчук обратил внимание на странные бугорки. Копнул один ногой, а под снегом убитый: наш, в серой шинели.

— Это еще в октябре, — поясил Крутов. — В Новинках какая-то часть стояла, не нашей дивизии. И вдруг танки, штук двадцать. Наших врасплох застали, по улице до сих пор лошади битые прямо в упряжках валяются, рядом с передками. Тут в лесу, если поискать, еще убитые есть. Бежали кто куда, потому что не ждали нападения. Среда бела дня...

— Вот и плохо, на войне всегда надо ждать нападения, — сказал Сидорчук. — А трупы надо захоронить. Хоть и не нашей дивизии, да все равно, советские люди, свои. Ты мне напомни потом, когда вернемся.

Деревня вытянулась по увалу вдоль речки. Тем, кто здесь обороняется, легче, живут в домах, в тепле, да и на случай боя можно укрыться за постройками. Это не в поле...

Возле крайнего сарая работали бойцы, что-то копали, потому что над снегом взметывались лопаты и летели комья земли. «Окопы роят, — догадался Сидорчук. — Смотри-ка, на полный профиль гонят».

— А ну, подойдем, — сказал он Крутову.

Боец, копавший землю, увидел их, когда они стали рядом.

— Где командир? — спросил Сидорчук.

— Эвон, в сарае! — И завопил, что было духу: — Товарищ командир, к выходу!

Из сарая выскочил размашисто боец без шинели с ремнем через плечо и, увидев подполковника, вытянулся:

— Товарищ подполковник, пулеметное отделение четвертой роты занято на оборонительных работах. Докладывает боец Лихачев. Извините, что не по форме одет, работал...

— Здравствуйте, товарищ Лихачев, — протянул ему руку Сидорчук. — Кто же это вас надушил рыть окопы?

— Здравия желаю! Положено, вот и делаем.

— Молодцы. Где инструмент брали?

— Тут же деревня, в любом дворе лопаты есть. Вот и собрали. Мерзлая корочка на четверть, долбанул ее раза два — и готово, а дальше хоть до центра земли рой — талый грунт.

— А другие тоже роют окопы или только вы?

— И другие роют. А я решил сделать сплошной окоп, чтоб в бою от ячейки до ячейки на пузе не ползать. Да и обороняться веселей, когда вместе. С фрицем надо воевать всерьез, иначе сам битый будешь. Мы в сарае дзот устроили в три наката...

Лихачев повел за собой подполковника. Улучив минуту, Крутов пожал ему руку.

— Кого это ты привел? — шепнул Лихачев. — Что-то лицо знакомое, а не припомню.

— Это же паш старый командир полка, Сидорчук!

Лихачев присвистнул.

Сидорчуку понравилась оборона пулеметного отделения. Надо, чтоб так было во всем полку. Хочешь остановить врага, зарывайся поглубже в землю. Пехота этим и сильна.

Он так и сказал бойцам, когда Лихачев выстроил их по его приказанию.

— Я ваш новый командир полка...

— Почему новый — старый! — раздалась реплика. Это Сумароков не утерпел, высказался. — Мы вас знаем...

— Не все меня знают, — поправил его Сидорчук. — Я тут вижу среди вас людей постарше, они пришли, когда меня уже не было. Так вот, от лица службы объявляю вам всем благодарность...

Он рассказал им, как должно вести себя в обороне, что делать, когда противник обрушивает на них огонь артиллерии. При этом он ссылался на свое участие в первой мировой войне, ведь тогда тоже было достаточно артиллерии и пулеметов, на бой с японцами у Халхин-Гола.

И еще он сказал, что Сибирь работает на свою Красную Армию и скоро будет всею достаточно: и оружия и боеприпасов.

Прощаясь, Сидорчук сообщил, что на днях пулеметов подешлют из дивизии и тогда Лихачеву придется принять взвод.

— Справитесь? — спросил он. — Себе подмену найдете?

— Постараюсь, товарищ подполковник, — просто ответил польщенный Лихачев. — У меня любой из бойцов хоть сейчас готов командовать отделением. Машинку знают назубок.

В деревне еще повсюду видны следы недавнего налета танков противника. Валяются под снегом конские трупы в артиллерийских упряжках, зарядные ящики, разбитые повозки. В окнах домов почти нет стекол, завешаны чем придется. Но дымки из труб струятся, значит, живут люди.

За дальним лесом в стороне противника тоже видны белые дымки какой-то деревни. Сейчас все — и противник и наши — но избам.

— Там стоит крупный штаб, — пояснил Крутов. — Так говорят наши разведчики. Это деревня Сухой Ручей.

Сидорчук кивает, а в уме роются мысли о том, что неплохо бы разгромить этот штаб. Это был бы славный подарок Октябрю. Надо поговорить с генералом, может, выкроит гаубичных снарядов.

Крутов вел подполковника к штабу батальона, и вдруг его окликнули:

— Павлик!

Он оглянулся и увидел, как со двора к нему бежит девушка в военной форме. Оля! Он сразу ее узнал и растерянно остановился: как быть, ведь он ведет подполковника?

— Ну чего стал, — ворчливо сказал Сидорчук, — тебя же зовут, не меня. Иди поговори, потом меня догонишь.

— Павлик! — Оля остановилась, перевела дух. — Смотрю, ты — не ты, потом узнала...

— Здравствуй, Оля, — сказал Крутов, бережно пожимая руку девушки. Ладонка была теплая, но твердая, зная, немало приходилось этим ручкам работать. — Как ты живешь тут?

— Ой, да разве все расскажешь! Нас даже в плен захватывали, а потом кавалеристы отбили... Да, знаешь, кого я встречала? Танцуру. Он был ранен и лежал в моей палате...

— А где он сейчас? — живо спросил Крутов. — У вас?

— Нет, что ты! У него тяжелое ранение, эвакуировали. — И вдруг покраснела: — Я все думала, вдруг привезут тебя, так ждала и боялась... Ты торопишься?

— Да. Меня ждет подполковник, нам еще много ходить...

— А я думала...

— Что?

— Так... Завтра праздник. Приходи к нам. Придешь?

— Постараюсь.

— Смотри не забудь, я буду ждать! — Она подтолкнула его в плечо: — Беги, догоняй своего подполковника. Завтра обо всем поговорим...

Крутов пожал руку девушки и припустил бегом. Отбежав, оглянулся, помахал рукой. Оля приветливо подняла руку, продолжая стоять посреди улицы, в защитной гимнастерке и такой же юбке, простоволосая.

— Сибирячка? — спросил Сидорчук, когда Крутов поравнялся с ним.

— Нет, местная, ржевская. В укрепрайоне работала, а потом, когда через Ржев отходили, к нашему полку прибилась. Теперь в санроте...

Мысль о дальнем огневом палете на Сухой Ручей не оставляла Сидорчука. Утром он переговорил с Гореловым. Тот подумал и согласился.

— Буду у тебя после обеда, — сказал он через полчаса. — Никуда не отлучайся. У нас тут приняли речь Главнокомандующего, сейчас размножают, чтобы послать по полкам. Скажи там комиссару своему, пусть кого-нибудь пришлет.

— Значит, состоялось торжественное заседание?

— Не только заседание, но и парад на Красной площади. Москва стояла, стоит и стоять будет...

Горелов появился в полку в назначенное им время. Следом за его машиной шли еще три: две с вооруженной охраной и третья с каким-то странной формы кузовом, накрытым брезентом. Эта машина остановилась на окраине деревни, и возле нее сразу был поставлен караул с ручными пулеметами.

Вместе с Гореловым в штаб пришел капитан с черными артиллерийскими петлицами.

— Ну, где у тебя карта, давай сюда, — сказал Горелов Сидорчуку. — Сейчас этот товарищ подбросит фрицам огонька...

Капитан быстро сделал подсчет данных, сунул линейку и карандаш в сумку, выпрямился перед генералом:

— Я готов. Разрешите приступить?

— Давай, действуй, — сказал Горелов. — А мы с подполковником посмотрим отсюда. Ведь близко нас не подпустишь?

— По инструкции не положено, товарищ генерал.

— Инструкции... Ладно, поживем — еще не раз увидим.

Взяв бинокли, они вышли на улицу, поднялись на чердак дома. Слуховое окно смотрело на восток, и они могли наблюдать за деревней Сухой Ручей.

Протяжный вой, скрежет, какое-то непонятное шипение раздалось со стороны, где остановилась странная машина. Сидорчуку показалось, будто распарывают какую-то огромную холстину, и он живо обернулся, забыв, что находится на чердаке. Теперь над головами шелестело, будто тысячи птиц враз взмыли в небо и проносятся мимо со страшной скоростью. Непонятно.

— Ты сюда смотри, — сказал генерал, приглашая к окну.

Над деревней Сухой Ручей взмыли языки пламени выше леса. Свиваясь в тугую черную тучу, поднимались к небу космы дыма. Горело так, будто на деревню плеснули бензином.

— Вот и все, нет штаба, — сказал Горелов. — Новая техника, брат, классно работает. Под Ельней ее впервые опробовали, может слышал, «Катюшей» эту машину бойцы окрестили?

Споет фрицам песню, и нет их. Будет, всего у нас скоро будет достаточно, и «катюш»...

Спускаясь по лестнице, спросил:

— Ну, как Матвеев? Сработаетесь? Ты, если что, говори прямо, не стесняйся. Надо для пользы дела, так переместим его, не посмотрим. Важно, чтобы полк был в твердых руках, и я на тебя в этом вопросе полагаюсь, потому что при Исакове полк держался на старой закваске. А она была, да вся вышла...

— Вы меня знаете, товарищ генерал, я человек прямой и вам честно признаюсь, что в душе таил па него обиду. Кто-кто, а он знал меня столько лет, как мог подумать, что я враг. Но вчера поговорили, и я решил: все, па старом надо ставить крест! Есть дела поважнее, оборону надо строить по-настоящему, работы непочатый край, и если оглядываться на старое, далеко не уйдешь. Поэтому твердо заявляю: работаем!

— Ну, смотри, я тебе верю.

— Надо укомплектовывать подразделения командирами, вот я смотрел вчера и думаю кое-кого из младших командиров двинуть в средние.

— Что ж, представляй списки, рассмотрим. Если достойны, возражать не будем. На школы да на академии рассчитывать пока не приходится, своих двигать надо вверх. А теперь пойдём, соберай, кого можешь, и я объявлю вам повесть.

Собрались через полчаса в штабе полка. Народу порядочно, кто сидит, кто стоит у стен. За столом, накрытым красной скатеркой, генерал, Сидорчук, Матвеев.

— Я приехал к вам, — сказал Горелов, — чтобы порадовать вас хорошей новостью. Командование нашей и соседней с нами армий объявляют дивизии благодарность за успешно проведенные бои под Калинином. Мы выполнили с вами задачу огромной важности...

Дружные аплодисменты заглушили на миг голос Горелова. Он переждал их спокойно, как заслуженное, и продолжал:

— Командование ходатайствует перед фронтом о присвоении дивизии звания гвардейской. Фронт ходатайство поддержал...

Аплодисменты на этот раз гремели долго, и Горелов поднял руку, призывая к тишине.

— Окончательное решение за Верховным Советом. Наша задача заключается в том, чтобы не уронить престижа дивизии в будущих боях, не занятнать чести сибиряков, чести красноярцев, которых мы представляем на Калининском фронте.

Генерал вскоре уехал из полка, и Крутов, попросив разрешения отлучиться часа на три-четыре, отправился в Новинки.

Крутов торопился. Радостное чувство гнало его в Новинки будто на крыльях. Три километра — не расстояние, и он надеялся повидать не только Олю, но и своих друзей по роте. Прежде их, а уж потом в самоту. Ближе к вечеру.

Столько новостей в один день: приезд командира полка, присвоение звания гвардейцев (он ни на минуту не усомнился, что звание такое им присвоят. Кому тогда и присваивать, как не им!), пакопец, залп «катюши». Он наблюдал издали, как машину вдруг окутали клубы дыма, а потом она выбросила огненные стрелы — мины. Их было видно в воздухе — длинные, сигарообразные, с хвостовым оперением. Они вылетали одна за другой, почти мгновенно, с каким-то воющим свистом. Красота! Охрана никого не подпускала к машине и на сто метров, но все равно видно было хорошо. Деревня, по которой сыграла «катюша», тут же вспыхнула, как факел, а машину укрыли брезентом, и она укатила.

Надо обязательно рассказать ребятам, ведь они тоже видели, как горела деревня с немецким штабом, но едва ли даже догадываются почему. Разведчики, ходившие за линию фронта, говорили, что немцы всех жителей деревни выселили, чтоб вблизи штаба не было ни одного русского, так что жители не пострадали. А дома не жаль. Пусть сгорели, зато и фрицы заодно.

Самую же главную новость он прибережет под конец: с пополнением вернулся Кузенко. Только теперь он не политрук, а строевой командир и на рукаве звезды у него уже нет. Ровно месяц проходил он переподготовку на курсах при штабе фронта. Крутов первый, увидев, подошел к нему, поприветствовал, и между ними состоялся короткий разговор:

— Ну, как вы тут, все живы?

— Половины не досчитаетесь. Газин убит.

— Кто за него теперь — Коваль?

— Что вы! Коваль сбежал, как только укрепрайон оставили.

— Значит, дезертир. Не думал... Плохо мы еще людей знаем.

— Плохо, — согласился Крутов. Припомнилось ему пережитое, хотелось спросить: теперь-то вы поняли, что не по словам надо о людях судить, или нет?

— Вот получу на роту назначение, возьму тебя к себе помкомвзвода, — сказал Кузенко. — Пойдешь?

За Крутова ответил старший лейтенант Морозов, зачем-то подошедший к ним в эту минуту:

— Вы, товарищ лейтенант, не переманивайте моего писаря. Ему месяц-два подготовки — и его можно смело рекомендовать на штабного командира.

— Что ж, я не настаиваю, — пожал плечами Кузенко. — Будешь в роте — привет передавай...

Так и расстались. Вот будет дело, если пазпачат на четвертую! Надо предупредить ребят, чтоб знали...

Все новости были хорошие, и они веселили душу. Лишь где-то подспудно, хоть Крутов и не признавался, таилось тревожное чувство ожидания встречи с Олей. Как она на него смотрела! Не зря тогда смеялся Ляхачев над ним, мол, лопух, девка по нему сохнет, а оп...

Крутов еще ничего для себя не решил, но помимо воли стремился на эту встречу. «Что Оля? Просто встретились на трудной военной дороге, чем-то прищлись друг другу по душе, только и всего. Встретятся, поговорят, как хорошие знакомые, на том и делу конец. Ведь не сегодня-завтра придет письмо от Иринки, и все станет на место. А здесь просто дружба», — думал Крутов, хотя в душе зрело, накатывалось радостными волнами чувство более глубокое, и он ничего не мог с собой поделать.

«Я ей прямо скажу, — думал Крутов, — что у меня есть Иринка, а мы можем быть только друзьями — не больше».

Он пробуждал воспоминания, мысленно рисовал перед собой портрет Иринки, но поверх, наслаиваясь, ложились черты Оли. Густые черные волосы из-под ушанки, широкие брови вразлет, глаза. Они глядели и словно обволакивали его, подчиняли себе, куда-то звали...

Крутов прибавил шагу, потом побежал. Что тащиться шагом, когда за плечами крылья! С такой легкостью бегать приходилось во сне, по мать объясняла это прозаически: растешь, сынок, в детстве и мне снилось, что летаю...

В это время он слышал гул. Летели самолеты. Крутов задержался на месте, чтобы вернее уловить, откуда они идут, и увидел их. Тремя звеньями «хейнкели» шли на восток. «Наверное, куда-то к Москве», — подумал он. Но самолеты вдруг сделали крен и стали пикировать на Новинки.

Вот черные точки отрываются из-под фюзеляжей, и темные клубы дыма вырастают по всей деревне. Бомбят. Еще один заход — и самолеты повернули обратно.

— Вот гады, — сквозь стиснутые зубы шепчет Крутов, сжимая кулаки. — Знают, что там ни одной зенитки, ни одной установки, пикируют чуть не до крыш... Это в отместку за разгром штаба. Сволочи! Скорей туда, скорей! — подгоняет он себя, а тревога стискивает сердце до боли.

Он бежал до Новинок, что было сил, и еле переводил дух. По деревне зияют огромные воронки от двухсоткилограммовых бомб, многие дома разбиты вдребзги, и красная кирпичная пыль,

мусор и сорванная щепка застилают еще такую чистую вчера снежно-белую улицу.

Повсюду сплут озабоченные бойцы: одни растаскивают развалины, другие что-то ищут, может, свои скудные солдатские пожитки, брошенные впопыхах. Бомбы легли вдоль улицы, чуть наискосок, одна за другой, потому что самолеты заходили на бомбежку в кильватер друг другу.

Дома чернеют глазами выбитых окоп, как черепа. Те, в которые угодила бомба, похожи на груды хлама, прикрытые щепой и соломой. Во все стороны торчат доски, бревна, брусья.

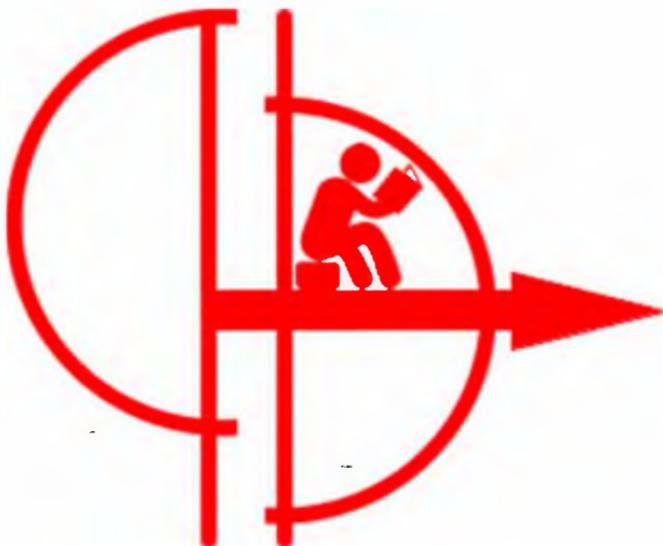
Возле санроты толпа. Он пробился сквозь плотную стену и замер: дом, в котором работала Оля, был разбит. Бомба пробила крышу возле угла, вырвала боковую и заднюю стены и все, что там находилось, выбросила наружу. Среди обломков кирпича, досок, бревен, вперемешку с простынями и одеялами, в пательном белье, как лежали на трехъярусных нарах, теперь валялись трупы бойцов, находившихся в санроте на излечении. Наверное, их не успели вывести или подумали, что самолеты пролетят мимо, как не раз случалось. Среди тех, кого успели извлечь из-под обломков и уложить на снегу рядком, Крутов увидел жепщии — санитарок, сестер. Они лежали в халатах, порыжелых от пыли, испачканные своей и чужой кровью и неузнаваемые. Но у одной из-под косынки выбивались густые черные волосы. Еще вчера они выглядели такими шелковистыми и текучими, как волна.

Кровь отхлынула от сердца, все поплыло у Крутова перед глазами. Шатаясь, как пьяный, он повернулся и пошел прочь, чтоб не видеть этой страшной картины. Туман застилал глаза. Не было ни чистой снежной целины, так ласкавшей вчера взгляд, его цепкий взгляд художника, ни черного леса, стеной подымавшегося за деревней, ни переключки галок, потревоженных бомбежкой, не было дня. Серый непроглядный туман плыл и струился перед глазами, будто он смотрел через мутную текучую воду. И еще — камень на сердце. Когда-то, в Аяре, собираясь на эту проклятую войну, он думал, что для настоящей драки не хватает злости, ненависти к врагу зримому, чтоб стоял он перед тобой на пути и ни обойти его, ни объехать, а только убить, иначе не жить самому. Теперь всего этого было столько, что не давало дышать. Столько, что каменели кулаки.

А вдаль, над черной полоской леса, впервые за много дней высветлилось небо перед закатом, красное, как свет горячих углей, предвещавшее на завтра, а может, опять на недели, непогоду, ветер, вьюги и колючий, режущий кожу снег в лицо.

## Оглавление

<i>Часть первая.</i> ЗАРНИЦЫ	5
<i>Часть вторая.</i> ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ	223



*Владимир Иванович Клипель*

### *ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ*

Редактор Л. С. Овечкина. Художник Г. В. Алимов. Художественный редактор А. В. Колесов. Технический редактор Л. А. Польщикова. Корректор И. Н. Григорьева. Сдано в набор 21/IV 1977 г. Подписано к печати 15/XII 1977 г. ВЛ 07143. Бумага типографская № 3. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 23,25. Уч.-изд. л. 25,94. Тираж 30 000 экз. Заказ № 4151. Цена 1 р. 70 к. Хабаровское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. Типография № 1 краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

1 р. 70 к.

